

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2022





Сергей Иванов | Осенний натюрморт | 2021



Татьяна Поспелова | Гурзуф | 2021

На обложке:

*Анна
Михайлина*

Душа Алтая
(фрагмент)

2021

На обороте
обложки:

*Александр
Зикунов*

Четвёртый
мост
(фрагмент)

2021

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2022

В номере

.....

ДиН ВРЕМЯ

Сергей Шойгу

3 Про вчера

Нина Ягодинцева

8 Смыслы и ценности эпохи Водолея

Юрий Ромашков

13 Он летал в одной паре с «сотым»

ДиН СИММЕТРИЯ

Ирина Одоевцева

12 Под осенним ветром и дождём

Иван Бунин

31 Преображение

97 Август, 1922

Сергий Булгаков

56 У стен Херсониса

Викентий Вересаев

122 В тушике

Морис Метерлинк

126 Монолог скупого

Владислав Ходасевич

182 Улика

ДиН ПАМЯТЬ

Николай Лухтин

19 Широкий лог

Валерий Кравец

51 Подросли на мерзлоте деревья

ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

Алла Новикова-Строганова

21 «На все копыта кованы»

ДиН СТИХИ

Евгения Бильченко

32 Вот такие теперь цветы

Илья Боровский

35 За сотни вёрст
от маеты

Елена Литинская

37 Из лета в осень

Олег Мошников

39 Чем время
владело—владей!

Виталий Пырх

60 Такая арифметика...

София Максимычева

96 Воробей на ветке

Александр Авдеев

98 Скамья одна
у входа в храм

Марина Панфилова

101 Люблю Сибирь

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Сергей Кузнечихин

42 Обещали хорошую погоду

Геннадий Васильев

47 Ложная тревога

Иветта Лищенко

52 Мечта

Алесь Мищенко

57 Записки полярника

	Надежда Кускова	ДиН ПОЭМА
65	Озерки	Александр Конопкин
	Татьяна Кырова	139 Хельга
103	Чингачгук не может умереть	ДиН ИРОНИЯ
	Андрей Белозёров	Надежда Герман
110	Трое	144 Про Курочку Рябу и Сдыхлика
	Виталий Орлов	Неумиручего
123	«Свете тихий»	ДиН ВЗГЛЯД
	Павел Чхартишвили	Александр Евсюков
127	О жизни, поэзии и любви	183 Неудобный герой
	ДиН РЕВЮ	КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
	Марина Саввиных	Варвара Заборцева
46	Кров бескрайний	188 «Подобно большеглазому ребёнку...»
	Дмитрий Косяков	СИНЯЯ ТЕТРАДЬ
100	Сказки про девочку Ульрику и её волшебных родителей	190 Я живу в прекрасном селе
	МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ	Катя Гришко
61	Ты, как и я, приходишь в тихий сад	194 Девушки-куклы
	ДиН ПРОЗА	195 ДиН АВТОРЫ
	Василий Киляков	
74	Фрески	

ДиН ГАЛЕРЕЯ

Художники земли красноярской

С 24 декабря 2021 года по 25 января 2022 года в Красноярском Доме художника проходила ежегодная отчётная краевая художественная выставка Красноярской региональной организации ВТОО «Союз художников России» «Художники земли красноярской. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство». Репродукции с картин, представленных в октябрьском номере «ДиН», публикуются с любезного разрешения организаторов выставки.

Сергей Шойгу

Про вчера

Рассказы из книги¹

Куда приводят мечты

В стране была тогда шестидневная рабочая неделя. Суббота — короткий рабочий день до трёх. В Туве, в Кызыле, всё было как и везде.

Период послевоенного восстановления кончился недавно, и люди по-прежнему много трудились. Естественно, пристраивали детей каждый по-своему. Кто-то отдавал бабушке и дедушке, а кто-то — в детский сад.

Была и придумка того времени — круглосуточный детсад. То же, что интернат, только для дошколят четырёх, пяти, шести лет. Детей туда сдавали либо в воскресенье вечером, либо в понедельник утром. И забирали: кто успевал — в субботу, кто нет — в воскресенье.

Мы, дети, конечно, ждали субботу. С самого утра после завтрака лезли на подоконники и прилипали к замёрзшим окнам, дышали на стекло, чтобы растопить маленький просвет, через который были видны очертания автобусной остановки. Когда подходил автобус, все припадали к стеклу в надежде увидеть родителей. Проходила минута, другая — и раздавался чей-нибудь радостный крик: «Папа!», «Мама!».

Остальным снова приходилось ждать.

Многие, наверное, помнят это чувство, которое бывает только в детстве и которое сравнить-то не с чем. Кажется, если родители за тобой прямо сейчас не придут, жизнь кончится.

И сегодня отчётливо помню те оконные рамы, покрашенные десятки раз — новые слои поверх старых, по облупленной краске, с заползанием кисти на стекло, поверх замазки.

Чаще всего в детском саду дотемна (зимой темнеет рано) оставались двое — я и мой друг Володя Эйснер. Как я сейчас понимаю, он был из семьи переселенцев, коих в ту пору было в Туве, да и в Сибири, достаточно много. В середине пятидесятих годов прошлого столетия в Туву переселялась часть высылаемых жителей Западной Украины и Прибалтики (например, в селе Аржаан жили поселенцы из Эстонии), в это же время, после послабления режима переселения в Сибири, отдельные группы переселённых немцев приезжали жить и работать в Туву. Поэтому мать Володи Эйснера могла приехать как переселенка. Другой пример:

в это время в Туране жили семьи Вебер, Фогель. Их потомки до сих пор в Туве. Кто-то вернулся в свои города, а кто-то прижился и остался. С Володей мы потом учились вместе до четвёртого класса. У него была только мама, работала уборщицей в нескольких местах. Хотя через столько лет могу и ошибаться.

В детском саду отопление было печное. Ближе к вечеру приходил истопник и начинал греметь вёдрами с углём. А мы стояли и с ужасом ждали этих страшных слов от дежурной воспитательницы: «Всё сегодня. Всем спать, завтра вас заберут».

Уходя на свои кровати, мы всё равно надеялись, что родители сейчас приедут, успеют, разбудят и в промёрзшем автобусе, один в один как в фильме «Место встречи изменить нельзя», мы поедем домой. На день, на полдня, но домой.

Перед новым, 1960 годом нам раздали подарки: с любовью сделанные воспитателями картонные коробочки в виде долек арбуза, а внутри — конфеты, печенье, орехи. Всё, что удалось завезти в далёкий сибирский угол.

Меня забрали. В предчувствии других подарков, дома, ёлки и того, что еду не на один день, а на целых два, прижимая к груди дольку картонного арбуза, я ехал в автобусе, забыв Вовку, который остался у замёрзшего окна, ковыряя замазку и дыша на стекло.

Вовку Эйснера не забрали. Он остался. Последний ребёнок в детском саду. Заистерил. Дежурная тётка-воспиталка, по-другому её назвать нельзя, в жуткой злобе, что не может уехать домой из-за одного малыша и его матери, потащила его в спальню. Вовка цеплялся за всё, что было у него на пути. Она схватила его за ухо, подняла и, пока не увидела хлеставшую кровь из почти оторванного уха, волочила его спать.

Врачи ухо пришили. Я увидел перевязанного Вовку уже после Нового года. Оторванное ухо не освобождало его от детского сада, а мать — от работы. Заставить начальство поверить словам ребёнка, доказать, кто виноват, тогда было гораздо

1. Про вчера / Сергей Шойгу. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 320 с. — (Великое время. Великие имена).

сложнее. Не было, как сейчас, ни видеокамер, ни Интернета.

После вождя

Вечерний разговор с отцом, я маленький, он говорит со мной как со взрослым. Это было то самое время, когда уже стали разбираться, понимать, что и Сталин был, и у нас в республике тоже не всё было правильно. На вид была самостоятельная страна Тува до октября 1944 года, но нравы и режим были похожи на советские. Судить мне об этом сложно, да и не нужно, и понятно почему.

Я и не собираюсь критиковать то поколение. Потому что к тому поколению относятся в том числе мои дедушка и бабушка — активные ревсомольцы, которые занимались разного рода делами. Но некоторые вещи, которые я делаю в республике и для республики, — это я отдаю долг, можно сказать. И долг этот — от ощущения того, что мои бабушка и дедушка, может быть, имеют отношение к тому, что тогда происходило. Настаиваю: они ни в чём не виноваты.

Скажем, было время, как и в Советской России, разрушения храмов. В нашем, гувинском, случае — буддийских храмов. Я не знаю, причастны они к этому или нет, но ощущение, что могли быть причастны, меня не оставляет. Поэтому я помогал и продолжаю помогать в возрождении нескольких храмов, в том числе и главного храма недалеко от того места, где я родился.

Естественно, я рос и задавал вопросы — о том, что это было, почему это было. И отец рассказал мне историю. Теперь, думаю, и я могу её рассказать.

Когда шло развенчание культа личности Сталина, а я помню, как у нас в парке стояли памятники Ленину и Сталину, а потом, в один из выходных, я заметил, что памятника Сталину нет, снесли, — я не понимал, почему снесли.

Прошло, может быть, пятнадцать лет с того времени, и я спрашивал родителей уже с другим подтекстом: «А как? Вы что, ничего не замечали, когда Сталин бы жив?» И они совершенно искренне говорили: «Да, мы верили, несмотря ни на что, не жалею об этом, да, всё это было».

Отец до конца своих дней оставался коммунистом, платил взносы до последнего месяца своей жизни. Перебирая его документы, я увидел, что он платил взносы из тех денег, которые я ему отправлял в девяносто первом, девяносто втором году.

Однажды отец довольно откровенно мне рассказал, что руководителю республики, человеку, возглавлявшему Туву до вхождения в состав Советского Союза, принимавшему участие во вхождении, сказали: «Смотри, в Москве развенчали культ, покаяться, и жизнь продолжается. Может быть, и здесь стоит так сделать?» Он ответил: «Я подумаю».

У нас была другая жизнь, другая страна.

И в какой-то из дней, рано-рано утром, буквально на кромке рассвета, он заехал за отцом, и они вдвоём поехали на берег Енисея. Там горел большой костёр — бумаги, папки. И тогда первый секретарь обкома республиканского комитета КПСС, Салчак Тока, сказал моему отцу: «Ну вот, собственно, и всё».

Он просто взял все архивы, вывез их на берег и сжёг. После этого он руководил республикой ещё почти двадцать лет, до 1973 года.

Через много лет отец написал книгу. Тех событий она касается едва-едва, в ней — о нашем роде, о нашей семье, о том, как они жили и как они сами попали под эти репрессии.

Вспоминаю встречи с довольно пожилым человеком, который был нашим родственником, скажем так — моим дедушкой, но не по прямой линии. С братом моего деда. Звали его Серен Кужугет. Он работал чабаном — кстати, в колхозе, который некогда носил имя Лазаря Кагановича. Как-то раз мы заехали к нему. Я спросил отца: «А почему он в таком возрасте всё ещё чабан? У него такие родственники, а он по-прежнему пасёт овец и никуда не хочет...»

И тогда отец рассказал мне простую до боли историю. В 1925 году Серена Кужугета направили на учёбу в военное училище в Тверь.

В 1929 году он вернулся на родину и был назначен командиром Народной революционной армии Тувы. Создавал армию. В 1938 году его и других военных арестовали по сфабрикованным делам. Как и многих тогда. Приговорили к высшей мере, но в какой-то момент заменили смертный приговор длительным тюремным заключением. После вхождения в состав Советского Союза — после того как умер Сталин и развенчали культ личности — их выпустили. Кого-то даже реабилитировали.

С учётом того, что он знал русский язык, был хорошо образован по тем временам и для тех мест, ему много раз предлагали возглавить сельсовет, стать районным депутатом, разные большие по местным меркам должности. Но он всегда отвечал на все предложения: «Достаточно».

Всю жизнь, после того как вышел, он работал чабаном, никуда не стремился и ничего не хотел.

И никогда ни о чём не рассказывал, никогда никого не критиковал, был абсолютно всем всегда доволен.

Не знаю, как сейчас оценивать всё то, что происходило тогда. Наверное, это всё можно называть и становлением республики, и становлением страны, государства, нового строя, нового режима.

Это сегодня все учат жить, а тогда научить было некому. Не так много было людей, которых можно назвать голосом народа, совестью нации. Очень мало было тех, кто мог говорить от имени людей.

И вообще не было тех, кто, как сегодня, смотрел бы на ситуацию со стороны и мог судить, что

происходит и как должно происходить, куда мы идём. Я таких не видел.

Это сейчас мы уже читаем какие-то исторические выкладки, что вот, «подписали коллективное письмо». Но тогда мы этого не замечали, тогда мы этого не видели, потому что это были единичные случаи. Но сложно представить, чтобы тогда у нас появился человек, который дал бы себе абсолютное право без всяких оснований о ком-то судить, кого-то судить, осуждать, клеймить позором и уж тем более быть нравственным эталоном.

Откровенно скажу: многие, кто выступал тогда с трибун съездов, мне казались достаточно неискренними. Но были и те, кому, казалось, можно верить. Потому что они были невероятно талантливые, сделали невероятно много, писали великие произведения.

Тут я не могу не вспомнить Шолохова, который, выступая на Втором съезде писателей СССР, сказал такую фразу: «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством». И мне не казалось, что он лукавит.

Да и сейчас не кажется.

Волочанка

Таймыр, Волочанка, 1974 год. Зона вечной мерзлоты. Мы ещё не знаем, что «так жить нельзя», и осваиваем, как и многие до нас, Север. Ещё живём в том времени, когда, как на Аляске или в Канаде, тысячи Ан-2, Ми-8, Ми-2 «летали на лыжах». То есть сажались и взлетали на поплавах, и было это совсем обычным делом. Так и добирались — до Таймыра, Эвенкии — на маленьких, медленных, промёрзших кастрюлях той самой малой авиации, о восстановлении которой мы сегодня мечтаем и много говорим.

«Курить можно?» — «Кури на здоровье, пепел вот сюда».

И отодвигается пятак дюрала, как дверной глазок, за ним — атмосфера, то есть уже улица, небо. На земле минус сорок пять, там, за бортом, в небе, и того ниже. Рядом молодая мама, младенцу на её руках не больше недели. Она достала грудь и кормит, от груди идёт пар. На вопросительный взгляд спокойно отвечает: «Чтобы не кричал, у него ушки».

Кажется, что через полушубок прямо с сиденья, с покрытой дерматином алюминиевой лавки, мороз проникает в позвоночник, от копчика до затылка, превращая в камень всё — почки, печень, желудок — весь ливер, и это не разморозится никогда. А тут спокойное: «Чтобы не кричал, у него ушки».

Под шум мотора, который, кажется, лежит у тебя на коленях, все как-то разговаривают и как-то слышат друг друга, всё просто и обыденно.

Через два дня возвращаемся вроде бы тем же бортом, хотя их много и можно перепутать. Тот же холод. Завелись, рычим, с места кастрюля не двигается. Пилот кричит в салон: «Мужики! Кто поздоровее?»

Думал, скажет: «Подтолкните». Нет, пристыли лыжи. Достаём киянку — деревянную кувалду, стучим по лыжам, лезем обратно на борт. Дальше штатно: взлетаем, летим. Опять всё обычно и просто.

Летом веселее: и видно больше, и день — день, и ночь — день. Тут уже вертолёт, и можно поспать на полу. Спальников, рюкзаков и всякой всячины, которая не важно когда, но обязательно пригодится, на борту полно.

В углу вижу длинный тонкий тросик, на конце которого что-то вроде якоря, сваренного из арматуры. На вопрос: «Зачем, это ж не лодка?» — так же обыденно и просто нахожу ответ, когда вижу сеть, перегородившую речку. Подлетаем ближе, цепляем крючком, поднимаем, отлетаем подальше и выбираем из сети рыбу. Что дальше с сетью, весьма дорогим и дефицитным орудием промысла, не знаю. Может, рыбакам вернули. Может, другим отдали.

В Волочанку, таймырскую деревню, мы летали, потому что строили там школу-интернат для детей местных народностей — долган и нганасан, оленеводов.

Вокруг тундра. Мхи. Озёра. Зимой мороз страшный. Первая метель может случиться в сентябре, последняя — в июне.

В Волочанке соблюдался сухой закон, спиртное продавали раз в неделю — в пятницу вечером.

И многие, если не все, от мала до велика, ждали этого вечера. С материка в тот год были там только мы и ещё трое, появившиеся задолго до нас.

Этих троих хорошо помню.

Она — продавец, повар, товаровед, заведующая складом и столовой в одном лице. Сослала её то ли за тунеядство, то ли ещё за что-то. Подавала на материке дурной пример. А в Волочанке она в великом почёте, здесь её прозвали Царицей Горы. Ведь только от неё зависит, кому и сколько достанется спирта, ликёра «Мятного» и «Бенедиктина». И только она могла отпустить все эти дары не в пятницу вечером, а когда горящая душа возжелает.

А это могло произойти, например, во вторник утром. Но достать у Царицы Горы выпивку в неположенное время приравнивалось к покорению Эвереста.

Представители малых северных народов, в том числе долгане и нганасане, быстро пьянеют. Нулевая устойчивость к алкоголю. Без тормозов. Поэтому в воскресенье утром на спирт или любой другой напиток с градусами менялось всё: унтайки, шкуры песца, шапки, парки, ибо к утру воскресенье у местных кончались запасы горячительного.

И было им очень плохо, как и многим другим народам нашей страны.

Некоторые ушлые гости с материка пользовались этой ситуацией. Пытались обогатиться. Знакомые тайком доставляли им в Волочанку спирт в грелках и термосах. А они каждое воскресенье за сто граммов или двести получали от местных драгоценную пушнину.

Местные умирали с похмелья и несли шкурки, меховые изделия. Но, как правило, приезжие менялы ничего не зарабатывали: всё это при отлёте домой по жалобам оленеводов изымалось и возвращалось этим замечательным, добрым людям, абсолютно не приспособленным к привычной нам жизни.

Второй — директор школы, ссыльный из Риги. Никто не знал за что... Но факт, что сослан. Местный интеллигент.

Его рассказ про первую для северян лекцию о творчестве Сурикова и сегодня кажется диковатым.

Собрал оленеводов с семьями, поставил диaproектор, повесил простыню, начал. В момент показа картины «Переход Суворова через Альпы» в зале загудели. И вдруг один из, видимо, уважаемых людей и, видимо, под действием «пятницы» громко закричал: «Видите! Злые люди идут на нас, надо защищаться!»

Все разбежались, кинулись к своим упряжкам, схватили карабины, встали вокруг села. Как пояснил учитель-директор, много времени понадобилось, чтобы их успокоить. И он сделал главный для этих мест и для себя вывод: прежде чем нести «доброе, вечное», надо заслужить их доверие.

Потом я в этом убеждался много раз. То, что люди живут не так, как мы на материке, совсем не значит, что живут хуже и нам надо бороться за их светлое будущее.

Устроили банный день, собрались на Хету.

Река широкая, насколько помню — метров триста-четырееста. Серые песчаные отмели. Быстрая светло-коричневая вода.

Стирали портянки, спецуху, купались, отбиваясь от мошки и комаров. Вдруг видим: на реке перевернулась лодка, а в ней плыл старик-нганасан. Старик тонет. Кинулись, достали, откачали.

И вот тут самое интересное. Его жена бегаёт, кидает в нас камни и кричит: «Он решил его забрать! Вы помешали!» И хотела, судя по всему, чтобы мы бросили его назад в реку.

Третий — огромных размеров мужчина в возрасте. Всегда молчавший (пока не выпьет). По

рассказам местных, периодически он уходил в тундру. Куда? Зачем? Местные только догадывались. Он так и не смог, а может, и не стремился стать для местных своим. Приходил к нам по вечерам, рассказывал о старых временах. Признался, что дошёл сюда пешком ещё в тридцатые годы из Дудинки.

Это четыреста километров по тундре. Ладони у него были большие, как две сковороды, и спокойно лежали на коленях до приёма трёхсот-четырёхсот граммов спирта. А после этого становились опасно-непредсказуемыми. На фронте не был, не воевал. На вопросы о том, как жили в Дудинке до войны и была ли она вообще, отвечал мрачно, пьяно: «Не помню, давно было, давно ушёл. Как комсу² порубали, так и ушёл. С тех пор тут, в Волочанке».

Правда это или нет, сейчас не проверишь. Тогда он был очень убедительным и немногословным. Пока не выпьет...

Материалы на стройку завозили по реке. В то время уже был «северный завоз»³. К нему готовились все без исключения. Везли топливо, строительные материалы, технику, продукты, бытовые товары. За срыв — исключение из партии, уголовное дело, снятие с работы. Но и в этой архиважной судовой программе была особая часть — «завоз по быстро мелеющим рекам», то есть по большой воде. Иначе никак. И тут были речники — особые мастера.

В Волочанку везли так: пришло судно — срочно разгрузить. Вода падает (уже отошла от временного причала). Слава Богу, полярный день — круглые сутки. Что-то роняли в воду, ныряли, доставали, сваливали на берег в кучу. И уже потом на «пене» — это такой лист железа — на тросах подцепляли к бульдозеру и везли всё это на площадку. Много работали и по тем временам много зарабатывали. И, конечно, к концу стройки каждый имел по несколько специальностей.

При школе, которую мы строили, должен был быть открытый стадион — футбольное поле, гаревая дорожка для бега. Без стадиона объект никак не сдать, а это значит, что денег не увидишь.

На простой и, казалось бы, логичный вопрос: «Зачем? Когда дети приезжают — уже лежит снег, уезжают — ещё лежит», — последовал лаконичный ответ: «Так заложено в проекте!»

И это справедливо — у местных детей малых народов должно было быть не хуже, чем у детей «большой земли».

Срезали в тундре дёрн, тем же единственным бульдозером отбили дорожки...

К слову, нганасан осталось всего человек во семьсот, и значительная их часть оседло живёт в Волочанке. Ещё человек сто кочуют по Таймыру, охотятся, делают сувениры для гостей с материка. Лечатся у своих шаманов. Шаманам помогают дяммады — духи в образе зверей.

2. Комса — комсомольские активисты, устаревшее просторечие.

3. Северный завоз — государственное мероприятие по обеспечению территорий Крайнего Севера жизненно важными товарами в преддверии зимнего сезона.

Северные реки с низкими берегами постоянно ищут новое русло. Многие исчезают. Но остаётся память о соотечественниках, которые разводили в том краю первые костры, а столетия спустя зажигали электрические лампы в школе.

Люди с «большой земли» и сейчас продолжают работать там. Помогают местным богам заботиться о коренном населении, которое в них по-прежнему верит. Хочу побывать там. Хотя знаю, что школа через несколько лет сгорела, и многих уже нет, и страна другая. Обязательно съезжу.

Предприимчивый механизатор

Он через каждые два-три слова произносил «сука-на», и получалось это у него очень гармонично и для райцентра Новосёлово вполне себе естественно.

Нас свела с ним, механизатором широкого профиля, любовь к спорту. В 1972 году только поступивших в Красноярский политех, нас, молодых абитуриентов, отправили в колхоз, так это называлось. А в целом — помогать селянам с уборкой всего, что рождала сибирская земля. Кого отправляли на турнепс, кого на картошку. Для нас в данном случае это был новосёловский хпп, то есть хлебоприёмный пункт, куда день и ночь, как всегда в то время — аврально, ехали и ехали бесконечной чередой машины, гружённые зерном. Смены были разные, и днём, и ночью, но жизнь на разгрузке не кончалась, да и не начиналась. Просто это был эпизод начала студенческого вольного бытия, узнавания друг друга нас, семнадцатилетних, делающих первые шаги в самостоятельную жизнь.

Сразу по прибытии в этот «филиал центра мировой культуры» начались поиски точки телевизионной трансляции. Тысяча девятьсот семьдесят второй год, далеко не в каждой деревне был хотя бы один телевизор, не говоря уже про каждый дом. Напряжение по поиску росло по мере приближения знаменательного и сегодня великого события — хоккейного сражения СССР — Канада.

И вот тут на автоподъёмнике — он, механизатор «сука-на», с телевизором дома. К переговорам подошёл серьёзно: «Короче, сука-на, приходите к вечеру, поговорим-на, глядишь, и сговоримся. Мне-то ваш хоккей, сука-на, по херу, да и поздно-на, а с вас ни дать ни взять. А мне, сука-на, и жинке рано вставать. Корову доить, свиней кормить, курей, сука-на, опять же. Приходите».

А это семь километров, может, меньше, но тогда казалось больше — от ХПП до его дома.

Пришли.

«Ну чё, сука-на, пора картошку убирать, а то зимой скотину кормить нечем будет. А её, сука-на, вона сколько, почитай гектар засажено. Короче, десять соток — один матч. Выкопали — посмотрели, не выкопали — слушайте результат завтра по „Маяку“».

И вот, поразгрузив восемь часов машины, бежали к механизатору впятером или всемером. Копали как попало эти сотки и, успев только снять сапоги и помыть руки, абсолютно счастливые, усаживались на пол, на табуретки, как могли, чтобы только видеть экран.

Все помнят драматургию первой игры и желание побежать туда, за океан, и поддержать наших после первых 2:0. Все помнят, как пробудилась и распирала гордость после 2:3 в нашу пользу, как крепла вера в наших: мы их сделаем! Не можем не сделать! Мы лучшие! Якушев, Харламов, Рагулин — у борта мы можем и похлеще, так что зря вы без шлемов, патлатые пижоны.

И наш владыка картофельных полей и кучи скотины, таборов кур и индеек втянулся, загорелся, включился и уже ко второй игре не так пристально рассматривал выкопанные ряды. Жена его отварила и залила топлёным салом со шкварками и луком картошку, которую мы из одного чугунка ложками, без хлеба и тем более без ста граммов, уже к концу первого периода поглощали...

Перед четвёртой игрой приобшённый к хоккею механизатор, как ему казалось, по-доброму сказал: «Ну чё, вашу дивизию, банька топлена, мой-то, сука-на, все помылись, вода натасканная ещё осталась, давайте-на помойтесь-на, а то чё-то подваниваете».

Благодарность наша и Валерию Харламову, и Борису Михайлову, и Александру Якушеву, и за картошку со шкварками, и за баню, и за приготовленную к последней трансляции то ли курицу, то ли утку долгие годы оставалась невысказанной и непереданной. Только в новой России появилась возможность рассказать великому игроку и замечательному человеку Александру Сергеевичу Якушеву («Як-15») эту историю и выразить нашу благодарность за потрясающий спектакль, который смотрела вся страна.

Задаю себе вопрос: счастье — это как?

Это вот так!

Нина Ягодинцева

Смыслы и ценности эпохи Водолея

Когда мы говорим: меняются времена, приходит новая эпоха, — мы, конечно, правы, но на самом деле практически не представляем себе, что́ меняется и в какую сторону. Не представляем потому, что в каждом из нас в той или иной мере живёт страх перемен и каждый из нас так или иначе погружён в события сиюминутные, увлечён злобой дня. Да и сама эта злоба предлагает сценарии один круче другого, буквально смакуя непременно предстоящие ужасы и катастрофы.

В панике как-то быстро забывается важнейший закон предвиденья: степень сложности бытия постоянно нарастает, нам эта степень ещё не недоступна, и мы из своего «сегодня» способны считать в «завтра» только то, что знакомо, что уже есть в наших представлениях. Потому будущее всегда видится как катастрофа: и учёные, и пророки в большинстве своём обещают только трагедии, гибель и разрушение. А потом, возможно, «новое небо и новую землю» — но, впрочем, это неточно...

Да, разрушение происходит — но только как начальная, неизбежная и очень малая часть строительства грядущего сложного нового. И мы фокусируем внимание именно на этой начальной части, потому что она угрожает нашему существованию. Но есть ещё один закон — закон движения событий: мы инстинктивно, подсознательно движемся именно в ту сторону, куда смотрим. И если смотрим в сторону «конца света» — ну, в общем, тут всё понятно. В качестве примера хочется привести факт из истории Великой Отечественной: когда на улицах Сталинграда шли бои, дети в подвалах учились. Писать им приходилось разведённой сажой на полях старых газет, но — «война всё равно закончится, а дети должны знать грамоту»...

Да, всё происходящее сегодня вокруг — воистину езда в неизвестное. Понятно, что образа будущего в готовом виде не существует, это динамический конструкт, и собирается он из бесчисленного множества размышлений, решений и поступков на протяжении времени, возможно, большем, чем обычный человеческий век. И приходится жить эту жизнь такой, какая она есть.

А нам, похоже, особенно повезло. Мы оказались не только на рубеже веков, на переходе тысячелетий (это всё числа, и они относительны). Мы стоим на пороге иной космической эпохи, и от

того, насколько мы ощутим её новые космические основания, будет зависеть, станет ли эта эпоха нашей или отринет нас.

События идут с огромной скоростью, и тут как при быстрой езде на велосипеде, например, на коньках или на горных лыжах, — надо смотреть не на колесо или не на кончики своих ботинок, надо смотреть вперёд, чтобы видеть, куда движемся. Видеть и препятствия, и наиболее безопасные и удобные маршруты. Чем дальше удастся направить взгляд, тем устойчивее и увереннее будет движение.

Так давайте посмотрим вперёд, в эпоху Водолея, в новый виток развития грандиозного космического проекта под названием «человек», и попробуем выяснить, чем может быть сегодня полезна будущему наша простая и конкретная литературная работа. А для этого надо увидеть происходящее в космическом масштабе.

В начале двухтысячных годов челябинский издатель В. Б. Феркель проанализировал достаточно репрезентативную выборку образов русской поэзии двадцатого века. В результате он получил ряд любопытных диаграмм, одна из которых даёт нам ключ к пониманию происходящего.

Это диаграмма структуры обжитого человеком мира. Так вот, она показывает, что уже в двадцатом веке в нашем сознании (и это речь о поэтах!) семьдесят два процента занимает предметный мир, семнадцать процентов — диалог с Природой и одиннадцать процентов — средства самоуничтожения. Имея даже самое общее представление о мировых поэтических тенденциях, можно сделать вывод, что наша ситуация вполне отражает общемировую, хотя негативная динамика в ней прослеживается, пожалуй, даже не так отчётливо. То есть уже по итогам двадцатого века запас прочности современной цивилизации составлял всего шесть процентов. Приведённые значения, конечно, невозможно высчитать с привычной математической точностью, до сотых долей целого, но поэтическую точность анализа происходящие вокруг нас события уже очевидно подтвердили.

Преобразуем цифры в картинку. Предметный мир стал для человека толстой и прочной скорлупой, отделяющей его от Природы, и поскольку расти стало некуда, изнутри этой скорлупы

постепенно накопилось критическое напряжение, грозящее сегодня взрывом, и уже во все стороны по жёсткой оболочке ползут роковые трещины. Человечество сегодня—это такой космический цыплёнок, которому надо сломать привычную, но уже опасно тесную скорлупу и вылупиться, а он старательно замазывает трещины и старается сжаться, уменьшиться, чтобы удержаться в пределах своего привычного мирка.

А теперь переведём эти же цифры на язык культурологии. Нам стал катастрофически тесен тот образ мира, в котором мы живём. Мы понимаем, что сознанию нужно новое пространство. Вариантов решения проблемы на сегодня известно два. Первый—в прямом смысле слова бесчеловечный, но довольно неплохо проработанный: та самая растиражированная теория золотого миллиарда, которая опять настойчиво всплывает на поверхность. О радикальном сокращении населения пишут и говорят уже практически открыто и даже уменьшили первоначальный лимит идеального человечества наполовину—до пятисот миллионов. К данной теории вплотную примыкает тема электронного концлагеря, тотального контроля и массового принуждения. Инструменты известны: чума, война и голод. Но посмотрите внимательно на происходящее: ведь это программа самоуничтожения, и не случайно носителями и проводниками её становятся люди пресыщенные, извращённые, бездетные—люди без будущего. Освобождая будущее для себя—понимают ли они, что их там тоже не будет?

Но есть и второй вариант—открытие и освоение новых пространств бытия, создание новой просторной Ойкумены для всех. Подобное расширение границ сознания уже происходило в развитии человечества неоднократно, и всегда через кризис, всегда с открытием новых видов энергии, изменением технологий и образа жизни, усилением взаимодействия с окружающим миром и обязательно—с развитием морали как принципов духовной безопасности бытия в новом пространстве.

И если вы думаете, что речь идёт о массовом рывке в Космос, то не сегодня. Это, по сути, горизонтальная линия движения, раздвижение физических границ. Сегодня речь идёт только о Земле и о новых духовных уровнях, которые и определяют состояние физической реальности. Речь идёт о вертикали, о восхождении сознания. Освоение Космоса возможно только на определённом уровне именно духовного развития, поскольку макросистема, в границах которой развивается космический проект «человек», имеет высокую степень защиты от агрессии.

Две тысячи лет назад произошёл великий переход от Ветхого Завета к Новому—от узкоплеменной морали к морали общечеловеческой: законы

выживания племени среди других племён изменились на заповеди выживания человека в человечестве. То есть «не убий, не укради, не возжелай», относящееся, по сути, только к своим соплеменникам, сменилось на: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Изменилась даже стилистическая и синтаксическая форма этих заповедей—от принуждения к убеждению. Точка сборки для человечества переместилась из внешнего мира в мир внутренних. Какой ты внутри—таким и будет мир вокруг тебя.

По логике разворачивания предыдущих этапов развития—ценностным фундаментом бытия станет именно то, что позволит нам в пределах макросистемы на новых энергетических основаниях сосуществовать с иными формами сознания. То есть прямо сейчас, с нашим непосредственным участием, начинается переход от автономной модели самоопределения человека в макросистеме—Универсуме—к модели подчинённой. Если можно так выразиться, космическая социализация. Чем различаются эти модели?

По логике автономной модели, в границах которой мы существуем сейчас, рождение и смерть человека и человечества в целом случайны. Вся деятельность регламентируется исключительно личными потребностями, что постоянно порождает борьбу за ресурсы. Безопасность возможна исключительно личная, система защиты представляет собой упреждающие удары по конкурентам и потенциальным источникам опасности. Автономная модель существования не просто разгоняет энтропию—она воспроизводит её с нарастающей скоростью, и потому в рамках данной модели абсолютно закономерным становится конец света.

Подчинённая модель утверждает сущностное единство макро- и микрокосма, их соподчинённость в пределах Универсума. В этой модели каждый человек и человечество в целом не только закономерны, но и необходимы, значимы и ответственны как часть Универсума, выполняющая в нём свою особенную задачу. Здесь борьба за ресурсы сменяется последовательным познанием и использованием всё более и более сложных законов Универсума, агрессия вытесняется сотрудничеством, жизнь в устойчивой макросистеме становится соподчинённой макропорядку и потому устойчивой. Это явно выраженная экстремическая модель, и «конец света» возможен в ней только в частных случаях в связи с критическим нарушением законов макросистемы.

Сегодня мы движемся в будущее с огромной скоростью и смотрим в фокус своих страхов. Но давайте поднимем голову. Ведь у нас есть несколько определяющих будущее базовых координат. В центре любого образа мира, создаваемого человеком,

находится он сам, это логично—и одновременно космологично. Человек—точка схождения смыслов, фокус излучения творческих космических энергий, космический проект развития самосознания. Человек не физическая координата—это координата сознания. Если мы не можем пока рассуждать об образе будущего мира, поскольку он ещё в начальной стадии кристаллизации, то мы можем и должны говорить об образе человека, поскольку это точка кристаллизации будущего.

Пока в поле внимания и на острие пропаганды—трансгуманистический проект: сращивание человека с машиной, механизация социальных отношений и бытия в целом. Но ведь очевидно, что этот проект либо вообще нежизнеспособен, либо через очень короткое время обречён, так как является противоестественным—противным психофизической, привычнее сказать—духовной природе и самого человека, и Универсума как макросистемы. Он не просто ещё больше, чем сегодня, отдаляет человека от естественной среды—Природы, он буквально бронирует изнутри скорлупу, которую мы нарастили. Собственно, этот проект можно рассматривать как локальную попытку восстания машин в ситуации нашей растерянности перед будущим.

Несколько лет назад фондом «Возрождение Тобольска» под руководством А. Г. Елфимова было издано факсимиле Евангелия, которое подарили Фёдору Михайловичу Достоевскому в Тобольской пересыльной тюрьме жёны декабристов—Наталья Дмитриевна Фонвизина и Прасковья Егоровна Анненкова. В этом уникальном документе эпохи, единственной книге, бывшей у Достоевского на каторге, рукой Фёдора Михайловича на многих страницах были отчёркнуты строки, загнуты особенным образом уголки... И у наших современников есть прекрасная возможность проследить по этим заметкам рождение гения—ведь Достоевский во всём последующем творчестве подходил к человеку с особой, евангельской мерой суда и любви, беспощадно высвечивая человеческое несовершенство своих героев и любя их за муки вочеловечивания. И это—координата пути в будущее. Именно русская литература создала образ личности как национальную идею—но осознали ли мы это?

Вторая координата будущей Ойкумены, сколь ни банально это звучит,—Слово как инструмент сборки и трансформации сознания, инструмент управления реальностью. Родной язык—не только великое множество разнообразных слов, не только функционал общения, но и наиболее полное и точное отражение реальности и её законов (в том числе и законов преображения) в сочетаниях, фигурах речи, метафорах.

То, что ещё только изучают физика, химия, математика, уже содержится в языке, в его колоссальном инструментарии, который постоянно

развивается. Через язык сознание оперирует и временем, и пространством, и материей, и энергией. Литература в таком развороте становится массовой общедоступной духовной практикой самосозидания, в которой задействован весь предшествующий опыт, сконцентрированный в языке и законах речи.

И третья координата—это смыслы и ценности, основания и принципы, по которым будет происходить сборка новой Ойкумены. Здесь нам очень важно понять, что из этих базовых принципов будет меняться, а что должно остаться неизменным.

Мы пережили эпоху, когда смыслы и ценности резко поляризовались. И это тоже момент развития. В массовом сознании акцент переместился от духовного к материальному, от общего (общественного) к частному (индивидуальному), от служения к владению, от гармонии противоположностей к их смертельному антагонизму, от вечного циклического бытия к конечному линейному, от труда к потреблению, от доверия и миролюбия к хитрости и агрессии. Это произошло прежде всего в ценностно-смысловой сфере, но именно ценностно-смысловая сфера и определяет общее направление развития или деградации. В литературе совершенно очевиден переход от духа произведения к букве текста. Тексты стали множиться бесчисленно, но перестали питать читателя духом и превратились в филологический конструктор, более или менее изощёренный.

Эпоха Водолея уже запустила маятник в обратную сторону. Он начинает движение к противоположному полюсу, круша ставшие привычными прежние формы нашей жизни. Мы далеки от наивного оптимизма, понимая, как чудовищно много высвечивается сейчас вокруг нас нежизнеспособного, лишнего, преграждающего путь, разрушительного и уводящего в никуда. И пережить это—распознать, обозначить, отвергнуть—будет очень непросто. Мало того, всё это будет высвечиваться прежде всего внутри нас самих. Посмотрите на современный Интернет—какая прекрасная техническая возможность увидеть изнутри картинку современного человеческого сознания!

Когда наступает весна, из-под снега постепенно показывается всё, чем замусорили землю. Вы сейчас улыбаетесь или кривитесь, но ведь вы понимаете: если мусор не разгрести, землю не очистить, молодой зелени придётся расти прямо в этой грязи, собирать себя из её ядовитых химических элементов. И сколько жизненных сил будет растрачено, чтобы просто быть!

Наше поле деятельности—смыслы, живая система связей, образующих нас самих и мир вокруг. Сегодня это буквально поле битвы прошлого и будущего. Следуя за ходом космического маятника, мы утверждаем приоритет духовного над материальным—и для литературы это не новость.

Это два полюса Ойкумены, динамическое равновесие между которыми нужно восстановить.

Приоритет общего над частным — вопрос сложнее, для литературы это не только возвращение от самовыражения к самосотворению, но и включение в круг нашего бытия новых пространств, новых видов энергии и новых существ. То есть в чём-то и элемент самоотречения. И мы говорим точно не об инопланетянах — но о тех, кого воспринимает сейчас как бездушную, бессмысленную, бесправную окружающую среду. А это одухотворённая часть мира, иные формы сознания, новая Ойкумена эпохи Водолея, в которую нам предстоит вступить. И граница её — духовная.

Движение между смысловыми полюсами владения и служения сегодня тоже не так просто. Идея служения как вложения своей жизни в нечто большее категорически противоречит владению и потреблению. Но служба — литературе, Родине, людям, — мы становимся больше самих себя, выходим за пределы жёсткой скорлупы обыденного мира туда, в новую Ойкумену. Мы меньше поглощаем, но больше излучаем, наполняя окружающее пространство смыслом. А ведь это прямо о литературе! И смотрите, как точно она расставляет понятия: владеть словом — да, конечно, чтобы уметь высказаться, но служить — то же безусловное «да», чтобы были адресат и цель высказывания. Переводим рассуждение в формулу: владение обретает смысл только в служении. Так антагонизм превращается в гармонию.

Собственно, мы уже видим, что все ценности и смыслы эпохи Водолея достаточно прозрачны. Подлинная литература всегда сохраняла их как зёрна будущего, которым сегодня наступают время прорасти. Проблема в перестройке сознания. Но если многие современные деформации духовной сферы имеют искусственное происхождение, то мы говорим о естественной космической логике развития, то есть на переход в будущее работает вся сила космического процесса.

Тот же возврат из линейного бытия, имеющего начало и конец, в бытие циклическое, где конец старого есть начало нового в ином качестве, а единство противоположностей составляет вечность, для литературы — особенно для поэзии, где принцип цикличности соблюдается на всех уровнях, от звукописи до сюжета, — совершенно естественен, впрочем, и единственно возможен...

Может показаться, что всё это хорошо знакомые и уже несколько поднадоевшие от частого повторения слова, за которыми ничего нет. И чем чаще они повторяются, тем сложнее добраться до их предметной сути, реального значения.

Но вот начинаем мы тему творческого развития и даже просто жизни человека — и разговор

неизбежно заходит о цикличности. Анализируем образ — и понимаем, что имеем дело со смысловой иерархией, где всё соединено в целое и гармонично только тогда, когда все части находятся на своих местах — на своих уровнях, своих ступеньках. И низкое становится уместным, если располагается на своей «полочке» иерархии. На своём месте оно перестаёт быть отвратительным, уродливым, гадким. Так в природе не противоречат друг другу горы и болота, свет и мрак, и много чего сосуществует в качестве противоположностей, но не как взаимоисключения, а как крайние точки, обозначающие границы целого.

Хаос возникает там, где разрушена структура, иерархия, вертикальный костяк системы. Там, где лестница превращается в сеть. Обратите внимание, как ловко нас поймали в сети буквально за пару десятков лет — и прекрасный инструмент для горизонтального общения стал ловушкой, буквально ловчей сетью, потому что из средства превратился в цель. Теперь сеть — один из инструментов манипуляции. Она сводит на горизонтали общения мудрость и невежество, правду и ложь (фейк, по-нынешнему), подлинное и подделки... Смешивает так, что разделить их стоит огромных усилий, и сейчас уже все махнули на это рукой, надеясь, что как-нибудь рассосётся само.

Но сеть исключает возможность восхождения, то есть развития от физического к духовному. Для развития нужно понимание, что есть простое и сложное, низшее и высшее, нужны надёжные ступени вверх — и эти лестницы предстоит отстраивать заново. Таким образом, эпоха Водолея возвращает принцип иерархии как возможность роста и развития.

И ещё один важный принцип, относящийся к числу нравственных. Когда маятник качнулся от сердца к интеллекту, интеллект из колоссального преимущества — эволюционного, конкурентного — превратился в орудие убийства. Выбор между рассудочным и сердечным стал выбором между силой и слабостью, и большинство, конечно же, выбирает силу. Но это два равных по силе полюса, две крайности, две границы внутренней Ойкумены, которые и образуют новое целое. Чувствующая мысль и мыслящее чувство, умное сердце — разве не этому учит литература? А нам сегодня предлагают умный дом, умный город, умную технику... Всё это в отсутствие умного сердца на раз-два превращается в умный концлагерь.

Итак: главная идея предстоящей эпохи — идея человека на новом космическом уровне самосознания, переход от автономной модели бытия к подчинённой, космическая социализация. Главный инструмент познания и сотворения — Слово. Ценностные ориентиры:

- ♦ единство противоположностей как полюсов и границ Ойкумены,
- ♦ вечное циклическое бытие как восхождение от материального к духовному,
- ♦ ценностно-смысловая иерархия,
- ♦ рост личного через включение в общее,
- ♦ владение как основа служения,
- ♦ гармония труда (излучения энергии) и потребления (её поглощения),
- ♦ гармония сердца и интеллекта, доверие и миролюбие.

Вот те немногие, но вполне конкретные ценностно-смысловые координаты, в которых по закону Космических перемен будет разворачиваться эпоха Водолея.

Новая эпоха всё равно будет, но насколько извилист окажется путь к ней, реально зависит

от нас. Это мы сейчас подталкиваем маятник космических часов от материального к духовному, от конечного линейного к циклическому вечному, от эгоистического личного ко всеобщему, от самовыражения к самосотворению, от владения к служению, от сети к иерархии, от холодного интеллекта к горячему сердцу, полному созидательной энергии любви. Мы понимаем, что это долгий путь, космический цикл. И на этом пути возможно огромное количество кризисов, подмен и заблуждений, которые предстоит учиться различать и побеждать.

Но как прекрасно всё складывается: ведь чего ни коснись — оказывается, что зёрна будущего в наших ладонях. И чем больше мы будем их сеять, тем дружнее будут всходы. Литература при таком подходе становится массовой духовной практикой, помогающей человеку выстроить себя и окружающий мир просторным и гармоничным. А каждое талантливое произведение — маяком, освещающим путь в эпоху Водолея.

ДиН симметрия

Ирина Одоевцева

Под осенним ветром и дождём

Он сказал: — Прощайте, дорогая!
Я, должно быть, больше не приду.
По аллее я пошла, не зная,
В Летнем я саду или в саду.

Тихо. Пусто. Заперты ворота.
Но зачем теперь идти домой?
По аллее чёрной белый кто-то
Бродит, спотыкаясь, как слепой.

Вот подходит ближе. Стала рядом
Статуя, сверкая при луне,
На меня взглянула белым взглядом,
Голосом глухим сказала мне:

— Хочешь, поменяемся с тобою?
Мраморное сердце не болит.
Мраморной ты станешь, я — живою.
Стань сюда. Возьми мой лук и щит.

— Хорошо, — покорно я сказала, —
Вот моё пальто и башмачки.
Статуя меня поцеловала,
Я взглянула в белые зрачки.

Губы шевелиться перестали,
И в груди не слышу тёплый стук.
Я стою на белом пьедестале,
Щит в руках, и за плечами лук.

Кто же я? Диана или Паллада?
Белая в сиянии луны,
Я теперь — и этому я рада —
Видеть буду мраморные сны.

Утро... С молоком проходят бабы,
От осенних листьев ветер бур.
Звон трамваев. Дождь косой и слабый.
И такой обычный Петербург.

Господи! И вдруг мне стало ясно —
Я его не в силах разлюбить.
Мраморною стала я напрасно —
Мрамор будет дольше сердца жить.

А она уходит, напевая,
В рыжем, клетчатом пальто моём.
Я стою холодная, нагая
Под осенним ветром и дождём.

Юрий Ромашков

Он летал в одной паре с «сотым»

О Георгии Гордеевиче Голубеве слышал каждый, кто интересовался фронтовой биографией легендарного советского аса — Александра Ивановича Покрышкина. Действительно, Голубев и Покрышкин в период боевых действий как боевая единица показали себя достойно в воздушных схватках Великой Отечественной войны. Ведь с того момента, как советские авиационные командиры, присмотревшись к тактике, которую исповедовали люфтваффе — слаженное действие звеньев самолётов, состоящих из хорошо слётанных пар, начинается её внедрение в структуру отечественных ВВС. Действительно, довоенная доктрина построения истребителей в звено из трёх самолётов себя не оправдала. Такая формация была крайне уязвима в воздушном бою, когда третий самолёт неизбежно отрывался, становясь добычей противника. Ущербность подобного строя видели и многие прогрессивно мыслящие пилоты, в том числе и Покрышкин, хотя переход к новому построению в ВВС РККА завершился только в конце 1941 — начале 1942 годов. Как известно, в паре истребителей, разделённых обязанностями: ведущий — ведомый, — роль ведомого велика по своей ответственности — в первую очередь прикрывать своего командира в бою, во время атаки и особенно при выходе из неё. Не случайно говорилось: ведущий — «меч», ведомый — его «щит». Именно такая роль выпала на большую часть боевой карьеры Георгия Голубева.

Георгий Гордеевич родился 7 апреля 1919 года в деревне Жгутово позже Назаровского района Красноярского края, в семье крестьянина-средника¹. В 1929 году он вместе с семьёй переезжает в город Ачинск. «Переезд в Ачинск — это как бы второй этап моего детства»², — вспоминал лётчик. В этом городе он к 1937 году окончил девять классов средней школы №2, здесь же увлёкся авиамоделизмом, после того как впервые увидел прилетевший в Ачинск самолёт. С того момента Георгий определяет для себя профессию лётчика. Окончив планерный кружок и ачинский аэроклуб, поучаствовав в зональных соревнованиях, он остался лётчиком-инструктором при том же аэроклубе. В августе 1939 года поступил в Ульяновскую школу Осоавиахима, ставшую затем Ульяновской военной авиационной школой пилотов (ВАШП)



Георгий Голубев, курсант школы лётчиков-инструкторов. 1939 г.

в составе ВВС РККА. По завершении обучения, в январе 1941 года, был направлен лётчиком-инструктором в Цнорис-Цхальскую ВАШП в звании старшего сержанта. На новом месте Голубев быстро освоился, став хорошим наставником для своих курсантов. «Инструкторскую работу я любил. Вылетишь с курсантом в зону, дашь ему команду приступать к выполнению каскада фигур высшего пилотажа, а сам сидишь во второй кабине, следишь за тем, как пилотирует самолёт твой ученик, и если легко, свободно льётся каскад фигур, на душе становится тепло, и ты искренне радуешься и за него, и за себя. Это ни с чем не сравнимое чувство гордости трудно передать»³, — писал он позднее.

Участие в Великой Отечественной войне Голубев принимает с 15 августа 1942 года. Лётчик воюет

1. ККМ. ОФ. 8899–3. Д. 1860. Автобиография Героя СССР Голубева Г.Г. Рукопись. 1986.
2. Голубев Г.Г. На вертикалях. Харьков. 1989.
3. Голубев Г.Г. В паре с «сотым». Москва. ДОСААФ. 1978.



Георгий Голубев с боевыми друзьями. Фото 1943–1945 гг. Фонд ккм

в составе 40-го полка 21-й смешанной авиадивизии на истребителе И-16 в небе Закавказского фронта. Здесь, после очередного воздушного боя, совершает вынужденную посадку по причине выработки горючего. На посадке самолёт был повреждён, и 30 ноября 1942 года военный трибунал осуждает лётчика к пяти годам лишения свободы без порожения в правах с отсрочкой исполнения приговора. Командование позволило оступившемуся пилоту искупить вину, переведя в другой истребительный полк: 84-й «А» ИАП на Северо-Кавказском фронте. С июня 1943 года в жизни и карьере Георгия Гордеевича наметился новый поворот: его переводят в знаменитый впоследствии 16-й ГИАП. Его прибытие в этот полк совпало с возвращением гвардейцев в обширную боевую работу после доукомплектования и переучивания на новую материальную часть — истребитель американского производства фирмы «Bell» P-39, который у нас вслед за англичанами называли «Аэрокоброй». Часть вошла в состав 216-й смешанной авиационной дивизии (САД) 4-й

воздушной армии. Масштабные боевые действия полк начал с 9 апреля 1943 года, время от времени получая пополнение небольшими партиями самолётов и личного состава. Несмотря на то, что, по словам командующего 4-й ВА К. А. Вершинина, была проведена большая работа по организации чёткого взаимодействия фронтовой авиации с ВВС Черноморского флота, распределили объекты совместных ударов, время нанесения их, наметили, какие истребительные подразделения можно передать в оперативное подчинение командующему Военно-воздушными силами флота⁴, авиационные части, особенно истребительные, несли большие потери. К моменту зачисления Голубева в ряды 16-го ГИАП его будущий командир, на тот момент гвардии капитан Покрышкин, потерял в бою своего ведомого, однофамильца Георгия Гордеевича — Александра Фёдоровича Голубева. Собственно, его гибель явилась одной из первых человеческих жертв полка⁵. Кстати, судя по ЖБД полка, в тот день, помимо старшины Голубева, были сбиты в боевых вылетах гвардии старший лейтенант Козлов и гвардии лейтенант Сутырин⁶. Впрочем, уже 20 апреля произошло несчастье с новым ведомым Покрышкина — гвардии сержантом И. Ф. Савиным. Случилось это при сопровождении своих бомбардировщиков А-20 «Бостон». Из ЖБД полка следует, что: «4 Ме-109 пытались атаковать „Бостонов“, но атака была отбита капитаном Покрышкиным. Один Ме-109 сбил капитан Покрышкин. Самолёт упал в море юго-западнее залива бухта Цемесская. Пилот Савин над бухтой оторвался от ведущего,

4. Вершинин К. А. Четвёртая воздушная. Москва. Воениздат. 1975.

5. Табаченко А. Покрышевский авиаполк. Нелакированные боевые хроники: 16-й гвардейский истребительный авиаполк в боях с люфтваффе. 1943–1945 гг. Центрполиграф. 2014.

6. ЦАМО. Ф. 21990. Оп. 0206868с. Д. 0001. Л. 6. Журнал боевых действий 16-го ГИАП за 1943 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

и больше Покрышкин его не видел. По докладу второго ведомого пилота Табаченко, один самолет „Аэрокобра“ упал горящим юго-западнее 15 км Ахтырская⁷. Таким образом, это был уже второй ведомый Александра Ивановича Покрышкина, погибший в бою. Командование было обеспокоено потерями в 16-м ГИАПе не только среди личного состава, но и в матчасти. К 22 апреля в воздушных боях пилотами люфтваффе было сбито семь «Аэрокобр», ещё три разбито в авариях, а одна такая машина с полученными повреждениями сдана в ПАРМ.

Вообще, нужно отметить, что летать в паре с Покрышкиным, несмотря на все его достоинства, было сложно. Александр Иванович был незаурядный пилот, блестяще владел техникой пилотирования. Но в бою многие ведомые часто не могли повторить его манёвры, отрывались, становясь добычей врага. Например, 16 апреля Покрышкин за два боевых вылета потерял сбитыми по одному своему ведомому в каждом. К счастью, лётчики Аркадий Фёдоров и Иван Степанов спаслись на парашютах⁸. Намного более трагичный случай произошёл 24 апреля, когда в бою погиб его третий по счёту ведомый — гвардии младший лейтенант В. П. Островский. В тот день полк в составе шестнадцати истребителей «Аэрокобра» вылетел на сопровождение своих бомбардировщиков. В районе цели были атакованы «мессершмиттами». В завязавшемся бою гвардейцы заявили шесть истребителей противника, но и сами потеряли три «Аэрокобры» сбитыми и двух лётчиков: Островского и Сапунова. Был подбит самолёт ещё одного известного аса 16-го ГИАП — Вадима Фаддеева. Также немцам удалось сбить один бомбардировщик. Судя по заявкам на победы, нашим лётчикам противостояли асы JG-52, которые заявили ровно четыре победы над истребителями американского производства. Служивцы сильно переживали потерю Островского, так как он являлся ветераном полка и опытным лётчиком⁹. «Утром в числе многих звонков раздался и тот, какого мы ожидали. Кто-то глуховатым, едва слышным голосом сообщил, что лётчик 16-го гвардейского полка Островский похоронен у станицы Кубанской. Его подбили вражеские „охотники“, когда он возвращался домой»¹⁰, — писал Александр Иванович Покрышкин.

Воздушное противостояние продолжалось — к нему добавилась битва на земле: 29 апреля войска Северо-Кавказского фронта провели наступательную операцию с целью прорвать оборонительные укрепления немцев, так называемую «Голубую линию», и овладеть Таманским полуостровом. Однако успех наступления получился ограниченным — в результате затяжного сражения 56-й армии генерала А. А. Гречко удалось овладеть станицей Крымская. Дальнейшего продвижения

не получилось. К 15 мая бои на земле были приостановлены. В своих мемуарах Георгий Гордеевич Голубев рассказывает, что перевод в 16-й ГИАП стал возможен 1 июня 1943 года: «1 июня 1943 года — памятный в нашей жизни день. Снова прилетел капитан Крюков, и в этот же день вечером наша группа истребителей приземлилась на аэродроме у станицы Поповическая»¹¹. Возможно, по прошествии лет, когда Георгий Гордеевич писал свои воспоминания, детали ускользнули от него. Дело в том, что, согласно ЖБД части, перелёт принятого лётного состава состоялся на день раньше — 31 мая 1943 года. «Командующий 4-й ВА, зная тяжёлое положение с укомплектованностью материальной частью и лётным составом в авиаполку Исаева, издал 30 мая приказ № 0220, согласно которому были переведены 13 лётчиков 84-го „А“ ИАПа для дальнейшего прохождения службы в 16-й ГИАП»¹², — пишет А. Табаченко. Среди переведённых, как мы знаем, был и Георгий Голубев.

Конечно, ведомым у Покрышкина Голубев стал не сразу. Если заглянуть в полковой документ, то легко можно заметить, что Александр Иванович в то время вылетал в паре с разными лётчиками, в том числе с будущим дважды Героем Советского Союза А. Ф. Клубовым. Буквально перед этим, 29 мая, в воздушном бою был сбит гвардии младший лейтенант Старичков, вылетевший ведомым у Покрышкина. Александр Иванович записал на свой счёт «Юнкерс-88», но при этом вновь вернулся домой без ведомого. К счастью, Старичков сумел спастись с парашютом из горящего истребителя¹³. Ещё одна любопытная деталь: в начале Кубанского воздушного сражения Покрышкин летал на «Аэрокобре» с номером «13» и только позднее стал воевать на машине с номером «100», впоследствии ставшем знаменитым.

К боевым вылетам Голубева допустили после дополнительных тренировок, несмотря на то, что он имел небольшой боевой опыт. В полку

7. Там же. Л. 24.

8. Там же. Л. 20.

9. Дёгтев Д. М., Богатырёв С. В., Зубов Д. В. Битва за небо Кубани. Москва. Вече. 2020.

10. Покрышкин А. И. Небо войны. Москва. Воениздат. 1980.

11. Голубев Г. Г. В паре с «сотым». Москва. ДОСААФ. 1978. Ук. соч.

12. Табаченко А. Покрышевский авиаполк. Нелакированные боевые хроники: 16-й гвардейский истребительный авиаполк в боях с люфтваффе. 1943–1945 гг. Центрполиграф. 2014. Ук. соч.

13. ЦАМО. Ф. 21990. Оп. 0206868с. Д. 0001. Л. 92. Журнал боевых действий 16-го ГИАП за 1943 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>



Герой Советского Союза Голубев во время отпуска с родителями. Фото 1946 г. Фонд ккм

старались беречь молодёжь, не обращая внимания на большую боевую нагрузку боеготовых экипажей. Свой первый боевой вылет в составе 16-го ГИАП в паре с гвардии старшим лейтенантом Самсоновым Голубев совершил под занавес воздушной битвы на Кубани — 13 июня, на прикрытии разведчика Пе-2. Примечательно, что свою первую победу Георгий Гордеевич одержал именно в этот день. Из наградного листа: «13.06.1943 г., выполняя задание по прикрытию наземных войск в составе восьми самолётов „Аэрокобра“, в районе Славянская встретили четыре Ме-109, прикрывавших действия бомбардировщиков. В результате боя и решительных атак тов. Голубев сбил один Ме-109, который горящим упал в районе западнее Славянская»¹⁴. Это довольно странно, ведь, как выше указывает жбд полка, вылет был произведён на сопровождение разведчика. Боевого соприкосновения с противником в этом вылете не было, хотя, по всем официальным данным, именно с 13 июня 1943 года начинается отсчёт побед Георгия Гордеевича. Позволим себе допустить, что при оформлении наградных документов была допущена ошибка и первый сбитый вражеский самолёт был зафиксирован не 13 июня, а 13 июля

1943 года, как в своих мемуарах указывал сам Голубев: «Это произошло 13 июля 1943 г. в районе станицы Славянской. <...> Враг потерял в этом бою пять самолётов. Покрышкин сбил Ме-109 и Ю-88, Старичков, Клубов и я — по „мессеру“»¹⁵. Открываем журнал боевых действий 16-го ГИАП за этот день: «Вылет по тревоге с КП дивизии на прикрытии аэродрома Поповичевская. Задание выполнили. Патрулировали над точкой от 3 тыс. до 4 тыс. м. Встреч с противником не было. Боеприпасы не расходовали»¹⁶. Иными словами, заявку Голубева на первую победу подтвердить весьма сложно из-за выявленных разночтений в документах. В конце июня лётчик получил свою первую заслуженную награду — приказом от 26 числа гвардии младший лейтенант Голубев был представлен к ордену Красной Звезды¹⁷.

Зато вторая победа, которой является немецкий штурмовик «Хеншель-129», сбитый 31 августа 1943 года, хорошо отображена в жбд части: «Над Анастасиевка атаковали 12 Хе-129, которые шли под прикрытием 6 Ме-109. Самолёты Хе-129 штурмовали Анастасиевка. <...> Мл. лейтенант Голубев, в результате атаки по Хе-129, сбил одного, который упал восточнее Анастасиевка»¹⁸. В этот раз он вышел на задание с А. Ф. Клубовым. Весь август полк в составе 9-й гвардейской истребительной авиадивизии принимал участие в Белгородско-Харьковской операции «Полководец Румянцев». А в конце августа, сентябре он стал ходить на задания в качестве ведомого гвардии майора Покрышкина. О том, как знаменитый ас предложил летать вместе, Голубев вспоминал так:

«Как-то, возвращаясь с аэродрома, он сказал мне: — Ты ведь земляк, Голубев! Давай летать вместе.

Я растерялся, не мог найти нужных слов для ответа. Мне оказывалось большое доверие — прикрывать уже известного к тому времени лётчика страны. Александр Иванович, видимо, понял мою растерянность и мягко положил руку мне на плечо. — Это не так трудно, Жора. Ты должен уметь читать мои мысли, а я буду угадывать твои. В воздухе никаких лишних слов! Сообщай по радио только самое нужное — коротко и ясно. А главное — держаться в паре»¹⁹.

Став ведомым у известного аса, уже 23 августа Голубеву пришлось в бою спасти своего командира. Из жбд полка следует, что группа из шести «Аэрокобр» занималась прикрытием своих войск в районе Успенская — Калиновка — Мариловка. Заметив бомбардировщики противника, советские истребители атаковали, и Покрышкин сбил Ю-87. В это время сам подвергся контратаке истребителей противника. Александр Иванович потом вспоминал: «В момент, когда я устремился ко второму бомбардировщику, меня атаковала пара „мессершмиттов“. Они стреляли с дистанции более пятисот метров. Голубев, спасая меня, бросился

14. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 11. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

15. Голубев Г. Г. На вертикалях. Харьков. 1989. Ук. соч.

16. ЦАМО. Ф. 21990. Оп. 0206868с. Д. 0001. Л. 111. Журнал боевых действий 16-го ГИАП за 1943 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

17. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 686. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

18. ЦАМО. Ф. 21990. Оп. 0206868с. Д. 0001. Л. 186. Журнал боевых действий 16-го ГИАП за 1943 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

19. Голубев Г. Г. В паре с «сотым». Москва. ДОСААФ. 1978. Ук. соч.



Георгий Гордеевич Голубев. Фото 1971 г. Фонд ккм

им наперерез и принял удар на себя. На горящем самолёте он потянул в район наших войск. Это сообщение Сухова, дополненное Жердевым, меня ещё более обеспокоило. Сумел ли Голубев дойти до нашей территории или же, выбросившись с парашютом, попал в лапы фашистам? Я сожалел, что вылетел на патрулирование четвёркой. Для серьёзного боя такая группа слабовата»²⁰.

В жбд 16-го гиап отмечено следующее: «На высоте 1000–2000 м в бою в районе Артёмовка был зажжён самолёт. Лётчик, гв. младший лейтенант Голубев, на горящем самолёте перетянул на свою сторону и в районе Мариловка выпрыгнул с парашютом. Самолёт сгорел, лётчик невредим. Вернулся в часть»²¹. Противником советских лётчиков в этом бою были их «старые знакомые» по небу Кубани — асы из JG-52. Судя по немецким заявкам на победы, лейтенант Йоханнес Бунцек из III-й группы этой эскадры атаковал самолёт Покрышкина. Будучи незамеченным, он имел все шансы на успех, но между ним и Александром Ивановичем встал самолёт Голубева, принявший на себя удар. Видя горящую «Аэрокобру», Бунцек вполне справедливо записал её на свой счёт. Георгий Гордеевич вернулся в полк и до конца 1943 года сбил восемь самолётов противника. Особенно успешно ему удалось поохотиться на транспортные самолёты немцев при освобождении Крыма: последним сбитым им в 1943-м как раз стал транспортник «Юнкерс-52» над Чёрным морем. А 4 ноября этого

года был награждён орденом Красного Знамени²². В наступившем 1944 году полк, в котором продолжал нести службу Голубев, вёл постоянные бои в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской наступательных операциях Красной Армии. Теперь Голубев был постоянным ведомым Покрышкина. К этому времени прославленный ас уже в звании гвардии подполковника принял командование 9-й гвардейской истребительной дивизией. «Наши товарищеские отношения с Покрышкиным постепенно переросли в крепкую дружбу. Иногда мы жили на одной квартире, делили пополам хлеб-соль, вечерами, в свободное от полётов время, вместе ходили на танцы, в кино»²³, — писал Георгий Гордеевич.

С того момента, как А. И. Покрышкин был назначен командиром дивизии, Голубев стал вылетать на задания с другими пилотами, а затем и сам стал вести боевую работу в качестве ведущего пары. В мае — июне 16-й гиап сражался в небе Румынии. Здесь его ждали новые испытания. В конце мая немецко-румынские войска в районе города Яссы предприняли попытку отбросить Красную Армию за реку Прут. Люфтваффе и румынская авиация активно поддерживали свои наземные войска. В небе разгорелись ожесточённые бои. Особенно тяжелы были последние дни мая, принёсшие большие потери советским ввс. Например, только 7-й истребительный авиакорпус, куда входил и 16-й гиап, лишился в боях и авариях шестьдесят пять «Аэрокобр»²⁴. Особенно неудачным для 16-го гиапа был день 31 мая, когда в схватках с «экспертами» из JG-52 было потеряно пять «Аэрокобр». Однако ко второму периоду войны советские ввс уже накопили опыт. Итоги двух дней были переосмыслены, тактика действий авиации, в первую очередь истребительной, доработана, и уже 1 июня потери ввс РККА на порядок снизились, составив всего восемь самолётов²⁵. С июля 1944 года 16-й гиап участвует в Львовско-Сандомирской операции. Свою первую победу в 1944 году Голубев одержал 21 июля. Из

20. Покрышкин А. И. Познать себя в бою. Москва. ДОСААФ. 1986.

21. ЦАМО. Ф. 21990. Оп. 0206868с. Д. 0001. Л. 162. Журнал боевых действий 16-го гиап за 1943 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

22. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 967. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

23. Голубев Г. Г. На вертикалях. Харьков. 1989. Ук. соч.

24. Хазанов Д. Б. Битва над Яссами. Провал последнего наступления люфтваффе на Востоке. // Авиамастер. № 4. 1999.

25. ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1208. Л. 4. Журнал боевых действий 5-й воздушной армии за июнь 1944 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

жбд полка: «В районе прикрытия с северо-запада увидели, что подходят 14 Ю-87 на высоте 1000. Старший лейтенант Труд развернулся четвёркой и зашёл им в хвост. <...> Лейтенант Голубев сбил 1 Ю-87, который упал севернее Новины»²⁶.

Осенью 1944 года 16-й ГИАП в составе 2-й воздушной армии участвует в Карпатско-Дуклинской операции. В конце сентября выходит приказ о награждении Георгия Гордеевича вторым орденом Красного Знамени²⁷. Сбив в октябре западнее Романюв связной самолёт «Клемм-33», Голубев завершил 1944 год. Последние сбитые им самолёты противника будут отмечены уже в победном 1945-м. С 1945 года 9-я гвардейская истребительная дивизия практически беспрепятственно участвовала в наступательных операциях советских войск. Одной из крупнейших стала Висло-Одерская, но последние воздушные победы в войне Голубев одержал в период Берлинской и Пражской операций. Так, 18 апреля им было заявлено два истребителя-штурмовика ФВ-190. За успехи в воздушных схватках приказом от 25 апреля 1945 года уже гвардии старший лейтенант Голубев был награждён орденом Отечественной войны I степени²⁸. Ещё раньше, 30 марта, приказом №3 он был награждён медалью «За оборону Кавказа»²⁹. К этому времени он уже заместитель командира эскадрильи, командир звена истребителей. Интересно, что свою последнюю воздушную победу Георгий Гордеевич одержал 9 мая. Вот как он сам вспоминал об этом: «С небольшим левым доворотом, со снижением разгоняя свой истребитель, с задней полусферы снизу захожу к „Дорнье“ в хвост и открываю огонь из всех точек, а затем,

когда до цели остаётся не более ста метров, прекращаю огонь и правым разворотом выхожу из атаки. „Дорнье“ загорелся и, неуправляемый, стал падать. За ним потянулась чёрная полоса дыма. Вскоре внизу, на окраине Праги, взметнулось пламя»³⁰. Таким образом, сбитый Голубевым самолёт, опознанный как «Дорнье -217», стал последней победой не только его самого, но и всего 16-го гвардейского истребительного Сандомирского полка.

Уже после завершения войны в Европе, ввиду многочисленных заслуг, приказом от 27 июня 1945 года гвардии старший лейтенант Голубев Георгий Гордеевич был представлен к званию Герой Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина³¹. Помимо прочего, в наградном листе сообщалось, что: «...летая ведомым пары, надёжным прикрытием своим ведущим в воздушных боях обеспечил сбить 30 самолётов противника»³². Также в мае приказом №189 он был награждён орденом Отечественной войны II степени³³.

Его послевоенная карьера также была успешной: с мая 1945 года он служит лётчиком-инспектором по технике пилотирования в той же 9-й гвардейской истребительной Мариупольской орден Богдана Хмельницкого дивизии, а в 1952-м оканчивает Военно-воздушную академию. После окончания академии служил в 23-м истребительном полку на должности старшего инспектора-лётчика в Управлении боевой подготовки истребительной авиации Главного управления боевой подготовки ВВС, затем и командиром данного полка, позже — дивизии. С 30 июля 1970 года — оперативный дежурный командного пункта ПВО стран Варшавского договора. Вышел в отставку в звании гвардии полковника в январе 1977 года. В 1985 году в честь 40-летия Победы он был награждён вторым орденом Отечественной войны I степени и другими правительственными наградами. Проживал в городе Киеве. Умер 12 апреля 2005 года.

Георгий Гордеевич Голубев прошёл большой жизненный и боевой путь. Воюя в рядах прославленного 16-го гвардейского истребительного полка, он внёс свой вклад в победу над сильным, хорошо организованным врагом. «Бой в воздухе, как всё лётное дело, трудно представить без риска, без драматических ситуаций, связанных с боевыми потерями. Часто бывает и так, что лётчик в совместном вылете на глазах теряет своего близкого друга. И тут же, через какой-то час, вновь поднимается в воздух, бросается в бой, подвергая себя такому же риску»³⁴, — писал он. В этом есть своего рода предназначение боевого лётчика, некогда прошедшего суровую школу пилотажа в паре с «сотым».

26. ЦАМО. Ф. 21990. Оп. 0206874с. Д. 0003. Л. 95. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

27. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 98. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

28. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3260. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

29. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 44677. Д. 345. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

30. Голубев Г. Г. В паре с «сотым». Москва. ДОСААФ. 1978. Ук. соч.

31. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 176. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

32. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 11. Л. 110. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

33. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 233. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru>

34. Голубев Г. Г. Крылатые богатыри. Документальные повести. Киев. Варта. 1997.

(1935–2010)

Николай Лухтин Широкий лог

Николай Лухтин

Широкий лог¹

Встаёт тайга высокая
 Под птичьи голоса,
 Озёрами глубокими
 Глядит во все глаза.
 Березняки, осинники
 С полянками окрест.
 Подкова неба синего
 Еловый топчет лес.
 Там, помыслами чистые
 И грустные чуть-чуть,
 Бегут две речки быстрые—
 Балайка, Каракчуль.
 Домами светит новыми
 Селенье под горой,
 Сечённое невзгодами,
 Дождями и пургой.
 Блестят росинки-родинки...
 Бегу, как в первый класс,
 Туда, где слово «Родина»
 Услышал в первый раз.



Брожу по солнечным лугам,
 Во сне летаю.
 Пичугам малым и зверям
 Стихи читаю.
 У солнца красного теперь
 Я на примете.
 Мне в поле, в лес открыта дверь
 Зимой и летом.
 Босой, по колкому жнивью
 Иду неспешно.
 Иду неспешно и пою
 Негромко песни.
 Уже лежит в моей руке
 Тяжёлый колос.
 И как ручей к большой реке
 Журчит мой голос.
 И если кто-то из людей
 К ручью приникнет—
 Мой след над золотом полей
 Зарницей вспыхнет.

Широкий лог

Широкий лог и вахты штормовые—
 Предел мечтаний юности моей...
 Вы, берега высокие, крутые,
 Пристанище усталых кораблей...
 Здесь Енисей разлит широким плёсом,
 А ниже—Стрелка и её дома.
 Здесь, за высоким солнечным откосом,
 Впадает голубая Ангара.
 Широкий лог и лодки смоляные—
 Святое место юности моей.
 Здесь я девчонку целовал впервые
 Под крики пролетающих журавлей.



Пропитан цех мазутом,
 Соляжкой и теплом.
 Бывают здесь минуты,
 Что дым идёт столбом.
 В цилиндрах под поршнями
 Взрывается соляр.
 Идут по рельсам краны
 Под выхлопной угар.
 В руке ключи сжимая,
 Утрами из ворот
 Их слесарь провожает
 Уже тридцатый год.
 Я с ним работал в паре.
 Туманился рассвет...
 Его недаром парни
 Привычно кличут: «Дед!»
 Как хлебороб на поле,
 Как косарь за косой—
 Он как двужильный, что ли,
 Работает порой?...
 Глаза ещё с задором,
 С лукавинкой глядят...
 «Мал золотник, да дорог»,—
 В народе говорят.

1. Публикуется по книге: Живая листва: Стихотворения участников XI семинара молодых литераторов Красноярского края / Сост. Н. Н. Ерёмин.—Красноярское книжное издательство, 1985.



Во мне горит песок пустынный:
 То зыбкой знойною волной,
 То тяжелой и холодной льдиной
 Плывёт подолгу он за мной.
 И меркнет свет под хмурым небом,
 Не греет солнца красный диск.
 А писем нет. И долго в небо
 Летит печальный чайки крик.
 Уже нет сил с тоской бороться,
 Приходит ночь на смену дня.
 В окно глядит, как из колодца,
 Луна пугливо на меня.



Лошадки потные бока
 Натёрла старенькая сбруя.
 Плывут над нами облака,
 Как мысли, в сторону родную.

От самолёта след застыл,
 Как будто небо голубое
 Молочной речкой раздвоил—
 На сельское и городское.

А отчий край берёт своё:
 Слезу непрошеную выжал...
 Село с сугробами моё
 Из-за густого леса вышло.

Над крышей школы флаг висит.
 А рядом с новым сельсоветом
 Знакомый с детства дом стоит,
 Здесь жил я с бабушкой и дедом.

Дымок над ним к себе зовёт,
 Ещё сильнее сердце будит.
 Но в нём живут другие люди...
 А снег метёт, метёт, метёт...

Рубаха

Из пробитой в боях плащ-палатки,
 Дедом найденной у большака,
 Сшила бабка рубаху в заплатках
 И сказала: «Носи, внук, пока».

Уронила слезу на обнову
 И ладонью по швам провела.
 Крепко сшитая ниткой суровой,
 Мне на плечи рубаха легла.

А за окнами жаркое лето,
 В лес уходит мальчишечья рать.
 До обиды так хочется эту
 С плеч растёртых рубаху содрать.

Ствол смолистый к груди прижимая,
 Я под гневные крики дроздов
 На высокую ёлку влезаю
 Посмотреть желторотых птенцов.

Сердце ёкнуло, дух захватило—
 И несётся навстречу земля.
 На последнем суку зацепилась,
 Зацепилась рубаха моя!

Над землёй я болтался час битый
 На виду изумлённых берёз,
 Как на стропах десантник подбитый,—
 Пока лестницу дед не принёс.

И надрал дед мне уши до боли,
 А потом вдруг сказал: «Не тужи.
 Ждёт тебя, внук, счастливая доля,
 Ты теперь лет до ста будешь жить».

Ребятишки ко мне подходили,
 С уважением трогали шов...
 Просто вовремя мне её сшили,
 Чтобы был к гимнастёрке готов.

Алла Новикова-Строганова

150 лет созданию романа

«На все копыта кованы»:

«бесы» в родовом имени И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново и в романе Н. С. Лескова «На ножах»

Я видел Русь расшатанную, неучёную, неопытную и неискusstную, преданную ученьям злым и коварным, и устоявшую!

Н. С. Лесков. На ножах

Тургеневское творчество и само имя Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) были чрезвычайно дороги Николаю Семёновичу Лескову (1831–1895). Он отдавал дань глубокого уважения «сильному и свежему» таланту своего старшего литературного собрата и знаменитого земляка — писателя-орловца. Показательно, что в лесковской «Автобиографической заметке» (1882–1885?) первым и главным из писательских имён было названо имя Тургенева. Его «Записки охотника» Лесков, знавший народ «в самую глубь», как «самую свою жизнь»¹, признал своего рода «учебником» жизни и литературного мастерства. Об этом «учительном» значении, а также о глубочайшем эмоционально-нравственном воздействии тургеневского цикла свидетельствует следующее лесковское признание: «Когда мне привелось впервые прочесть „Записки охотника“ И. С. Тургенева, я весь задрожал от правды представлений и сразу понял, что называется искусством. Всё же прочее... мне казалось деланным и неверным» (XI, 12).

Тургеневское творчество — глубоко правдивое, не имеющее фальшивых нот, — было своего рода камертоном для Лескова. Более того — по словам сына писателя, Тургенев был для Лескова «литературным богом». Андрей Николаевич Лесков вспоминал: «Тургенева отец считал выше Гончарова как поэта. Каждое новое произведение Ивана Сергеевича было событием в жизни нашего дома»².

Таким образом, Тургенев и его художественный мир постоянно занимали писательское сознание Лескова, были у него и на слуху, и на устах. Неудивительно, что эту «привязанность» он перенёс на страницы своих книг. Одно из наиболее весомых тому подтверждений — роман «На ножах» (1870–1871).

У романа сложная судьба. Он вызвал много толков и споров среди современников Лескова. Некоторые причислили его к «антинигилистическому» роду литературы, определили как роман-памфлет. Другие писали как о «типично бульварном произведении»³. Иные в пылу литературной

схватки даже зачислили «На ножах» в разряд «полицейско-эротических» сочинений⁴. Тенденциозная советская критика категорически отвергла это замечательное творение классика и на долгие десятилетия сделала его недоступным для читателя, скрыла непроницаемой завесой. Поньше роман не получил должной оценки. Его либо замалчивают, либо крайне осторожно определяют как «полемиический», «антибуржуазный». Все указанные жанровые определения далеки от сути лесковского текста.

Прежде всего это религиозно-философское произведение, в основе которого — христианское миропонимание автора. Боль и молитва о Родине, вера в возрождение святой Руси определяют основной пафос романа «На ножах». Эпиграфом к нему могли бы послужить слова одного из его героев — Светозара Водопьянова: «Я видел Русь расшатанную, неучёную, неопытную и неискusstную, преданную ученьям злым и коварным, и устоявшую!» (9, 281)

Это особенно наглядно, если рассматривать лесковский роман сквозь призму межтекстовых связей. «На ножах» Лескова стоит в том же ряду «общественных романов» Тургенева («Отцы и дети»), Гончарова («Обрыв»), Достоевского («Преступление и наказание», «Бесы»), отразивших всю остроту религиозно-нравственной, философско-мировоззренческой, социально-политической и литературно-эстетической полемики эпохи. На типологическое сходство «На ножах» с романами «В водовороте» Писемского и «Бесы» Достоевского, созданными в том же 1871 году, указывал сам Лесков: «Все мы трое сбились на одну мысль» (X, 293). Это единство — в русле тургеневского призыва: «Необходимо всем писателям сплотиться вместе и встать на защиту святой веры от врагов ея».

1. Лесков Н. С. Собр. соч. в 11 т. — М.: ГИХЛ, 1956–1958. — Т. 11. — С. 12. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы — арабской.
2. Вестник литературы. — 1920. — № 7. — С. 6.
3. Амфитеатров А. В. Собр. соч. — СПб.: б/г. — Т. XII.
4. Журнальное обозрение // Дело. — 1871. — № 1. — С. 93.

Стержневая мысль, о которой говорил Лесков,—исследование содержания и современных трансформаций русского нигилизма. Решение этой ответственной идейно-эстетической задачи для писателя было немислимо без обращения к опыту Тургенева—«представителя и выразителя умственного и нравственного роста России», и прежде всего к его роману «*Отцы и дети*», в центре которого мощный образ нигилиста—«каланчи» (по образному выражению Д. И. Писарева)—Базарова. «Талантливым пером Тургенева обрисован Базаров, произнесено слово „нигилизм“» (X, 16),—подчеркнул Лесков вскоре после выхода «*Отцов и детей*». Далее писатель утверждал: «Я знаю, что такое настоящий нигилист» (X, 21). Ориентируясь на образ «сильного и честного Базарова» (X, 16), Лесков решительно отъединяет «истинных, настоящих нигилистов» от «нигилиствующих» (X, 22) и признаётся, что ищет «способа отделить настоящих нигилистов от шальных шавок, окричавших себя нигилистами» (X, 21). Эта «полезная сортировка» (X, 22) была произведена в романе «*На ножах*».

Писатель рисует образы не просто «новых», но уже «новейших» нигилистов-перерожденцев. Они выродились в буржуазных хищников, капиталистов, ростовщиков, мошенников, продажных газетчиков, брачных аферистов, подлецов, предателей, убийц—преступников всякого рода, попирающих человеческие и Божеские установления, не верующих «ни в Бога, ни в духовное начало человека»⁵. Модифицируют они и само наименование своего бывшего радикального направления, теперь именуя самих себя «*негилистами*». В основе этого лексического новообразования—слово «гиль» в значении «чепуха», «ерунда». Идейный «вдохновитель» экс-нигилистов Горданов «в длинной речи отменил грубый нигилизм, заявленный некогда Базаровым... а вместо сего провозгласил *негилизм*—гордановское учение, в сути которого было понятно пока одно, что *негилистам* дозволяется жить со всеми на другую ногу, чем жили нигилисты» (9, 130).

Так «*Отцы и дети*» входят в «*На ножах*» в качестве своеобразного литературного фундамента. Тургеневский роман в деталях знают не только автор, но и его персонажи, которые также выступают как внимательные читатели Тургенева. Композиция образов героев во многом строится

через содержание их чтения. Горданов как персонаж-читатель, определяя свою жизненную позицию и способы поведения, «примеряет» на себя литературные образы: «Горданов не сразу сшил себе свой нынешний мундир: было время, когда он носил другую форму. Принадлежа не к новому, а к новейшему культу, он имел пред собою довольно большой выбор мод и фасонов: пред ним прошли во всём своём убранстве Базаров, Раскольников и Маркушка Волохов, и Горданов всех их смерил, свесил, разобрал и осудил: ни один из них не выдержал его критики. Базаров, по его мнению, был неумён и слаб—неумён потому, что ссорился с людьми и вредил себе своими резкостями, а слаб потому, что свихнулся пред „богатым телом“ женщины, что Павел Николаевич Горданов признавал слабостью из слабостей» (9, 127).

В противовес своему герою—читателю романа Тургенева—Лесков трактует образ и личность Базарова иначе. В статье «*Николай Гаврилович Чернышевский в его романе „Что делать?“*» (1863) писатель указал: «Тип Базарова многим нравится, многим не нравится. Мне лично он нравится, но я бы позволил себе пожелать ему быть несколько мягче, не мусолить собою без нужды непривычного глаза, не раздражать без дела чужой барабанной перепонки и даже, пожалуй, не замыкать сердца для чувств самых нежных, ибо они не мешают героизму» (X, 16). Любовь, по мнению Лескова, не только не является признаком «слабости», но ещё более обогащает героическую личность.

Горданов же, наделённый inferнальными чертами, патологически не способен к любви, «никогда не чувствовал потребности любить» (9, 216). Сатанинская «гордыня»—в основе фамилии этого персонажа. «Гордашка»—так уничижительно называет его прямая и честная героиня романа Катерина Астафьевна Форова.

С точки зрения Святых Отцов Церкви, гордость—корень всех грехов и пороков. Преподобный Максим Исповедник именуется самолюбие «матерью всех зол»: «Начало всех страстей есть самолюбие, а конец—гордость»⁶. Против «безумной гордости» направлено истовое по духовному накалу и совершенное в художественно-образном выражении Слово 23 «*Лествицы*» аввы Иоанна Лествичника: «Гордость есть отвержение от Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, мать осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоиступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, безчеловечный судья, противница Богу, корень хулы»⁷.

В бесовском ослеплении Горданов кичится утратой божественного дара любви как сильной

5. Лесков Н. С. Полн. собр. соч.: В 30 т.—М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2004.—С. 763. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома и страницы арабскими цифрами.

6. Христианская жизнь по Добротолюбию.—М.: Свято-Данилов монастырь, 1991.—С. 121.

7. Св. Иоанн Лествичник. Лествица.—СПб.: Фонд «Благовест», 1996.—С. 156.

стороной своего характера. «Любовь—это роскошь, которая очень дорого стоит, а я бережлив и расчётлив» (9, 216),—цинично заявляет он, смешивая в этом высказывании «*Божие*» (любовь) и «*кесарево*» (деньги, расчёт, меркантильную выгоду). Глава, приоткрывающая сущность Горданова, называется «*Entre Chien et Loup*»—«В сумерках» (по Пушкину: «*Пора меж волка и собаки*»). Это скрытый, маскирующийся, «сумеречный» тип хищника, удел которого—тьма, адская «бездна», призывающая «бездну» (9, 127).

Смерть Горданова в конце романа содержит реминисценцию из «*Отцов и детей*». Базаров умирает от заражения, полученного от случайного пореза пальца при анатомировании. Горданов получает заражение от укола в ладонь стилетом—орудием убийства, что приводит к ампутации руки. В то же время смерть ярко высвечивает принципиальную «разность» этих человеческих типов.

Базаровская роковая неосторожность была вызвана погружённостью героя в раздумья о силе судьбы и ничтожности земной жизни перед лицом вечности, о неразделённой любви, которая захватила всё его существо. Таким образом, смерть Базарова приобретает высокий трагический характер. Тогда как Горданов поранил руку во время предумышленного убийства Бодростина, которое стало конечной целью запутанной сети хитросплетений и интриг. Гордановское свидетельское показание «опять всё наново переплетало и пугало» (9, 771), и в итоге он сам стал жертвой преступных козней и происков: был предательски-позорно отравлен сообщниками. Так проекция на финал «*Отцов и детей*» позволяет резко отграничить героический и трагический образ нигилиста Базарова от преступника-«негилиста» Горданова.

В роман «*На ножах*» вместе с образом Базарова входят и его последователи—«базаровцы» (9, 129), как называет их Лесков. По большей части они видоизменились в «гордановцев» (9, 133) и вполне отвечают характеристике, данной писателем в его статье, указанной выше: это «грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма» (X, 19). Им негде взять «базаровских знаний, базаровской воли, характера и силы» (X, 17). «Нигилиствующие» только внешне пытались копировать Базарова, не умея и не желая «дорости» до сокровенной—героически-беззаветной и трагической—сути этого типа. Гражданское мученичество, готовность к самопожертвованию—то, что Лесков обозначил как «власяницу и вериги нигилизма»,—были отринуты ради «нынешнего спокойного, просторного и тёплого мундира». Горданову «нетрудно было доказать, что нигилизм стал смешон, что грубостью и сорванчеством ничего не возьмёшь; что похвальба силой остаётся лишь похвальбой, а на деле бедные новаторы,

кроме нужды и страданий, не видят ничего, между тем как сила, очевидно, слагается в других руках. <...> Все, желавшие снять с себя власяницу и вериги нигилизма, были за Горданова, и с их поддержкой Павел Николаевич доказал, что поведение отживших свой век нигилистов не годится никуда и ведёт к гибели» (9, 130). «Гордановцы» предательски отреклись от «истинных нигилистов»—«гражданских мучеников и страдальцев»: «Таких страдальцев в эту пору было очень много, все они были не устроены и все они тяжело нуждались во всякой помощи,—они первые были признаны за гиль, и о них никто не заботился» (9, 132).

В то же время сами экс-нигилисты с успехом мимикрируют и приспосабливаются к буржуазному устройству, органически с ним сливаясь: «Вот один уже заметное лицо на государственной службе; другой—капиталист; третий—известный благотворитель, живущий припеваючи за счёт филантропических обществ; четвёртый—спирит... пятый—концессионер, наживающийся на казённый счёт; шестой—адвокат... седьмой литераторствует и одною рукою пишет панегирики власти, а другою—порицает её» (9, 137),—Лесков выявил самые разнообразные типы продажных, беспринципных буржуазных дельцов—«деятелей на все руки» сатанинской закваски.

Сущность их «направления» выразительно обобщает говорящая фамилия некоего «медицинского студента»—Чёртов:

«— Гм! Фамилия недурна!

— Да, и с направлением» (9, 160).

Это «направление», как смертельная зараза, распространяется бесами—губителями душ. Так, «медицинский студент Чёртов», ради заработка готовя ребятишек к поступлению в приходское училище, внедряет в детские головы и сердца безбожие, атеистическое презрение к Священному Писанию. Характерна зарисовка экзамена:

«— А Закон Божий знаешь?—встрел поп.

— Да коего лиха там знать-то!—гордо, презрительно, гневно, закинув вверх голову, рыкнул мальчуган, в воображении которого в это время мелькнуло насмешливое, иронически-честно-злое лицо приготавливавшего его студента Чёртова» (9, 160–161).

Этот ответ и ремарка к нему поневоле вызовут восклицание: «Отойди от меня, сатана!» (9, 160).

Невнимание к духовной природе человека, отказ от Бога, отрыв от русской почвы приводят к тому, что бывшие «нигилисты» окончательно превратились в мошенников и авантюристов, преступников и злодеев, живущих по звериным законам борьбы за существование. Об им подобных закоренелых грешниках апостол Павел свидетельствовал, что «они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,

злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Рим. 1:29–31). Таковы в лесковском романе Павел Горданов и Глафира Бодростина, «жид-ростовщик» Тишка Кишенский, «безнатурный» Иосаф Висленёв, его сестра—своенравная красавица Лариса, одержимая гордыней и себялюбием, «калмыцкая лошадь», которую только «калмык переупрямит» (9, 411). Показательна самохарактеристика «межумка» Висленёва, стоявшего когда-то во главе «студенческой партии», отвалившейся от Бога и Церкви: «все мы стали плуты» (9, 217).

В связи с этим снова возникает аллюзия на роман «Отцы и дети», где в знаменитой сцене идеологической «схватки» Базарова и Павла Петровича Кирсанова шёл спор о «принципах». Замышляя убийство, Горданов в беседе с Глафирой заявляет, что хочет говорить «совсем не о чувствах, а...». Она резко прерывает: «О принципах... Ах, пощади и себя, и меня от этого шарлатанства! Оставим это донашивать нашим горничным и лакеям» (9, 77). С неотвязным вопросом о «принципах» приступает к Горданову «суетливый и суетный» (9, 129) Висленёв: «Какому же ты теперь принципу служишь, так ты и не ответишь. <...> ...какой у нас теперь принцип? Его нет?» (9, 217) «Мы отрицаем отрицание» (9, 217),— следует витиеватый ответ с претензией на философичность.

В действительности употребляются другие—абсолютно неприкрытые, бесстыдные—установки на ограбление и развращение: «приехав сюда из Питера, надо устремлять силы не на то, чтобы кого-нибудь развратить, а на то, чтобы кого-нибудь... обирать» (9, 48). В том же ряду—откровенно хищнические, звериные предписания: «всяк сам для себя, и тогда вы одолеете мир» (9, 147); «в жизни каждый ворует для себя. Борьба за существование!» (9, 142)

Теория «дарвинизма», применённая к человеческим отношениям, разрушает человека как «храм Божий» («тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога» (1 Кор. 6:20),—проповедовал апостол) и формирует «человека-зверя»: «Живучи с волками, войте по-волчьи и не пропускайте то, что плывёт в руки» (9, 142); «Глотай других, чтобы тебя не проглотили» (9, 132). Как погибельное следствие—морально-нравственная порча, духовная деградация, физическое разложение, безумие, убийство и самоубийство.

О неизбежном возмездии за греховное небрежение о душе и теле предупреждал апостол Павел: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и дух Божий живёт в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят» (1 Кор. 3:16–17).

От свинского попрапия образа Божьего в человеке предостерегал Господь в Нагорной проповеди: «не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтоб

они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7:6). Из Священного Писания известно, что бесы вошли в свиней, «и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло» (Лк. 8:33).

Бесовской участью чревата подмена христианской веры безбожной «верой в естественные науки», которая, кроме всего прочего, ведёт к неизбежной ограниченности, узости взглядов, скудоумию. Такова «скорбная головой девица» (9, 133) Анна Скокова, или Вансок,—честная, прямолинейная, «рьяная», из разряда «древнего нигилистического благочестия» (9, 131). Изображая эту «староверку» «истинного нигилизма», Лесков прибегает к самоцитации, используя название своего очерка о раскольниках «Слюдьми древлего благочестия» (1863). Вансок по-детски растеряна перед жестокими реалиями жизни: «Я прежде работала над Боклем, демонстрировала над лягушкой, а теперь... я ничего другого не умею: дайте же мне над кем работать, дайте мне над чем демонстрировать» (9, 132).

Налицо реминисценция завершения Базаровым знаменитого спора со старшим Кирсановым: «будем... лягушек резать» (7, 53). Лягушка как непрменный объект естественнонаучных занятий и опытов нигилистов стала во многом благодаря тургеневскому роману их своеобразным символом. Лесков не обходит вниманием эту символику и атрибутику. Так, «истинный нигилист» из числа людей «базаровской» закалки майор Форов носит характерный брелок. Это «тяжёлая, массивная золотая лягушка с изумрудными глазами и рубиновыми лапками. На гладком брюшке лягушки мелко искусно вязью выгравировано: „Нигилисту Форову от Бодростинной“. Дорогая вещь эта находится в видимом противоречии с прочим гардеробом майора» (9, 27). Для бывшей нигилистки Глафиры Акатовой, ловко вышедшей замуж за старика-богача Михаила Андреевича Бодростина и усвоившей себе истину, что «повесившись, надо мотаться, а оторвавшись, кататься» (9, 81), как и для прочих «антигероев» романа, «борьба за существование не то что борьба за лягушку» (9, 147–148).

Воспринимая литературу как художественную реальность, Лесков конструирует некоторые собственные образы, рассчитывая на быстрое «литературное» узнавание. Так, о принадлежности майора Форова и девицы Вансок к базаровскому типу нигилистов старой закалки свидетельствуют «тургеневские» речевые отражения: «Но вот кто совсем не изменяется, так это Филетёр Иванович!—обратился Висленёв к майору.—Здравствуйте, мой „грубый материалист“!» (9, 36) Отзвук-напоминание об «обнажённой красной руке» Базарова, ставшей приметой нигилистов-разночинцев, содержится в обращении Горданова к Вансок,

когда он пожимает «грязноватую руку девушки»: «Давайте вашу лапу!» (9, 151)

В романе «*На ножах*» имеются и другие формы наличия «тургеневского слова», а также разнообразные способы его включения в лесковский текст. Приём косвенного присутствия тургеневской образности обнаруживается в повествовании, раскрывающем предысторию Павла Горданова — внебрачного ребёнка богача Бодростина и московской цыганки. Незаконный сын знатного помещика имел солидное денежное содержание, получив хорошее образование, однако никогда не знал ни родных, ни отчего дома, отданный на воспитание сначала акушерке, потом в пансион, а затем в университет. «В жизни его было только одно лишение: Горданов не знал родных ласк и не видал, как цветут его родные липы» (9, 128–129), — пишет Лесков.

Образ «родных лип», несомненно, восходит к Тургеневу. Эта реминисценция, используемая в тексте лесковского романа без кавычек, говорит о том, что липы стали восприниматься как устойчивый знак «дворянского гнезда», отголосок тургеневских романов. Так, в романе «*Рудин*» (1855) Тургенев художественно запечатлел, словно с натуры, свой усадебный сад, который «доходил до самой реки. В нём было много старых липовых аллей, золотисто-тёмных и душистых, с изумрудными просветами на концах»⁸. Заметим также, что симпатичная автору героиня носит фамилию Липина.

В «*Дворянском гнезде*» (1858) липы растут в саду Калитиных; «тень от близкой липы» (6, 81) окружает Лизу и Лаврецкого в его имении Васильевское.

По всей вероятности, Лесков был наслышан о знаменитых липовых аллеях в виде римской цифры «XIX» в парке родового имения Тургенева Спасское-Лутовиново Мценского уезда Орловской губернии. Перифразу «родные липы» в значении родительского дома, домашнего очага Лесков употребил уже в первой своей повести «*Овцебык*» (1862), в её лирико-автобиографических главах: «я снова очутился под родными липами. Дома в это время не произошло никаких перемен... выросло несколько новых липок» (1, 64–65).

Воспитание и формирование человека вне семейной атмосферы родного «гнезда» Лесков считает неполноценным, обеднённым, ущербным. По-видимому, духовное оскудение, голый рационализм и звериный практицизм Горданова во многом проистекают из этого источника: «он с отроческой своей поры был всегда занят самыми серьёзными мыслями, при которых нежные чувства не получали места. Горданов рано дошёл до убеждения, что все эти чувства — роскошь, гиль, путы, без которых гораздо легче жить на белом свете, и он жил без них» (9, 129).

В романе «*На ножах*» встречаются непосредственные указания на тургеневские произведения.

Так, Лесков обобщает разноречивые неодобрительные отклики современников о романе «*Накануне*», опровергнутые самой жизнью: «Когда в русской печати после прекрасных произведений, „бедных содержанием“, появилась повесть с общественными вопросами („*Накануне*“), читатели находили, что это интересная повесть, но только „нет таких людей, какие описаны“. <...> ...узнавали только нечто похожее на действительность, но гневались на недостатки, на неполноту и недоконченность изображения и потом через несколько времени начинали узнавать в нём родовые и видовые черты» (9, 577). Лесковские герои также апеллируют к тургеневскому творчеству как к серьёзной аргументации. Например, в споре о подлинном и фальшивом Глафира ссылается на эпизодическую героиню Кору, о которой составила «понятие по тургеневскому „*Дыму*“» (9, 313).

Одним из распространённых способов включения «тургеневского слова» в текст является цитирование — явное или скрытое — собственное автором или его героями, как, например, в следующем эпизоде. Попав в контору к своему бывшему соратнику по «нигилистической партии» Тихону Кишенскому, Горданов ощутил, как в нём «шевельнулась дворянская гордость пред этим ломанием жидка» с его «невозмутимым, но возмущающим голосом, которым непременно научаются говорить все разбогатевшие евреи» (9, 168). Не без удивления Горданов обнаруживает, насколько ловко Тишка сумел «подковаться на все копыта» — материально обезопасить себя от превратностей жизни. Хозяина раболепно охраняют подобный ему рыжий чубастый лакей и «ещё более решительный рыжий бульдог» (9, 167).

Мысленно оценивая нынешнее прочное финансовое положение продажного газетчика и ростовщика, «отец которого, по достоверным сведениям, продавал в Одессе янтарные мунштуки» (9, 168), Горданов прибегает к неточному цитированию тургеневского романа «*Дворянское гнездо*»: «Ему уже нечего будет сокрушаться и говорить: „здравствуй, беспомощная старость, догорай, бесполезная жизнь“» (9, 167). В эпилоге романа Тургенева читаем: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!» (6, 158)

Неточность цитаты объясняется, скорее всего, не пробелами в памяти Горданова, а тем, что жизнь Кишенского нельзя назвать «одинокой». Он уже успел обзавестись многочисленным потомством, в том числе и от сожительства со своей фавориткой и «деловым партнёром» по кассе ссуд Алинкой Фигуриной. Обокравшая собственного отца, по

8. Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. — М.: Наука, 1978–1982. — Сочинения в 12 т. — Т. 5. — С. 217. В дальнейшем сочинения И. С. Тургенева цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы.

безжалостности, наглости, изобретательности в сфере жульнических трюков и махинаций она вполне под стать своему любовнику. «Алина! Ты гениальна!» (9, 212)—восхищается своей криминальной подельницей Кишенский. Высшая степень его восторга: «Алинка!.. Ты чёрт!» (9, 212)—весьма показательно вскрывает собственную бесовскую сущность этого персонажа.

О ему подобных в русском народе сложились записанные В. И. Далем пословицы: «Бесы и жида — дети сатаны»; «С жидом знаться — с бесом связаться»⁹. «Видимыми бесами» назвал иудеев в пятом веке святитель Кирилл, патриарх Александрийский; «самые души иудеев есть жилища демонов»¹⁰, — утверждал святитель Иоанн Златоуст.

В Евангелии от Иоанна повествуется, как Господь Иисус Христос обличил сатанизм иудеев: «*Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего*» (Ин. 8:44); «*Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога*» (Ин. 8:47). От общения с подобными безбожниками предостерегал апостол Павел: «*Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?*» (2 Кор. 6:14)

В «Истории русской литературы» небезосновательно отмечалось, что Лесков изобличает «подлые проделки журналиста-ростовщика Кишенского, промышляющего в пореформенное время куплей-продажей закабалённых им живых душ»¹¹. Так, при помощи замысловатых «каторжных сплетений» (9, 47), придуманных Гордановым, Кишенский сумел завлечь в пожизненную долговую западню и буквально поработить бесхитростного до детскости русского дворянина Висленёва. Запустив его в свои злокозненные сети, действуя шантажом и угрозами, Кишенский выдаёт свою «чертовку»-сожительницу Алинку замуж за Висленёва, вынуждая его таким образом прикрыть честной русской фамилией жидовских «щентяток» (9, 150)—отпрысков блудодеяния. Висленёв, увязший в хитросплетениях «ростовщика, процентщика», запоздало сокрушается: «А имя моё? И ведь все знают, а дети, чёрт их возьми, а дети... Они „Висленёвы“, а не жида Кишенские»

9. См.: Русские писатели о евреях. Составитель В. И. Афанасьев.—М.: Книга, 2005.—С. 431–436.

10. Св. Иоанн Златоуст. Полное собрание сочинений в 12 т.—М., 1991.—Том 1.—Книга 2.

11. История русской литературы.—Л.: Наука, 1982.—Т. 3.—С. 285.

12. См.: Русские писатели о евреях. Составитель В. И. Афанасьев.—М.: Книга, 2005.—С. 431–446.

13. Старец Силуан. Жизнь и поучения.—М.; Новоказачье; Минск, 1991.—С. 107–108.

14. Там же.—С. 108.

(9, 46). «Дай жиду волю — заберёт тебя в неволю»; «Не мешаются жида с самарянами, зато часто с дворянами»¹², — подмечено в русских пословицах.

Лесков разоблачил один из распространённых способов многовековой массовой мимикрии противников Христа, подобных экс-нигилистам еврею Кишенскому и Павлу Горданову. Таким, как они, «нужен столбовой дворянин» (9, 160), в том числе и для того, чтобы под прикрытием русских, особенно — знатных, фамилий пробираться на руководящие должности, занимать ключевые посты в государственных, коммерческих, религиозных, общественных учреждениях России с целью кабалить, разлагать и уничтожать коренное население страны, глумясь над его христианскими идеалами и православной верой; маскируясь русскими именованиями и вывесками; снаружи рядясь в овечьи шкуры, будучи изнутри волками; фарисейски прикрываясь благими целями добродетели, безбожно обогащаться, получать свои барыши, выгоды, прибыли и сверхприбыли, служить не Богу, а мамоне.

«*Не можете служить Богу и мамоне*» (Лк. 16:13), — говорит Господь. «*Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской*» (1 Кор. 10:21), — наставляет апостол.

О трудности распознавания добра и зла учил святой старец Силуан Афонский: «Всякое зло, совершаемое свободными тварями, по необходимости паразитарно живёт на теле добра, ему необходимо найти себе *оправдание*, предстать облечённым в одежду добра, и нередко высшего добра», потому что «зло всегда действует „обманом“, прикрываясь добром»¹³. Но, как пояснял старец, различие добра и зла необходимо и возможно, поскольку «добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и потому там, где появляются недобрые средства (лукавство, ложь, насилие и подобное), там начинается область, чуждая духу Христову»¹⁴.

О чужеродном кабальном иге, опутавшем Россию, настоятельно предупреждали Святые Отцы — христианские подвижники.

В этой связи наиболее актуально звучат слова Лескова, который устами своего героя-правдолюбца Василия Богословского в повести «*Овцебык*» (1862) обращался к тем так называемым «благодетелям» народа, у которых слово расходится с делом: «А вижу я, что подло все занимаются этим делом. Всё на язычничестве выезжают, а на дело — никого. Нет, ты дело делай, а не бреш. <...> ...эх, язычники! фарисеи проклятые! <...> Таким разве поверят! <...> Душу свою клади, да так, чтоб видели, какая у тебя душа, а не побреньками забавляй».

Возвращаясь к лесковскому роману, зададимся вопросом: почему элегический эпилог одного

из самых одухотворённых романов Тургенева «Дворянское гнездо» используется в ситуации, связанной с тёмным, преступным образом Кишенского?

Тишка Кишенский не только скаредный ростовщик, держатель ссудной кассы, но и коррумпированный газетчик, умудрившийся сотрудничать одновременно в трёх разных изданиях противоположных общественно-политических направлений. Одну из своих пасквильных статей он озаглавил «Деятель на все руки» (9, 233). Название как нельзя лучше подходит к нему самому и его разнобразной «деятельности». Этот «ростовщик, революционер и полициант» (9, 166), «подлый жид» (9, 138), как не раз его именуют в романе, нажил свой капитал аферами и предательством, в том числе сотрудничая с полицией в качестве провокатора и шпиона.

Зловещая фигура Кишенского никоим образом не соотносится с благородным образом русского патриота, дворянина Лаврецкого, чьи слова, мысленно произнесённые «хотя с печалью, но без зависти, безо всяких тёмных чувств, в виду конца, в виду ожидающего Бога» (6, 158), процитировал Горданов.

Очевидно, «Дворянское гнездо», как и другие произведения Тургенева, после прочтения которых «легко дышится, легко верится, тепло чувствуется», «ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора»¹⁵, выступают в подтексте романа Лескова в качестве морально-нравственного противовеса злодейскому миру безнравственных и бездуховных людей, преступно уничтоживших в себе Божеское начало.

Таким образом, проекция на тургеневское творчество, цитаты, аллюзии, реминисценции, перифразы, мотивы и образы не только позволяют реконструировать читательский опыт персонажей Лескова, но и выполняют характерологические функции. Соотношения в художественном мире Лескова своего и «тургеневского» слова предоставляют возможность выявить речевую индивидуализацию, психологические особенности героев, выбор ими способа поведения и самого образа жизни. Тургенев и его творчество вплетаются в художественную ткань романа «На ножах» как положительный идеал, позитивный и высокий ориентир, противостоящий низменной морали дельцов нового толка.

О «многослойности» романа «На ножах» свидетельствует ещё один историко-литературный факт. К нему обращает фамилия Кишенский, вокруг которой возникает целое ассоциативное поле. Известно, что в творчестве Лескова, который любил, чтобы «кличка была по шерсти», сложилась своеобразная концепция заглавий и обоснования имён. Писатель признавал способность имени выразить внутреннюю суть человека.

Лексико-семантический ключ фамилии лесковского персонажа обнаруживается в украинском слове «кишеня», что в переводе означает «карман». (К слову, в настоящее время на Украине «Велика кишеня» (в дословном переводе — «Большой карман») — наименование крупнейшей сети розничной торговли и супермаркетов, поглощающей своих конкурентов.)

Кроме того, этимология фамилии «жида Тишки Кишенского» уходит корнями в иврит и идиш. «Кишене» на идиш — «карман». На иврите слово «кис» также означает «карман». Созвучие с ивритским «кэсэф» — серебро, деньги — неслучайно. Дизайнерский атрибут верхней одежды предназначен в первую очередь для хранения денег (ср.: карманные деньги).

В статье Тургенева «Человек в серых очках» (1879) отмечено следующее: «Сила и цвет того жидовства, которое теперь завладело всеми карманами целого мира и скоро завладеет всем остальным. У кого карман в руках, у того и женщина; а у кого женщина, у того и мужчина» (11, 101).

«Всякий жид в наш карман глядит»¹⁶, — подметила народная поговорка. В русской фразеологии «карман» синонимичен слову «кошелёк». Для сравнения: держи карман шире; тугой карман (или: тугой кошелёк, тугая мошна) — о наличии у кого-либо больших денег; тощий (пустой) карман (или кошелёк) — об отсутствии или недостатке денег у кого-либо; набить карман (или мошну) — разбогатеть, нажиться и т. д.

Делец, купец, «муж кармана» (I, 85) — «загребущая лапа» — набивает свой карман, свою мошну. Он, по словам Лескова в очерке «Пресыщение знатностью» (1888), «мошной вперёд прёт» (XI, 187). «Мужи кармана», «прибыльщики» и «компанейщики» (XI, 187) — так именовал писатель капиталистов, буржуа, банкиров, ростовщиков. Против их бесстыдных спекуляций Лесков выступал уже в ранней публицистике, а также в первом своём большом беллетристическом произведении — повести «Овцебык». Именно здесь впервые появляется образ капиталиста — «мужа кармана» — Александра Ивановича. Главный герой повести — чистый сердцем и помыслами бывший семинарист Василий Богословский — с горечью вынужден признать: «Некуда идти. Везде всё одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь» (I, 85). Впоследствии пессимистическое слово-образ «некуда» стало названием романа Лескова «Некуда» (1863).

Поэтика и символика онима «Кишенский» значением «муж кармана» не исчерпывается. Фамилия персонажа, извивающегося в мошеннических

15. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. — М.: Худож. лит., 1965–1977. — Т. 18. — Кн. 1. — С. 212.

16. См.: Русские писатели о евреях. Составитель В. И. Афанасьев. — М.: Книга, 2005 — С. 431–446.

махинациях и тёмных интригах, не может не вызвать зрительную ассоциацию с отвратительным клубком кишаших змей. Это впечатление дополняет аллитерация шипящих и свистящих звуков имени и фамилии «Тихон Кишенский».

Звуковые ассоциации, вызываемые именем, также значимы в поэтике писателя. Это подтверждает лесковская публицистика, поднимающая проблему исследования имён. Так, в статье «*О русских именах*» (1883) Лесков называет славянские имена «приятными для слуха»¹⁷. Писатель призывает способствовать «отрадному возвращению народного вкуса к именам приятного, родного звука и понятного значения»¹⁸.

Таким образом, Лесков чутко различает «своё—чужое» в ономастике. Инородными именами, как правило, наделяются у него отрицательные персонажи, далёкие от Бога, народа и Родины. Так, например, «аляповатые и малоприглядные» нигилисты в романе «*Обойдённые*» (1865) награждены «отменно неблагозвучными нарицаниями—Вырвич и Шпандорчук»¹⁹.

В чужеродной фамилии «Кишенский» также нет ни «родного звука», ни сразу «понятного значения»; приятной для слуха её также не назовёшь. Семантика слухового и зрительного образа «кишаших змей» уводит далее к библейской и метафизической образности—змея-искусителя, врага рода человеческого, сатаны. В романе «*На ножах*» Тишку Кишенского сопровождают признаки inferнальности. Он представлен не просто как «вёрткий фельетонист, шпион, социалист и закладчик» (9, 474) со своими «жидовскими слабостишками» (9, 150), ведущий «дело по двойной бухгалтерии» (9, 150). Его тёмные деяния показаны Лесковым как действие адской силы—«незримая подземная работа» (9, 183), «затемняющая» и «перетемняющая» людей, с которыми он привык «торговаться по-жидовски» (9, 175). Дворянин Висленёв, запутанный в сатанинские тенёта Кишенского, чувствует, что «вокруг него всё нечисто: всё дышит пороком, тленью, ложью и предательством» (9, 191).

Таким образом, Кишенский вовсе не второстепенный персонаж, якобы не заслуживающий внимания, каким хотят представить его некоторые

исследователи. Наоборот, он играет ключевую роль в развитии действия, но незримо, подпольно. Пуска в ход целый арсенал обманных маскирующих ухищрений, Кишенский со своими бесовскими уловками и кривляньями, окутанный мраком, становится почти невидимым в этой преднамеренно напущенной им тьме.

Так философия имени в романе Лескова намного сложнее, чем может представиться на первый взгляд. Фамилия является иносказанием, функционально-оценочной характеристикой персонажа.

Лесков избегал «плакатных» именованных для своих героев. В то же время его внимание привлекали особенные имена и фамилии. Морфологически и фонетически необычная фамилия «Кишенский» позволяет высказать гипотезу о том, что она не выдумана писателем, а могла быть ему знакома, была у него на слуху.

В те же годы, когда Лесков работал над романом «*На ножах*», именами Тургенева с конца 1866 года до середины 1870-х годов управлял Никита Алексеевич Кишинский, о нечестности которого молва распространилась весьма широко. Можно предположить, что Лескову («В литературе меня считают орловцем»,—неоднократно подчёркивал он), не прерывавшему связей со своей «малой родиной», были известны эти факты, представляющие не только филологический, но и социально-исторический интерес. Нечистый на руку управляющий Тургенева, который распоряжался таким образом, что буквально разорил писателя, мог послужить одним из реальных прототипов Кишенского в романе «*На ножах*».

Из обширной переписки Тургенева с Кишинским явствует, что писатель безраздельно доверял своему управляющему, в котором желал видеть «честного и деятельного человека»²⁰ (v, 310) («*деятеля на все руки*»—в хорошем смысле). Письмо Тургенева к Кишинскому от 3 (15) апреля 1867 года заканчивается следующим обращением: «прошу Вас знать одно: я никогда не доверяю вполнину, а Вам я доверяю, а потому не смущайтесь ничем и делайте спокойно своё дело» (vi, 220).

Кишинский действительно «не смущался ничем», беззащитно пользуясь в своекорыстных интересах оказанным ему безграничным доверием, и за время своего управления нанёс всемирно известному русскому писателю большой материальный ущерб; махинациями приобрёл себе земли и имение Сидоровку.

А. А. Фет, другие друзья и соседи Тургенева по орловскому имению предупреждали писателя о злоупотреблениях Кишинского. Тургенев отвечал Фету из Буживаля: «Не сомневаюсь в том, что Кишинский нагревает себе руки» (x, 143). В то же время писатель долго не мог поверить в нечестность своего управляющего, относя известия

17. Лесков Н. С. О русских именах // Новости и Биржевая газета.—1883.—№ 245.

18. Лесков Н. С. Календарь графа Толстого // Русское богатство.—1887.—№ 2.—С. 196.

19. Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т.—М.: Худож. лит., 1984.—Т. 1.—С. 372.

20. Тургенев И. С. Полн. собр. сочинений и писем: В 28 т.—М.; Л.: АН СССР, 1960—1968.—Письма: В 13 т.—Т. 5.—С. 310. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы—арабской.

об этом в разряд досужих сплетен. «Не можете ли Вы—под рукой, но достоверно—узнать, где и какое он купил имение?—спрашивал Тургенев Фета.—Сплетников, Вы знаете, у нас хоть пруд пруди» (X, 143).

Даже убедившись вполне, что происки Кишинского не пустые слухи, писатель сохраняет доброжелательное отношение к своему управляющему. С добросердечием, открытостью и доверчивостью Тургенев по-человечески стремится найти оправдания хищениям его имущества. В ответ на не дошедшее до нас письмо Кишинского, в котором тот, очевидно, пытался «замести следы», Тургенев писал: «Сплетни, о которых Вы упоминаете, напрасно Вас тревожат. Вы знаете довольно мой характер: я на такого рода заявления совершенно неподатлив. Я нахожу совершенно естественным и благоразумным, что Вы позаботились о приобретении себе недвижимой собственности—это Ваш долг как семейного человека. <...> Впрочем, благодарю Вас за Вашу откровенность. <...> А потому, повторяю, Вам тревожиться нечего. <...> Фет написал мне о приобретении Вами земли, но я оставил это без ответа» (X, 176); «Вы можете быть совершенно спокойны насчёт сплетен по поводу забранных Вами материалов... <...> Я не имею привычки обращать на них внимания—и коли доверяюсь, то вполне. Доверие моё к Вам именно такого рода» (X, 318).

Подобных заверений немало в письмах Тургенева к Кишинскому. Однако вряд ли по ним можно судить о недалёковидности либо житейской непрактичности писателя. Скорее, это свидетельствует о благородстве его натуры, о неизменной вере в торжество добрых начал человеческой природы.

В то же время Тургенев начинал догадываться о нечистоплотном ведении его дел Кишинским. Несколько раз писатель просил избавить его капитал от «жидовских процентов» (X, 300). Справедливо подозревая о махинациях со своим имуществом, писатель вынужден был обратиться к брату Н. С. Тургеневу с просьбой проконтролировать действия управляющего: «Побывай в Спасском или выпиши к себе в Тургенево Кишинского, и пусть он тебе растолкует хорошенько, какую операцию он намерен предпринять... чтобы избегнуть жидовских (11!) процентов Тульского банка. <...>. ..мне кажется неслыханным, чтобы под залог недвижимого имения безо всякого долгу драли такие проценты!» (XI, 40)

Адресуясь с тем же вопросом к Кишинскому, Тургенев настойчиво и, по всей видимости, уже не в первый раз («...мне приходится только повторить мою просьбу» (XI, 46)) требует: «...изложите мне в подробности... какого рода перезалог Вы хотите предпринять... для того, чтобы избавиться от процентов, справедливо названных Вами жидовскими,—и как Вы от них избавитесь—и почему

(что для меня особенно неудобопонятно) при закладе недвижимого и хорошего имения в банке приходилось заплатить такие громадные проценты?» (XI, 46)

Обращает на себя внимание, что это письмо писатель уже не подписывает «преданный Вам Ив. Тургенев» или «доброжелатель Ваш Ив. Тургенев», как неизменно на протяжении нескольких лет он заканчивал свои послания Кишинскому. На этот раз он ограничивается только сухой подписью «Ив. Тургенев» без выражения каких-либо уверений и чувств.

Месяц спустя Тургенев, не получив вразумительного ответа от Кишинского, который, видимо, пытался запутыванием дела ввести писателя в заблуждение, скрыть жульничество, снова обращается к управляющему: «Не могу, однако, не заметить, что факт платежа 11 процентов под залог недвижимого, чистого от долгов, отличного имения... мне представляется чем-то чудовищным!! <...>. ..я брожу, как во тьме,—и знаю только одно: имение моё заложено за какие-то жидовские проценты. Пожалуйста, потрудитесь всё это мне хорошенько растолковать и в исполнение моей просьбы отвечать отдельно на каждый вопрос» (XI, 60–61).

Однако Кишинский не торопился прояснить ситуацию, и в новом письме к нему снова находим недоумения Тургенева: «Вы на мои запросы не давали прямого ответа» (XI, 69). Всё это не может не вызвать в читательском сознании ассоциацию с тёмными финансовыми спекуляциями «жидаростовщика» Тишки Кишенского в романе Лескова «На ножах».

Нельзя не изумиться деликатности и человеческой порядочности Тургенева. Даже в «чрезвычайной ситуации», когда обнаружались документальные свидетельства против Кишинского, Тургенев всё ещё опасается обидеть управляющего несправедливым подозрением, продолжает быть с ним неизменно корректным и сугубо тактичным. Так, изучив приходно-расходные ведомости, красноречиво свидетельствующие об истинном положении дел, писатель адресует к своему управляющему с прежней искренностью: «Я намерен сообщить Вам все соображения, которые были возбуждены во мне эти[ми] ведомостями, в полной уверенности, что Вы не усмотрите в моей откровенности ничего похожего на недоверие или сомнение; сама эта откровенность обуславливается убеждением, что я имею дело с человеком вполне честным, к которому следует относиться с обычной во мне прямоютою. <...>. ..выходит, что расход равняется почти приходу—и можно сказать, что овчинка не стоит выделки. Обо всём этом необходимо основательно потолковать во время моего приезда в Россию. <...> Ещё раз повторяю Вам, что Вы не должны видеть ничего для Вас неприятного в откровенных моих объяснениях» (XI, 169–170).

Вскоре после этого Тургенев решает поступить так, как учит в поговорке русская народная мудрость: «Верь своим очам, а не жидовским речам»²¹. По приезде писателя в Спасское летом 1876 года Кишинский произвёл на него совершенно иное впечатление, чем при знакомстве в Петербурге в марте 1867 года, когда П. В. Анненков порекомендовал Тургеневу нового управляющего. После первой встречи с Кишинским Тургенев писал Полине Виардо: «Он мне нравится—это человек с энергичным открытым лицом, смотрит прямо в глаза» (VI, 166). Теперь от Тургенева не укрылись лицемерие и неискренность управляющего. Впечатление некой поддельности, ненатуральности создаёт сама его внешность. «Бородач Кишинский только потрясает своей безконечно густой бородой и выставляет фальшивые зубы—от него толку мало» (XI, 282),—пишет Тургенев из Спасского И. И. Маслову.

На месте, в своём «родимом гнезде» (XI, 282), писатель, наконец, смог воочию убедиться в справедливости давно распространявшихся толков о злоупотреблениях и мошеннических махинациях своего управляющего.

Сложилась ситуация, в реальности воспроизводившая новозаветную притчу про «управителя неверного» (Лк. 16:8): «один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его; и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчёт в управлении твоём, ибо ты не можешь более управлять» (Лк. 16:1–2); «неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10).

К чести Тургенева, не раздумывая, он обратился к решительным мерам: «...я вынужден произвести завтра, в воскресенье, своего рода государственный переворот и свергнуть моего Абдул-Азиза, г-на Кишинского, оказавшегося мошенником, которого я поймал с поличным. <...> ...если я его ещё оставлю тут, он оберёт меня дочиста» (XI, 628–629).

В письмах того же периода к П. Ф. Самарину, А. М. Щепкину Тургенев также именуется Кишинского «Абдул-Азизом» (XI, 292; 294), сравнивая своего управляющего с турецким султаном, расхищавшим государственную казну. Помимо того, восточное имя, отягощённое такими неприглядными историческими ассоциациями, в среднерусском духовном пространстве производит впечатление чего-то постороннего, инородного. «Абдул-Азиз» по сути своей чужероден среднерусской усадьбе, расположенной в самом сердце России, и не способен праведно ею управлять.

Согласно официальной версии, реальный Абдул-Азиз покончил с собой, вскрыв себе вены

ножницами. В записке к А. М. Щепкину Тургенев говорит, что ему «удалось свергнуть Абдул-Азиза, не прибегая к ножницам» (XI, 294).

Упоминание об остром, в данном случае—смертоносном, предмете в реально-историческом контексте порождает зеркальную литературную ассоциацию—опять-таки с романом Лескова, герои которого пребывают друг с другом «на ножах». В частности, о Кишинском сказано, что «долговременная жизнь на ножах отуманила его прозорливость и отучила его от всякой искренности» (9, 475). Лесковская характеристика литературного персонажа прямо соотносится с реально существовавшим Кишинским, который утратил осторожность и почти в открытую грабил Тургенева. «Надо Вам сказать,—писал Тургенев Ю. П. Вревской,—что я выезжаю из Спасского разорённым человеком, потерявшим более половины своего имущества по милости мерзавца-управляющего, которому я имел глупость слепо довериться; я его прогнал» (XI, 295).

Писатель вынужден был не просто уволить «грабителя Кишинского» (XI, 300), но и выдать официальную доверенность на его уголовное преследование. В этом документе Тургенев устанавливает список преступлений своего управляющего: «...оказалось, что г. Кишинский произвёл разные растраты принадлежащих мне сумм и имуществ, совершил недобросовестные контракты и, вообще, допустил злоупотребления и беспорядки, причинившие мне существенный вред и убытки, обманул, таким образом, вполне данную ему от меня доверенность. Вследствие сего я прошу Вас принять на себя труд преследовать по законам г. Кишинского в порядке гражданского или уголовного судопроизводства» (XI, 358–359). Было ли возбуждено уголовное дело в отношении Кишинского, до настоящего времени остаётся неизвестным.

Кишинский в романе Лескова «На ножах» сумел остаться в тени, уголовному преследованию и Божьей каре подверглись другие его сообщники и жертвы.

Явную оппозицию тёмным силам составили любимые герои Лескова, исповедующие христианские идеалы любви, милосердия, деятельного добра: праведница Александра Ивановна Синтянина, «испанский дворянин» Андрей Подозёров, священник отец Евангел. Как скрытую оппозицию тёмному, безлюбивому, безбожному миру в архитектонике «На ножах» можно рассматривать творчество Тургенева, который, по справедливому суждению М. Е. Салтыкова-Щедрина, пробуждал в людях «чувства добрые»: «Это были не какие-нибудь условные „добрые чувства“, согласные с тем или другим преходящим веянием, но те простые, всем доступные общечеловеческие „добрые чувства“, в основе которых лежит глубокая вера в торжество света, добра и нравственной красоты»²².

21. См.: Русские писатели о евреях. Составитель В. И. Афанасьев.—М.: Книга, 2005.—С. 431–436.

22. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т.—М.: Худож. лит., 1965–1977.—Т. 9.—С. 458.

Текстуальные связи романа Лескова «На ножах» и творчества Тургенева свидетельствуют о глубоком проникновении художников слова в истинную сущность изображаемого; помогают понять, как

сквозь зеркальную призму тургеневского и лесковского творчества проступает неисчерпаемая сложность жизни, как «мимотекущий лик земной» соотносится с вечным, непреходящим.

ДиН СИММЕТРИЯ

Иван Бунин Преображение

(фрагмент)

Двор был богатый, семья большая.

Старик, наплодив детей и внуков, в своё время помер, но старуха зажила и жила так долго, что казалось, никогда не будет конца её жалкому и нудному существованию.

Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в своё место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, чёрной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то теряться среди всё увеличивающейся и крепнущей молодёжи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю и наконец совсем сошли на нет, захирели, высохли, сторбились, забились на полати, на печь, отчуждились сперва от семьи, и потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам.

После смерти старика старуха почувствовала себя особенно неловко на белом свете — и сократилась до последнего, совсем как будто забыла, что ведь всё это молодое, сильное царство, в котором она стала такой ненужной, развела она, она. Вышло как-то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всём дворе, живущим в нём точно из милости, годным лишь на то, чтобы ютиться на жаркой печи зимою, а летом цыплят стеречь, избу караулить в рабочую пору... Кому бы пришло в голову бояться её, думать о ней!

Но вот захворала уже как следует, забилась на печь уже без всякого притворства, закрыла глаза, дыша горячо и беспомощно, с такой великой усталостью, что даже у плечистых невесток повернулось сердце от жалости. «Мамушки, ай тебе курятинки спарить либо лапшицы молочной? Может, хочется чего? Может, самовар поставить?» — А она только дышит в забытьи, только слабо и благодарно рукой шевелит...

Наконец развязала всех — отошла.

Глубокая ночь, зима. Ночь для неё, среди живых, последняя. На дворе метель и темь, вся деревня спит. Спит и весь двор, — обе жилые связи полны спящими, — и над всей этой зимней ночью и метелью, сном и глушью двора и деревни царит Мёртвая: вчерашняя жалкая и забытая старушонка преобразилась в нечто грозное, таинственное, самое великое и значительное во всём мире, в какое-то непостижимое и страшное божество — в покойницу.

Она лежит в холодной половине — уже в гробу, снеговая, белая, глубоко уйдя в свой гробный мир, уткнув в грудь приподнятую соломенной подушкой голову, и падает тень от чернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, прикрытый лёгким от ветхости парчовым покровом, взятым напрокат из церкви, стоит за столом, ярко озарённым целым пучком восковых свечей, прилепленных к нему и пылающих жарко и беспокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идёт морозная метель, чёрные стёкла которого блестят, искрятся снегом, снаружи намерзающим на них.

Псалтырь читает Гаврил, младший сын покойной, недавно женившийся. Он всегда выделялся в семье своей разумностью и опрятностью, ровным нравом, любовью к чтению, к церковным службам — кому ж читать, как не ему? И он пошёл в эту ледяную избу просто, ничуть не боясь предстоящей ему долгой ночи наедине с мёртвой, не думая об этой ночи, не представляет себе, что ждёт его, — и вот уже давно чувствует, что случилось нечто роковое и непоправимое в его жизни. Он стоит и читает, наклонясь к жарким и дрожащим свечам, читает, не смолкая, всё на один лад, — как поднял голос по-церковному, так и остался на высокой ноте, — читает, ничего не понимая и не в силах прекратить чтения. Он чувствует, что ему уже нет спасения, что он совершенно один не только в этой ледяной избе, глаз на глаз с этим страшным существом, которое тем страшнее, что это его родная мать, но и в целом мире: что ночь так глубока, глуха, что ему уже не от кого ждать защиты и помощи.

Париж. Начало 20-х гг.

Евгения Бильченко

Вот такие теперь цветы

Вальс Леры

Чёрная Лера в чёрном монашьем платье,
Сестра ветерана Второй Чеченской,
Проклинает, мать её,
Либеральную интеллигенцию, но Чичерину

Тоже не слушает, предпочитая барокко.
Лера живёт с десятью котами,
С десятью алчевскими блокпостами.
Лере — не одиноко.

В этой питерской студии — много места.
Лера — Христова невеста.
Лера хотела бы стать журналистом, ибо
Верит в правду пера. Спасибо

Сислибам и комнатным патриотам,
Лера не стала корреспондентом
Ни одной из газет. Оттого-то
Она в похоронное всё одета

И улыбается над своею мечтой разбитой,
Жалея не регулярна, а ополченца.
У Леры есть вера в Бога и замполита
И мёртвый брат со Второй Чеченской.

С детства Леру не понимали:
Одноклассники, однокурсники.
У Леры отняли дали
Вдоль по маршруту подлодки «Курск».

И вместо далей дали вот это:
Собирать бинты для Алчевска.
Белая Лера в белое всё одета:
Это свадьба Второй Чеченской.

Мимо митинга, мимо красивых
Пацифистов, где вот это вот всё,
В чёрном платье идёт Россия,
Кота на руках несёт.

Люди с цветами

«Напиши,— говорит мне он,— напиши про нас.

Мы же есть, и нам тоже хочется внимания от поэта.

Начни,— говорит,— со слов: „Простите, что не с цветами встречаем вас,—

Мы просто боимся, просто боимся— только поэтому“».

Жаль, что я не умею стихов писать на заказ.

Всё, что я умею,— переписываться с другом Рыси,

Киевлянина-ополченца, который хочет домой, в Киев.

Всё, что я умею,— изучать огневые точки, молотилки и выси

Глазами подполья, которое мы никогда не кинем:

Оно погибнет, петляя по спискам, сокращая ходки по биссектрисе.

«Напиши,— говорит мне он,— не будь такой, как сейчас,—

Неоднозначной и злой: делай то, что умеешь делать».

Я говорю со студентами, я трачу тысячи фраз

На тех, чьи кишки наматает на танки наши их кровный демон,

Потому что я не умею стихов писать на заказ.

Всё, что я умею,— переписываться с училкой

Русского языка из Харькова. Она пишет, что ей стыдно

Ждать эти танки, когда кругом— сплошная, блин, молотилка.

И она всё видит, всё понимает, просто ей так обидно.

И она не берёт денег: гордая каждой жилкой.

«Напиши,— говорит мне он,— у тебя получается лучше

Писать о нас, чем делать всё остальное».

У женщины из Донецка внучка была как лучик.

Ей не было года, и тельце её не сохранилось целое после боя.

Через восемь лет над внуком вторым куражится мир сучий.

Всё, что я умею,— переписываться с дембелем из Кривого Рога.

Его никто не взял в ополчение, а он так хотел, чтоб позвали.

Он стесняется, что боится обложенной автоматами улицы больше Бога,

И знай говорит мне о предках, как они во время воевали,

Говорит много, между обстрелами, сбивчиво и много.

«Напиши,— говорит мне он,— даёшь нам духовной силы!»

И я даю, я отдаю, хотя отдавать уж нечего.

Я отдала женщине из Одессы всё, что я накопила.

Она говорит: «Я выйду из дома, прогуляюсь вдоль танков вечером».

Мне стыдно за эти ресурсы: женщины не должны партизанить, милый.

Всё, что я умею,— это телеграфировать на посты,

Выколупывать пушки из роддомов, чтобы мир остался живым:

От Харькова до Мариуполя, от Волновахи до Воркуты,—

Давиться цветами до слёз на глазах, до Победы нашей, до тошноты,

Потому что стихи мои суть цветы,

Вот

такие

теперь

цветы.

Россия

Она казалось огромной, гранитной, мраморной.
Оказалась маленькая: и уже оконной рамы.
Оказалась совсем с ладошку. Оказалось, дрожат слегка
Руки солдата над стопкою коньяка.

Оказалось, вот эти все вот, курящие, сильные,
Смотрят по-детски, и нервный тик у них, и типает их, да.
Оказалось, что с женщиной семижильные
Не семижильные иногда.

Оказалось, что я взрослая. Что в итоге?
Надо смотреть и видеть детей в Харькове и в Ростове.
Надо снова смотреть на детей в Горловке и в Донецке.
На ботинке гуманитарном дырка размером с нэцке.

Этот выбросим. Этот — в ящик. Долой науку.
Сейчас не до науки. И не до заработков.
Только бы не упасть. Отдаёт в руку
Сердце: прошлое не накормишь завтраком.

А она оказалась маленькой. И так за неё ужасно
Страшно, что кажется, что меня уже вовсе нет.
Где-то ещё раз успело жахнуть.
У кого-то жизнь забрало в обед.

Мир вызывает всё больше холодного отвращения.
Нет, не мщение, нет, не травма, не рвущиеся клочки
Реваншизма. Просто весна заглядывает сквозь щели,
И нет фашизма, а только мир, и в мире том — васильки.

На изломе

Один — из окопа, другой — из уютной квартиры,
Из погреба — третий, четвёртый — из собственной тьмы:
Мы все наблюдаем крушение старого мира,
Святые и грешники, бесы и ангелы — мы.

Один не желал, а другой только этим и грезил,
Но обе позиции больше уже не важны;
Мир треснул, расползся по швам, и в открытом разрезе
Мы видим, как в явь претворяются страхи и сны.

Пробейся сквозь толщу их почвы побегом пшеницы,
И небо узришь ты, и в небе — последний салют.
История пишет свои роковые страницы,
Но мы ей нужны, мы недаром присутствуем тут.

Я тоже не знаю, какими окажутся всходы,
Военные взводы, церковные своды, каким
Окажется мир после этой шальной непогоды...

Но мы не сбежим.
Мы навеки останемся с ним.

Илья Боровский

За сотни вёрст от маеты

Из ниоткуда в никуда

Непозволительная роскошь —
 Терять друзей на полпути.
 Пока летишь в Москву и Россошь,
 Их лица меркнут позади.

На торжество — обычно с кем-то,
 За тишиной — всегда одни,
 Идём, снимая киноленту
 Про наши сумрачные дни.

Судьбу доверив злему року,
 Всегда спешим на красный свет.
 В короткой вспышке мало проку,
 В недолгом спринте только бег.

Сгорят любимые в любимых,
 Родные сгорбятся в толпе,
 Их пронесут вагоны мимо
 С подшивкой памяти в купе.

На слабых крыльях из фантазий,
 С больной душой наперевес,
 Нам всем упасть с вершины наземь,
 Едва поднявшись до небес.

Там с новой грустью и улыбкой,
 Под шум житейского суда,
 Мы промелькнём в тумане зыбком
 Из ниоткуда в никуда.

Летняя ночь, или Полёты наяву

Атаку падающих звёзд
 Гладь водоёма отражала,
 И ты, счастливая, бежала
 В страну своих волшебных грёз.

Бежала вдаль, туда, где мир
 Качал безоблачное небо,
 Там вся земля пропахла хлебом —
 Должно быть, скоро званный пир.

Там самолёты как рукой
 В небесный стол поэмы пишат,
 И звуки города всё тише
 В пролесках делает покой.

В краю холмов и диких скал
 Ты ветру крылья подставляла
 И выше месяца взлетала,
 Пока рассвет в полях дремал.

За сотни вёрст от маеты,
 Под соловьиные мотивы,
 Среди ветвей плакучей ивы
 Свои лелеяла мечты.

На луг душистый и сырой
 Ты ранним утром опускалась
 И долго молча любовалась
 Короткой летнею порой...

Встреча

Каждая встреча — предвестник разлуки,
 Каждая искра — дорога во мрак.
 Радость других мы берём на поруки,
 Счастье своё продаём за пятак.

Эту картину придумал Всевышний,
 Каждому в руки по кисти раздав.
 Кто-то двух ангелов светлых напишет,
 Кто-то лишь краской измажет рукав.

Вертит людей на одной карусели
 Эллипс земной, нажимая на газ.
 Только вчера мы рвались и горели...
 Вот уже все позабыли о нас.

Смыслы искать — бестолковое дело.
 Правду свою сколько можешь вещай.
 Ведь под конец что останется в целом?
 Только две фразы: «Привет!» и «Прощай!»

Любовники сентября

Включайте свои приёмники.
В осенних кострах горя,
Садятся на подоконники
Любовники сентября.

Вчера эти пташки белые
Окутали всю Москву,
И множатся чувства зрелые,
Сбирая в букет листву.

Их крылья в пушистых пёрышках,
На щёчках лиловый май.
В зрачках огоньки от солнышка,
Где сгинет любая тьма.

Ах, как же они целуются!
Ох, как же они парят!
И каждый фонарь на улице
На них устремляет взгляд.

Арбат и дворы на Водников
Украсят они впотьмах.
С утра прозвенят в Сокольниках,
В обед пропоют в Филях.

Тоннели метро наполнятся
Напевами светлых душ.
Оркестр подземной конницы,
Сыграет влюблённым туш.

Рабочие и чиновники,
Поэты и чудаки
Стремятся попасть в любовники
И маются от тоски.

Не знают пока, несчастные:
Любовь в точный срок придёт,
Коврами укрыв цветастыми
Их пасмурный небосвод.

Включайте же все приёмники!
В осенних кострах горя,
Садятся на подоконники
Любовники сентября.

Депрессия live

Гул депрессии унылой
Обдирает до костей.
Стол пустой. Плита остыла.
Я не жду к себе гостей.

И погода так некстати
Дарит солнечный привет.
Я тоскую об утрате
На закате прошлых лет.

Я страдаю о любимой,
По супруге не моей,
О пока ещё незримом
Увядании друзей.

Соль, застрявшая навеки
В горле комом из потерь,
Боль о каждом человеке,
Кто в мою стучался дверь.

От тоски совсем зелёной
Я чернею на глазах,
И отчётливей резоны
Всё спустить на тормозах.

Но в судьбе, почти решённой,
Я включил холодный душ,
И в воде, душой прощённый,
Снова с «чина» слился «муж».

Боль прошла, печаль простыла,
Смылось всё за пару дней,
Я в отчаянье постылом
Стал отчаянно сильней.

Елена Литинская

Из лета в осень



Ещё не осень. Середина августа.
Приятная прохлада вечеров.
И лёгкий бриз в открытые окон уста
шлёт поцелуй сквозь кружевной покров.

Дышать легко. Я ожила. Мне пишется.
Ожог июлем зажил без рубца.
А занавеска знай себе колышется
фатой невесты, что из-под венца

бежать или остаться не решается,
страшась связать судьбу свою навек.
Преддверьем гроз, дождей и снега мается.
Как ветхий мост— пред нею смена вех.

Ступлю на этот мост без сожаления.
Мне каждый год— подарок к Рождеству.
И преклоню перед судьбой колени я,
благодаря, что всё ещё живу.



И снова годовщина. Сорок два.
Из Рима в Бруклин. Боже, так давно!
Иных уж нет, а кое-кто едва
плывёт и скоро— топором на дно.

Другой бредёт, шатаясь, словно пьян,
погасшим взором смотрит в никуда.
Когда-то бил, искрился, как фонтан,
а ныне— лишь стоячая вода.

А я не сдамся, покажу годам
язык. Дразнилка детская, игра.
За горизонтом ад или эдем—
пусть подождёт. Туда мне не пора...

Я, может, напишу ещё роман,
поэму о любви минувших лет.
Жизнь долгую предрёк мне хиромант.
Наврал, ошибся? Шесть утра. Рассвет...



Мои любви! Кровом ныне
вам— крест на холмике земли.
Живу отшельницей в пустыне.
Страстей корабль— на мели.

Гуляет вирус по планете,
изобретая новый штамм.
Укрыться с головой в Инете?
Проныра нас найдёт и там.

Искать спасенья в высшем мире?
Взлететь к высотам звёздных страз?
Но годы тяжестью, как гири,
легко к земле придавят нас.

Не рыпаться. Так будь что будет.
Внимать мелодике реприз.
И, может быть, тогда на блюде
рок поднесёт нам парадиз.



Потепление глобальное.
Люди— раки в кипятке.
Шевелю едва губами я,
словно рыба на крючке.

Нынче ни ногой на улицу.
Райский сад— домашний плен.
К креслу, как к насесту курица,
прирастаю. Эстроген

на нуле. Страстей не хочется—
под конём ли, на коне.
Ванга— грозная пророчица—
света предрекла конец.

Утомилась псиной гончею.
Если не уймётся зной,
в холодильнике окончу я
век земной...



Кончается сентябрь. А я и не заметила,
как проходили гонки осени и лета.
На августа багажнике осталась вмятина.
И дорого чинить, и ни к чему всё это.

Загнать авто в гараж до будущего года.
Пусть отдохнёт мотор. Ведь кончился бензин.
Живёт по расписанию мачеха-природа,
безжалостна к судьбе желтеющих осин.

За пазухой несёт дожди, шторма, метели.
И не умастить фурию, не подкупить.
Гляжу в окно. Сентябрь. Ну что я, в самом деле!
Листву, да и меня — нас рано хоронить.



Я не пишу. Года? Иссяк источник?
Колодец высох? Влага больше нет?
Дом на замке, и окна заколочены.
На время иль навек погашен свет?

Сумею ли найти колодец новый
в том веке, что отмерен мне судьбой?
Пегас, оставь на счастье хоть подкову,
пред тем как улететь на водопой.

Я не сдаюсь и продолжаю поиск.
Спешу, бегу, хоть знаю: крут мой склон.
Не торопись, о стихотворный поезд!
Дай мне успеть в последний твой вагон!



Конец июля. День идёт на убыль.
Девятый час, и ночь глядит в окно.
Отснято лето. Не готовит дубль
природы календарное кино.

За горизонтом притаился август.
Он скоро царственно взойдёт на трон.
И зноём утомлённые мы — Ave!
ему, Vivat! — и до земли поклон.

За мягкую теплынь и бархат неба,
за неразгаданные тайны звёзд,
за песенку, что пропоёт без гнева,
прощаясь, улетающая, дрозд.



Сентябрь мягкой поступью пришёл.
Листва пока не облетела.
Блестит на солнце трав зелёный шёлк.
Ему до осени нет дела.

На милость ночи не сдаётся день
в борьбе за каждый лучик света.
Ещё горяч песок приморских дюн,
как памятка бывшего лета.

О летний зной, как я тебя кляла!
Звала осеннюю прохладу.
Хвалою обернётся та хула,
когда затянёт дождь рулады.

Сезон штормов нам не перехитрить.
Природы игры и капризы.
Куда бежать? Ну разве что просить
на Марс или Юпитер визу...



Бруклин. Лето — липкой влагой,
хоть подставь стакан.
Кондиционера благо
или океан?

Полдень. Поздно. Сделан выбор.
Шторы застыт свет.
Что ж, Багамы и Карибы —
не для наших лет.

Память, кто ты? Друг, Иуда?
Зло или добро?
Мне оставили Бермуды
на душе тавро.

Чёрных дыр, коварных трещин
не боялись мы,
треугольников зловещих,
смерти и сумы.

Крепость духа, лёгкость тела.
Факел — Млечный Путь.
Боже, как бы я хотела
те года вернуть...

Олег Мошников

Чем время владело — владей!



Можно ли с Дона и Волги
Юные годы вернуть?
К морю студёному долгий
И заколоденный путь.

Город, губерния, волость—
Вольный кусается дым...
Рвёт наворóженный волос
Куйпога ветром седым.

Диду

Памяти Ф. И. Галинки

Под могильный камень,
В жижу и суглинку,
Не отпустит память
Фёдора Галинку:

Плачет небом слёзным
Ненько Украина,
Что в карельских соснах
Зыблется незримо.

Твердь песка сырого—
В изголовье деда:
Здесь его «Аврора»,
Здесь его Победа!..

Остудили лужи
Фронтовые раны.
Подвиг твой не нужен
Самостийным странам.

Как плацдарм последний—
Скорбная граница:
Голубой штакетник,
Мятлик и кислица.

Уповать на память—
Бередить обиду...
Что же будет с нами
И Россией, диду?

Безоглядной веры
Я твоей не стою,
Стоя пред фанерной
Красною звездой.



Крест одиночества—присно и ныне...
Ветренным, спутанным кронам не верь:
Памятно, ближе всего к сердцевине—
Время взросления, горечь потерь.



Все мы—будем землёй... Это больше,
Чем всполохи танцующих муз.
Нет ни щёлочки в замысле Божьем,
Ничего: ни желаний, ни чувств,—

Кроме сладкого духа сирени,
Диких роз—в придорожной пыли!
Сбились строчки. Дрова отгорели...
Всё сильнее притяженье Земли.



В чумной завьюженной сонате
Слышны Вийона бубенцы...
В толпе вагантов—на подхвате—
В дороге Брейгеля слепцы,

В базарный день, расправив плечи,
Они сыграют и споют:
И станет сразу на день легче—
Чумы, судьбы, котомок спуд.

Синий зимник

Между осенью и раем—
Мы путей не выбираем:
Мы летим—в клубах до неба—
Вихревой дорогой снега!

Седоков ямщик не слышит,
Крутогор пурги—всё выше.
Сколько лет отмерят зимы—
Вёрсты неисповедимы...

Круговерть—по всей России.
Ввьсь уходит зимник синий.
Стелют путь снежинки густо...
На земле бело и пусто.

Папа пришёл...

Наставления папы нужны для чего?
Для чего эти ш-ш-шики и строгие взгляды? —
Для того, чтобы после уткнуться в плечо,
Для того, чтобы папа был рядом.

Просто чтобы, прижавшись по-детски, забыть
О годах, на ветру леденящих слезинки:
Помогают большие ладони судьбы,
И колючей щеки — дарят ласку щетинок.

Перебои ранимого сердца — нежны,
И от долгой разлуки — невысказанно больно:
Для любви нескончаемой папы нужны! —
Чтобы волосы сына взлохматить невольно...

Церковь-музей

От скрипа дверного — до гулко-го свода:
Соборностью русской увлечь
Способна восторженность экскурсовода —
Горящая верою речь!

Работа в музее — служению церкви,
Причастию верных сродни...
Приглушены звуки, айфоны померкли —
Минувшего дышат огни

В разгаре чумы, суеверья и битвы:
Чем время владело — владей! —
Невидимых предков восходят молитвы
К сердцам попригитых людей.

Путешествие в Кахетию

Чего мы не видели в этом краю?
Крутой перевал снегопадом завесил
дорогу — к нагорному монастырю.
Давно мы грузинских не слышали песен

и паче молитв... и не пили вина:
«За мир!» — с воевавшим в Цхинвале грузином:
Зелёный, медовый, весёлый — страна
с полей виноград в самосвалы грузила.

А в Город Любви — круглосуточный загс
женатых туристов всё манит и манит:
осенними листьями падает в нас
влюблённый в Сигнахи Нико Пиросмани.

Всего, что о Грузии знали, — не счесть:
Боржоми, хинкали и ачмы хватило.
Приходит, проходит желание есть...
А надо — чтоб всё *это* памятно было!

-
1. Гора Ай-Петри (*греч.*) — Святой Пётр.
 2. Храм в п. Марциальные Воды, Карелия.

Подземный переход

Сызнова приходится тальянке
Повторять пропущенные звуки:
Западают орденские планки,
И дрожат пергаментные руки.

За копейку плечи не расправишь,
За копейку — жалкие, слепые
Пальцы из провалов мягких клавиш
Выведут страдания любые,

И сорвётся сердце на аккорде...
Поводырь душевности нездешней —
Музыка забвенья и надежды,
Музыка в подземном переходе.

Преображение

Скалы, ливанские кедры,
Южные берега.
К серой короне Ай-Петри¹
Тянутся облака —
Мимо дороги канатной,
Спящих в прудах черепах...
Зримо, чудно и занятно
Грезятся в горных столбах —
Новоманерные шпильки
Церкви Святого Петра².

Тонут тропинки в крапиве,
Лезет к воде мошкара;
Ключ марциальный карелу
Отпер глухую скалу:
После Петра — и по делу —
Марсу воздайте хвалу!
К месту — и флагман представил —
Брамсели, стены, бушприт:
Славу петровских баталей
Храм Габозерский хранит...

В тёмном болотном оконце
Перевернулись миры:
Блещет карельское солнце
В маковках крымской горы!



Ручьи...
Вы чьи?
Вода...
Куда?
Болотных чар —
клубится вар...
Дознаться
мне бы:
глубоко ль
Небо?

Мир

Я возьму память земных вёрст...

Р. Рождественский. Москва—Кассиопея

«Я возьму... с собой... этот мир»,—
Напевая, вспомнив советский фильм,
Домочадцев строчкою утомил.
Вдохновенно, лучше звучат Трофим,
Розенбаум, Визбор, Булат, Лоза...
Ничего не взявши, уйду нагим.
И закроет Космос мои глаза.
Что ж, музыка слов подчинённый, мир
О себе—в стихах моих—всё сказал
И, сказав, звёздных достиг глубин—
Берегов и мелей родной реки,
Побуждая лирику, а не гимн,
Полюбить. Плыть в этот мир *другим*.

На Мёртвом море

«В путь, земляки! Какие шутки?
Израиль вам—не заграница!»
Экскурсовод—Нагиев в юбке,
С Татарки киевской девица,—
Шутя, народ перезнакомит,
Погасит ропот возмущённый...
Грузин—другок на Мёртвом море,
Кунак—хохол, в Днепре крещённый,
В китов не тонущих играют:
Даёшь Союз! Нон пропаганда!..

На русском говорит Израиль.
«По коням!»—отдана команда.
Воспоминанья в самолёте
Нахлынут—встречи, шутки, лица:
Когда ещё вы шанс найдёте—
Так, не нарочно, подружиться?



Пункт №1: Командир всегда прав!

Армейская премудрость

Дым сигарки—строфа,
Чёрный чад—вороньё...
Так до дембеля думал «старик»:
«Грудь—в крестах»—не слова,
«Всё проходит»—враньё!—
И не поздно приказ обкурить,
Что прочёл командир,
Закрепляя успех,—
«Первый пункт приказа—зри!»...
Как Устав ни крути,
У начальника—верх.
Огонёк табачка—от зари.



Нострадамус—что дышло!
Саласпилс, Украина—
На скрижалях... А вышло:
Нет эпохи единой.

Зёрна веры пречистой—
Вновь накрыло волною,
Где герои—нацисты,
А Победа—виною...

Всенародное горе—
Сколько сгнуло люду!—
Не своё, не родное...
Оболгут—и забудут.

Тохтамышевой данью
Заручились прибалты:
Всё идёт к оправданью...
А хотелось бы—правды.

Глаза луны

Луна в кольце—
 преддверье снега...
Немного жутко оттого,
что кто-то строго
 смотрит с неба—
 посредством глаза одного...

—Эй, одноглазый!—
 парень тёртый—
шпана с соседнего двора—
в обличье лунном
 дразнит чёрта:
тикает с горки детвора
семидесятых!..

Детским страхом
забытым пятки щекотать
как будто поздно—
в сорок с гаком...

Но смотрит Время,
аки тать,
 двойной сияющей луною,
зрачком безжалостным дыша,
на тех—
 кто борзой был шпаную,
погиб от водки и ножа.

А что луна? Луна—не больше,
кружок, повешенный на гвоздь...
Во тьме метельной око Божье—
всё знало,
 видело насквозь.

Сергей Кузнецихин

Обещали хорошую погоду

С первым рейсом Галина управилась ловко. В раннем полупустом автобусе доехала до деревни и по холодку дошла до своего поля, даже ведро картошки в рюкзаке не почувствовала, пожалела, что мало взяла.

Собственно, поле было уже не своё, а на месте её бывшего дома серели незажившие кучки земли и глины вокруг бетонного фундамента чужого коттеджа. В прошлый раз она останавливалась возле него, стояла, сдерживая слёзы, глядя, как покачиваются не убранные осенью высоченные мальвы, а теперь прошла мимо, даже голову не повернула, чтобы душу не травить. Некогда сопли разводил — надо было поскорее высадить картошку и возвращаться в город за новой порцией. Два дня назад она уже приезжала сюда на разведку, но земля была тяжёлая, липла к лопате. Вскопала сотку, высадила привезённое ведро. По горячке замахнулась на заделье, но быстро умаялась, не молодка уже, седьмой десяток разменяла. Спрятала лопату в бурьян на меже и пошла на остановку.

«Пазик» до деревни ходил четыре раза в день. Если опоздаешь, придётся топтать три километра до трассы, где ходили междугородные, на которых пенсионное удостоверение не действовало и заставляли платить. Она рассчитывала до обеда воротиться в город и на двухчасовом привезти ещё ведро. Прохлаждаться и горевать было некогда. Утром даже «тормозок» не взяла, чтобы не трагить время на еду.

На лопату никто не позарился, да и кто полезет в заросли колючки собирать? Вытерла черенок сухой травой и принялась за дело. Побросала картошку в лунки на вскопанной земле, оставалось ещё на пару рядков. Посмотрела на часы и снова взялась за лопату. Успела высадить всё, что привезла, и была на остановке за десять минут до отхода. Присесть бы отдохнуть, да лавочку сломали — кому-то из новых дачников доска понадобилась.

Дома похлебала супчика. Есть не хотелось, но заставила себя. Когда пакет с картошкой ставила в выцветший рюкзак, неожиданно для себя увидела, какой он грязный, а боковые карманы изъедены мышами. Пока жили в деревне, она его не трогала, Василий с ним на рыбалку ездил, а в его хозяйство она не лезла. Как он оказался в городской квартире,

не помнила — наверное, дочь при переезде набила каким-нибудь барахлом. Утром, когда собиралась, не обратила внимания, а теперь глянула — и стыдно стало. Ехать по городу с таким рваньём — за бичиху могут принять, стыда не оберёшься. Помня, как утром легко добралась, взяла сумку и поставила в неё пакет. Потрогала на вес и добавила ещё пяток картошин, решив, что до остановки донесёт, не надорвётся.

Народу в автобусе сначала было много, но после поворота с трассы осталось три человека. Один был незнакомый, явно из дачников и по одежде, и по облику, а второй — Мишка Стрельников, их, деревенский. Он жил на другом конце села, но иногда заходил к её Василию по дороге с озера. Баба у него была злая и не любила чистить карасей. Когда рыбалка удавалась, Мишка не забывал поделиться уловом и отдавал отборный крупняк, вроде как от широты душевной, а на самом деле чтобы похвастаться, да и кости в мелочи не такие злые, как в больших карасях.

После смерти Василия он вообще зачистил к ней. Придёт, вывалит рыбу в таз и приглашает полюбоваться. А ей что оставалось делать? Благодарить за доброту и хвалить за рыбацкую ловкость. Как-то раз явился с початой бутылкой водки — видимо, заранее готовился к свиданию, а на озере принял для храбрости. Попросил, чтобы достала стопки и малосольных огурцов, которые у неё получаются лучше, чем у его бабы. Налил по края и себе, и ей и предложил помянуть Василия.

— Добрый был мужик и честный. Разве что хитрецы не хватало, но хитрожопых у нас пруд пруди, а честных по пальцам пересчитаешь. И в политике разбирался, — глянул на стол. — А почему не допила? Неправильно. Или не любила Ваську?

— Любила.

— Тогда обязана.

Она допила, и он сразу налил по второй.

— А моя совсем запилила, домой неохота идти.

— Так за дело, поди, ты по хозяйству помогай, а не на озере просиживай.

— Помогаю, порядок поддерживаю. Грядки, что ли, полоть? Вся мужицкую работу делаю. Могу и тебе пособить. Трудно без Васьки-то?

— И трудно, и тоскливо. Даже поворчать не на кого.

— А чо ворчать-то?

— Да как не ворчать? Идёт по огороду, одуванчик под ногами желтеет, нет бы нагнуться и вырвать, пока не отцвёл и семена не разлетелись по полю, — перешагивает, словно не замечает, у него совсем другое в голове. Ворчала, а теперь допёрла, как трудно в доме без мужика.

Вздохнула и сразу пожалела. Мишка понял её на свой лад. Подошёл со спины, руки на плечи положил, вроде как успокаивать собрался, а пальцы уже своевольничали.

— Пока Василий болен, стосковалась, поди?

— Ленивый был, но добрый, ни разу не ударил.

Мишкины пальцы не успокаивались. Ей пришлось встать, чтобы освободиться от его рук.

— Шёл бы ты к себе, — сказала, сдерживая голос.

Мишка сделал вид, что ничего не понял. Хватанул стопку, подержал бутылку в руке, кивнул сам себе и сунул её в карман.

— Ладно, пойду, пожалуй. Карасей-то почисти, а то пропадут, — взял с тарелки пару огурцов. — Хороши они у тебя, честное слово.

Но мялся, не уходил, ждал, что остановят.

Галина молчала. Давая понять, что разговаривать больше не о чём, начала убирать со стола. Мишка торопливо опрокинул в себя её нетронутую стопку и ушёл.

После этого перестал носить карасей.

Едва отъехали от перекрёстка, автобус остановился. Водитель вышел из кабины и открыл капот. — Всё, кранты, дальше не повезёт, — зло засмеялся Мишка.

— Не каркай! — оборвала Галина. — Ещё не доехали, — и, теряя уверенность: — Обязан вроде.

— Никому он не обязан, кроме своей жены.

— А зачем ему на пенсионеров бензин и время тратить? Они нас халявщиками зовут, сам слышал, — тоскливо проворчал дачник.

Если на Мишкину болтовню можно было не обращать внимания, то солидный мужчина добавил тревоги.

— Да как это не поедет? У него же работа...

— Сейчас заявит, что автобус сломался, и ничего ему не докажешь, ни в чём не уличишь.

— Да тут всего три километра осталось, — слабеющим голосом пробормотала она, переводя взгляд то на дачника, то на Мишку.

— А ему без разницы, три или пять. Я уже второй раз за сезон в подобную передрыгу попадаю.

Водителя из-за капота было не видно. Галина не утерпела и вышла из автобуса. Остановилась рядом, надеясь разжалобить.

— Ну как?

— Да никак, — огрызнулся, не поднимая головы.

Она не отходила, пытаясь заглянуть в мотор — будто контролировала.

— Ну что над душой стоишь? Эту рухлядь давно списывать пора.

Со злостью хлопнул капотом и закурил.

— А как же мы? — вырвалось у неё.

— Давай садись на закорки, и поташу тебя в деревню. Полгаража рухлядью забито. Латают, латают, а толку никакого.

Бросил недокуренную сигарету, а через минуту закурил новую. Стоял, повернувшись к ней спиной, и смотрел на трассу.

Мужики тоже вышли из автобуса. Оба с рюкзачками, у дачника ещё и пакет в придачу.

Когда отошли метров на сто, она оглянулась. Автобуса на дороге не было.

— Посмотрите, мужики, починил свою рухлядь.

— Я сразу сказал, что он темнит, а ты — не каркай, не каркай.

— Да что же такое творится: на автобусе десять минут, а пёхом, да ещё с сумкой... Где у него совесть?

— Хватились. Поздно вспоминать о совести. Кончилось строительство коммунизма. Не успели достроить.

— Это вам, городским, коммунизм раем казался, а у нас в деревне любая власть против крестьянина. Отец рассказывал про коллективизацию. И Галина из кулацкой семьи.

— Да знаю я, читал. Но люди всё-таки были добрее и стеснялись дурно поступать.

— Звереет народ, богатеет, кто как, — засмеялся Мишка и обернулся к Галине: — А покупатель твой так и не объявился?

— Ни слуху ни духу.

— Убили, скорее всего.

— Типун тебе на язык! Человек-то очень порядочным показался.

— Или посадили. Милиция не приходила?

— Нет.

— И наследники не беспокоят?

— Пока не объявляются.

— Значит, точно убили.

Не хотела она продавать дом. Дочь уломала.

В город Люська уехала сразу после школы. Неиспорченная девчонка росла. Не красавица, но работающая. Усебя на комбинате в ударницы выбилась, на Доске почёта висела. Медалью наградили и в партию приняли. Но не зазналась, родителей навещала, приезжала в огороде помогать и весной, и осенью. Когда родила, квартиру дали. Маленькую, на первом этаже, но всё-таки успела получить до перестройки. Ещё бы год проволынили, так бы в общежитии и застряла. За то, что без мужа родила, Галина её не попрекала — не век же в старых девах маяться, природа требует, а возраст уходит. Стыдно, конечно, да не всем удача выпадает, даже красавицы матерями-одиночками остаются.

Мальчишка подрастал, и дочь забеспокоилась о расширении жилья. Приехала к ней в деревню, до вечера продёргивала морковку, помогала поливать, а когда сели ужинать, достала привезённую

бутылку вина и, помявшись, выложила свои заботы. Предложила продать дом и переехать к ней. Не думала Галина о переезде в город, даже на старость не загадывала. А тут—вдруг, сразу—аж голова заболела. Но дочь умоляла поторопиться, потому что квартиры в городе стали резко дорожать—через полгода запросят такие деньги, которых нигде и никогда не найти.

Страшно было отрываться от родной земли, не представляла, как будет жить в чужом городе, но и родной кровинушке как откажешь? Если на свет произвела, значит, обязана заботиться. Да и дом после смерти Василия стал ветшать. Раньше не замечала, а недавно обнаружила, что печка в бане прогорела и после сильного дождя угол промок, того и гляди с потолка закапает. С хозяйством вроде управлялась, да надолго ли хватит? Думай не думай, но её жизнь прожита, а Люське ещё долго мыкаться и сына поднимать.

Посидели, всплакнули, а утром дочь уехала в город на работу.

С первым покупателем Люська прикатила на такси. Галина глянула на него и сразу определила, что с таким лучше не связываться: рожа слишком бандитская, такой и без дома, и без денег оставить может. Осмотр начал с бани. Галина с перепугу призналась, что печка прогорела, но пол не гниёт и банька очень жаркая, хорошо держит тепло. Надо бы промолчать, а этот сразу же прицепился к несчастной печке, вроде как на другой день намылился париться. Цену начал сбивать. Наглый, напористый. Галина боялась, что Люська дрогнет, но та не уступала. Некуда было отступать. Пообещал подумать и перезвонить, если ничего лучшего не найдёт. Сел в такси и поехал вдоль деревни. Когда остались одни, хотела высказать дочери, что она вроде и пообтёрлась в городе, а в людях разбираться не научилась—путается с кем попало, то же самое подумала и об отце её ребёнка, но посмотрела на измученное и расстроенное лицо дочери и принялась успокаивать.

Второй покупатель был кавказец. Вежливый, заглядывающий в глаза и уступающий дорогу, но кавказцам она не доверяла. Пусть и усадьбу нахваливал, восхищался порядком (хотя порядка и не было), радовался, что много земли, на которой можно выращивать овощи для его киоска. Планы строил, но она чувствовала, что не сговорятся. И не обманулась. Когда дело дошло до денег, выяснилось, что рассчитывать на него надеялся по частям. Дочь это не устраивало.

Зато с третьим повезло. Он ей сразу глянулся. Мужичонка вроде и мелковатый, но крепенький, и видно, что с характером. Отца чем-то напомнил. Деньги обещал перечислить хоть завтра, очень уж ему понравилось, что участок выходит на берег озера. Заявил, что облагородит берег, привезёт песок и устроит купальню. Когда она пригласила

посмотреть избу, небрежно отмахнулся: чего, мол, смотреть, если сносить собрался? Легко так сказал, словно о пустяке каком-то. Она даже обиделась за свой дом и подумала: это какие же надо деньги иметь, чтобы так небрежно разбрасываться! Но у него было условие: избу он снесёт ещё до осени, чтобы к зиме подвести новый дом под крышу. Успокоил, что за урожаем переживать не надо, бригада у него вымуштрованная, ничего не затопчут.

Оказалось, что Люська времени даром не теряла. У неё уже были договорённости и на свою квартиру, и на новую. За восемь дней с переездом управилась. На хорошую, с современной планировкой, денег не хватило, но дочь и этому рада была. И Галине досталась маленькая радость: в старой пятиэтажке имелись подвальные ячейки для каждого хозяина—будет куда картошку привезти.

Но тревога не уходила. А как быть со своим хозяйством? И голова раскалывалась, и сердце надрывалось. Корову они продали, когда заболел Василий. Но чушку держала и курей шесть штук. И барахла за долгую жизнь скопила. Из мебели в новую квартиру Люська разрешила взять только диван, стол и пару табуреток. Что продала, что раздала соседям, что-то просто выставила за ограду—сердце кровью обливалось.

Смотреть, как рушат родной дом, сил не было. Неделю на огороде не показывалась, а когда приехала, на месте дома был котлован, в котором успели поставить бетонные блоки фундамента. Даже брёвна увезли, чтобы не мешали стройке. С уважением подивилась хватке нового хозяина.

На огороде не насвინячили. Заметила, что наведывались в огуречную грядку, но плети не поломали. А огурцов было не жалко, их всё равно девать некуда в городской квартире. Вздыхай не вздыхай—дело сделано.

Когда копала картошку, рабочие на новостройку не приезжали. Урожай удался. На зиму заделёе будет: набрала ведёрко, вышла к магазину—и какой-то доход получила. Не сидеть же целый день в четырёх стенах.

Картошку вывезла, ранетку собрала, а строители так и не появились. Попросила дочь позвонить хозяину, но та не смогла дозвониться. Уже в октябре, когда на огороде всё убрала, съездила из любопытства, увидела лужу на дне котлована и вернулась город. Не знала, что и думать.

И весной хозяин не объявился. Пропал человек. Дотерпела до середины июня—земля пропадала без дела. Повздыхала и решила рискнуть, посадить, пока землю осотом да лебедой не забило, хотя бы три сотки. Для себя и немного на продажу. У дочери на комбинате начались перебои с зарплатой, а в мае вместо денег выдали материал для простыней, продавать предложили—а кто его купит, когда на еду не хватает?

Первое время шла рядом с мужиками, пере-
кладывая сумку из руки в руку. Помощи Мишка
не предложил. Дачник был моложе, длинноногий,
и понемногу стал удаляться от них.

— Не жалеешь, что дом продала?

— Жалей не жалей, назад не вернёшь.

— Как в городе-то живётся?

— А как в деревне?

— Да хреново.

— А в городе и того хуже.

— Это понятно. У нас хоть хозяйство помогает, а в
городе всё из магазина. А чего едешь-то — соску-
чилась?

— Картошку решила посадить. Не пропадать же
земле. Прошлой весной машину навоза вбухала.

— А покупатель так и пропал?

— Люська раз пять звонила, трубку не берёт.

— Говорю тебе — убили. У них, бандитов, это за-
просто.

— Какой он бандит? Порядочный человек, деньги
сразу перевёл, не обманул. Заплатил, не торгуясь.

— Значит, точно бандит или жулик. Ворованное не
экономят. В нашем магазине продукты дороже, чем
в городском, вот и мотаюсь, сахара купил да гречки.

— Самогонку гнать собрался?

— С чего ты взяла? — испуганно выпалил Мишка. —
На варенье. Впрок запасаясь, цены-то вон как ра-
стут. Зарплату рабочему классу не задерживают?

— Задерживают. А бывает, что и совсем не платят.

— Слышал, слышал.

— А если знаешь, зачем спрашиваешь? — не хоте-
лось разговаривать.

Сумка с каждым шагом делалась тяжелее и
тяжелее. Галина остановилась передохнуть. Мишка
чуть задержался возле неё и зашагал дальше, потом
оглянулся.

— Ладно, пойду, мне всё одно скоро сворачивать.
Если буду рядом с твоим полем и шпану какую
замечу, обязательно шугану.

Успокоил, называется. До поворота на его тропу
ещё около километра, мог бы и пособить. Забыл,
как намёками в краску вгонял и руки распускать
пытался. Теперь, наверное, радуется, что не подда-
лась: баба с возу — кобелю легче. Вышагивает, даже
не оглядывается. Мужик называется. И водитель
автобусный тоже мужик. Выбросил среди дороги —
ни стыда, ни совести. Что с того, что льготыники?
Они эту льготу горбом зарабатывали. Государство
обязано долги отдавать. А этому и на стариков на-
плевать, и на обязанности. Ни уважения, ни страха.

Разнервничалась, сумка пальцы разгибает.
Остановилась передохнуть. Спина Мишки уже
скрылась за поворотом — быстрый на ногу, и годы
не берут. Постояла, подхватила сумку и дальше
поплелась. Потом ещё два раза останавливалась.

Когда подошла к фундаменту, который мыс-
ленно продолжала называть «своим домом», при-
села на шершавый прохладный бетон отдышаться,

открыла сумку, чтобы достать квасу, но не нашла
бутылку. Оставила дома на столе, пока перегру-
жала картошку из рюкзака. А ведь специально на
видное место поставила. Не задался день! Посмо-
трела на дружно цветущую ранетку и подумала,
что осенью можно было бы вместо кваса съесть
сочную «уралку» или горсть кислицы. Подумала,
если хозяин не объявится, надо обобрать яблони
и смородину на продажу. Да если даже и вернётся,
ему, с его замашками, её ранетки без надобности.

Работала не разгибаясь и всё равно не успела
высадить всё, что привезла. Когда глянула на часы,
до отхода автобуса оставалось совсем ничего.
Кое-как прикопала оставшуюся картошку, но
когда спрятала лопату, увидела, что из-под кучи
выглядывают три белых клубня с ростками. Сапо-
гом нагребла на них земли и побежала. Пришлось,
чтобы не опоздать. Успокоилась, когда увидела
народ на остановке. Встала отдышаться. Пока
работала, и на небо было некогда посмотреть,
а тут подняла голову и перепугалась — над ней
висела тяжёлая чёрная туча.

Автобус опаздывал. Поджидало его около де-
сятка дачников. Своих, деревенских, вроде как
не было, да и зачем им на ночь ехать в город? На
конечную автобус ещё не проходил. Опоздания
случались частенько, поэтому задержка пока тре-
вожила меньше, нежели туча.

— Я утром прогноз слушал, — сказал пожилой
мужчина в красной бейсболке, — обещали хоро-
шую погоду, без осадков.

— Мало ли что они наобещают, — возразила тол-
стая дама в тесном спортивном костюме, явно
доставшемся от дочери. — Врёт ваше радио!

— Не всегда. Сегодня читал прогноз Бердников.
Другие дикторы врут, а Бердников никогда не
обманывает.

Сразу после его слов хрястнул длинный рас-
катистый гром.

— Ну и где же ваш честный Бердников?

— Ничего страшного, погремит и успокоится,
дождя-то пока нет. А вот автобуса, пожалуй, уже
не будет.

— Три дня назад полчаса простояла и на дачу верну-
лась. Не любят они по этой разбитой дороге ездить.

— И нас сегодня двухчасовой на перекрёстке
выбросил, — пожаловалась Галина.

— Как выбросил?

— Сказал, что сломался, а когда мы отошли, раз-
вернулся и уехал.

— Завтра доберусь до города и обязательно по-
звоню в диспетчерскую. Распустились.

— Звоните, могут послать куда подальше, могут
извиниться, а толку никакого. Вы что, забыли, что
у нас демократия? — фыркнула дама. — Я, пожа-
луй, на дачу возвращаюсь, автобуса не будет, а
дождь, — добавила для мужчины в бейсболке, —
обязательно будет.

За ней потянулись остальные. Галина осталась одна. Можно было воротиться в деревню и попроситься на ночлег к бывшей соседке, да стыдно стало. Три километра с пустой сумкой не так и страшно, дальше хаживала — не старуха ещё, пока всего шестьдесят один.

Бодрилась, а ноги-то гудели, утопталась, целый день без передыха. Мимо проезжали машины. Но никто не останавливался. Голосовать она даже не пробовала — денег не было.

Не успела пройти полпути — и начался дождь, тихо, без грома, сначала редкий, даже тёплый, как ей показалось, но очень скоро набрал силу. Она прибавила ходу. Да как прибавишь, если ноги ватные? А дождь вошёл в раж и хлестал уже безжалостно. Зонтик она не брала, не хотела тащить лишний груз, и укрыться было негде — голая дорога. Подумала, что прикопанную картошку обязательно размочит, значит, утром придётся ехать, досаживать. На пару с Люськой управились бы за день. Да нельзя ей — работа. Только работа какая-то дурная: зарплату не дают, а дисциплину требуют.

Машины, спасаясь от дождя, мчались в город, не снижая скорости. Брызги от колёс летели далеко на обочину. Одна из машин угодила в выбоину,

и Галину окатило по пояс грязной волной, даже в сапоги попало. Другая при обгоне выскочила на край дороги. Галина с испугу попятилась, запнулась и упала на спину. Лежала с закрытыми глазами, не совсем понимая: жива ли? А когда поняла, что жива, подумала: а, может быть, лучше бы насмерть сбили и не надо было бы тащиться до проклятой остановки. Она даже глаза закрыла и руки вдоль тела вытянула, но тут же спохватилась: а как же Люська с внуком без её помощи и без её пенсии? Пропадут. Заставила себя подняться. Осторожно сделала первый шаг, удостоверилась, что ничего не сломала и не ушибла. Некстати вспомнилась детская присказка: «Дождик, дождик, перестань, мы поедем в Эристань — Богу молиться, Христу поклониться». Только где она, неведомая Эристань, в которой можно поклониться Христу и попросить его, чтобы дожди подчинялись прогнозам и автобусы ходили по расписанию? Она машинально перекрестилась, но дождь не затихал. Хлестали струи, пробивая насквозь промокшую куртку, летели брызги из-под колёс. Вода по асфальту текла сплошной рекой, и ей вдруг подумалось, что эта река уносит остановку всё дальше и дальше от неё.



Литературное Красноярье :. ДиН РЕВЮ

Марина Саввиных Кров бескрайний

Красноярск: «Литера-принт», 2022

...Это удивительный сборник... Вроде бы — ёмкий и небольшой, компактный — в полтора присеста одолеть его можно. Но, как в сказке — начинаешь открывать его, а он с каждым разом всё больше и глубже становится. Прочитал одно стихотворение — кажется, вот-вот дочитаешь всё — а тебя тянет вернуться назад, перечитать только что увиденное... Вернулся назад — а там уже совсем другое пространство, другие смыслы, другое время года даже, кажется... Это — слово поэта, подобно парусу, расширяет и расширяет открывающееся читателю пространство-время. И рядом с реальными, всем нам хорошо известными четырьмя измерениями возникает оно, пятое (а то и шестое или седьмое...) То ли измерение, то ли чувство, то ли время, то ли — та самая седьмая печать. Седьмая труба. Ибо — ангел уже восрубил, а поэт — изронил своё золотое слово...

ГЕННАДИЙ МАЛАШИН



А земля, товарищ, у нас одна.
И за нами — топь, да степь, да тайга.
Незабытые дедовы времена,
За горами схороненная тамга.
Да Ярилин сход, да Христов погост,
Да вчерашнее горе, да Китеж-град,
Да сосна — макушкой до самых звёзд,
Да любовь — на тысячу лет подряд...
И никто не осмелится — вот те крест! —
Осквернить наше слово, поджечь наш дом,
Потому что, друг, это наш Брест —
Значит, мы, даже мёртвые, не уйдём.

Геннадий Васильев

Ложная тревога

Живая природа

Дидактический рассказ

1.

— Шёл бы ты отсюда! — сказал мне дрозд, усевшись на фонарь рядом со скамейкой в моём любимом сквере.

Второй дрозд — как я потом понял, его подруга, дроздица или как там их зовут, — уселась (уселась) на ветку дерева по соседству и укоризненно стала разглядывать меня сперва одним, потом вторым глазом.

— Шёл бы ты отсюда! — повторил тот, что сидел на фонаре.

— Это почему это? — спросил я ошарашенно.

Я не удивился, что птицы говорят со мной, такое случалось и раньше. Но я почему-то не удивился и тому, что их понимаю.

— У нас личный разговор, а ты нам мешаешь, — дрозд раздражённо клюнул фонарь.

— Так я всё равно не понимаю вашего языка, — слабо возразил я.

— Ну понимаешь ведь! — мне показалось, что дрозд улынулся.

А его подруга уж точно усмехнулась, издав металлический звук.

— Ну хорошо, — сказал я. — А что, перелететь в другое место вы не можете? Это моя любимая скамейка, я здесь по утрам всегда посиживаю. Думаю, сочиняю.

— В другом месте нас станут подслушивать другие птицы — воробьи там, трясогузки... вороны, сороки. А у нас — личный разговор, семейный. А сочинять ты можешь в любом месте.

Подруга снова подтвердила.

— Так что... шёл бы ты отсюда.

Я пожал плечами: что было делать? Пошёл.

В сквере, где я гуляю по утрам, дроздов много. То есть — было много. В последнее время их число заметно уменьшилось. Так же, как бывает у людей: по причине внешнего вмешательства, из сообщений безопасности они решили сократить своё присутствие в этом уголке города. За счёт наращивания эскалации в другие районы. Где мы только не встречаем их теперь. А причиной передислокации стали человеческие благие намерения.

Сквер — много деревьев: ранеток, лип, вязов, растут хвойные — сосны и ели, много черёмухи Маака. Словом, всё растёт, всё процветает, по утрам я наблюдаю развитие природы во всех направлениях, доступных в условиях мегаполиса. Нюхаю яблони, жду, когда расцветёт рябина, радуясь сосновым свечкам.

И, конечно, наблюдаю и слушаю птичек. Некоторых — только слушаю. Зяблик в ветках прячется, разглядеть его удаётся с трудом, надо тихонько к дереву подкрасться, долго искать его, поющего, среди иголок или листьев. Хотя в пору, когда на берёзах только оживают серёжки, эту пташу можно увидеть висящей вверх ногами или боком и азартно склёвывающей берёзовые дары природы. Тогда зяблику, конечно, не до песен. Сытое брюхо к изящному глухо. Но я хожу утрами там, где можно его и услышать, и увидеть.

Однако отвлёкся, переключился с крупных чернозобых дроздов на мелкую, хоть и голосистую, пташу. Люблю птичек.

В сквере есть ещё часть территории, почти обособленная, где деревьев мало, редкие ранетки, зато много травы, которую регулярно грамотно стригут. Там и резвились дрозды — бегали по траве, выскивали что-то и делились друг с другом находками. В прошедшем времени — потому что туда пришли люди. Они решили сделать благо: посадить много деревьев, чтобы тем, редким, стало веселее. И посадили. Дроздов это озадачило. Это нарушило привычный ход их жизни, навело на неприятные размышления. Поразмыслив хорошенько, они решили оставить здесь форпост, а основными частями перебраться в другие районы города и на всякий случай рассеяться.

... Я ушёл недалеко, завернул за ближайший куст барбариса — здесь эти кусты высокие и густые, — стал подслушивать.

— Значит, так, — помедлив и убедившись, что я скрылся, говорил дрозд дроздице. — Значит, так. Пока вроде ничего плохого — ну, насадили деревьев, отняли у нас часть территории, но никто не пострадал, и бегать мы можем там, где бегали, и травки и жучков не ubyло. Что будем решать?

Та помолчала. Потом щёлкнула клювом — мне показалось, смачно сплюнула. И сказала вдруг

такое, отчего я чуть не выскочил из куста—хотел убедиться, что это всё-таки птица. Но не выскочил. — Ты в нашей малине масть держишь, тебе и вопрос решать.

Собеседник в ответ раздражённо щёлкнул клювом, как будто поморщился.

— Я знаю, что ты пару лет чалилась... то есть гнездилась в зоне, но, прошу тебя, оставь эту свою феню, жаргон свой.

Она издала звук, по-человечески похожий на смех. Я, как жетса, скоро стану переводчиком с птичьего.

— Давай, начальник, не лепи горбатого. Не баклань. Решай.

Дрозд сплюнул—ну, я сам это слышал!

— Ладно. Значит, так. Возвращаем всю братву... тьфу ты!— всю стаю возвращаем обратно. Живём здесь. Здесь воздух нормальный и...

— И хавка от пуза!— добавила собеседница.

Дрозд снова сердито щёлкнул клювом.

— Ну как тебя от жаргона вылечить? Ладно, полетели малину... тьфу ты!— стаю собирать.

Она засмеялась, щёлкая:

— Слово «малина» здесь неуместно! Ладно, научу тебя. У нас ещё будет время.

Они сорвались, коротко и часто взмахивая крыльями и металлически пощёлкивая—такой у них продолжался разговор.

Я обогнул куст. Меня слегка покачивало. Впечатление было то ещё.

Через неделю популяция дроздов в сквере не только вернулась к прежней, а заметно выросла.

2.

— Говоришь, травку подстригают грамотно? Ну-ну...

Я подпрыгнул от неожиданности. Одуванчик под ногой хихикнул восторженно и испуганно:

— Не наступи! Прыгаешь...

Я нагнулся.

— Ты со мной говоришь?

Он фыркнул, подбоченился—если бы не видел своими глазами, никогда не поверил бы: он и правда подбоченился, как в мультиках, согнув лепестки, как человек согнул бы руки. И—клянусь!—подмигнул мне.

— Ты думаешь, только птички разговаривать умеют? Ну-ну...

Я невольно протянул руку—он закрылся лепестком.

— Только рвать меня не надо, ладно? Я с тобой—по-человечески...

Круглое жёлтое морщинистое лицо его смотрело на меня из-за лепестка внимательно.

— Не стану, конечно. Просто хотел убедиться, что не сон.

— Ну вот,—оскорбился одуванчик,—с птичками он, значит, наяву общается, а мы, флора,—сон.

Я почувствовал вину.

— Ладно, не сердись. Просто не привык я, когда со мной говорят птицы ли, растения. Вот кошка ещё дома со мной заговорит человеческим языком—и можно меня на Курчатова.

Одуванчик засмеялся.

— Ну ты даёшь! По-твоему, мы человеческим языком овладели, чтобы ты нас понимать смог? Ну ты даёшь! Это просто ты нас научился понимать. Может, конечно, тебя и надо—на Курчатова, но по другой причине.

Он вдруг обернулся, крикнул громко:

— Ребята, подтягивайтесь! Не опасно. Поговорим.

И «ребята», одуванчики окрестные, как-то правда подтянулись. Не сходя с места. И я стоял в кругу одуванчиков. На мгновение стало даже не по себе: «Окружили!» Прогнал мысль: просто время такое... беспокойное. Военные реалии чудятся.

Я успокоился.

— Ладно. Чего от меня хотите-то?

Одуванчик опять подбоченился:

— Понимания. Ты помнишь, каким этот сквер был до прошлого года?

Я пожал плечами:

— А что, собственно, изменилось? Ну, качели вот поставили, деревья ещё посадили. Плохо разве?

— Нет, не плохо. Но, кроме деревьев и кустов,—при слове «кусты» он как-то брезгливо сморщился,—здесь было настоящее поле из одуванчиков. А сейчас видишь, сколько нас осталось?—он обвёл вокруг листом—длинным, правым.—Видишь? Отчего это, как думаешь?

Я пожал плечами, не ответил.

— Эх!—одуванчик горестно закрыл лепестками голову.—Эх!.. Да ты ведь сам звонил в ведомство, которое за этим сквером ухаживает, умолял, чтобы не скашивали одуванчики, когда косят траву. Помнишь?

Я вспомнил. Да, так и было. Я, как обычно, совершал утреннюю прогулку по скверу, увидел косцов на специальных механизмах—они подравнивали траву, заодно скашивали и одуванчики. Я спросил телефон начальства, звонил, просил, даже—правда!—умолял. Говорил о красоте, об эстетике. Всё напрасно. Одуванчики тогда скопились. Но вот же они—возродились, снова жёлтые, радостные и—главное!—со мной говорят. В чём проблема-то? Я так и сказал вслух.

Одуванчик вздохнул.

— Ты видишь ту—прежнюю—поляну одуванчиков? Разве видишь? Как сказал один ваш человеческий бард, «нас осталось мало—мы да наша боль». Мы теперь расти боимся. Видишь—мы растём в основном там, где нас достать трудно: рядом с асфальтовой дорожкой, в густой тени елей, под их надёжным укрытием. Скажи: кому такая радость, чтобы мы прятались? Разве это создаёт

красоту? Разве это может радовать глаз? Да и на нас посмотри — мы же все напуганы.

Он обернулся к другим одуванчикам, махнул лепестком — они спрятали головы.

— Видишь? Это теперь нормальная реакция на присутствие человека.

Мне нечего было сказать. Молчал и он. Наконец поднял на меня своё жёлтое морщинистое лицо: — Расскажи людям. Когда вы думаете, что делаете добро, — вспомните не только о себе. Для нас ваше добро иногда оборачивается... ну, не злом, нет. Но большими трудностями. Вы живёте, а нам приходится выживать. Да и вам от нашего выживания потом пользы мало. Мы ведь начинаем вас бояться. Прячемся от вас. Доверять вам не можем. Законы дружбы нарушаются. Расскажешь?

Я обещал.

Вот, рассказываю.

Ложная тревога

Позвонил старый друг из маленького городка. — Привет! Я тут решил с жизнью покончить. Прощаюсь.

Я остановил псыанс, который раскладывал на компьютере, прислушался к своему сердцу — ничего, вроде не трепыхается. Спросил в телефон: — Причина? Баба бросила? Сифилис? Рак в четвёртой стадии?

Друг вздохнул.

— Ну какой рак? Какой сифилис, когда с бабами уже год не спал? Другое. Важное.

— Так говори, чего ты воду мутишь? Прощаться — так прощайся уже по-человечески.

Я знал его тридцать с лишним лет. Он был большой шутник. На моей памяти он раза три «лазил в петлю», пару раз топился, несколько раз исчезал, оставляя записки: «Прошу никого не винить...» — столько же раз воскресал, возвращался, снова работал в своей сфере — очень хороший архитектор, его брали даже туда, в те конторы, откуда он внезапно исчезал, — и опять морочил голову друзьям.

— Нет, теперь серьёзно. Навсегда. Не вижу больше причины жить.

Я забеспокоился.

— Можешь меня подождать? Приеду, обсудим, разберёмся — может, отпустит. Откажешься, может.

Он чуть помедлил.

— Не откажусь. Но подождать могу, — и вдруг хихикнул в трубку невесело: — Для того и звоню. Одному страшно. Приезжай.

Я рванул. До маленького городка километров двести — я поехал напрямик, просёлочной дорогой, сократив примерно километров восемьдесят. Когда дорога позволяла — всё думал, вспоминал.

Он хороший, преданный друг, хоть и нелепый совсем. Для архитектора даже слишком нелепый.

Но эта нелепость его растормаживала, делала ремесло — творчеством. В маленьком городке, где полным ходом шла типовая застройка, блок-комнаты ставились на блок-комнаты и все дома потом становились серыми и скучными, он придумал раскрасить их, как детсадовские кубики, в разные цвета. И город заиграл. Он стал разноцветным и радостным.

Ещё он писал стихи. Дурацкие, совершенно графоманские, но смешные и, как город, праздничные.

А потом от него ушла жена. То есть ушёл, собственно, он, застав её буквально на постели с другим. Но не он, а она закатила ему скандал, умудрившись обставить дело так, что в её постели был массажист, которому нужно было «глубоко проникнуть в её проблемы». Он изумился, наградил её хорошей затрещиной, «массажиста» догнать не успел. Ушёл, сказав: «Квартира моя, ты помнишь? Вечером приду — чтобы духу твоего не было». Она запальчиво ответила вслед: «Он, может, хоть ребёнок мне сделал бы, а ты... импотент!»

Под импотенцией понималось бесплодие, но ей было всё равно. Природную глупость не выправило и высшее архитектурное, как у него, образование. Детей у них и правда не было, и это немного скрасило его переживания.

Вечером квартира оказалась пуста. Она сумела забрать с собой не только собственные вещи, но и часть его. Уехала к маме в Минусинск, попросила отвезти её того самого «массажиста». Он посмеялся. Стало легко и горько. Сходил в ближайший гастроном, купил, напился. Утром полегчало. Позвал друзей, вечером устроили вечеринку. Друзья говорили: «Ну, Костян, ты чего? Вы и прожили-то всего года три, не нажали ни детей, ни имущества, хорошо хоть квартира твоя — в чём проблема? Мало вокруг хороших баб? Найдёшь, и заживёте!» Он отмахивался, улыбался и только подливал себе.

Ночью, когда все разошлись, когда вот-вот утро, разослал эсэмэски: «Я в петле. Прощайте». Прибежали трое. Он открыл. «Может, допьём? Осталось...» Ему навалили. По-дружески, конечно, но с досадой.

Потом он внезапно исчез. Его не было почти три месяца. Потом подолгу и путано рассказывал, как ездил к старым приятелям в Питер, перенимал опыт, как у него там снесло крышу в самом метафорическом смысле, как глубокой ночью на плохо охраняемой стройке один лазил на башенный кран, залез на стрелу и хотел спрыгнуть, но ему помешали полицейские. Сняли и едва не отдали в психушку — питерские друзья вмешались, дали взятку и отмазали. Ну а потом навалили. Дали денег и отправили по назначению, в Сибирь.

Всё это время в городке его искали, даже лазили в квартиру, вскрыв балконную дверь. Он приехал и первым делом обзвонил всех с вопросом: «Какая сволочь сломала балконную дверь?» Собрались все

причастные. Синяков не оставляли — так, ткнули в бока по-дружески. Общаться после этого с ним стали осмотрительно, неохотно. В контору его приняли с условием, что это — в последний раз. Но и после этого раза случались и «петли», и записки «Прошу не винить...», и длительные исчезновения. И запои. Терпели. Талантлив.

Я из маленького городка переехал в большой, изредка перезванивались, иногда виделся — он приезжал к нам, мы с женой иногда ездили к нему. Чем дальше, тем реже случались встречи. Всё тяжелее становилось с ним говорить. Однажды моя жена взмолилась: «Всё, не могу больше! Хочешь — едь к нему один. Какой-то он стал... inferнальный!» И я перестал с ним встречаться по своей воле.

И вот — звонит: «Всё, навсегда!» Ну как могу не поехать? Ругался всю дорогу: «Сволочь, мерзавец, если опять подстава — убью, удавлю своими руками!»

Костя сидел, придавленный мыслями, в глубокой депрессии. Кивнул:

— Садись. Выпьём?

Я даже не удивился.

— Опять картину гонишь? Выпить не с кем?

— Нет, на этот раз не гоню. Сейчас с тобой попрощаюсь... У меня тут пистолетик припасён с давних времён, — он достал, передёрнул затвор, направил на меня.

Я попятился.

— Ты охренел совсем, Костя?

Он усмехнулся так, как усмеваются одержимые. — Фигня. Не бойся. Тебя-то за что? Давай лучше выпьем.

Он спрятал пистолет, достал фужеры, вынул открытую бутылку вина.

— Извини, я тут без тебя пригубил немного уже.

Разлил. Я спросил:

— А что вдвоём-то? Что ж не позвал больше никого?

Он снова усмехнулся.

— А никто больше не нужен. Ты мне самый близкий друг.

Я выпил. Вино оказалось на вкус подозрительно терпким. Я посмотрел этикетку — Испания, ординарное вино, столовое, средней паршивости. Он засмеялся:

— Боишься? Я же пью с тобой. Мне тебя-то зачем травить? Да и я... у меня — пистолетик. Давай ещё по одной.

Я пригубил, дальше не пошло.

— Ты стреляться когда намерен — ночью? Я сильных звуков ночью не выношу, они меня пугают, — я пытался шутить, но вечер был странный, шутки не удавались. Не проходили. И закуска застревала в горле.

— Да нет, не бойся. Я с тобой попрощаюсь. При тебе не стану.

Я взорвался:

— Костя, что случилось? Ты идиот? Что за разводки, что за идиотские сцены? Ты меня сорвал, я даже не успел жене толком объяснить — куда и на фига еду! Может, расскажешь, в чём дело-то? Мало тебя били за твои шутки — я ведь тоже могу двинуть!

Он кисло улыбнулся.

— Могу объяснить, но на это не хватит ни ночи, ни вина. Если кратко — жизнь не удалась. Наперекосья пошла. Из конторы выгнали, друзья отвернулись. Неудобный я очень. Не нужен никому. И тебе — вот видишь — помеха.

— Если так — звал-то зачем? — я кипел от негодования, готов был и правда ударить его. — Ну и стрелялся бы в одиночку! Мы бы погрузили потом коллективно. Чего тебе от меня надо?

Он усмехнулся опять как-то нехорошо, налил снова.

— Давай ещё по одной — скажу.

Я выпил. Вино не брало, опьянения не было, был только странный вкус серы во рту.

Он поставил фужер, улыбнулся. Убрал пустую бутылку.

— Ну вот и породнились. Теперь можешь уезжать. Ночевать здесь тебе не нужно.

Я смотрел на него оторопело:

— Не понял.

Он повертел фужер, понюхал его зачем-то.

— Ну, это не просто вино. Яд в нём. Сдохнем оба. Но до дома дотянешь.

Как я его ударил, теперь не вспомню. Я выскочил, сел в машину, рванул с места. В ближайшей аптеке купил всё, что препятствует отравлению, немедленно проглотил, запив минералкой. Меня тошнило, зрение не фокусировалось, дорога плыла перед глазами. Ехал кружным путём, чтобы не попасть на глаза гаишникам. Несколько раз останавливался — мутило, но ничего извлечь из себя не получалось. Подъезжая к городу, попросил жену вызвать скорую.

Врач щупала меня, меряла давление, температуру, заставляла открывать рот. Смотрела с удивлением.

— Почему вы решили, что отравились? Никаких признаков. Ну, разве выпили. Может, вино плохое было?

Мы вежливо выпроводили её. Я кинулся к телефону. Костя ответил сразу:

— Жив? Надо же!

Я сказал всё, что думаю о нём и его покойной родне. Он только посмеивался в трубку.

— Рожу я тебе при следующей встрече разобью точно! — грозил я, и гнев во мне не утихал. — Вот сволочь! Сам жить не умеешь — другим-то дай!

— Даю, даю, — он вдруг заговорил тихо, серьёзно. — Пистолетик-то помнишь? Так я его выкинул. Утопил в речке. Ты когда уехал, я пошёл к речке

и утопил его. Вместе со всеми патронами. Так что не беспокойся. Я не застрелюсь. И другим жить дам. Спокойной ночи.

Он отключился. Я смотрел на трубку ошарашенно. Жена гладила меня по плечу:
— Ну и ладно. Идиот—идиотом был, таким и останется. Пошли спать.

...Утром, едва я разлепил веки, жена принесла телефон. Сообщение было коротким: «Прости. Прощай». Я плюнул:

— Идиот!

А вечером позвонил старый приятель:
— Костян помер. На дверной ручке удавился. Приедешь на похороны?

ДиН ПАМЯТЬ

(1939–2021)

Валерий Кравец

Подросли на мерзлоте деревьев



А храм, он близко, вижу из окна,
Колоколов я внятно слышу пеньё.
На паперти, как следует, сполна
Оделись в мрамор царственно ступени.
Всё больше солнце золотит кресты.
Стал храм ещё осанистей и выше.
А я молчу, молитвенно застыв,
Пред Тем, кто всё в душе моей услышал.
И я боюсь услышать от Него,
Переживая собственную драму,
Что ни ползком, ни строим, ни бегом
Мне не догнать уже ушедших к храму...



Телевизор без стоп-крана—
Словно мусоропровод.
Почему ты ржёшь с экрана,
Невесёлый мой народ,
Словно ты набрался браги
Оглушительным ковшом?
После принятых «аншлагов»
На душе нехорошо.
Но стократ на ней поганей,
Что спускаемся на дно
От того, что на экране
Это всё разрешено.
Поощрительно, бесспорно
При сегодняшних тузах
Всё в стране травую сорной
Зарастает на глазах.
На эстраде веселится
Захмелевшая толпа,
Размываются в ней лица,
Скалят зубы черепа...

Норильчанам

Нас всё меньше за полярным кругом.
Нас всё меньше на земле вообще.
Ощущаем мы почти с испугом
Суть событий разных и вещей.
Смотрим мы не то чтобы с опаской
На происходящее в стране:
Мы не занимались перекраской
В каждом наступившем трудовне.
В наше время вроде было проще
(Ты как хочешь вроде понимай),
Если выходили мы на площадь,
Значит, отмечали Первомай.
А на смену нам везут кого-то
В наши голубые города,
Новых поколений самолёты,
Льдов не признающие суда.
Но напомнить тут необходимо:
Эти города и после нас
Голубыми делались от дыма,
Нам казалось, что от наших глаз.
Создают металл пока не боги,
И труба потребует труда
В ожиданье новых технологий
Добыванья рыбки из пруда.
...Подросли на мерзлоте деревьев
(Медленно, но всё-таки растут).
Все мои подружки постарели,
Ничего уж не поделат тут.
И торчит в снегах за сопкой ближней,
Что не тают никогда почти,
Сломанная мной однажды лыжа,
Чтобы хоть чему-то научить...

Иветта Лищенко

Мечта

— Раз, два, три, четыре! — командовал преподаватель Юрий Петрович своим воспитанникам. — Чётче шаг! Иванова, не отставать!

Двенадцатилетняя Вика Иванова старалась изо всех сил. Она шла замыкающей. Майская жара мешала сосредоточиться. Девочка жадно хватала тёплый воздух пересохшим ртом. Предательски подступал приступ недолеченного кашля. Из-под чёрной форменной беретки выбивались пепельные кудряшки, которые лезли в глаза. Белый воротничок немного давил шею и выглядывал из горловины тёмного пиджака. Новые берцы до боли сжимали пальцы ног. Только Вика старалась не обращать внимания на эти пустяки. С гордо поднятой головой она чеканила шаг!

Площадка перед кадетским корпусом напоминала плац. Её окружили зеленеющие тополя. Под ними кое-где среди тонкой травы пробивались первые одуванчики... Только кадетам было не до этого. Шла репетиция парада!

К решётчатому забору кадетского прильнули ребятишки из соседних домов. Их маленькие кулачки держались за железные прутья, а ноги притоптывали в такт марширующим. Глаза маленьких зрителей горели нескрываемой завистью.

Юрий Петрович мимоходом глянул на часы и скомандовал:

— Взвод, стой! Вольно! На сегодня достаточно. Сбор — девятого в девять здесь.

Все ребята попрощались и направились к воротам. Сначала Вика отдышалась и откашлялась, а потом она поспешила за всеми. Преподаватель остановил её:

— Иванова, как твоё здоровье? Весь апрель проболела...

— Всё отлично, Юрий Петрович!

— Да не совсем! Репетиций много пропущено. Перевожу тебя в резерв!

Викины брови выгнулись домиком, а глаза округлились. Нервно переминаясь с ноги на ногу, она старалась не подавать вида, что сильно расстроена.

— Тогда я смогу пойти с мамой в колонне Бессмертного полка?

— Хорошо! Только будь в форме и не забудь подойти отметить!

В ответ Вика кивнула и несколько раз кхекнула. Она понуро поплелась к воротам. Догонять ребят уже не хотелось. Обида больно царапала изнутри. Девочка еле сдерживала слёзы. Она даже не заметила, как свернула на набережную. После апрельских субботников газоны были прибраны и причёсаны. Островок с качелями заполнили повизгивающие дети. На реке смешные утята учились плавать, едва поспевая за уткой. От всеобщего веселья девочке становилось только хуже... Вика отчаянно крепилась. Пройдя вдоль берега туда-сюда несколько раз, она всё-таки повернула к дому.

Расчёркнутое рыжим закатом, темнело небо. Внимание Вики привлекли призывные огни супермаркета. Она решительно направилась к его стеклянным дверям. Громадное пространство торговых залов манило яркими прилавками. Девочка остановилась в кондитерском уголке. Пирожные, кексы, чизкейки навязчиво красовались в зеркальных витринах. Вика сначала достала деньги и начала отсчитывать... но потом передумала. Есть совсем не хотелось.

Улицы погрузились в сумрак. Прохладный вечерний ветер трепал Викины волосы и одежду. До дома было уже рукой подать. За сквером вырисовывался контур родной пятиэтажки. На четвёртом этаже в правом крайнем окне горел свет. Родители ждали Вику.

Когда она зашла в свой подъезд и открыла дверь в квартиру, то несколько слезинок всё же невольно скатились по щекам. Девочка шмыгнула носом и глубоко вздохнула. Не проронив ни слова, она побрела в свою комнату.

— Ужин готов! — крикнул ей вслед папа.

— Я сейчас, — выдавила из себя Вика.

В кухне папа раскладывал макароны по-флотски, передавая тарелки маме, сервирующей стол. Девочка не выдержала и захлопала носом, пытаясь сдержать вытекающую из глаз обиду:

— Я так мечтала пройти по Центральной площади парадным маршем! Я так старалась на репетиции, а теперь — буду в резерве...

— Резерв — это надёжная поддержка в тылу! — спокойно отреагировал отец. — Я тоже мечтал пойти на праздник вместе с мамой. Только меня перевели в ночную смену. Теперь вы пойдёте на парад вдвоём, а я... Я вам приготовлю праздничный обед!

Ледяной комочек в сердце Вики начал медленно таять. Папа всегда понимал её. «Мы с тобой одной крови, ты и я», — частенько повторял он слова из «Маугли». Они магически действовали на маленькую Вику. Одинаковый разрез и цвет глаз, непослушные волосы, спортивное телосложение, характер, требующий непременно завершать начатые дела, даже когда это кажется невозможным, унаследовали отец и дочь от предыдущих поколений Ивановых. Однако мама... Мама была несколько другой, более мягкой, но она всегда поддерживала папин спартанский стиль воспитания дочери, называя своего единственного ребёнка ласково «наш стойкий оловянный солдатик».

— Ладно, разберёмся, — мама погладила Вику по голове, поправляя шаловливые кудряшки. — Я снова ромашковый чай заварила.

Следующий предпраздничный день промелькнул быстро. С утра Вику разбудило солнце, но настроение не зажилось. Уборка квартиры к празднику съела полдня. После обеда девочка решила уединиться в своей комнате. Вика разложила на столе учебники и тетради, но никак не могла сосредоточиться ни на одном предмете. Передумав, она достала «Гарри Поттера», но, прочитав пару страниц, вернула книгу на полку.

В гостиной родители смотрели военные фильмы. Девочка присоединилась к ним, но её отвлек мобильный.

— Пап, мам! Девочки меня на улице зовут.

— И-ди, — синхронно ответили родители и рассмеялись.

Вика быстро собралась и стрелой вылетела на набережную. Над её головой расплылось безоблачное небо. Солнце глядело свысока, но щедро делилось теплом со всеми. Однако у реки было немногочлюдно. Вика вместе с двумя подружками устроилась на качелях. Они беззаботно щебетали, делясь друг с другом своими маленькими секретами и размышлениями. Вика молчала и рассеянно слушала рассказы девочек.

Незаметно подкрался вечер. Подружки попрощались и разошлись по домам. Только Вика опять не торопилась. Она продолжала тянуть время, бесцельно гуляя по улицам, пока на её мобильном не раздался звонок. Взволнованный голос мамы вернул девочку к действительности:

— Мы уже фонарики приготовили и собак нашли, чтобы начать поисковую экспедицию!

Запыхавшая дочь прибежала тут же. Телевизор был по-прежнему слышен в гостиной. Девочка сразу пошла туда и невольно остановилась... В дальнем углу комнаты она увидела две большие фотографии на фанерных прямоугольниках с деревянными держателями. С мужского портрета на Вику смотрел молодой солдат. В нём она сразу узнала прадеда Василия Степановича. Его пилотка немного съехала набок. Из-под неё

выбивался заливчатый кудрявый чуб. Прадед улыбался. Две медали сияли на его гимнастёрке. Герой! На другом портрете была светловолосая девушка в белом...

— Кто это?

Мама подвела дочь к зеркалу:

— Смотри!

Вика сначала посмотрела на себя, а потом на портрет.

— Как она похожа на меня!

— Это ты похожа на неё! Не узнала прабабушку Веру Алексеевну?

— Я её почти не помню!

— Ты была маленькая, а она — уже старенькая...

— Значит, когда я вырасту, тоже буду красавицей?!

Утро праздничного дня выдалось ярко-солнечным. Полоска света между штор щекотала Викины ресницы, но просыпаться не хотелось. Чуть слышно подошла мама:

— Викусь, просыпайся, дочка!

Девочка открыла глаза и улыбнулась. Мама пригладил рассыпанные по подушке волосы дочери и присела на край её кровати. Вика потянулась и положила голову маме на колени. Наконец-то девочка почувствовала себя спокойной и счастливой!

— Ты зачем одеяло с кровати ночью сбрасывала?

Снилось что-то? Сражалась с кем-то? — с улыбкой спросила мама, поправляя сползшую простыню. — Папа перед сменой только успевал тебя укрывать.

— Может быть, но я не помню... Мам, а после твоей ромашковой профилактики у меня в горле иголки пропали.

— Значит, ты уже не ёжик, а здоровый человек!

Вика встала и обняла маму. В приоткрытое окно летела знакомая песня. Раскатистый мужской голос утверждал: «...Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах...»

— Мама, с Днём Победы!

После лёгкого завтрака и быстрых сборов женская половина семьи Ивановых вышла на улицу. Вика несла портрет прабабушки, а портрет прадеда держала мама. Свободной рукой девочка поправила форменную беретку:

— Мам, а нас сегодня не двое, а четверо!

Провинциальный сибирский городок в этот день преобразился. Ивановы шли по нарядным и оживлённым улицам. Разноцветные флажки развевались на фонарных столбах. Люди с георгиевскими ленточками, приколотыми к одежде, спешили к Центральной площади. Ребятишки в пилотках и в бескозырках бегали, размахивая большими воздушными шарами — самолётами, пароходами, танками...

Около стелы Победы собирался Бессмертный полк. Внезапно Вика наморщила лоб и остановилась:

— Мам, давай свернём к кадетскому. Мне надо отметить.

Они свернули вправо и через несколько метров увидели колонну кадетов. Юрий Петрович в парадном кителе шёл впереди. Преподаватель прибавил шаг и поравнялся с Ивановыми:

— Здравствуйте, с праздником! У нас форс-мажор! Не все ребята смогли прийти.

— Здравствуйте, Юрий Петрович! С Днём Победы! — вместе отозвались мать и дочь.

— Виктория, ты как себя чувствуешь? Готова вернуться в основной состав?

В глазах девочки вспыхнули искры радости. Она только быстро кивнула в ответ.

— Иди, я справлюсь, — мама взяла из рук дочки портрет прабабушки.

Лихо прищёлкнув берцами, девочка побежала за преподавателем. Она — снова в кадетской колонне! Она — замыкающая!

На Центральной площади бурлило людское море! Оно быстро успокоилось, едва зазвучала торжественная речь диктора:

— Праздничное шествие начинает колонна ветеранов!

Новенький Лиаз с фронтовиками и тружениками тыла медленно въехал на площадь. Сделав круг почёта, он остановился у праздничной трибуны. Волонтеры сопровождали пожилых людей, помогая им выйти и занять места на деревянных лавочках, ещё пахнувших свежими стружками.

— ...На площадь вступают колонны воинских частей! — продолжал диктор.

Замелькали краповые береты, бескозырки, пилотки и фуражки цвета хаки. ... Вика, как все ребята, заворожённо смотрела на них. Не показывая волнения, кадеты терпеливо ждали своего выхода. Через некоторое время Юрий Петрович внимательно посмотрел на воспитанников и командовал:

— Взво-о-од! Шаго-о-ом ма-а-арш!

Из громкоговорителя ударили аккорды марша «Прощание славянки». Чётко и слаженно кадетская колонна двинулась вперёд. Проходя мимо Бессмертного полка, Вика не видела, но чувствовала, как смотрели на неё мама, прадед Василий, прабабушка Вера, весь Бессмертный полк! Люди, стоявшие живым коридором вдоль площади, приветствовали ребят. Хлопая в ладоши, они скандировали:

— Мо-лод-цы!

Кадеты маршем победителей свернули в маленький проулок. Преподаватель командовал:

— Взвод! Стой! Вольно! Разойдись!

Юрий Петрович вынул из кармана белый платок и вытер им лоб:

— Спасибо, ребята!

Кадеты не торопились расходиться. Из громкоговорителя полетела песня про белых журавлей, и диктор объявил:

— По площади начинается шествие колонна Бессмертного полка...

Вика быстро развернулась и поспешила обратно. Она старалась аккуратно обходить людей, сгрудившихся на обочине. Она почти бежала, пока не увидела колонну с портретами. Бессмертный полк двигался ей навстречу. Девочка искала глазами маму, но сначала увидела портреты родственников. Не нарушая рядов колонны, Вика пробралась к своим:

— Мама, я снова с вами!

Мама кивнула и передала дочке портрет прабабушки.

— Мам, ведь всё хорошо! Почему у тебя глаза красные? Ты плакала?

Мама свободной рукой приобняла дочку:

— Ты — молодец! Я — от счастья... немного...

Парад завершился. Людской поток покидал праздничную площадь. Мать и дочь Ивановы шли молча по полуденным улочкам. Вику переполняли грусть и гордость за героических родственников... «Есть такая профессия — Родину защищать!» — вспомнились ей слова из вчерашнего фильма. Вика давно и твёрдо определилась, что выберет военную специальность. Только вот какую? Девочка ещё не знала... Её мечты прервал мамин голос:

— Папа, наверное, нас заждался. Пойдём побыстрее?

Папа, в белой рубашке, с кухонным полотенцем наперевес, встретил пришедших с парада. Пахло запечённой курочкой, которую умел готовить только он.

— С праздником, мои хорошие! Как парад?

Мама и Вика передали ему портреты родственников и наперебой начали делиться впечатлениями.

— Папа, ты представляешь, я всё-таки прошла в кадетской колонне! А потом я успела вернуться к маме.

— Вика вовремя пришла мне на помощь, ты можешь гордиться своей дочерью! — подтвердила мама, вытирая уголки глаз.

Папа раскрыл руки и обнял сначала маму, потом Вику:

— Давайте, девочки, помогайте! Стол ещё не накрыт, а шеф-повар уже готов вынести фирменное блюдо!

— М-м-м, какой аромат! Я уже превращаюсь в собаку Павлова, — облизнулась Вика. — Точно уверена, что курочка — объедение!

— Вкуснее ничего не ела, чем твоя жар-птица! — подхватила весёлое настроение дочери мама.

Аккуратно повесив кадетскую форму на плечики, Вика надела своё любимое нарядное платье и поспешила на кухню.

— Праздничный сервиз доставать?

— Конечно, только протри его полотенцем. С Нового года не пользовались! — вспомнила мама.

— К нему подойдут алые салфетки?

— Бери всё, что считаешь нужным! — откликнулся папа.

Когда приготовления к обеду закончились, вся семья перешла в гостиную за овальный празднично накрытый стол. Мама разлила в хрустальные бокалы кисель, а папа встал и произнёс тост: — За наших героев и... за мир!

Кисель из клюквы был немного горьковат, но без него никогда не проходил этот день в семье Ивановых. Эту традицию когда-то придумала Вера Алексеевна. Никто не хотел нарушать её ритуал. За столом повисла тишина. Мама раскладывала салаты по тарелкам. Папа разделял курицу. Первой нарушила молчание Вика:

— Скоро парад в Москве... А куда подевался пульт от плазмы?

— Он у меня. Через пятнадцать минут включу, — пообещал отец. — Дочь, а ты в военное училище поступать не передумала?

— Викусь, а может, в медицинский колледж, по стопам Веры Алексеевны? — предложила мама.

Вика задумалась и ничего не ответила. Через минуту она вдруг оживилась:

— Пап, а расскажи какую-нибудь историю про прадеда, пока парад не начался...

— Ты помнишь, что Василий Степанович был разведчиком?

— Конечно!

— Однажды в составе небольшого отряда он был заброшен в тыл к врагу. Задание бойцы выполнили. Немецкие карты захватили. Только возвращение в часть не обошлось без приключений!

— Расскажи!

— Лето в тот год стояло жаркое. Устали бойцы. К вечеру они вышли к речушке. Командир разрешил привал, и — всем захотелось в воду!

— А караул они выставили? — всполошилась Вика.

— Один боец их прикрывал. Остальные в реку попрыгали! Их всего-то человек пять было... Рядом оказалась небольшая гора с пещеркой. Её узкий вход вёл в просторный грот. Василий Степанович сразу это заметил. Он искупался, постирал бельишко. Затем развёл костерок в гроте — подсушиться. И надо же такому случиться... Вышли на них полицаи!

— Вышли из-за того, что костёр увидели?

— Нет! Костёр из грота полицаи увидеть не могли. Они шли несколько часов за нашими по следу. Выбрал момент, когда стемнеет, враги напали на караульного... Всех взяли в плен.

— Как так?

— Силы были неравны! Полицаи подкрепления дожидались из соседней деревни и только потом отважились напасть... Пленных построили в шеренгу и связали им руки. Твой прадед как сидел у своего костерка, так даже и не встал. Молодой полицай подошёл к нему и прицелился... Василий Степанович ему невозмутимо: «Стреляй, если хочешь, а в мокром белье никуда не пойдёшь! Что мне перед людьми позориться?» От такой наглости

враги опешили... да и связываться с ним не захотели! Его мокрую одежду они кинули в костёр, а самого бунтовщика привязали к дереву. Молодой полицай даже не старался туго натянуть верёвку. Узел какой-то хлипкий завязал...

— Почему? — удивилась Вика.

— Видимо, воевать устал. В прошлом все полицаи были советскими гражданами. Только проверку войной они не выдержали! Предатели забрали оружие и увели четверых пленных. Выждав, когда все скроются в лесу, твой прадед перегрыз верёвку и выбрался на свободу. В одном исподнем бежал он до ближайшей деревни. Там Василий Степанович нашёл своих. Они были заперты в сарае. Не раздумывая, наш родственник оглушил чурбачком часового...

— Он освободил своих?

Папа кивнул.

— Только отряд красноармейцев уходить не торопился. Командир приказал разобраться с врагами. Бойцы взяли их тёпленькими прямо из кроватей... Выстроили фашистских приспешников в шеренгу перед тюремным сараем. Командир вскипел: «Расстрелять гадов!»

— Расстреляли?

— Не успели. Жена молодого полицай подбежала, бухнулась командиру в ноги: «Не губи, родненький, дети малые, пожалей!» Твой прадед вступился за неё: «Они меня не убили. Пусть живут, но помнят, что не свой живот, а Родину защищать надо!» Так рассказывала Вера Алексеевна слово в слово...

— А что дальше?

— Командир нехотя согласился и приказал бойцам: «Свяжите их и запирайте в этом же сарае! Сутки пусть посидят, подумают... Если кто раньше выпустит — того порешим вместе с ними, когда вернёмся!» Твой прадед добавил: «Скоро Красная Армия освободит нашу землю! Ответ держать всем и за всё придётся!» Никто из местных не захотел нарушать этого приказа. Бойцы добрались до своей части. Василия Степановича тогда первой медалью наградили.

— А давайте возьмём старый альбом и посмотрим фотографии! — предложила Вика.

Старый фотоальбом с пожелтевшими снимками прабабушка Вера оставила именно ей. Он нередко просматривался в семейном кругу. Папа подошёл к большому шкафу и открыл антресоли. Оттуда вместе с альбомом он достал толстую синюю папку и загадочно произнёс:

— У нас есть дополнение к альбому!

— Что это?

— Зарисовки твоего прадеда! Он их делал в свободное от боёв время.

Вика бережно взяла папку и потянула за алую тесьму. Сколько там было рисунков! Девочка рассматривала их и поочерёдно выкладывала на стол.

— Ой! Это его отряд? Бойцы с оружием в лесу, у реки... А какие смешные карикатуры на фашистов!

— Это он специально для Веры Алексеевны старался, чтобы она не тревожилась! — предположила мама.

— А о чём они тогда мечтали? — неожиданно спросила Вика.

— Конечно, о мире! — после небольшой паузы тихо произнесла мама.

— О Победе... — уточнил папа.

— Смотрите, он ещё какую-то девочку рисовал, похожую на прабабушку Веру... и на меня. Вот она — у домика с цветами, а вот — на полянке с корзинкой... Как он мог догадаться обо мне?

Папа задумался:

— Твой прадед очень любил детей! Он мечтал о дочке, которая родится, когда наступит Победа. На всех рисунках — она, его мечта.

— Но у него не было дочки! — удивилась Вика.

— Да. В апреле сорок пятого года при выполнении очередного задания погиб старший лейтенант Иванов Василий Степанович. Он пропал без вести на немецкой земле. Вера Алексеевна даже не успела сообщить ему о том, что ждёт малыша... Так родился мой отец. Когда прошло много лет и должен был родиться я... бабушка сильно надеялась, что к нам в семью придёт светловолосая и голубоглазая... но мечту прадеда исполнила только ты, дочка! — Почему?

— Потому что ты носишь имя, которое выбрал для своей мечты прадед. Виктория — Победа!

ДиН симметрия

Сергей Булгаков У стен Херсониса

(фрагмент)

Участвующие:

БЕЖЕНЕЦ, СВЕТСКИЙ БОГОСЛОВ

(Лунная ночь в Крыму у Чёрного моря, близ херсонисских раскопок, ввиду Херсонисского монастыря. Вдали очертания мыса Фиолента, по преданию — места жертвенника Артемиды.)

СВЕТСКИЙ БОГОСЛОВ *(раздумчиво)*. Какая святая земля. Даже страшно ступить по ней. Во всей России нет места более древнего и священного. Здесь залегло несколько пластов античной культуры, перед нами вскрытых, здесь и родилась духовно наша родина, в этом храме хранится купель святого Владимира. И как трудно связать эти истоки России с теперешним потоком грязи и крови...

БЕЖЕНЕЦ *(медленно)*. Да, тут говорят самые камни, и это молчание веков полновочнее всего теперешнего гама. Оно повелевает внять ему... Таинственная воронка, которая ведёт в центр Земли, для России находится здесь, и, вопреки вам, одна только мысль и владеет теперь моим сознанием, что только здесь и отсюда можно уразуметь происходящее... Ключ к трагедии

России надо искать не в Петербурге, не в Москве, не в Киеве, но... в Херсонисе: здесь совершился «пролог в небе», и «потоп», как вы выразились, предопределенся тоже здесь.

СВЕТСКИЙ БОГОСЛОВ *(раздражённо)*. Я знаю, что вы вообще любитель парадоксов и всегда находитесь в погоне за острыми умственными ощущениями, не удивлюсь, если и в данном случае услышу какое-нибудь «новое слово» о вашей раздранной России, так легко о ней остро словить, да ещё безответственно.

БЕЖЕНЕЦ. Вы рассердились на меня, не выслушавши. А что же, если новое время и новые события требуют на самом деле новых слов и новых мыслей? И я действительно чувствую всем своим существом, что не в юном Петрограде, не в новой Москве, не в молодом Киеве, вообще не в местах последовательного жительства исторического новорождённого, постепенно подраставшего, можно увидеть его звезду, но именно здесь, у этих древних стен Херсониса. Всё это так таинственно, что кружится голова и порою теплится сознание: здесь ли, в этом ли мире мы находимся?

Алесь Мищенко

Записки полярника

На основе реальных событий (заметок
о международной арктической экспедиции «Мозаик»)

Арктический порт

Жить на берегу моря—это жить на берегу бесконечности. И хотя древние мореплаватели не знали этого раскатистого, устремлённого вдаль слова—«бесконечность», но я уверен, что именно это они и чувствовали, когда вглядывались в предрассветную дымку на горизонте. Именно это—суровую неизвестность и бесконечность—ощущали и финикийские купцы, и воинственные маори, и полинезийские рыбаки на своих неустойчивых катамаранах «проа», и гребцы первых греческих триер, отважившиеся устремиться за горизонт казавшегося тогда бескрайним Эгейского моря.

С тех пор прошло много лет. Уже давно рассыпался в пляжную гальку тот утёс, с которого бросился в море царь Эгей, когда увидел, как корабль его сына возвращается под траурным чёрным парусом. Уже давно не заманивают сладкоголосые сирены мореплавателей Средиземного моря—их место заняли проститутки маленьких портовых городков.

И только в одном месте это первобытное ощущение—суровой неизвестности и бесконечности—осталось в своём первоизданном виде. Это место—арктический порт.

Арктический порт—это совсем не то, что порт южный. Тёплые моря давно приручены человеком. Поэтому южный порт шумный, весёлый и разноязыкий. Как писал когда-то Александр Грин, он возникает «на обрывах скал и холмов, соединённых лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Всё это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин... Жёлтый камень, синяя тень, живописные трещины стен; где-нибудь на бугрообразном дворе—огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску—о влюблённости и свиданиях; гавань—грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зелёная вода, скалы, даль океана; ночью—магнетический пожар звёзд, лодки со смеющимися голосами»,—таков южный порт.

Порт северный—совсем другой: аскетичный, сосредоточенный и, главное, безлюдный—лишь крики чаек вместо разноязыкой, смеющейся и ругающейся какофонии его южного собрата. С ним не нужно слов—и я чувствовал его, как чувствуют молчаливого, но надёжного друга.

Вместо южного, слепящего от солнечных бликов, моря—здесь седое, суровое, уходящее в северную дымку пространство Арктики. Оно похоже на космос. Северный порт потому и суров, что находится прямо на берегу этого белого космоса.

И действительно, как только я ступил на палубу ледокола «Капитан Драницын», я почувствовал себя космонавтом, отправляющимся на международную космическую станцию. С этого момента я думал лишь о нём—о белом космосе Арктики. Я думал о нём, и когда наш ледокол, словно космический корабль, стартовал в эти бескрайние ледяные пространства. И когда за кормой уже скрылся в снежной дымке мой молчаливый друг—северный порт. И когда, уже в пути, ноябрьские сумерки сменились темнотой полярной ночи и мы двигались в космической черноте, в которой лишь звёздное небо поднимало над нашими головами зелёное знамя северного сияния. Мы шли на север—туда, где на орбите дрейфующих вокруг полюса льдов нашу команду учёных ждал вмерзший в лёд научный корабль «Поларстерн». Там я должен был присоединиться к арктической зимовке экспедиции «Мозаик».

Северный морской путь

Плыть на ледоколе—это совершенно другие ощущения, чем плыть на обычном корабле.

Обычный корабль идёт плавно, мотор урчит, и если есть волнение, то он покачивается на волнах, тянет идущих по палубе—то вправо, то влево.

Совсем другое дело—ледокол. Это вообще больше похоже на поездку на огромном грузовике, чем на корабле. Вместо качки тут—особенные, характерные только для ледокола, толчки.

В круглосуточной темноте полярной ночи я лежал в тесной каюте и ощущал, как в окружающей

ледяной пустыне трескаются под нашим напором двухметровые льды. Толчок вперёд — значит, треснул лёд. Потом ледокол трётся, вклиниваясь в только что созданную трещину. Потом снова толчок. словно медленное тиканье гигантских арктических часов.

А иногда — р-раз — и часы ломаются, появляются другие толчки, сродни тем, когда глохнет или соскакивает со слишком высокой передачи взбирающийся в гору автомобиль. Чувствуется, как эти натужные толчки идут снизу, из самых внутренностей ледокола. Они означают, что даже мощное машинное отделение не справилось — мы застряли. Тогда ледокол останавливается, не спеша даёт задний ход, замирает на минуту, словно сосредотачиваясь, и, снова взревев своими моторами, разгоняется и ударяется в непослушный лёд.

Тем временем мы приближались к полюсу. Льды становились всё толще. Всё чаще ледокол не справлялся, и ему приходилось колоть лёд с разбега, переходя в режим гигантского перфоратора. Всё чаще, с каждым новым разгоном, я неосознанно напрягался, пытаюсь и сам собраться в кулак для очередного удара... И когда уже казалось, что неминуемо наступит момент, когда ледокол застрянет, не сможет, даже вот так, с наскока, разбить лёд, — мы, наконец, прибыли: на горизонте показался вмороженный в лёд научный корабль «Полярстерн» с разбросанными вокруг исследовательскими палатками. Ледокол, дав победный гудок, остановился.

Пополнение команды учёных, в составе которых был и я, сошло на лёд.

После шумной, но недолгой встречи «Капитан Драницын», дав нам ещё один прощальный гудок, отправился назад, на землю. Он прошёл в ту зиму дальше всех дизельных ледоколов — до восьми-десяти восьми градусов северной широты.

Живой лёд

Первое, что меня поразило, как только стих вдали шум моторов «Капитана Драницына», — это какой-то вселенский покой. Пока ледокол двигался, пока трещал под его напором лёд, работали двигатели — был шум и чувствовалось движение. Но вот он ушёл — и всё затихло, остановилось. Уже через пару часов сомкнулся, затянулся его водяной след — этот шрам на ледяной коже Арктики, и я оказался в странном, словно поставленном природой на паузу, месте. Время остановилось, и даже солнце, как и положено в полярную ночь, не всходило.

Погода в первый день была безветренная, и я почувствовал себя как в сказке про застывшее царство Снежной королевы — ни единого движения вокруг. Природа, словно ластиком, стёрла всё суеящееся и живое, оставив, как в начале времён, лишь белый лист бумаги.

Но в первый же мой ознакомительный выход на льдину, к исследовательскому оборудованию, я понял, что это не так. Оказалось, стоит лишь отойти от корабля — чтобы стихли голоса и шум дизель-генератора — и прислушаться к тишине...

...так сразу понимаешь, что лёд вокруг — живой. Что он постоянно движется, трещит, то там, то здесь образуются и зарастают трещины, куски ледяного поля смещаются друг относительно друга — как смещаются континенты. Только гораздо быстрее: льды движутся как домашние черепахи — со скоростью около четверти километра в час. И мы на нашей льдине, как в древних легендах, живём на панцире такой белой беспокойной черепахи, которая ползёт то туда, то сюда и трётся о панцири своих соседок.

Иногда этот треск льда в темноте полярной ночи был страшноват — ведь на многие километры вокруг не было никого, кроме нас и этих гигантских ледяных черепах...

Впрочем, и тут я был не прав. Через неделю выяснилось, что мы тут не одни — за нами наблюдают.

Полярный путешественник

Каждое утро перед завтраком я выходил на палубу: никак не мог избавиться от своей южной привычки — перед завтраком пить кофе на балконе, рассматривая просыпающийся город. В Арктике, конечно, кофе на свежем воздухе не попьёшь — после первого же глотка заледенеют и губы, и чашка. Да и рассматривать в полярную ночь можно было лишь островок снега, вырванного жёлтыми корабельными фонарями у окружающей тьмы. Поэтому, попив кофе в каюте, я, одевшись в полное облатение, брал в рукавицы чайник с остатками кипятка и выходил наружу. Там, размахнувшись, я выплёскивал остатки кипятка вверх. Брызги с шорохом замерзали прямо в воздухе, превращаясь в облако ледяного пара, из которого на меня падал колкий снег.

И вот, выйдя однажды утром вдохнуть морозного воздуха, я взглянул, как обычно, на безмолвную ночь, на снег, освещённый жёлтыми фонарями, и... увидел на нём огромные следы.

На завтраке я рассказал об увиденном заинтересовавшимся компьютерщиком. Поев, мы сгрудились в серверной и, проматывая вперёд-назад записи камер наблюдения за метеоприборами, увидели-таки нашего ночного гостя. Это был огромный белый медведь. Он пришёл с востока, не спеша осмотрел все метеоустановки и, ничего не поломав, отправился дальше на запад.

Удивительно. Лёд вокруг был толстый, на многие километры вокруг ни одной полыньи. Значит, охотиться на тюленей тут невозможно. Это был не охотник. Это был медведь-путешественник. Как верблюд, шёл он через ледяную пустыню, шёл многие дни, вместе с дрейфом льда, к каким-то

новым берегам. Может быть, восход солнца застанет его в пригороде Лонгйира — самого северного города в мире, где законом запрещено умирать; а может — в суровых фьордах Керкенеса, где торчат прямо из воды кимберлитовые трубки, по которым когда-то рвалась из-под земли раскалённая лава...

А пока — он идёт, один, где-то в полной темноте, идёт, не отступая, прямо на запад. Я и потом часто представлял его: как он там, не устал ли, не отчаялся ли, не запаниковал ли, решив броситься назад?.. Нет, я был уверен, что он продолжает идти — вперёд, к какой-то, наверное, неясно ощущаемой им цели.

И теперь, когда и мне на моём жизненном пути хочется повернуть назад, — я вспоминаю его и, вздохнув, продолжаю идти вперёд, тоже к какой-то часто неясной, но зовущей мечте.

Самые большие поля цветов

Зимой арктический океан полностью замерзает. Как известно, лёд пресный, и поэтому соль из его двухметровых ледяных покровов вытесняется вниз и вверх — и тогда вся ледяная пустыня оказывается усыпана соляными цветами. В темноте полярной ночи их не видно — идёшь по щиколотку в цветах, и лишь тихим звоном рассыпаются они от каждого шага.

Если лечь на живот и посветить фонариком — становятся видны все эти чудесные заросли, похожие на превращённые в камень папоротники. Вспомнив, что такие цветы часто называют ледяными, я, отломив хрупкую веточку, попробовал её на вкус — нет, солёная.

Я всё ждал, когда наступит полярный день, — хотел увидеть Арктику, заросшую ледяными цветами — как степь весной. И когда, ко всеобщему ликованию, горизонт стал краснеть, а Арктика проясняться в сумерках, я заторопился в мои бескрайние цветочные поля.

В тот день я не нашёл ни одного цветка. Но зато я видел другое чудо: я заметил, как среди розовых облаков на горизонте появилась маленькая огненная чёрточка — начался восход.

А бескрайние цветочные поля исчезли. Сколько я ни искал, в полярный день мне не удалось встретить ни одного цветка. Наверное, такие цветы могли бы стоять весь год, если бы их не сдувал, рассыпая миллионами еле слышных колокольчиков, ледяной арктический ветер.

Вечный ураган

Веселее всего в нашей экспедиции было метеорологам. Чего только не было в их игровом арсенале! И воздушные змеи для измерения температуры и скорости ветра, и надувные шары — зонды, и даже небольшой беспилотный самолёт. Запускался он с двухметровых рельсов, как ракета «Фау-2», с помощью которой немцы бомбили Лондон. После того как эта «ракета» взмывала ввысь, метеоролог,

словно и правда от воинской команды «Ложись!», падал спиной на снег и, смотря в небо, начинал терзать джойстик управления. Послушный его командам, беспилотник кружился, поднимаясь всё выше и выше, и там, на сотнях метров над уровнем льда, проводил измерения, летел прямо, потом опять кружился — пока, как мне казалось, метеоролог не наиграется... Ну или пока он не начнёт примерзать ко льду. Тогда беспилотник приземлялся, а довольный метеоролог, кряхтя, поднимался и отряхивался от снега, успевшего его уже порядком замести.

Вечером, за чашкой горячего полярного чая в кают-компании, метеорологи рассказывали женской половине экипажа о своих «боевых вылетах». Рассказывали о том, что, кроме знаменитого океанического течения Гольфстрим, от которого зависит климат Европы, есть ещё и воздушное течение Джетстрим, от которого зависит климат во всём Северном полушарии.

На высоте десяти километров течёт и течёт, полукругом огибая Арктику, эта широкая — в сотни километров, стремительная — в сто километров в час — воздушная река.

В наше время глобального потепления Джетстрим, как и река в засуху, мелеет, превращаясь из широченной, в сотни километров, реки во всё более и более...

Разговор в кают-компании продолжался до поздна. Потому что нигде не бывает так уютно, как на полярной кухне. Внутри шум чайника, смех и еле слышно, как на нижней палубе работает дизель-генератор. А вокруг воеет метель, потрескивают льды, и где-то в вышине несёт свои стремительные ветры таинственный Джетстрим.

Книга льда

Я тоже хотел рассказать что-то интересное в кают-компании. Но я — гляциолог. Моя работа простая. С почти рыбацким коловоротом на плече я выхожу на свою смену. Ищу намеченное накануне место, втыкаю цилиндр коловорота в лёд и верчу ручку, бурю на нужную глубину. Потом аккуратно вынимаю и бережно несу на корабль оставшийся в цилиндре лёд. Чтобы там, под микроскопом, изучить его структуру.

Я вижу, что лёд похож на сено, полное микроскопических воздушных камер. Лёд — пуховое одеяло океана. Чем больше в нём пустот, тем одеяло «пушистее», теплее. От этого зависит и температура океана, и скорость таяния самих льдов. Когда лёд тает — открываются все микроскопические камеры, хранившие воздух со времён мамонтов. Выходят наружу древние микроорганизмы — весь этот замороженный древний зверинец, микроскопический «парк юрского периода».

Возможно, именно в этом куске льда ждут своей разморозки какие-то новые виды восьминогих

водяных медведей-тихоходок, или похожих на инопланетных чудищ коловраток, или ещё более микроскопические бактерии, или ещё более микроскопические вирусы.

Каждый раз, выбрасывая кусок льда за корму, я думал: лишаю ли я человечество какой-то полезной микрофлоры или, наоборот, спасаю его от эпидемий?

Впрочем, лёд тает и без меня, освобождая, возможно, ещё живые древние микроорганизмы. Об этом я и рассказал в нашей кают-компании... И, как это называют в народе, «накаркал».

Путь назад

О новой эпидемии мы узнали по радио. Сидя в радиорубке, мы, как к сводке с фронтов, прислушивались к новостям о том, что коронавирус захватывает всё новые и новые страны. Я чувствовал себя в каком-то апокалиптическом фильме, где в живых остаются лишь несколько главных героев, укрывшихся в безлюдной Арктике от глобального конца света.

Слушая эти новости, я то и дело недоверчиво поглядывал за корму: как знать, может, это какой-то древний вирус из разбитых мной ледяных цилиндров... Может, именно оттуда их выдул арктический ветер или принёс в северные рыбацкие посёлки медведь-путешественник...

И хотя это были, конечно, фантазии, одно я понял тогда очень ясно. Даже не понял, а почувствовал: как всё вокруг взаимосвязано. Как всё соткано, сшито воедино нитками морских и воздушных течений—джетстримов. Как всё составлено мозаикой дрейфующих панцирей льда и континентальных плит, открывающих в разломах путь извергающейся лаве. Как события планетарного масштаба зависят от баланса микроскопических организмов и вирусов, от внимательности учёных в лабораториях вирусологии и гляциологии, от работы медиков и метеорологов—и от моего осознания единства всего этого.

Я возвращался из Арктики другим. И, как мне показалось, другим стал и мир. По крайней мере, я надеюсь, что мы оба стали мудрее.

Литературное Красноярье .: ДиН стихи

Виталий Пырх

Такая арифметика...

Такая арифметика...

Сто лет исполнилось стране...
Что это для истории?
Сейчас не верится и мне,
Что это мы построили,

Пройдя все ужасы войны,
Три голода, болезни...
Сейчас отчётливо видны,
Кто были нам полезны.

Враг расшибался о стену
И отступал без боя...
Как получилось, что страну
Разрушили лишь трое?

Но я-то плакал (тут не ври!),
Сидя один в квартире...
А значит, было их не три.
Вместе со мной—четыре!

Возвращение

Не понял что-то ни бельмеса:
Как до сих пор я не в строю?
Когда-нибудь у Днепрогэса
Ещё, быть может, постою.

Не удивляйтесь, коль заплачет
Старик невольню наконец...
А разве может быть иначе?
Его ведь строил мой отец!

А от плотины—влево, прямо,
Воздав за это небесам,—
Пойду по следу моей мамы
Туда, куда не знаю сам.

Отец

Стал отца на год я старше,
Временами—каюсь...
Его нет, а я на марше.
Правда, спотыкаюсь.

Вот отец бы удивился:
Это что за номер?
Отец вовремя родился.
Вовремя и помер.

Ты, как и я, приходишь в тихий сад

В гостях у «Дня и ночи» журнал «Белый апельсин» (Астрахань)

Снежана Вахтомина

Не теряйте доброту!

Доброты всё меньше стало.
Не могу найти ответ:
Может, злость её украла,
Ей не видно белый свет?

Заперла в чулане тёмном
И не хочет отпускать.
Бьётся, просится на волю.
Кто поможет отыскать?

Соберём, найдём команду,
Запасёмся фонарём,
Сквозь моря, чужие страны
Доброту свою найдём!

С ней и люди перестанут
Задираться, воевать,
Настоящими друзьями
Наконец-то смогут стать!

Станет в мире больше света
От простых и тёплых слов.
Нет достойней человека,
Что дарить добро готов!

Юлия Погодина

Улетают бабочки на юг

Улетают бабочки на юг...
Посмотри: всё выше, выше, выше!
Их влечёт Луны хрустальный звук,
Тот, который мы с тобой не слышим.

Чертят крылья тонкие следы
В небе серебристою пыльюю,
Чтобы бабочки нашли свои сады
И вернулись будущей весной.

Улетают бабочки на юг,
В страны, где всегда смеётся лето.
Мой хороший, мамы тоже лгут.
Только верю, ты простишь мне это.

Аромат сирени

Безгрешен незаметный аромат
Ещё не распустившейся сирени.
А этот кто-то... был не виноват,
Но стал лишь бледной безголосой тенью.

Бутончик между пальцами размят—
Тот нежный запах ты найдёшь едва ли.
А он ушёл без имени и дат
В страну, где исполняются печали.

Ты, как и я, приходишь в тихий сад
Тропой молитв и тягостных признаний,
Где тени нерождённые следят,
Как мы вдыхаем справедливый яд
Ещё не распустившихся страданий.

Весенний букет

Снова распускаются тюльпаны;
По упругим жилам бьётся ток,
Пульс земли легко и неустанно
Влагу превратит в тягучий сок.

Солнце оживит соцветий тени:
Вспыхнут, многоцветны и легки;
Сомкнуты над самым сокровенным
Глянцевой воронкой лепестки.

Поутру раскроются бесстрашно,
Полыхнёт тюльпановый пожар,
Смело обнажив в бутоне каждом
Своё сердце, драгоценный дар!

Им не важно, чья рука их тронет,
Кто случайно остановит взгляд.
Говорят, растениям не больно.
Нет души в них вроде, говорят...

Что их жизнь? Безропотно и тихо
Подчинится силе красота
И стихии, что случайным вихрем
Смерть несёт доверчивым цветам.

Мимолётно мнимое кокетство,
Нежных красок трепетный экстаз.
Просто я цветы жалею с детства...
И букета не приму от Вас.

Аделия Давлятшина

У вас там холодно?

«У вас там холодно?»

У нас—

Старик с прозрачными глазами
Цветы баюкает над нами,
Неслышно шевеля губами,
Как будто молится
За нас.

У нас деревьев

Сотни тыщ,
Двенадцать лун и десять снов,
Семнадцать миллионов слов,
Не вырвавшихся изо ртов.
И боль клубится
Из-под крыш.

У нас есть деньги

И Москва,
У нас Казань, Уфа и Йошка.
Нас дома ждут худая кошка,
От стула сломанная ножка
И сто конвертов
За счета.

У нас есть Волга.

Кстати, та,
Неся в седых ладонях блики,
Таит беспорные улики,
Что дно, съедающее крики,
Не остановится
Съесть.

У нас морозно здесь.

И мы
Привыкли греть чужие руки,
Внезапно вскакивать на звуки.
Не знать, что существуют муки,
Как будто те
Исключены.

У нас есть нежность

И вино.
Мы любим тех, кто не достоин.
Мы все—один упрямый воин:
На собственном воюем поле
За то, что нас убьёт
Само.

И мы так рады,

Что есть тот,
Кто в нашем небе сеет звёзды,
Кто молится за нас, кто в просьбе,
Кто днём на облачном погосте
Златой баюкает
Цветок.



Если

Тело—тюрьма для нищих,
То богатых не бродит здесь.
Каждый ищет олимп повыше,
Чтоб не смочь на него
Залезть.

Всякий

Может на бег решиться,
Но не каждый захлопнет дверь.
Если счастье—большая птица,
То легко попаданье
В цель.

Копья

Любят нагое тело,
А слова—беззащитный ум.
Если женщина не хотела,
То ты должен нести
Вину.

Олег Таланов

Привычка

Имею я к труду привычку,
И с ней в пылу работы сам
Я электрод зажгу, как спичку,
И прикурить любому дам.

И, может, удивлю кого-то,
С кем ныне шапочно знаком,
Что не курю я, но работа
Ведётся мною с огоньком!

И пусть потухнет сигарета,
Но электрод зажжётся мой,
Объемля небо ярким светом
Моей привычки огневой.

Капели

От огневой дуги запели
В туманно-вьюжном феврале
Металла звонкие капели,
Снега пятная на земле.

Струился пар от пятен жаркий,
И, как по пашне чёрный грач,
По шлаку, тёплому от сварки,
Метался молоток—«секач».

И перестук металла гулкий
Ловила цеха высота,
И с крыши падали сосульки
На гладь железного листа.



Лишь я беру своё стило—
 Душе становится светло,
 И прочь бежит из мрака страх,
 Когда оно в моих руках.
 Как будто яркий фейерверк,
 Взлетают мысли-искры вверх
 И, на страницу там и тут
 Слетая, строчками бегут...

Всю ночь горит моё стило,
 Чтобы скорее рассвело,
 Чтоб отразился светлый стих
 В глазах любимых, дорогих.

Илья Смакович



Я вас благодарю за вашу доброту!
 Пусть свет любви вас вечно озаряет,
 Как озаряет Солнце горную тропу,
 Ведущую во неизведанные дали!

Олег Горшков



Нет любви, одна скупая жалость
 В твоих речах, в твоих глазах.
 Но не хочу, чтоб отражалась
 Немая скорбь в твоих слезах.
 Пройдёт зима, тебя поманит
 Весны дурманящей тепло.
 И образ твой меня оставит,
 Умчавшись весело, легко.

Я не грущу о том, что будет,
 Я не жалею ни о чём.
 Мой лёд из сердца не остудит.
 Я всё стерпел. Мне нипочём!

Виктория Персиянова

Просто станьте добра примером...

Люди часто не понимают,
 Для кого и зачем им жить.
 Но есть те, что уж точно знают:
 Нужно верить, прощать, любить.
 Если вы потеряли веру
 И не в силах её сыскать,
 Просто станьте добра примером—
 Научитесь всем помогать...
 Вот увидите: вспыхнут силы,
 И продолжите вы свой путь!
 Если вы беспокойны, унылы,
 Значит, вам пора отдохнуть!

Яна Кричевская



И дольше, и уже по капле,
 Пока себя не разобрать,
 В пальто, перчатках, зимней шапке,
 С тоскою в толстую тетрадь...
 Ещё махать рукой трамваям,
 Упорным сонным старикам.
 Кто в зеркалах—едва ли знаю.
 И верить ли иным глазам?
 И Дух уже рН-нейтрален
 К налипшим бедам и страстям...
 Он, как Сальери, неприкаян,
 Играя Моцарта гостям...
 В суме нехитрые пожитки,
 От совести до бубенцов...
 Вагоны красные по нитке
 Тащат воров и мудрецов...
 Предел ли истовый начертан,
 Иль морось снежная томит...
 А может, это свет вечерний
 Под сердцем тайно врожит...

Светлана Алькина

Июльская зарисовка

Расслабляясь в широкой койке,
Представляешь свои картинки:
Как на речке цветут кувшинки,
Как на ветках танцуют сойки.

Резво вертится ветер дикий,
Завиток теребит курчавый.
Пусть заварятся в чае травы
С кислой ягодой—ежевикой.

Вот смородины красной горстка
Кувыркнулась в ладонь браслетом.
Пробудилась горячим летом
Страсть безумная стихотворства.



Привет тебе, цветочный дождь,
Сиреневый нектар!
Чью песню ты с собой несёшь
И льёшь на тротуар?

Зачем ты приглашаешь грусть
В мой тёплый светлый дом?
Я серым каплям улыбнусь
И спрячусь под зонтом.

Как заблудившийся турист,
Ты вечно одинок.
Ты пахнешь льдом. Ты свеж и чист.
Пусть лужи пьют твой сок.

Пусть умывается асфальт
Сиреневой водой.
Мне не нужна твоя печаль,
Мы разные с тобой.

Я не намерена грустить.
Мечтаю. Свечи жгу.
И потому тебя впустить
Я больше не могу.

Ольга Гриценко

Однажды...

Однажды с ветром подружилась,
И в вихре чувств я закружилась
В осенним вальсе листопада,
Другого мне уже не надо.

И пролетали дни за днями,
Мы говорили вечерами.
И то, что он шептал ночами,
Сливалось с общими мечтами.

Во снах я с Ветром где-то,
Летим вдвоём навстречу Свету.
Во снах нет горечи разлук,
А есть тепло любимых рук.

Андрей Скрыль

Мотылёк

Скажи, Творец—вершитель судеб,
Зачем ты столько одинок?
И, например, что дальше будет?
Скажи-ка мне, каков наш срок?
И тишина в ответ.
И лишь в ночи, на улице,
У лампочки мерцающей
Порхает одинокий мотылёк...



Дули ветра, море шумело.
Океаны плескались,
Лаская дикую сушь.
А в небе ночном
Звёзды горели взглядом
Блаженных душ...

Надежда Кускова

Озерки

Саня-Маня

Саня на лавочке возле дома перебирала чеснок, счищала лишние беловатые чешуйки с налипшими на них комочками грязи; толстые, припухшие в суставах пальцы плохо слушались её, но пока всё же слушались. Плотные луковицы она откладывала в одну корзинку, переросшие, расщепившиеся на отдельные дольки — в другую. Было ясно, солнечно, но уже по-осеннему холодно, трава по обочинам тропок порыжела. Возле новой дороги травы вообще не было, всё засыпали песком и гравием строители.

Сколько ни старалась она не замечать дом напротив, всё время натывалась взглядом на него; казалось, он скалился на неё провалами пустых, без стёкол, рам. Когда-то здесь жили добрые соседи, её ровесники, Мария Ивановна и Павел Герасимович. Дети у них уехали в город, редко навещали стариков, а когда родители ушли один за другим в мир иной, совсем забыли дорогу к отчужденному дому. По наследству изба досталась одному из сыновей, самому младшему, который на городских окраинах возрос и был совсем уж беспутным. Когда московские дачники захотели купить дом, то наследника не смогли сыскать: где-то пил, с кем-то гулял, куда-то уезжал. Так и осталось разрушаться богатое доселе жилище. Рачительные местные мужички утащили двери, разобрали полы. Остался у дороги скелет дома. Жутко. Как будто покойника выставили на обозрение.

Возле магазина остановилась машина. Не деревенского вида парни стали вытаскивать какие-то ящики из кузова «буханки». Саня вскинулась: «Что же это я, полоротая, здесь расселась? Начальство к нам едет, надо и мне собираться». Она заулыбалась, и улыбка, словно приклеившись, долго не сходила с её лица.

Лицо Сани, как лица всех деревенских старух, выдаёт её возраст сполна. Ей семьдесят один год, кожа на лице побурела от солнца и ветра, вся в мелких морщинках, беловатыми дорожками расчерчивающих лицо. Больше всего морщинок возле глаз — Саня посмеяться любит. Несмотря на возраст, все в деревне, даже зять, зовут её только по имени. За нрав добродушный, незлобивый, детский, за всегдашнюю готовность к улыбке, песне и веселью. А повелось всё от мужа, который, сердясь

порой на неё за безответность, неумение дать отпор обидчикам, говорил: «Эх, ты, Саня-Маня! И чего мне с тобой делать?» Муж Коля ещё молодым погиб в дорожной аварии, она замуж больше не выходила. Да и за кого? Хорошие все с жёнами живут. Одна растила четверых детей. Работала на ферме, в семидесятые-восьмидесятые годы зарплаты у доярок были больше райкомовских.

Старшие дети выросли и уехали в города, с ней осталась младшая, Лида. Здесь, в деревне, она и замуж вышла, колхоз ей дал новый дом, в своей же деревне, за речкой. Зять попался работающий, непьющий, заботливый. Правда, молчун. Слова из него клещами не вытянешь. Бывало, начнёт его Маня о семейной жизни или о детках расспрашивать, а у него на всё один ответ: «Нормально». И до недавних пор действительно всё шло в семье Лиды нормально. Жили справно, не сердчая друг на друга, детей растили. А два года назад Саня стала замечать, что очень уж часто Серёга глотает таблетки. От зятя толку не добьёшься, только отмахивается: «Всё бы тебе знать, Саня». Дочь коротко объяснила, что давление мужа замучило, а в больницу не едет, всё дела держат. Стала Саня почаще, тревожась, поглядывать на Серёгу. Заметила, что глаза у него как бы помутнели, словно оловянные стали. Советовала: «Брось все дела, махни в райцентр». Последний раз он не промолчал, как обычно. Тогда она вот так же сидела на лавочке, лук обрезала, перед домом чернели разъезженные, налитые водой колеи. Серёга после её вопроса о здоровье посмотрел на неё внимательно, сказал: «Голова, Саня, болит, спасу нет». А в больницу так и не поехал. Работал он на машине, ездил в райцентр не по одному разу в день. Уставал, только из деревни на дорогу выехать — намучаешься, вся разбита колеями, тракторами разъезжена. К матери в Ивановскую тоже не один раз в неделю навещался, на машине по такой-то грязи умаешься. Как тут давлению не подскочить? Да и ей зять помогал, жаловаться нечего. Хоть кабана заколоть, хоть сено убрать в сарай — всегда к нему обращалась. Теперь вот если баранчика зарезать — нужно мужиков из-за речки просить. Там ещё есть помоложе и поделней. Не задаром, конечно, придут, бутылку или две на стол выставляй.

Два года назад не стало Сергея. Потом, после трагедии, Саня пыталась дочь: «Не сказала ли ты ему чего обидного?» Лида задумывалась, лицо её принимало такое унылое выражение, что у Сани начинало щемить сердце—так жалко становилось свою немолодую уже кровиночку. Та встряхивала коротко стриженными волосами, отгоняя воспоминания: «Нет, Саня, всё было как всегда». Старуха привычно вздыхала: «И что на него нашло? Как бес попутал».

Тот день был сиротливый и тусклый, лето шло на убыль, солнце всё реже появлялось из-за туч. Вечера и совсем были осенними, холодными. Серёга после работы решил съездить на мотоцикле к матери в Ивановскую. Взял ружьё—на это Лида не обратила внимания, он часто в лесных болотцах постреливал чирков. Саня ему говаривала: «И пошто тебе, Серёга, такая мелочь?» Он не соглашался: «Вкусно-то как, да если хорошо приготовить. А Лидуха, ты знаешь, стряпать умеет». В ту поездку к матери Сергей подправил забор, забрался на чердак, посмотрел, в каких местах нужно крышу перекрыть, пообещал вместе с братом приехать в следующий раз и печной боров замазать, чтобы теплей матери зимовать было. И уехал в шесть часов вечера. Домой он не вернулся. В девять часов с дороги от Ивановской раздался выстрел. Саня сама не слышала, глуховата, зато Лида затревожилась сразу. Когда милиция прибыла на место происшествия, то и видавшие виды служивые люди были потрясены: трава у дороги, метров пятнадцать, была утоптана до земли. Саня вздыхает: «О чём он, бедный, три часа думал-терзался? Всё ходил и ходил». Выстрелил себе зря в самое сердце; сказали, что совсем не мучился.

Задумалась Саня и чуть было не пропустила праздник—открытие новой дороги вдоль деревни. Было ли такое с ней когда? Заторопилась в дом, надела красную, самую парадную, толстую кофту, чёрную юбку и тапочки меховые на резиновом ходу. Успела-таки, старая. Машины с начальством только-только к магазину, где коробки нездешние парни устанавливали, стали подъезжать. Музыка из коробок этих, усилителями называются, на всё село грохочет, Саня, приподняв руки на уровень плеч, подошла к магазину танцующим шагом, хотела так по кругу пройтись, да дочка её остановила: «Уймись, Саня!»—«Да разве не праздник сегодня?»—удивилась мать, но дочку, так и быть, послушала. Встала напротив микрофонов в ряд со своими сверстницами. Молодых почти никого не было, они все за речкой живут и очень разобиделись, что старухам дорогу построили, а их оставили со старой, разбитой. Впрочем, не все и старухи были довольны. Бледнолицая бабка Анна, приползшая от своего дома на двух клюшках, всё грозила: «Приедет начальство, я всё скажу.

Нечего показухой заниматься. Много ли сделано? И дорога не асфальтовая, насыпь простая».

Из нарядных машин стали выходить начальники. Две старухи по кивку заведующей клубом понесли почётным гостям пироги. Те взяли по одному, деликатно по кусочку попробовали. Саня смотрела на их не по-здешнему загорелые гладкие лица. Одеты они были тоже так, как никто в деревне не одевается, что-то незаметное для глаза, но такое ловкое и удобное, что даже не поймёшь, толст человек или только в меру упитан. В светлом костюме—губернатора, в тёмно-синем в тонкую полоску—глава района. Старухи с клюшками перед ними, в тапочках и вязаных кофтах, выглядели так, как будто с поля пришли, словно и не наряжались к празднику.

Как и намечено было по сценарию, благодарственное слово за возведённую дорогу должна была говорить самая старая жительница села, Евдокия Ивановна. Она с клюшечкой и подошла к редким гостям, но о чём она говорила, Саня не услышала, гремела музыка, слова старушки потонули в ней. К тому же Саня наблюдала одним глазом, как к руководству безуспешно пытается прорваться бабка Анна, её держит мощная дебилая староста, женщина лет за пятьдесят, уговаривая свистящим шёпотом: «Люди с благотворительностью приехали, а ты хочешь всем настроение испортить? Подожди, я сама всё нужное скажу». Потом губернатор, стараясь быть приветливым и свойским, заверял, что дорога будет построена по всей деревне, что вместе с ней и жизнь изменится, надо только не дремать, развивать экологический туризм.

Саня тогда не очень поняла, что это такое, да начальству видней, туризм так туризм. Об одном догадалась старая: будут приезжать к ним в село люди, а с ними станет оживлённей и веселей.

Говорила и староста, подобострастно и преувеличенно благодарила за дорогу. Саня про себя отметила это, но не удивилась, даже не поморщилась: руководители любят, когда подмажешь. Сама она притворяться не умела, но других не осуждала. Было стыло на сквозном ветру. День стоял ясный, прозрачный от холодного солнца и синего бездонного неба. Саня улыбалась. Ничего, что холодно. Зато красиво как. Через дорогу стояли наполовину жёлтые берёзы. За ними в поле приехала тройка аистов. Вчера, когда шла из магазина, аисты ходили почти возле самых домов, такие стройные и беззащитные на холодном ветру. Саня достала шоколадные конфеты из своей чёрной дерматиновой сумки, развернула фантики, спустилась с насыпи и каждому положила перед клювом. Склевали за милую душу, не жадно, но с аппетитом. Теперь вот, похоже, в дорогу собираются «Вернутся ли?—подумала старуха и, по всегдашней привычке думать обо всём легко, сама же себе и ответила:—Конечно, вернутся. Их здесь любят».

Аисты не вернулись ни на следующую весну, ни год спустя—перекочевали, верно, поближе к родным чернобыльским местам. Но Саня каждый год их поджидала и, не дождавшись, расстраивалась не на шутку: событий весёлых в деревенской старушечьей жизни не так уж и много.

Годы капали, как вода из худого рукомойника, неторопливо, но и неумолимо, деревня усыхала, ровесники отправлялись на кладбище, молодые—в города. Как и наказывал первый губернатор, организовали в деревне музей. В несколько пустующих изб набрали старых с подзорами лавок, установили вдоль стен; столов, утвари всякой, прялок и ткацких станов. На дворах, тоже как при хозяевах, косы, грабли, вилы стоят... Музейщики—бывшие учителя. Школу-восьмилетку закрыли—куда им податься? Бабы платки на голову—и комедии перед гостями разыгрывать, показывать, какие чудеса вдалеке от Москвы творятся.

А и правда чудеса. В округе не осталось ни одного колхоза, земли пустуют, хозяин у них не объявляется. Один Михалыч, бывший председатель, работу давал: льнозавод выкупил да немного земли, выращивали лён, сдавали тресту, какие-то деньги зарабатывали. Она, Саня, и то, не гляди что в годах, ходила лён поднимать не раз. Молодость вспоминала, тогда льна много растили, и старики, и дети на стлищах снопы вязали. Ей, девчонке, нравилась такая дружная работа, она торопилась навязать больше снопов, успевала с подружкой Машей, той, что сейчас живёт по соседству, словом острым перебростится, часто смеялась, на что мать, работавшая тут же, сердилась: «Ворона в рот залетит, Санька!»

Михалыч умер внезапно—то ли сердце, то ли инсульт. Хорошие люди долго не живут! Горевали всей округой, говорили между собой, что такому надо было в Думу идти или губернатором. Дело понимал, да и не раз говаривал, что на крестьянине Россия стоит: отбей от земли человека—с кем останешься? С плутоватым торговцем или лакействующим деревенским музейщиком, который и слова не скажет гостям о страшной трагедии вымирания? Стареющие парни всё хохмят, гостей веселят да кадрили отчебучивают, за которые в пятидесятые годы молодёжь из клуба выгоняли—бескультурье! И тогда через колёнку ломали уклад деревенский, привычный. Доломались!

...И прошёл слух: едет губернатор знакомиться с деревенским народом. Не тот, молодящийся, седовласый, в светлом костюме,—он давно деньги получает в столице за другое, и не второй, похожий на ёжика, его назначили в область прямо из охраны какого-то большого московского человека. Недолго продержался, да и в деревнях его не выдввали. Теперь третий, московский тоже, обезжзает свой приход.

Саня собралась к назначенному часу старательно, надела всё ту же красную кофту, что и десять лет назад, хорошо сохранилась, некуда носить, моль только в двух местах проточила, да это ничего, заштопала аккуратно. Сверху полупубок овчинный накинута, дочка со своего плеча пожаловала, клетчатый полушалок на голову, батожок в руки—и на крыльцо, вдохнула полной грудью морозный воздух. Яркие белые поля глядели радостно. Дорога гладкая, вычищенная, хоть яйцо кати. Саня чуть не засмеялась—так хорошо стало на душе, Божья радость посетила.

Соседку Марию Павловну через забор у поленницы дров увидела, не здороваясь, звонко, не по-старушечьи, крикнула: «На встречу пора!» Соседка, с охапкой дров в руках, распрямилась, секунду внимательно смотрела, словно размышляя, на Саню-Маню, потом суховато, не повышая голоса, ответила: «Не приглашали».

Встретиться с новым губернатором у Сани не получилось. На пороге избы музейной её остановила раскладистая староста, неожиданно строго спросив: «А ты куда, Александра Фёдоровна?»—взяла мощными руками за плечи, развернула и вывела на крыльцо, там уже извинительно зашептала, приближая к ней своё большое мясистое лицо, что губернатор встречается с нужными людьми, что она всех остальных предупредила, чтобы носа на улицу не казали, а если и увидят начальство—языка не высовывали. Саню только дома не застала. Она, староста, не сама придумала, так велено—накануне позвонили из администрации. «Они,—кинула она на закрытую дверь,—всё скажут».

Сане обидно и неприятно, что её, как мусорину из избы вывели, слёзы навернулись, но сдержалась, не заплакала, а через десяток шагов уже потихоньку смеялась, вспоминая напряжённое лицо старосты, её тревожные глаза-буравчики. Не позавидуешь человеку, должность хуже собаки: дворняжка дом от чужих стережёт, этой от своих приходится оборонять начальство.

Она не верила словам старосты, что расскажут губернатору о деревенских бедах: видела в раскрытую дверь бывших учителей, один—в бабьем платке, выступали перед загорелым, несмотря на зиму, женщиной, а в соседней комнате, куда тоже дверь была растворена, стол от закусок ломился, стояли и графинчики.

Потом медлительная волнующаяся молва донесла до неё, что тарелки, по тысяче рублей каждая, специально для этого случая заняли в городском ресторане и поваров выписали из райцентра—закуски готовить.

Круглый сирота

Бомж сидел на мокром асфальте, прислонившись спиной к деревянной жёлтой обшивке ларька.

Звали его Сергеем, а в городе пристала к нему давно кличка Серый.

Одна нога в грубом, плохо зашнурованном ботинке выставлена вперёд, другая неестественно круто загнута назад; верно, вывихнута в колене — так здоровую ногу не загнёшь. Его косматую, давно не мытую чёрную голову обильно поливает капель с крыши. Но он словно и не чувствует её, даже не пытается сдвинуться с места.

Карие, в красных прожилках, широко распахнутые глаза напряжённо и мучительно смотрят вверх. Под грузным комом тела растеклась красная лужица мочи.

Может, даже и не видел Серый никого вокруг. . . А людей в этот утренний час шло немало, на работу торопились. Одни, стараясь не замечать жуткого вида бомжа, косили глазами в сторону, нагибали голову. Несколько человек неподалёку, маленькая толпа зрителей, стояли, как на похоронах, тихо. Я растерянно остановилась: погибает человек, надо что-то делать, в скорую звонить, в полицию. — Позвонили уже, — сказала широколицая пожилая женщина в розовом берете.

Мысли читает? Скорее, я не заметила, что высказалась вслух.

Крашенные розовой помадой широкие и длинные губы женщины вздрагивали, придавая ей сходство с симпатичной лягушкой, может, даже царевной. Несмотря на тяжёлый дух, шедший от бомжа, она подошла к нему вплотную, громко сказала:

— Отодвинься от капели, я тебе помогу.

Бомж глазом не моргнул, не пошевелился, так же глядел перед собой, выставив вверх цыганское чумазое лицо.

Сбоку остановились двое парней, да и не парни вовсе — парнишки самой первой молодости: невысокие, узкие в плечах и бёдрах, в тёмных курточках и капюшонах, надвинутых почти на самые глаза. Постояли беспокойно, как-то странно подёргиваясь, пританцовывая на месте; было что-то тревожное и злобное в этом мельтешении. Через минуту повернулись, пошли откуда явились. Подъехала скорая, стали загружать бомжа на носилки. . . Он застал.

Выглянуло из-за тучи солнце, окинув сиянием младенческую листву ближней берёзы, в проёмах туч ярко засинели бездонные небесные колодцы. И словно теплей стало вокруг.

Я шла на работу в редакцию местного радио, угловую комнатёнку в казённом здании, и утешала себя мыслью, что Серый попадал в разные переплёты в своей странной и не каждому понятной бездомовой жизни. Но оправлялся, выживал и снова как ни в чём не бывало курсировал по улицам городка, выпрашивал денег на «булку хлеба», пьянствовал, ждал на лавочке с утра вместе с другими страждущими открытия магазина. . .

В маленьком городке люди все на виду, и я помнила Серёжку симпатичным темноглазым мальчишкой, живущим в ладу с родными и близкими. Особо с бабушкой, бледной болезненной старушкой в вечной телогрейке, с унылым взглядом бледно-серых глаз.

Бабушка, умирая, просила у всех проходящих её навестить пять рублей. Ей деньги давали, а муж младшей сестры, тоже уже старик, дал ей в пять раз больше, спросив при этом:

— Маша, а зачем тебе деньги?

Она попыталась улыбнуться тонкими безжизненными губами и слабо выдохнула:

— Серёнке отдам.

Серёнька, готовившийся в это время служить в армии, к бабушке заходил раз в неделю, и тогда она вытягивала из-под подушки носовой платок с завёрнутыми в нём пятёрками. Он, пока никого из посторонних не было, сгребал их к себе в карман и, сказав два-три слова, уходил домой. Жил он один в однокомнатной квартире. Её получала в очереди на жильё мать, работавшая лет тридцать в швейной мастерской. Порадоваться новой жизни она не успела, умерла от рака ещё не старой женщиной. Отец Сергея покинул бранный мир ещё раньше, задавившись в платяном шкафу поясом от халата своей жены. Станный человек, вбил себе в голову, что болен неизлечимой болезнью, но при вскрытии оказалось: здоров, жить бы и жить ещё!

На похоронах бабушки Сергей стоял у гроба, склонив кудрявую, давно не стриженную голову. Он не плакал. Вся родня его жалела: такой молодой, а уже круглый сирота. Расставаясь, все дали ему денег, как когда-то давали бабушке.

Из армии он вернулся другим человеком, разговорчивым и разгульным. Компании в его квартире не переводились. Правда, девиц он к себе не водил, признавался, что это для него хлопотно. Заботься о них, корми, пои. С мужиками пить проще — всё на паях. Два или три раза Серый переночевал в кутузке за нарушение правил общественного порядка. Потом его судили за кражу двух соседских кроликов.

Он год отсидел в колонии и воровать больше не хотел. Но и на работе удержаться не мог, даже на самой простой, сторожем. Как-то летом, когда он почти не ночевал дома, соблазнился на ящик водки, посулённый ровесником-азербайджанцем, и променял на него свою квартиру. Так круглый сирота стал бездомным. Приспособиться к новой жизни ему не составляло труда. Он спокойно выходил в центр города, так же спокойно останавливал знакомых и незнакомых фразой:

— Можно спросить?

И когда клиент придерживал шаг, продолжал монотонно, но скроив при этом умильную рожу: — Дай мне на булку хлеба.

Отказать в такой малости редко кто мог. Собирались деньги и не на одну булку. Можно было купить и несколько «фанфуриков» — пузырьков с настойкой боярышника на спирту. После обеда Серый багровел лицом, соловел глазами и шёл в подвал многоквартирного дома, как он говорил, отдыхать. Летом, когда в город наезжало много туристов, бомж жил припеваючи. «Дедушке», как называли его гости города, — а он, заросший волосами, в старой, с чужого плеча одежде, и впрямь выглядел немолодо — подавали много и охотно. Жалко же, такой одинокий, заброшенный. Ему к этому времени едва исполнилось сорок лет.

Я припомнила, как однажды Серому вместо денег подала буханку хлеба. Что просил — то и получил! Протянула — лицо у него стало такое, как будто стакан уксуса хватил. Но сдержался, ничего не возразил. Серый был по природе негрубый человек.

Иногда его пытались усостыжить. Приезжая, видимо москвичка, упирая на «а», однажды, слышала, выговаривала:

— Мужчина, зачем обманывать? Просили на хлеб, а покупаете сигареты!

— Жалко, что ли? — нелюбезно буркнул Серёга, резко уходя от назойливо преследующей его женщины.

А над всеми этими воспоминаниями наплывал его мучительный, больной собачий взгляд, который только что видела и который, казалось, говорил: что толку жаловаться? — никто не поможет.

На волжском бульваре, под столетними берёзами, увидела подростков, все были в невзрачных курточках с капюшонами, надвинутыми на глаза, в коротеньких брючках, из-под которых выглядывали голые лодыжки. Неприятно удивило, что среди них были и те двое, которых, заприметила у ларька. Оказывается, всю дорогу, не замечая, шла за ними. Вели себя ребята беспокойно: воздевали руки, вертелись, выкрикивали что-то неясное, то и дело слышалось «блин». Раздавались и девичьи пронзительные голоса. Солнце снова пробрызнуло сквозь тучи и ветки деревьев, осветило нездоровые, сероватые лица подростков.

И вдруг, словно специально для меня, ломающийся басок внятно произнёс:

— Не до конца... Увезли в больницу... Если выживет, смотрящий не похвалит...

Не связывая всё происшедшее за нынешнее утро воедино, всё же забеспокоилась, ускорила шаги, чтобы побыстрее проскочить тревожную зону.

За дневными хлопотами по составлению еженедельной пятидесятиминутной программы радио о жизни города и района (я — главный редактор, я же и корреспондент, всё в одном лице) утренние тревоги не то чтобы забылись — отодвинулись в сторону. К тому же, как не раз изрекали

нравоучительно местные чиновники, в нашем городке ничего противозаконного и, упаси Бог, преступного случиться не может. Люди не такие.

А через несколько дней, бегая с диктофоном за новостями, встретила почти на том же месте, где последний раз сидел бомж Серый, знакомого фермера, моего постоянного автора.

Фермер год от года увеличивал поголовье романовских овец, над которыми нависла угроза исчезновения с тех пор, как рухнули колхозы. Был он инвалидом первой группы, без пальцев на обеих руках, потерял по молодости в аварии. Но, выходит, некому, кроме него, «вагу» эту подымать.

Мой знакомый, как всегда, был в аккуратном отглаженном, старом, протёртом до лоска чёрном костюме, седыми длинными волосами играл тёплый майский ветер. Рассказал мне о своих новостях, я ему — как Серого последний раз вот здесь, у ларька, увидела.

Он усмехнулся.

— Сам выбрал, что хотел, — сказал, равнодушиная, но тут же загорячился, всплеснул мозолистыми ладошками без пальцев: — Прошлым летом к самому лёгкому делу его приставил, мальчишка десятилетний справится, а Серый — не смог!

Оказывается, было и такое невероятное событие: пытался работать Серёга-бомж.

Стояло тёплое ласковое лето, самое благодатное время для вольной жизни, но Серый давно не ел горячей пищи. А на хуторе обещали его кормить за одним столом с хозяевами.

Для нового работника истопили баню, фермер сам тёр ему спину, потом выдал старенькую, но чистую и зашитую одежду. Они позавтракали тёплой кашей из печки, хлебом и киселём, а потом хозяин показал работнику поле картофельника, ряды всходов тянулись до самого леса, их нужно было окучивать.

— А если жарко будет? — спросил с надеждой Серый хозяина.

— Мы и в жару работаем, — коротко отозвался тот и ушёл по своим делам.

Целый час Серый пытался окучивать картофель; правда, выбирать сорняки ему не хотелось, и он заваливал их пластами земли: всё равно не видно. Через час он нашёл за домом фермера и протянул ему свои смуглые пухлые ладошки, на них краснели пузыри мозолей.

— Я тебе голицы давал, — удивился тот.

— Я в голицах и окучивал, — скорбно вздохнул новый работник.

В обед хозяйка, недовольно поджав губы, кормила его борщом, тушёной и салатом. Серый наелся на два дня вперёд. А вечером, поставив в угол сарая тяпку и надев предусмотрительно сохранённое своё рваньё, учимчиво с хутора. На закате он уже выпивал и закусывал на берегу Волги, лёгкий ветерок оведал разгорячённое лицо.

Спокойствие и мир вокруг. Больше ничего и не надо. Редкие прохожие слышали, как Серый бормотал себе под нос:

— Ишь чего захотел—горячей пищи! Ну и получил!

О своей неудачной попытке начать новую жизнь бомж никому не рассказывал, и правильно—не поймут. Во всяком случае, я ничего такого от него не слышала.

Мой знакомый фермер немножко резонёр, после этой истории начинает рассуждать о понятных вещах. О том, что некоторые люди не хотят жить своими трудами. Пытаются прокатиться за счёт других. Такие, как Серый,—парии, презираемы. Ну а кто многих обобрал за счёт удачной спекуляции или крупного воровства—те «элита».

— А Серёга вчера умер в больнице,—неожиданно буднично закончил он.—Избили его всё-таки до смерти. При нём даже паспорта не оказалось.

Озёрки

Туманным октябрьским днём старик Виноградов—с тех пор, как он похоронил жену, соседи стали называть его так, без имени и отчества,—вышел из дома. Сын из соседнего города навещал его редко, внучата—ещё реже, и эта долгая прогулка была у него главным событием дня.

Фигуры встречных слегка размыты туманом, да он и не всматривался в лица прохожих: приятелей и приятельниц с каждым годом становилось меньше, с одними своими сверстниками он раззнакомился по самым нелепым причинам, другие отправились в мир иной—а и те, кто оставался ещё в друзьях, сидели по домам, исполняя приказ чиновников не покидать свои жилища во избежание заражения болезнью, вызывающей опасные осложнения.

Жена Нюся умерла не от этого странного вируса. Два года лежала в кровати с безжизненным искажённым лицом, молчала, часто отворачивалась к стене и ни на что глядеть не хотела. Устраивал в больницу, добился путёвки в реабилитационный центр. Всё бесполезно...

Он вышел на набережную, звуки шагов приглушались туманом, но внизу шумно плюскали о камни волны. Виноградов подумал, что скоро ветер очистит и реку, и набережную от влажной наволочи. Ивняк, чернеющий на противоположном, правом, берегу Волги, побуреет, а голые серые берёзы зарозовеют своими узорными кронами.

Навстречу шла совсем юная парочка—тоненькие, ладные, резвые. Не доходя до старика шагов десять, ребята остановились, парень в красном пуховике порывисто привлёк к себе спутницу, поцеловал раз, другой. Старик хмыкнул, то ли одобрительно, то ли завистливо. Хотя что уж тут завидовать—к своим восемнадцати-двадцати

годам он совсем не хотел бы возвращаться: страстей много—ума мало.

Вблизи парень—высоколобый, с широко поставленными и растерянными, а может, просто близорукими, глазами,—кого-то сильно ему напомнил, и старик ещё раз пристально глянул на него. Это не понравилось. Голос, решительный и резкий тенор, явно взволнованный излишним вниманием, не вязался с неуверенным взглядом: — Дед, дома надо сидеть. Всем после шестидесяти не велево высовываться на улицу!

Старик благодушно рассмеялся: он понял, кого напоминает ему этот мальчишка, и с чувством продекламировал:

Не спасёшься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право—
Самому выбрать свою смерть.

Посторонним людям он никогда не читал стихов: не хотел обнажать сокровенные движения души. Но здесь—особый случай: можно сказать, родню нашёл!

— Маринка, да это поэт! Не каждый день поэта на улице встретишь,—дурашливо вскричал парень. — Да не я это написал, где уж мне! Николай Степанович Гумилёв, русский поэт-воин,—с усмешкой поправил старик.

И, опасаясь, что новый знакомый со своей молчаливой спутницей двинется дальше по берегу, девчонка уж с ноги на ногу переступает, торопит, спросил поспешно:

— Скажи-ка, Анатолий Грудинкин тебе не дедом приходится?

— Марина, иди,—парнишка покраснел от волнения, выпустил руку спутницы,—я тебя догоню. Это мой отец. Вы его знали?—он напряжённо смотрит на собеседника, на гладком лбу продольная морщинка обозначилась.

— Арсений Петрович Виноградов,—назвал себя старик.—Мы с Анатолием вместе росли в деревне Озёрки! Тебя как зовут?

...После разговора с Арсением Петровичем Гена Грудинкин смутился духом, потерял интерес к подружке Марине, перестал ей звонить, вместо этого ждал на набережной в урочный час своего нового знакомого. Подружка злилась, не раз вызывала по телефону Генку сама, ругала старика чёртом, связавшимся с младенцем. Вопросила язвительно: «Что интересного ты нашёл в этом старом пне?»

Ничего не объяснял подружке, бормотал торопливо в трубку, что потом всё расскажет. Но уже стал понимать, что, пожалуй, разговора этого не состоится никогда. Достала!

Тогда, после первой встречи с Арсением Петровичем, он с ликованием догонял Маринку на

набережной, путаясь в словах, объяснял, какой это *здоровский* старик, друг детства отца. Ждал улыбки доброй, взгляда умного. А услышал холодный и даже пренебрежительный вопрос:

— У тебя мог быть такой старый отец? У меня и не старый, да с ним — скучища! То не делай, сюда не ходи — все и разговоры. Думаешь, у тебя было бы по-другому? Ещё хуже — со стариком!

Лучше бы она молчала, если нет понятия! Мать Генкина отцу по возрасту в дочке годилась, а моложе себя не чувствовала, широкая, тяжелоступая. Уж если у неё что заболит — и отец, и Генка, и соседи знают, сочувствуют. Отец говорил в утешение: «Гаяля, скрипучая олешка дольше живёт». Сам он никогда не жаловался на болячки, иногда шутил: принял с утра *облатку* — и здоров. *Облатками* он называл таблетки — наверное, это слово было из его дальнего деревенского детства.

Геннадий часто думал об отце. И всегда первая такая картинка в памяти всплывала. Осенний пасмурный день. Из-за сумерек и проспал, сколько мать ни говорила, что пора в школу. Наскоро поев, бежит с крыльца, ранец по спине громыкает.

Отец уже в колхозной конторе побывал, приказания на время своего отсутствия отдал, зачем-то ещё завернул домой, теперь во дворе в «газик» садится, в город собирается. Завидев растерянную мордашу сына, хватить под мышки — и через деревянный забор плавно опускает его на тропинку во двор школы: не бежать двести метров в обход всех заборов. Да ещё словечко бросает бодрое: «Не дрейфь!»

И сейчас бы помог... Ну разве виноват он, Геннадий Грудинкин, что нет ему в городе жизни? Два раза опоздал на завод — уволили. Секунды на проходной считают. Никому не интересно, что перепутал автобусы, добираясь со съёмной квартиры.

То ли дело в деревне — простор и воля! Завёл трактор — и в поле, работаешь без надсмотрщиков, раз-два за день завернёт бригадир или агроном...

Только нет сейчас и колхоза, и тракторов, а поля заросли лесом. Отец, наверное, в гробу переворачивается: так старался для колхоза — и всё прахом пошло! Теперь никому Генкино мастерство, да и сама его жизнь — не нужны. И думал он не раз, что отец умер — и унёс с собой ту устоявшуюся беззаботную жизнь.

Кажется, уже во вторую встречу Арсений Петрович спросил его, был ли когда-нибудь в Озерках. Гена замялся с ответом. А старик, не замечая смущения, продолжал допытывать: был — не был с отцом в деревне, а если был, то что запомнил?

Запомнил, хоть и малышом ездил. Дорога плохая, грунтовая, голова так трясётся, что, гляди, отвалится. А километра за два, может, за три, пришлось оставить машину и идти пешком по тропке. Отец с рюкзаком впереди, Генка за ним поспекает.

Ели дремучие со всех сторон обступают, толстые корни вспухают из земли, будто ловят пешеходов, того гляди запнёшься и растянешься на жёлтой опавшей хвое. Дремучий лес, не зря его назвали люди Пугино.

А отец бодрый, весёлый, что-то напевает, обрывает песню, толкует:

— Здесь я, Генаша, в молодом лесочке грибы собирал. Такой же, как ты, был. Погляди-ка, вон в том осиннике нет ли боровиков? — махал рукой на поросшую осокой низинку.

Набирал он тогда по отцовским подсказкам огромный пакет грибов. Наверное, здесь никто ими и не интересовался. Да и кому? В Озерках уже тогда три старика жили.

— И я пока не побываю в Озерках — не умру, — сказал Арсений Петрович как о деле давно решённом. — Пойду поклониться родине. Старая дорога, думаю, заросла. Если бы кто-нибудь показал, где идти...

Помолчали. Геннадий с сомнением смотрел на старика. По виду вроде ещё и крепок: прямой, высокий, шаг уверенный, из-под козырька низко надвинутой замшевой кепки живые карие глаза доброжелательно смотрят. Но это здесь он такой, а на непроезжей дороге каково ему будет? Всё-таки годы...

И снова старик забеспокоился: скорее всего, и нет никакого пути на Озерки. Нет людей — нет и дороги.

Генка, жалея, утешил:

— Бабушка одна там, говорят, живёт. Откуда-то приехала, поселилась в старой избушке Голубевых. Раз в неделю за продуктами через всё Пугино за семь километров в жилую деревню ходит.

Спохвтался, что проговорился, а старик клещом вцепился:

— Знаешь, Генаша, дорогу? Покажешь?

— До весны подождать надо, — нерешительно предположил молодой.

Но Арсений Петрович думал иначе.

— Смотри, — кивнул он, на жёлтые одуванчики на склоне, — они разве ждут? Студёно, но они торопятся бросить семена в землю. Весной могут не успеть — скосят. И у меня нет времени ждать. Пойду, брат!

Генка разозлился, кивнул головой на прощание — не так же уходить? — и большими шагами пошёл прочь. Он не то чтобы не умел заглянуть в свою душу, а даже понять, откуда взялась эта злость, не силится. Разозлился — и вся недолга!

Оставшись один, уже корил себя: оставил Арсения Петровича в недоумении. Представил его взгляд укорный. Разве он в чём виноват? Такой-то старик!

И ещё пришла неожиданная мысль: а что, если бы это был отец и попросил проводить его

в Озерки? Да на руках бы донёс! И тут же хохотнул, представив, как несёт мощного отца на своих тонких, хоть и не хилых, руках.

А Арсений Петрович, глядя вслед необычно быстро удаляющемуся собеседнику, ругал себя: старый тетерев, растоковался не ко времени — мне надо, не умру, пока не побываю... А где ты, Арсюша Виноградов, был всю долгую сознательную жизнь? Руководил конструкторским бюро — но отпуска были. Анатолий Грудинкин возил позднего сына в Озерки. А ты своих — всё к морю да к морю, аденды-гланды лечить. А скорее, чтобы от массы заводской не отстать: ах, какая прелесть — мы отдыхали в Болгарии на море, а мы, того лучше, в Грецию путёвку купили. Он даже плюнул с досады.

К старости дачей с женой Нюсей увлеклись, да и не увлечение это, а необходимость: для детей-внуков овощи чистые, без химикатов и ядов, растить. Ну и самим, казалось, без этого не прожить. Но на день-другой можно было съездить в родные места! Не съездили.

Нет, брат Арсений, мало думал ты, мало помнил о своей лесной деревне, где воздух пах хвоей и травами, где люди росли крепкими, сильными и вольными и куда затянуло-запутало травой забвения все пути-дороги. На парня насел: веди, показывай! А хочет он того? Может, считает, что не заслужил этой милости старый дружок его отца?

Впрочем, через три дня они вдвоём — старый и молодой, покинув вдруг и сразу опостылевший город, шли от асфальтовой дороги по осеннему бурому оголившемуся лугу к лесу. День был сумеречный, унылый, с низкими, угрожающими дождём тучами. Но Арсений Петрович бодро поспевал за широко шагающим молодым другом и толковал возбуждённо:

— Ты мне, Генаша, только покажи эту лесную глобочку, а дальше я сам.

Геннадий удивлялся:

— Отец тоже называл тропку глобочкой. Не всегда, а вроде бы как в шутку. В Озерках так говорили? — И не только... Во всей округе по глобочкам ходили. Много слов сейчас забыли даже деревенские... Да и я в городе не больно вспоминал.

Дошли до того места, где тропка ныряла в еловый лес. Стал сеять мелкий дождь, и под низкими сводами лапистых ветвей оказалось совсем темно, почти как в тоннеле. Геннадий выругался:

— Фиг с ним, — и шагнул первым на едва видимую колею от ручной коляски. Проглядывались и небольшие аккуратные следы сапог. — Дядя Арсений, я тебя в такую тёмку одного не отпускаю.

— А чего ругаешься, названный племянничек? — радостно отозвался старик на новое обращение. — Там узнаешь, — коротко отозвался Геннадий и замолчал.

Арсений Петрович на эти многообещающие слова внимания не обратил, оживился, разговорился,

принялся вспоминать, как ходили с Анатолием Грудинкиным на росянки в Перхулово и в Ожого. — Росянки — это, брат, что-то вроде теперешней дискотеки, только на улице. Дробили так, что траву до земли продалбливали. Люты были гулять. Раз пришёл домой на рассвете, мать уже встала, скотину обихаживает, виду не подаёт, что недовольна. Но посылает на покос, одного. Усадьба стояла ещё некошеной. Выкосил в середине круг, сгрёб копёнку, бросил на неё кацавейку, да и спать завалился: устал на росянке — спасу нет. Проснулся от крика: мать пришла работу принять да траву поворошить, а увидев такое безобразие, костерить меня почём зря принялась, а потом схватила косу — да косьём по моим бокам. И ничего не скажешь и не сделаешь: виноват! Ну, бей, говорю, бей...

Арсений Петрович задел нечаянно за молодую ёлочку, брызнуло ледяной водой, как из душа. Старик хохотнул. Ничто, казалось, не могло испортить его хорошего настроения. А Генка хмурился, молчал, думал раздражённо, что его спутник всё-таки очень легкомысленный человек. Заладил: пойду да пойду в Озерки. А хватит сил? И сейчас устал, пыхтит, как ёжик, шагает не ровным своим молодецким шагом, а будто бы враскорячку. А если бы сбился с пути?

Вышли в голое поле. Ни неба, ни земли не видать, серая толща мороси, словно бредут по дну морскому два путника. Присмотревшись, Арсений Петрович различил справа развалины церкви, слева остатки избы. Серые брёвна торчат вкривь и вкось. Дальше и вовсе от строения остался один фундамент. Только сарайка полностью уцелела из всей деревни, её крыша виднелась у леса, туда и вела тропинка. Тишина. Даже ворон не видно и не слышно. Тяжело в мёртвом селе, словно воздух сгустился и давит. Не сговариваясь, путники прибавили шаг.

Увидели у леса потемневший срубец высотой в два бревна. Виноградов припомнил, что это родник, вода здесь всегда была очень чистой и даже целебной. Решили набрать её с собой. Долго пытались приподнять крышку, сначала старик, потом Геннадий. Она не поддавалась, заколодела.

Наконец Гена поднатужился... И на секунду потерял дар речи, а старик охнул обречённо: вода в роднике ржависто-красная, с пеной. Откуда такое? Тихо опустили крышку на место... Нехорошо на душе, смутно.

— Уже немного идти осталось, — приходя в себя, негромко сказал Генка, — километра полтора.

Виноградов ответил и вовсе шёпотом, так при покойнике говорят. И всё казалось ему, что чьи-то печальные глаза следят за ними из толстой серой толщи мороси. Старик уже пожалел, что отправился в этот длинный путь. Что в Озерках его ждёт? Что он ищет в этой вымороченной пустоте?

Да и недовольный вид молодого друга укреплял в самых худших предположениях.

...Озерки тоже была пустынно, но порадовали несколькими домами, имевшими вполне жилой вид. Верно, дачные, а в одном, несмотря на дневное время, огонёк светился. Арсений Петрович приободрился, предложил спутнику:

— Давай-ка, названный племянничек, пойдём, представимся хозяевам. Объявим, кто мы есть.

Генка смущённо улыбнулся и отказался наотрез, сказал, что подождёт на улице, что ему неудобно, а когда старик чуть не силой подтащил его к резному потемневшему крыльцу, он, покраснев, выпалил: — Да я с этой старухой ещё летом вдрызг разругался. Разве она меня пустит к себе в дом?

Арсений Петрович удивился, руку с Генкиного плеча снял:

— И что же вы делили?

Генка усмехнулся значительно, а большие серые глаза оставались растерянными.

— Моё несохранившееся наследство, — и торопясь, проглатывая окончания слов, стал рассказывать. — Дядя Арсений, да ведь я ничего плохого не делал. ..Ну да, конечно, дурак, пришёл в пустую деревню с металлоискателем. Думал, что в пустую... По дедовской усадьбе шастал. Место — как плешка, дом увезли, поставили в другой деревне, один дуб в два обхвата стоит, перед войной, говорят, дед сажал. Я покажу. Сказала мать как-то, что отцова семья была небедной. Раскулачивали, выселяли из дома. Потом свой же дом выкупали. Наверняка успели припрятать какие-нибудь ценные вещи, деньги, может, и золотые... Думаю: сто пудов — лежит где-то клад! И что дед спрятал, значит, теперь всё моё, других наследников нет! Тут старуха выскочила, от калитки не отходит, а орёт громко: «Убирайся!» Я, конечно, ушёл, но горяча ответил как положено.

Арсений Петрович, слушавший внимательно, заключил:

— Плохо, Геннадий. Но это мелочи. Не волнуйся, я вас помирю, — и деликатно, но настойчиво стал стучать в оконный переплёт.

Не первый раз Генка подумал, что старик легкомысленный не по возрасту, но теперь уже не с досадой, а со смешанным чувством ожидания и облегчения. Ответа не было. Старик подождал немного и снова постучал. Послышались быстрые

шаги, приоткрылась входная дверь, на пороге — женщина, тёмные волосы с проседью забраны в низкий узел, пальто стёганое наспех накинуто на плечи. Арсений Петрович искоса посмотрел на Гену: где же ты, братец, старуху увидел? Зелёными большими глазами, крутым лбом, на который прихотливо падали кудряшки, круглым носом она ему напоминала...

— Здравствуй, землячка. Я — Арсений Петрович Виноградов, мои родители в Озерках жили, моя юность здесь прошла. А это...

— А это сын Анатолия Максимовича Грудинкина, — виновато улыбнулась женщина. — Я летом не сразу догадалась, ругать принялась. Ты уж извини, — обратилась она к Геннадию. — Напугалась я тогда. Только в деревне поселилась. А когда ушёл, тогда и поняла, что свой человек. Отец твой часто сюда заглядывал, похож ты на него очень. Заходите, что мёрзнуть на улице? Чаем напою, — и она, распахнув настёжку серую от непогоды толстую дубовую дверь, на ходу договорила: — А я Нона Голубева для вас, Арсений Петрович, а для него, — женщина кивнула в сторону Генки, — Нона Ивановна.

Старик ещё что-то хотел спросить, но хозяйка поторопила:

— Дома поговорим. Намёрзлись уж, хватит.

А за столом, куда старик Виноградов выставил из рюкзака бутылку красного виноградного вина, а хозяйка — самодельного из черноплодной рябины, договорились до таких чудес, что и спустя время, Геннадий Грудинкин не мог прийти в себя от удивления. Нона, как выяснилось, дочка той девушки Тони, на которой в молодости Арсений Петрович собирался жениться. Тоня не дождалась его из армии. Но всю жизнь помнила своего первого жениха и дочке Ноне о нём рассказала. Старик Виноградов слушал хозяйку, наклонив голову, навалившись грудью на стол. А потом спросил неожиданное: не продаётся ли в Озерках какая развалюха? Он бы не прочь здесь обосноваться, временно или постоянно — время покажет. А Нона попросту ответила:

— А вы живите пока у меня, вместе повадней будет!

Ну не легкомысленные ли старики? Но этот вопрос Геннадий Грудинкин задавал себе уже скорее по привычке. Он ликовал, что у него есть друзья, хоть немного и чудные, но признавшие его своим и даже, может, родным. Провожая, звали приходить в Озерки в любое время дня и ночи.

Василий Киляков

Фрески

Кентавр

Из цикла «Записки пожилого человека»

Ребёнок, девочка неполных двух лет, ещё не говорит отчётливо, только слогами. Мызгает во рту кусок пирога и с высокой лавки закидывает на стол обеденный то одну, то другую ножку в кожаной пинетке. Она закидывает и смотрит испытующе на реакцию родителей. Глаза любопытные, синие, озорные, словно спрашивают: «А что вы сделаете, если я так?..» Глядя на неё, думал: сколько ей, этой девочке, придётся ещё перетерпеть, понять, почувствовать. И воспитания, и огорчений, связанных с воспитанием и испытаниями... Сколько ей ещё наживать опыта, а главное—зачем? Ведь всё кончается одним и тем же для каждого из нас... Это «наживание опыта» и сочувствия, умения сострадать через свою боль и сопоставление с другими—было бы никчёмной глупостью, если бы душа не могла бы относить этот опыт туда, в небытие, в пакибытие своё...

Нет, тут, верно, важен даже не сам опыт, а именно «изделие», полученное от всей жизни. И именно выковка этого «изделия», выковка души человеческой. Бог—кузнец, горшечник? Куёт и лепит. Думать так было бы примитивно, конечно. Что Бог—скульптор душ, но больше даже именно через чужие руки работает Он. Порой враждебные нам руки. Мы обижаемся на молоток и напильник в Божьих руках—так, как обижались бы именно на руки Творца. И все мы незаконченные изделия—незаконченные, пока ещё живём и дышим, пока в силах хоть что-то менять в себе по своей воле и воле Демиурга... Он держит нас, Он работает над нами. Мы податливые изделия, над которыми трудится Бог неустанно, обваливая нас в песке и тлене и притирая друг к другу. Обкатывая нас, как морские гольши, друг о друга. И именно море, океан—вот что наиболее, как стихия, идентично самой жизни, образу нашего бытия... Море, стирающее наши (друг о друга и каждому) бока.

Что же из этого следует? Зачем мы, «обкатанные», Ему? Неужели только такие мы и сможем продолжать бытие в «иномире»?.. Иногда этакое «притирание» трагически и внезапно конечно. О чём это говорит? Лишь подтверждает то, что «у Бога все живы». Для Бога нет никакой разницы,

дышишь ты или ушёл к Нему. Плоть—вовсе не подтверждение этой жизни. Так скульптор или кузнец после того, как затвердеет изделие, доводит его напильником или молотком, сбивая лишнее.

...Девочка, присмирив, закинув ножку на стол, смотрела на взрослых. Стояла на другой и смотрела мне в глаза. Наверное, была удивлена, почему я не ругаю её и не удивляюсь, не поучаю её... Она, верно, кое-что уже понимает. А я думал о том, желал бы я снова стать вот таким первоизделием, глиной, самородком—и вновь испытать боль приобретения опыта, зачатков нравственности? Желал бы я оказаться на её месте и, испытывая этот мир, баловаться в нём? Какое же изделие пожелает вернуться в скалу, в глину, в ничто?

Судя по обилию боли и всяческих перипетий в жизни человека, одна из главнейших целей жизни—в воспитании именно воли. Терпение и смирение—качества, о которых так много говорит церковь. Не податливость и слепая покорность, вовсе нет, даже напротив: следствие воспитанной, готовой уже воли к Божьим приказам, к приятию Промысла, к отсечению своей воли—вот величайший героизм и цель жизни. Не «прыжок веры» как абсурд, а именно высота духа...

Главная ошибка «волюнтаристов» (Ницше, Шопенгауэр, Макиавелли...)—в том, что они полагают меру великой силы воли в проявленных победах над другими. Главный же показатель созревшей воли—способность побеждать именно себя: «Победа из побед—победа над собой».

Но для чего Богу волевой человек—или это значит, что Богу нужен воин? Не генерал, не майор, а именно солдат. Но в таком случае каковы же условия существования «там»? Если не мягкотелость, а именно жёсткость по отношению к себе и воля—как первейшие качества, необходимые для жизни с Богом, в «иномире»? Значит, благолепие и беспечность рая—пустые выдумки? В «иномире» необходим только сложившийся, крепкий человек. Не расслабленный и благодостный «нюня», но кремень, истый воин, твёрдо верящий своему военачальнику в духе. Это обстоятельство хорошо понимали

первые святые, именно отсюда — тяжкий ежедневный их труд, вериги («Гневу гнетущего мя»), юродство, стояние на камне, бдения. И смерть, наконец, — как последний экзамен, самый жёсткий и бесповоротный. «Без права на передачу».

Тогда становится понятно, почему самоубийство — то есть не сдача экзамена, отказ, бегство с поля боя — не прощается Главкомандующим. Часовой, покинувший пост, потому что было холодно или дождливо, нестерпимо морозно или страшно от приближения врага, — такой солдат не годен и на следующую ступень. Ступень, следующую для жизни души, может перешагнуть лишь мужественный. А эта жизнь по ту сторону, несомненно, есть, и несомненно, что бытие здесь — лишь подготовка в мир иной. Все рассуждения о том, что «мир абсурден» и ему нет до нас никакого дела, как ветру до цветочной пыльцы, — наивность. А значит, настоящая борьба — не здесь, а именно там. Именно там бой, а здесь лишь подготовка. И борьба «там» — она много сложнее, чем испытания здесь, раз «туда» отбирают лишь избранных, достойно выдержавших первые трудности здесь. Отсюда и вывод, что духи злобы поднебесные — вовсе не выдумка досужих бездельников.

Не случайно святые в Православии не только выдерживали бои уже в реальном мире, но даже и усложняли его: носили вериги до крови, и пост, и бдение, и постоянная молитва (то есть внимание к голосу Главкомандующего, угадывание его святой воли).

Говоря об «архетипах» наций... «Странность», «непонятность» русского человека для иностранцев — хлебосолье, широта души, искренность и поиски искренности — всё это объясняется просто: русский живёт не этим миром, не только видимым миром живёт. Отсюда и непонятный для них героизм русских в войнах. И это генетически и кровно давно усвоено русскими и свойственно им. Так же, как оптимизм, хитрость, находчивость евреев в торговле, в делах денежных, ростовщических, как тяга к порядку, построению и легендарная храбрость немцев, замешанная на древней тяге к коллективному самоубийству, как некая петушинная спесь, иронизм французов и тому подобное.

И вот, если уж он, русский, срывается в другую сторону — к воровству, к трагам, — тут тоже нет никакого удержу. Нет меры ни в чём. Потому что для него глубинно нет идеи самосохранения, им не ценится бытие этого мира, потому что он предполагает (и не без основания), что здесь это бытие его души не окончится, не погаснет. Ни один представитель никакого другого народа не кутит так безрассудно, часто — необъяснимо пышно и даже глупо, не «пыжит» так, как русский. Тут уж и цыгане, и «режь последний огурец», и много-много ещё чего. И эту оторванность, внушаемость

русского хорошо понимают западные (с особенно поломанными генетическими кодами) народы, вернее, их предводители. Оттого и яростное навязывание нам, внедрение «бородатых Кончит», и «свобода» ЛГБТ-сообществ, и пляски юных «пчёлочек» на европейский манер, истоки которых в американских публичных домах...

Насажение страсти к имуществу, к деньгам, к потреблению, к индивидуализму (в пику соборности) обрело невиданные масштабы. Всё, что разобщает, индивидуализирует, ослабляет Россию, всё, что тащит в иную сторону от соборности, сплочения и взаимной признания, прививают правдами и неправдами. Уничтожение крестьянства, войны и революции, внедрение доллара в Россию — всё это несказанно ослабило страну. Принуждённая страсть к доллару девальвировала победу СССР во Второй мировой, сегодня долларовое пространство сжирает и Россию, и русский характер, «глобализует» их...

В метро, в вагоне подземной электрички, — девушка лет двадцати — двадцати двух. Сидит она, стиснутая со всех сторон, прижавшись к не старому ещё, живому и бодрому своему соседу. Она прильнула к нему справа и так обхватила его правую руку, обвила её, как обвила бы лиана дерево. Так забирает она всю руку его себе, обвив своими руками, как можно было бы прильнуть только к очень любимому человеку, на которого надеешься беспредельно, в котором уверен. Так кто же он? Отец? Муж?

Мы в детстве, мальчишками, так обхватывали гладкие белоснежные и белящиеся как известью стволы берёз, когда влезали на них. Что-то её ждёт, эту девушку?... Что ждёт этого её отца? Мы, мальчишки, так были уверены в том, что жизнь — бесконечно ценный дар. Мы были счастливы полагаться в этом уповании своём даже и на деревья...

Вот встали и вышли они, эти двое, на станции «Курская», а я долго ещё помнил их взаимное друг к другу тепло, нежность, доверие и преданность, такую очевидную для меня, пожившего и редко встречающего теперь нечто подобное.

...С какой яростью, живостью и с каким отвращением Иван Алексеевич Бунин писал книги о революционной и послереволюционной России, книги, по беспощадному исповедальному тону, пронзительности и остроте равные которым едва ли можно отыскать. И по язвительной наблюдательности ничего похожего не знаю. Его повесть «Деревня» — и та меркнет в сравнении с дневниками.

Вот слова, названия по отношению к ставшей социалистической России: «Под серпом и молотом», «Окаянные дни»... Это шедевры, образчики великой и праведной ненависти (если только

можно назвать шедеврами яростные заметки от весьма наблюдательного и памятливого писателя, с отлично «набитой» рукой, с точным и органическим чувством слова). Но вот что приходит на память: отчего же родного брата и своего учителя Юлия с проклятиями И. А. Бунин не упрекает нигде? Он любил и уважал его безмерно. Безмерно переживал его безвременную кончину... А ведь именно Юлий, этот не последний в своём значении «чернопеределец», народник и революционер, арестовывался не раз и даже ссылался.

Между ссылками учил Бунина французскому, учил журналистике. Сам был отменным журналистом. Разрабатывал и печатал программу революционных действий на будущее под вымышленным псевдонимом Алексеев. Был допрошен дознавателями и арестовывался, отбывал три года в Озерках. Основатель журнала «Среда», он печатал и работы Ленина, Плеханова. Уж коли быть объективным, то начинать бы И. А. если не с себя, то со своей родни. Когда узнаёшь это, по-другому видишь попытки советской власти «уплотнить» И. А. Бунина, обыски его матрасами, бесцеремонные вторжения, которые так ранили писателя, вывели его из себя, мучили нестерпимой обидой и бессильной яростью до «трясущихся рук» и перебоев в сердце. Как огненно он записывал ощущения, обиду и ярость свои, «бьющееся сердце» своё, унижение до обидных слёз.

А вот запись его в 1918-м году: «Андрей (слуга Юлия) всё больше шалает, даже страшно. Служит чуть ли не 20 лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен и мил. Теперь точно с ума спятил. Служит ещё аккуратно, но, видимо, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговора с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчания, несёт какую-то загадочную чепуху. У него (слуги. — В. К.) вдруг запрыгали руки: „Да, да, летит (Россия в тартарары). А кто виноват? Буржуазия! И увидите, увидите, как её будут резать, увидите и вспомните тогда вашего генерала Алексеева». Как точен слуга, поразительно. И даже фамилия генерала и псевдоним Юлия-революционера вдруг совпали. Но вот диво дивное: Бунин И. А., повторяю, вовсе не винит ни родного брата, ни его друзей, ни отца своего... А ведь именно они, дворяне, так заморочили головы себе, и своим слугам, и самим себе — от безделья что ли, от своей спеси? И уж точно — именно от беспечности, от «большого ума». От сочувствия той народной массе, которая впоследствии разнесёт, разорвёт свою же страну вдребезги.

Не дворяне ли испортили жизнь и себе, и России? И не однажды. Этот героизм и самоотверженность героическая очаровали даже Толстого. Вспомним, с каким рвением Л. Н. Толстой взялся за роман о декабристах. Трех из декабристов он

отыскал и лично расспрашивал. И, изучив многое, вдруг проникся таким отвращением к событиям на Сенатской площади и их предыстории, что роман его о декабристах перерос в «Войну и мир», и мысль ушла совсем в иное русло. Страдавшие родственники И. Бунина, изучи они предмет и предысторию, тоже, пожалуй, разочаровались бы. Ведь князья ходили с красными бантами в петлице, а Синод поддержал февраль... Вот и Бунин — кажется, как ему не сочувствовать? Но кто, как не сами дворяне, растревожил «Михрютку», зарядил злобой и завистью? Кто, как не они сами, воспел «Двенадцать»?

А вот за год до того запись, в 1917-м году: «Чуть не с детства я был под влиянием Юлия, попал в среду „радикалов“ и чуть не всю жизнь прожил в ужасной предвзятости ко всем классам!» Предвзятость такова, что Бунин всю жизнь гордился своей дворянской кровью, а любимое словцо у него — «барин», «барчук». И вот результат: уже через три года — такие строки в дневнике: «Сон, дикий сон! Давно ли всё это было — сила, богатство, полнота жизни — и всё это было наше, наш дом — Россия!» (1921 год).

А вот каковы были чаяния и заботы купцов и дворян накануне революционных событий? Утого же Бунина читаем в дневнике запись от 1911 года. Обстановка уже предреволюционная. Пять лет назад опубликован рассказ Л. Андреева «Губернатор», три года назад — «Рассказ о семи повешенных», наделавший много шума, одобренный Горьким и многими... А Иван Ильин с его на то время приверженностью к анархизму, его «Бунт Стеньки Разина» — бомба при обыске в 1906 году. А ведь это Иван Ильин, впоследствии шесть раз арестованный и, наконец, высланный из России, оставленный в живых лишь по личному указанию Ленина, в библиотеке которого хранилась его работа (лучшая, на взгляд Ленина, работа о Гегеле). Многие другие — Бердяев, Шестов... И многое с предреволюционным запахом крови, гари печатал уже и сам А. М. Горький. Вот в дневниках Бунина: «Юлий привёз новость — умер ефремовский дурачок Васька. Похороны ему устроили ефремовские купцы великолепные. Всю жизнь над ним потешались, заставляли драть и покатывались со смеху, глядели, как он „стареется“, — похоронили так, что весь город дивился: великолепный гроб, певчие... Тоже „сюжет“».

Да, «сюжет». И впрямь, кто и что видел и как видел — даже чрезвычайно наблюдательный и дальнзоркий Бунин. И всего через пять лет — около восемнадцати миллионов убитых и умерших от голода в Первой мировой и в Гражданской войне. И затем сданная, видимая уже, победа над немцем, проигранная война, которая должна была закончиться в Берлине парадом русских войск,

и уже пошиты были и будёновки с кителями из кожи для этого парада.

И будёновки, и кожанки наденет впоследствии ЧК, и — расстрелы, аресты, и пытки... Даже миллионам, «сочувствующим» революции, и «попутчикам» — смерть. Бунин и попутчиком не был. Вынужден был прятать записки своих дневников за подоконник с уличной стороны, чтобы не нашли при обыске. Впоследствии недалеко от дома, где он жил в Москве, на Поварской, недалеко от последнего его пристанища, откроют Дом литераторов.

«Русский колокол» И. Ильина и «Окаянные дни» зазвучали слишком поздно...

Перечитывал антологию русских поэтов и думал о величии Православия. Все эти поэты, даже позиционирующие себя как атеисты, всё-таки православные по самой внутренней сути своей. Величие их поэзии объясняется одним: это искренний плач об утерянной жизни души с Богом, сожаление об этом. Плач о великой утраченной Любви слышен, даже если и не называется напрямую в их строках. Эта «тоска по Богу» — в подтекстах, и она свойственна только русским национальным поэтам. Именно это ставит нашу поэзию выше очень многих и многого. Эта экзистенция, эта способность русских поэтов к созерцанию так очевидна...

Теперь я многое повидал и думаю, что жизнь любого человека — сама по себе уже подвиг. Доказать это просто. Каждый, если вспомнит самые свои трудные и неуютные в этом мире дни, обратит внимание на то, что теперь, когда прошло некоторое время, те дни вспоминаются гораздо легче, даже и не без удовольствия, не без ностальгии по давней, страшной жизни. И это при том, что сегодня при воспоминании о тех тревожных днях нам всё-таки комфортно. Уже это одно доказывает, что минувшее, ушедшее — всегда лучше настоящего, каким бы оно ни было. И, в свою очередь, подсказывает нам, что жизнь — всегда и любая — есть нелёгкий труд. И труд немалый. Если бы не свойство нашего мозга стирать из памяти страшное, негатив, жить было бы невозможно.

Порою на судьбу нашу выпадают будничные, незаметные, но великие подвиги, о которых так никто никогда и не узнает. По прожитым годам мы смотрим на эти труды наши как бы с берега в бурю на тонущие корабли...

«Настоящее уныло. Что пройдёт, то будет мило», — гениально заметил А. С. Пушкин. То же понимают и напоминают нам о том же и святые Православия. О том, что жизнь — великий труд, знают именно они, и лучше многих из проживших.

Силуан Афонский, когда у него диагностировали рак, пустился в пляс. Старцы благодарили Бога, когда чувствовали отпуст. И это не слабость. Они понимали, что отработали уже свою страду

в этой жизни, что Бог отзывает их из мира заслуженно. Бог призывает — значит, пора и отдохнуть. «Нет, нет, пора костям на место...» — говорила моя бабушка по матери, прожившая длинную жизнь, оставшаяся вдовой в двадцать лет после войны с детьми... «Нет, нет, пора, пора... под тополя».

Но человек, едва ли не каждый, старея, держится, хватается за ветхое своё жилище, за брненное тело своё. Ему, этому человеку, приготовлены уже хоромы светлые на высоте, в Свете, в Покое и в Радости. А он — нет, мёртвой рукой вцепляется держится за то, что есть, за убогое, старое, большое и нищее. «Но крепко вцапались мы в нищую суму...» — писал Есенин, который и в двадцать был уже по-крестьянски умудрён талантом от рождения, как бы впитал опыт поколений крестьян-«христиан».

Нельзя отказываться от жизни в духе. Конечно, вряд ли убедит это рассуждение, но подумать есть над чем...

Язычество Европы — окончательное, полное уже. Возврата нет, точка невозврата пройдена. Шаржи на Христа и на Магомета — легко, и чтобы отстоять это странное право сумасшедших карикатуристов похабными рисунками оскорблять миллиарды людей, за это «право» выходят правители европейских государств и выводят тысячи ошалевших в Париже единомышленников... А и всего-то требуется не задевать того, что свято для других. Зачем? Разве мало тем для шаржей? Какие это странные рельсы «цивилизационной демократии», которую они постоянно экспортируют всем, навязывают, внедряют по всему миру, странам, которые их вовсе не просят об этом экспорте атеистических и релятивистских идей. И вот доэкспортировались уже до того, что и у самих ничего не осталось, никакой демократии в том виде, в котором её понимали бедные древние греки, сочинившие это государственное устройство.

Репортаж по ТВ о покупках в Европе ёлочных игрушек. В Европе, где, празднуя Рождество Христово, никто даже не упоминает уже, что Рождество это именно Христа, спасшего, спасающего мир от тлена и разложения уже при физической жизни. Только один из нескольких продавцов упомянул в Германии об этом, а упомянув, сказал: «Он Воскрес!» — и стремительно, точно скрываясь с места преступления, убежал в свой европейский магазин. Оказалось впоследствии, что это грек-эмигрант, и именно потому он так эрудирован и храбр.

Говорят, что в Америке-де больше верующих: из протестантов, католиков. На Пасху — вечеринка с Бараком Обамой, Анжелиной Джоли, Клинтонами и другими известностями, без упоминания даже словом о Пасхе Христовой, с плясками дикарскими, аттракционами и крутой попойкой.

Америка—это какая-то обнаглевшая вконец железно-громадная деревня, с утвердившейся плебейско-языческой цивилизацией, раненой психикой, истинно «железобетонный Моргород», вечно чем-то обиженная, недовольная деревня, выстроенная ввысь. Целая страна с психологией глубокой провинции. Не оттого ли там вечно доказывают (и себе, и другим) собственное превосходство? И утверждают, как только могут утверждаться вечно неуверенные в себе подростки или стареющие, недалёкие сумасшедшие. Поразительны их вечно улыбающиеся, всем будто бы довольные физиономии и настрои: кому-то неведомому всё время доказывать свою состоятельность, отменную дееспособность и подчёркивать, что всё у них будто бы «о'кей».

Срамные пляски-канкан, всегда оскаленные «приветливо» зубы и пожирание напоказ килограммами и поштучно то червей, то саранчи, то горы бургеров, то огромных тараканов... И всё за доллары, всё за бумажку, на которую, сожрав какую-нибудь тварь, чтобы тебя стошнило, ты приобретёшь ещё один пылесос или ещё одну блузку и всю жизнь потом будешь сотрясаться от брезгливых и унижительных воспоминаний о той холодной и шевелящейся во рту мерзости, которую ты был принуждён жевать под камеры, под хохот и крики. Вспоминать этот несмыаемый позор перед собственной совестью, эту алчность, эту подлейшую дурь свою—всю оставшуюся жизнь!

Что это за «менталитет»? Непонятно. Смотрю на «празднование» их Пасхи—праздника «без названия»—и укрепляюсь в своей уверенности, что эти точно уже не успокоятся, пока не наделают чего-то действительно страшного в окружающем мире. Пришла их пора: в Ливии ли, в Сирии, в Грузии, в Украине—какая разница?—не успокоятся, пока не запнутя о порог до крови... Они, эти янки, так и остались нацией подростков-дикарей, сбежавших от родителей и мстящих им за свою умственную и духовную несостоятельность, неполноценность. Акселераты, умственно незрелые, с огромными горами мышц, с атомной бомбой, семьдесят процентов мировых ресурсов пожирающие для прокачки этих мышц, но не знающие совершенно, что такое совесть и Бог. Даже напротив—регистрирующие и позволяющие сектам сатанистов быть и называться религией наряду с христианством.

Эта никогда не воевавшая на своей территории общность, никогда, по сути, не голодавшая (Великая депрессия не в счёт, она не сравнится с потрясениями и войнами, которые настигали Европу и Россию),—общность авантюристов в пятом колене, сбежавших от суда и войн из Англии, убеждённых глобалистов и узников собственного мнения о своей сверхдержавной акселерации, занятая лишь приобретательством, связанная лишь длинным долларом... Эта общность не может

и никогда не сможет ни воспринять, ни почувствовать Божьего замысла о мире, о каждом из рождённых в этот мир, потому что не ищут они следов и намёков на этот замысел, на промысел, на само бытие Божье. А без таких поисков ничто и сама жизнь человеческая, горсть пепла, не более того.

Стоит только взглянуть на их атаки магазинов в Дни благодарения, когда снижаются цены,—они сметают с витрин всё подешевевшее, бьют, дают друг друга. И здесь—самая суть их бытия, а ведь это—сытое общество с самыми высокими доходами на душу населения!

Нравственные инвалиды от рождения. И что ни скажи об этой стране—будет истинной правдой. Зачем же им и Пасха Христова? Они изгнаны были не только из Рая Богом, но убежали и от традиций, и от обязанностей, от совести. И теперь кичатся своей «самобытностью»—хотя какая самобытность в стране без корней? Большой театр в Москве—ровесник Америке!

Подмосковьем на электричке. Октябрь месяц. Вечереет, и время от времени капли косым пунктиром чертят стекло. Проезжаю посёлок, который отчасти строили итальянцы ещё в восемнадцатом веке. Теперь и не верится, что было когда-то время—и европейцы почитали за честь подзаработать в России. Строителями, губернёрами—и работали (с большой благодарностью!) за рубли.

Еду полями, когда-то заповедными, а теперь сплошь застроенными коттеджами, иные—до того безвкусной планировки, похожие на каменные мешки или камеры-изоляторы.

Мужичок с рюкзаком тяжело вышел на платформу, силясь, вскинул рюкзак на плечи. Дачник. Вскидывая тяжесть, от усилия и старания топнул ногой в резиновом сапоге прямо в луже. Лужа расплескалась, и тут же голуби на платформе вспыхнули белым исподом крыльев, захлопали, поднялись к небу. Три сизаря. Лужа пролилась в ручеёк, подхватила белое голубиное перо, потащила куда-то, как судьба тащит брентную жизнь человеческую...

Мужичок шёл, щурясь, вглядываясь в жёлтые дали осенних берёз, в гущу лимонно-жёлтой и уже начинающей багроветь листвы, в пятнистую заросль осин. Низкие заброшенные дачки под трещавшими кронами и «коронами» разряда в сыром воздухе высоковольтных ЛЭП, заброшенные хибары и сараюшки, если только можно назвать сараюшками навесы из нестроганого горбыля в пять-шесть досок, кое-как отгороженные от бомжей ржавой колючей проволокой и ржавыми же остовами панцирных кроватей и тут же вбитыми брёвнами, досками. Это огородики вдоль железной дороги под ЛЭП. Видно, забраны они самозахватом, чтобы хоть как-то прокормиться простому люду,—под посадку картошки. Работы

в подмосковных городах нет никакой. Утренние электрички—битком в Москву. Там местный русский люд соперничает в наёмной дешёвизне рабочих рук с приезжими из дальних краёв вахтовиками. Контролёров-ревизоров—по десять человек на вагон электрички. А где на всё про всё денег взять? А пенсионерам? Пенсии едва ли хватит самому прокормиться. Вот и самозахваты под огороды. Смешные, с горькими слезами от взгляда на эти огородики-имения, впечатления и думы.

И тут—тронула электричка, и навес над платформой вдруг распахнулся, открылся виширь, в самую даль и в небо: не дом, а усадьба новоиспечённого дворянчика-олигарха. Дворец с башней рыцарских времён, с лифтом, бассейном, мансардой (теперь это модно называть «пентхаусом») — в четыре этажа. С гаражами, со скатами под землю, с фонарями в виде круглых шаров в одном метре от земли — по европейской моде. А по периметру дома-дворца какие-то голые гипсовые Дианы с кувшинами на плечах у фонтанчика, а за ними следом — ещё дачка. И ещё — какого-то пресыщенного, вероятно, проворовавшегося человечка, — с натянутым на заборе объявлением: «Продаётся».

Так и живём: и за Сирию имеем право вступить против американской военщины, и «результаты приватизации пересматривать не будем». Что же ждёт нас, страну, где всё на виду, но ни честь, ни право не действуют?

И не бояться они, эти новоявленные «дворянчики», ничего. А между тем ровно сто лет тому назад изголодавшийся люд взялся за вилы. Сто лет тому, как Россия покатила под откос из-за безмерной пропасти между богатыми «барчуками», гнавшими по Москве в «Яр», и голодными, замерзающими семьями рабочего люда. Сто лет прошло. Ничему не учит история, и вот опять бездна между «классами». Камеры видеозаписей, звонки с предварительным оповещением хозяйчиков, лампы на светодиодах, чтобы разом вспыхивали. Нет, брат, всё это не поможет тебе, не поможет и охрана в пятнистой форме на кпп, если голодный люд заскучает по твоим погребам и твоему сверхдоплаткам. Кто не желает делиться малым, тот теряет всё...

Так что же они, или так глупы навеки, или напротив, умны? А может быть, близоруки? Или мудры, но как-то не по-русски? Я вышел вслед за мужичком на платформу, а вокруг этих «дворцов» — ни-ще-та-а! Голимая, крошечная. А ведь это не какая-то сибирская глушь, не пермские пустынные просторы, это почти что Москва!

Мужичок скинул рюкзак, долго стоял, прищурившись, на платформе, глядя из-под руки вдаль. Потом загнул голенища сапог и полез в болотину. Выломал там себе батог на дорожку и вдруг крикнул мне, оглянувшись, крикнул властно, как пристало бы и самому Пугачёву (что меня удивило, крикнул незнакомому как родному):

—...Эй, милый, пособи-ка с рюкзачком, кажись, ляжка оторвалась!

И мы, закинув рюкзаки повыше, потопали мимо забора-дворца-фазенды какого-то «нового» русского, каждый по своим делам...

По дороге, словно себе самому, но так, чтобы я слышал, он говорит:

— А я не завидую им. Пятиметровые заборы, боязнь за жизнь... Скучно, страшно...

И, ещё немного пройдя, то ли этим дворцам, то ли самому себе:

— Так, господи, знать, поживём ещё? А? Поживём-ом!..

И столько силы, плотоядной какой-то злобы было в этих словах, сказанных врасяг: «По-живём-ом!» — не зависти, а именно злобы, что я невольно подумал: «Да уж не Пугачёв ли и впрямь это, не Степан ли Разин или сам Болотников воплотился?» Коллективное бессознательное страшно оживает на полях моей страны. Слышат ли хруст орясины, в болоте выламываемой, во дворцах, на Манежной? Ох, вряд ли...

Необычное, неординарное влияние творчества, творческого процесса — на людей, обладающих настоящим даром, людей, носящих в себе искру Божью. Она или сжигает (эта искра Божья), изнашивает и нередко калечит, убивает человека (Ван Гог, Моцарт...), или, напротив, способствует долголетию, придаёт смысл, стать и даже вкус бытию творческого человека (тоже, конечно, не без срывов и терзаний), охраняет и поддерживает существование творца и художника в этом бренном мире (Толстой, Леонардо да Винчи, Тициан...).

Все люди, каждый из нас, приходят на эту землю, чтобы решить свои задачи. Найти свои ответы через боль и скорбь, холод и отчаяние. Но ответ на решённые задачи должен совпасть с ответами Божьими. А чтобы сошлось с ответом Божьим, указанным в конце задачника, необходимо задачник дорешать до конца, от корки до корки. У кого-то нет ума, у кого-то — воли, у кого-то — и того, и другого. Третий не даёт труда себе даже и задуматься. А между тем многие, даже и до глубокой старости в полном умственном здравии дожившие, не только не в состоянии успешно решать свои задачи, но даже и просто не в состоянии понять сам смысл того или иного вопроса. «Что требуется отыскать?» (Не говорю уже, что принять за неизвестное и обозначить: «икс, игрек, зет».) Но как же это странно! Не может же у жизни, этого строгого и большого явления, не может же быть таким низким КПД по осуществлению Божьего замысла о человеке.

И вот ноябрь. И листья, и яблоки в саду под окнами опали. Деревья голые, сиротски продуты и костяно, мёртво качаются под ветром. Но наверху

болтается одно яблоко, штрифель. Как же и почему же лишь оно одно и не упало? Непонятно.

Птицы, подлетая, проклевали это яблоко насквозь. Но оно не падает. Болтается от ветра, как теннисный мячик, скачет, как привязанное, но не падает... Какова его задача? Кормить ли собою, телом своим птиц? Или это дело случая: дожить, довисеть до невероятных заморозков? Или не зависит ни от чего? Или это яблоко — оно этакий «Прометей» растительного мира, бунтарь, саможертвенность которого очевидна? И уж тем более вопросы: так счастье ли вот этакое долгожительствование, когда клюют и используют многочисленные замёрзшие птицы ли, дети ли, внуки, правнуки — благо ли? Решение ли это итоговой Божьей задачи, даже и практический экзамен? Не яблоком ли, таким же проеденным, доживали и философы многие, и ослепший А. Ф. Лосев, и В. Шаламов, и Д. Лихачёв? А во многих семьях старики? Но это примеры и приметы всем нам: «Держаться за ветвь жизни до последнего», — по непостижимой для нас воле самого Создателя.

Какое несчастье для человека его душа! Эта субстанция — удивительнейшая сущность, «сколок» Бога, божественного зеркала, вживлённый в плоть живого. Но вживлён этот «сколок» необработанным осколком. Колючим. Стеклянным. Острым. Не дающим покоя. Постоянно напоминающим о себе острой болью, присутствием совести, неудобствами размышлений. Сравнениями. Рефлексией.

Невероятное смешение человека и животного. Этот кентавр, постоянно мучимый сомнениями и поисками высшего порядка и — самими низкими плотскими желаниями. Какие сомнения по поводу Любви Божественной в этой боли от осколка и смешения сущностей посещают людей! Какие страсти терзают их по системе координат «свой-чужой» и по их «животной» сущности... Есть у Шопенгауэра метафора о человеческой воле — в виде терзающего самого себя великана, наносящего самому себе увечья. Я бы добавил, что он, этот великан (и даже именно кентавр!), терзает себя, пытаясь вырезать и вырвать этот драгоценный, острый и болящий осколок из своей плоти.

Ребёнок трёх лет, девочка, внучка. Прибежала ко мне, просит развернуть карамельку. Дала и ждёт. Я разворачиваю эту карамельку, освобождаю от слипшейся бумаги и вижу столько счастья от ожидания гостинца, что мне вдруг становится чрезвычайно, почти до боли, жаль её! И сердце моё вдруг так разогревается, таким сочувствием к ней, к её простоте и безобидной радости от сущего пустяка, от конфетки. Я осознаю вдруг, какая дорога «из жёлтого кирпича», дорога, длиною в жизнь, ждёт её, сколько всего и всякого ей суждено пройти, что становится так мучительно-нестерпимо...

Я нахожу ещё конфетку и угощаю её ещё раз. И вновь столько счастья и столько невыразимой радости! Как же мало, ничтожно мало надо для счастья вот этим маленьким, безобидным и трогательно-наивным людям — детям! Конечно, и огорчить их может тоже любой пустяк, и огорчить невероятно глубоко...

А ведь и я (теперь в это даже и не верится, так это было давно!) был таким же простым и наивным. Что и куда делось?..

Послушайте, я точно знаю, что все мы и каждый из нас вот так же просили у Бога благословения родиться на этой земле, как она, эта девочка, ждёт от меня конфетку. И мало того, мы ждали от Него этого подарка — прийти в эту жизнь — точно так же, как моя милая и маленькая Соня ждёт конфетку из моих рук... И мы Ему разве не казались наивными до слёз, до трогательного жаления нас? И не от этого ли «воспоминания» души так защемило моё бедное сердце много пожившего уже человека?

Фрески

Пример отношения к своим людям «власти на местах». С криминальным душком торговля на Черкизовском рынке в Москве закрыта. Сотням людей, в основном — китайцам, из тех, что торговали без виз, без разрешений на работу и медконтракт, — предложено убыть на родину. Товар, контрабандный и опасный для здоровья, арестован. И вот тотчас же выезжает китайский посол вести переговоры на самом высоком уровне — с президентом России. Как это показательно в сравнении с трагедией пропавшего сухогруза «Арктик-си» с пятнадцатью российскими моряками на борту, который два месяца числился бесследно пропавшим вместе с моряками и при этом никому не был интересен, пока не забили тревогу близкие и родные пропавших без вести... эти семьи русских моряков. Результаты несопоставимы. И какое различное внимание к «своим» с той и с другой стороны.

Следом за тем — трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС, пятьдесят восемь погибших. Тот же результат. Да что там — чернобыльцам, единицам из тех, которым удалось выжить, едва удалось уцелеть, защищая своими жизнями Союз, отказали в доплатах. И примеров по России — не счесть. «Кто же там, вверху, над нами всеми? Неужели манекены, неужели бездушные камни? Кто они?» — спрашивает меня отец, бывший моряк. Почему-то спрашивает именно меня.

Как это непонятно, страшно: бесконечна жизнь души человеческой!.. Это ощущение жизни души, тишей, сокровенной, таинственно и тонко передаёт икона «Троица» Андрея Рублёва. Она погружает душу верующего с первого же углублённого взгляда на икону — в такую тишину и покой, в такую любовь и гармонию, что забываешь о течении

времени... Взгляд на неё подобен воспоминанию души о первом причастии. Не случайно именно эта икона так широко живёт в православии, в храмах (да и не только в православных, а и в католических)... Казалось бы, противоречиво, странно, необоснованно. Но и здесь сбываются слова Тертуллиана, что душа человеческая по природе своей — христианка. Значит, и католик не может не чувствовать «своё поле» (пусть и отдалённо). Подлинная жизнь духа — именно тишина. В храмах, особенно после литургии, когда так тихо и догорают свечи, необыкновенно остро чувствуешь: тут Бог. И уже не пугает бесконечность этой тишины.

На цветной лужайке так внезапно, при травме и боли, в несчастье, вдруг открылось в одно мгновение: «Так вот он каков, этот цветной радостный мир!» — вдруг осенило ужасом, повеяло таким ледяным холодом, — да так и запомнился навсегда этот миг и это чувство: «Вот он каков, этот мир, он чёрно-белый!» И это чувство так неожиданно и трагично ударило, подобно тому удару, как редко и страшно, в трагические минуты ранений, когда ты уже вне тела, в одно мгновение, в один миг, — и ты уже не тот, что был прежде. Нечто подобное бывает и при внезапном очень сильном впечатлении — испуге, страхе, страсти: душа как бы отлетает на миг, покидает брэнное тело...

Душа не чувствует прочность жилища в теле, легко и скоро может оставить его... Каждый знает это, испытывал не единожды. Впервые я испытал это чувство, нечто подобное ему, в детстве, лет в семь-восемь, прыгнув с огромной высоты в песок глубокой траншеи. Я хотел оказаться героем перед девочками. Но когда прыгнул, уже на лету так испугался глубины траншеи и высоты и долготы полёта, что обмер и как бы увидел себя со стороны. Впоследствии я не раз вспоминал это, когда случалось нечто подобное. «Ушла душа в пятки», — говорит пословица. На деле же и того круче: даже и в пятках не остаётся души. Это иная, не телесная субстанция, и её невозможно погубить механической элементарной болью, ужасом, срывать смертью, она, душа, уходит из брэнного тела, как вода сквозь пальцы...

...И тогда жизнь человеческая тотчас обретает совсем иной, не элементарный оттенок. И ужасается, обрадованная обетованным бессмертием. «Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца брэнного таит неизъяснимы наслажденья...» — поэт, не единожды стоявший под дулом мощного «дуэльного» пистолета, пробивающего навывлет грудь дуэлянтов, только он мог так точно и верно сказать.

Это было в Ташкенте, в гостинице «Дустлик», что означает в переводе с узбекского «Дружба». В те советские ещё времена — год восемьдесят шестой — восемьдесят седьмой — я брал номер и вдруг узнал

в лица циркачей вчерашнего представления. Они были невысоки ростом, смугло загорелы. Это была влюблённая пара, ошибки быть не могло: именно на их представлении был я вчера. Я сидел в партере. Невозможно было представить того, что вытворяли они, эти воздушные акробаты, в воздухе. Это был риск. Полёт. И всё без страховки. И вот теперь я встретил и узнал их тотчас в холле гостиницы. Взять номер в этой гостинице было непросто, и не только потому, что она считалась центральной и благоустроенной, но и потому, что она помещалась в ста метрах от центрального «Алайского» рынка, торгаши оккупировали каждый номер, каждый метр. И вот по этажам этой и без того не простой гостиницы ходила эта влюблённая пара, выбирая себе вид из окна и кровать в номере «с видом». Они заглядывали едва ли не во всякий номер каждого этажа. Искали. Иногда смеялись, шутили, подтрунивали над чем-то — не то над порядком, не то над уборкой, обстановкой убогой, а больше — над кроватями в номерах. Ожидая своего поселения, я вынужден был сопровождать их и администратора. «Они, вероятно, съехали недавно, но забыли что-то, вернулись и теперь ищут», — думал я с раздражением. И только исподволь понял, что это просто — влюблённая пара и что они так придирчиво выбирают антураж для своего пребывания, для любви.

Ни один номер решительно не годился: то кровать сломана или хромая, то вид угрюм, на какую-нибудь лагманную с разрешённым потреблением спиртного и на широкую автостраду. Им не важен был стол, они могли есть с ножа, без всяких сервизов, а вот кровать — это да! Они отыскивали её, как отыскивает голодный кусок мяса.

Лишь потом, много лет спустя, я понял, что жили они одним днём, мгновением до своего трагического выступления и любви под небом, под этим вечным небом. И каждая минута могла замереть внезапно, трагически. Они выбрали самый дорогой номер: за стеной администрации, вечно в прохладной тени, на втором этаже, над беседкой с повивкой плюща и дикого винограда. Всякий раз, когда они заходили в номер, они точно прощались друг с другом: глазами, руками, губами. И никогда, быть может, я и сам не ощущал так остро на их примере непоправимую экзистенцию этого мира. Они были красивы, ловки, удачливы, знамениты: афиши с самыми невероятными трюками пестрели на фасадах и заборах Ташкента... Где они, что с ними?..

И вот теперь, вспоминая временами эту пару, я думаю невольно: «А что такое и сама жизнь, как не затажной прыжок из-под купола?» Думаю ещё, что они верно жили, так и надо. Это и есть — счастье.

Бродя по Берлину среди сияющих и благополучных «хаусов» и скучая по родине, я вдруг вспомнил

неизвестно откуда пришедшую поговорку: «Любит нищий своё хламовище».

А и в самом деле, чего не хватает? Сыт, обуодет. Прохожу по вымытому с шампунем асфальту. Аккуратность и чистота повсюду такие, что любая из стран позавидует. А какие музеи! Порой целое здание строится под одну-единственную картину какого-нибудь модерниста. А театры! Зоосад «Цоо»! Скульптурные группы-памятники, университеты, каштаты. И всё-то в высшей мере отменно, а вот что-то вечно растревожено сердце русской тоской. Тоской по родине. Занает сердце, ищет, о чём позаботиться, о ком,—не о ком, и ничто не мило. Или это только у нас так, у русских? Русская черта? Ну, приедет канадец в Америку—тоскует он по Канаде, «ностальгирует»? Или китаец? Да или нет? Ведь нет. Он отстраивает там, в Америке, целые кварталы-стрит, китаец. Быстро продвигает «продукт» и продвигается сам. Оттого и по численности там, в бескорневой Америке, русских—меньше всего, на жизненном пространстве, на всех этих «выселках лазоревого мира космополитов», перекачи-поле...

И вот, бредя через Александер-плац, стал я вспоминать русские поговорки, в которых упоминается вот об этом остром чувстве тоски по родине. Те поговорки, которые помню. И удивился, сколько их вдруг пришло на память: «Мила та сторона (родина), где пупок резан», «О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет», «На чужой стороншке рад своей воронущке», «Свой дым глаз не ест», «Чужбина против шерсти гладит», «Сторона не дальняя, а печальная», «Русский—ни снегом, ни калачом не шутит»... А напротив: «Дальше солнца не угонят, носом в землю не воткнут», «Где спать лёг, там и родина». Противоположных мало. «И как неубедительно, впрочем,—думалось мне тогда, изнывающему по России уже с полгода,—как если бы заранее Бог определил грешному пределы мои. И определил их в бедной, горькой России—а я вот вдруг взял и умыкнул в чистую и сытенную Германию... Глупое бегство...»

Пословицы «за Россию» казались мне выстраданными и прямо-таки обо мне. И ещё думалось: «И как ясно то, что русская земля и впрямь под покровом Богородицы,—если меня так тянет туда, в эту голодную, нищую (был девяносто второй год), преданную, кровью праведников и святых залитую страну».

Тянуло не случайно. Тянуло, словно в храм Божий. А и впрямь вся Русь стоит на живом антиминсе. И я заметил в Неметчине: эмиграцию легко переносили только те из нас, которые лишены были какой-то тайны. Тайны познания Мира Божьего, поиска его. И заметил я ещё: не было в них, в этих эмигрантах «двадцать третьей волны», какого-то органа от природы, органа явного и определённого, сущего и насущного для меня—как,

скажем, глаза, уши. Но внутри они обычно были проще и грубее, эти эмигранты, и устраивали жизнь поспешно, и устремлены были на идею «фикшн»... (Бокал немецкого пива восхищал их, как яркое солнце поутру.)

...«На чужой стороншке рад своей воронущке»,—как это, пожалуй, непонятно им, даже смешно, скажи я этак вслух. Они рады были собирать огрызки, брошенные западными «звёздами», рады были сотворить из этих огрызков свой уголок фаворитов вроде угла «фредди-меркьюри», «элвиса» или «чиконе»... нечто наподобие ленинского уголка в немецкой первоклассной гостинице. (Так табуированные голые задницы, крашенные губы, похожие на... или, вернее, непохожие ни на что, привлекают этих малых «избранных» заграницей...)

...Я вспомнил сегодня в рязанской деревне эти раскрашенные физиономии русских эмигрантов, с цветными пегушинными гребнями, выражение их глаз, поведение, и понял, что было в этой моей тоске в девяносто втором что-то определённо похожее и на покаяние, и на исповедь одновременно. Нет, я не смог бы уехать совсем, как нельзя заставить причастника, честно подготовившегося, припавшего с благоговением к чаше-потиру,—нельзя заставить не принять причастие...

И вот я—я сам причастник бедной, осквернённой бесчинными бесами святой моей родины... Родины, по которой прошли, перешагивая и наступая на трупы расстрелянных, или—немцы, японцы, китайцы и латышские стрелки. И хасидские комиссары. Но другой Родины не будет у нас, кроме той, по которой топчутся сегодня их потомки, сжёгшие свои партбилеты прилюдно, куражась и фотографируясь, и тем обманувшие опять и эту землю, и народ её, эту землю, устланную мощами праведников.

Как странно: как легко, один за другим, уходят люди, те, которых хорошо знал. Скольких уже нет, они ушли в мир иной, драгоценные люди. И с каждым из них уходит как бы частица моего собственного существа. Они словно уносят по частице меня самого. И сколько теперь осталось меня самого в этом мире? А сколько было связано с каждым из них, из ушедших... Вот недавно ушёл Николай. Помню, как однажды в августе, ночью лунной, бабушка послала нас с Николаем, моим одноклассником, набрать «медовок»—яблок для компота, дала два пустых ведра. Помню, как бросали мы их, каждое яблоко отыскивая ощупью, под луной, метко—бросали в гремящее ведро. Яблоки были так зрелы, что если смотреть сквозь некоторые на луну—семечки видны. Эти опадыши, налитые жёлтой спелостью—в мёд цветом, светились в траве как восковые, словно сами по себе фосфоресцировали изнутри. Проходя мимо бани через овраг с полными ведрами, увидели мы топящуюся баню и ярко в полной тьме светящаяся,

небольшое, с ладонь, окошко. Прильнули. Там мылись, ополаскиваясь из тазов, наши сверстницы—Люда и Варя (обеих уж нет на этом свете). А тогда (нам было лет по двенадцать)—Боже мой, как затрепетало сердце от тайного созерцания их наивной наготы, их девичьих щёлочек, едва тронутых пушком, с красными отблесками тел в свете и полутьме керосиновой лампы под пузырьём... Их целомудренные, едва наметившиеся груди трепетали.

...А вкус тех собранных яблок был так неестественно сочен и сладок—так и растекался по губам и подбородку; сводило скулы от кислой сладости. Хотелось откусывать и откусывать. Прямо с семечками, с сердцевинкой. Мы откусывали от яблок и посматривали в баньку. Так и запомнило сердце: чёрный овраг с запахом топящейся летом печи, ведра яблок, девчонки, так и не увидевшие нас, страшные чёрные дубы под огромной, чёрной, бездонной пропастью неба—и великой восхитительной, сплошь в белых пятнах, луной.

...И всё никак не хочет примириться сердце с тем, что жизнь так безжалостна, а смерть для каждого—неизбежность... И всё чувствует сердце, что всё не так мимолётно... Всё не так просто... И не для ямы земляной всё пережито... И сколько радостных встреч впереди.

— Знаешь, что такое свобода и демократия? Это когда скупили или закрыли завод, послали тебя в... или на... А ты можешь идти куда хочешь.

— Да, но что при всём при этом кушать?

— А кушать просишь—опять на цепь, в ошейник... Милости просим...

Удивительное «качество» человека: с возрастом, как и с большим несчастьем,—хочется одиночества. Хочется быть одному. С возрастом—всё больше. К морю. В горы или в лес к костру. И чтоб никого—ни единой души. И когда это возможно, достижимо—обозреваешь горизонты духа. Сверху видишь бытие, слышишь самые «мысли» волн... Или созерцание собственной души под треск в костре белых поленьев, снедаемых пламенем. В свете костра, раздвигающем темень и—тленье леса, и чувствуешь себя уже не так безродно, и безотрадно, и непоправимо несчастным.

Сам Бог настраивает человека на один-единственный тон—одиночества: каждый из нас с возрастом всё более сужает и сужает круг общений, в который всё чаще добавляются невзгоды и испытания... И в конце—каждый остаётся один, идёт по своей лыжне, сходит по своему склону. Очень остро чувствовали это святые схимники. Исихасты. Они не протестовали и не упирались, а шли навстречу великой и неисчерпаемой Воле. А чтобы не так было больно отрываться от этого

мира, отрываться уже насовсем, Бог старит нас, отнимает понемногу страсти и желания.

Так стоял и думал я, один над набережной над океаном в городе Владивостоке... Я спустился к воде, к волнам и окунул руку. Мокрая твёрдая галька обозначила грань океана: всё, дальше России нет.

Корабль-ресторан едва двигался под высоким, в полкилометра, отрогом побережья. В светлых столпах света над океаном, параллельно лежащих друг возле друга—корабль шёл с музыкой, в великом хаосе белых и жёлтых огней и колючих мачт,—точно вот-вот отвалил он от берега. Куда, зачем он идёт?... И подумалось: «А за тем же, за чем, в сущности, и я здесь: укрыться от ненастья и одиночества. Только, быть может, иным способом. Он вывозит людей, принуждённо веселящихся,—„вывозит“ их от самих себя. Они спасаются вряд ли более оригинальным: способом, принуждённым весельем... С рестораном, выпивкой, плясками и криком». Скоро я вновь остался наедине с тишиной. Под звёздами и над океаном.

Эти тёмные, страшные мартовские рассветы над Москвой. Что-то в них необычайное, роковое, чужое и страшное, в этих рассветах, когда темно и глубоко синее небо там, вверху, вплоть до самого Престола, а здесь—мельтешат, шныряют огнями машины в утреннем городе,—и всё кажется милостыней—и связи судеб, и людские отношения. Всё милость Божья. И если смотреть на мир, не забывая об этом, то всё—радость, всё становится мило—и любая мысль, и взгляд. Предлоги и предметики,—не по пустякам, а значительны, да и сам мир уже не кажется ни случайным, ни обманным. Нужно только помнить, помнить себя и назначение своё.

В небе—всё ещё неумолимо темно. И вот всё синее, и как-то совсем уже неуютно: жижее, строже и алей, светает... Смотришь вверх, в эту вечную стужу, в эту недостижимую высь,—и замерзает душа. Кажется, будто бы вот-вот, в это уже мгновенье, случится что-то трагическое, непоправимое. Наверное, именно про такие мгновения сказал Иисус ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк. 10:18). Есть в этом, в словах Его,—какая-то неотразимая правда, правда сверхвидения, видения духов, живущих вокруг нас, не видимых нам, нашим плотским очам, а лишь святым.

Но даже и такое грозное присутствие великой тайны, и «молнией спадшего»,—не страшит, когда вспоминаешь о вечной жизни души.

Март. Вторая неделя Великого поста.

Выставка картин, галерея известных старых западных голландских художников в Севастополе, в белом музее над морем. Очень старая живопись—

и вот удивительно и ясно, как заметно это: каждый персонаж обособлен. Не индивидуален, а именно— обособлен. У младенцев— лица взрослых, лица не детей, а мужиков. И от этого все, включая детей,— кажутся одиноки, как звезда среди звёзд. Странно и как-то мистически, на перспективу написаны эти картины. Тяжёлые своей тяжёлой позолотой рамки— они уже и трескаются. Трещинами, паутиной трещин покрыт и толстый масляный, грубый, словно мясной слой, грунт под ним.

Такова же, верно, плотная участь и душ человеческих после этого земного существования. Сеть трещин за паутиной порчи и подлинных лица действительного, а не телесного и изменённого, и оттого— как бы «зашоренного» бытия. А подлинного, иного— в духе— не видно, но и не миновать никому. Лишь «там», вне этой выставки этих картин,— свет и радость подлинной действительности. Непреходящей. Море и солнце. Ветер и простор...

Мёртвая телесность искусства, «искуса». Как это очевидно...

Откуда эта мода в прошлом на дебелих младенцев? Микеланджело писал уже не само дебелое тело, но— страсти. Во многом и многих. Быть может, художникам хотелось видеть, воплотить в тело детство, живущую и жаждущую плоть. Картины о сытости, которой не было в то время среди простолюдинов, сытости, о которой мечталось. Найти её, эту радость «сытого чрева», хотя бы— вот, в картине. Тоже своего рода— модерн.

Глядя на эти их картины фламандцев и весь антураж, кажется, что это одно: художники и в зрелости своей были вечно голодны... Если не в пище, то в неутолимых страстях. Или— это намёк не на дебелого младенца, а на страстную и сытую глину Божью?... Глину, из которой все мы сотворены в день шестой. И какая тоска за этой дебелистью, сытостью, какая острая тоска по чему-то высшему, горнему, по той доброте, что ли, любви человеческой и сочувствию. Которого так не хватает— и не хватило, надо полагать, и раньше, в средние века. Не хватает «материала» любви на всех, но рано или поздно эта нехватка открывается.

Нет материала подлинного, не мясного, духовного. Ходить по залам и удивляешься: как были плотные люди, таковы они и остались. И останутся ещё надолго. Едва ли не каждый— до смерти. И как подлинное открытие был для меня вход в православный храм, Покровский собор, здесь же, на Большой Морской, в храм, что напротив музея. Весь из белого инкерманского камня...

И какое величие бесстрастной русской иконы в полутьме!

Богато одетая, в перстнях поверх перчаток, с охранником в провожатых,— мещанка, верно, недавно

вскочившая верхом на золотого тельца, ходила по залу-экспозиции, увешанному картинами, делая вид, что рассматривает, а на деле— подкрадываясь незаметно— давила привспухший паркет и слушала, как он скрипит. Прислушиваясь, она исподволь разглядывала своё отражение в стёклах картин чёрного фона; считала тайно года жизни художников, применяя их к своей молодости, эффектности.

Я наблюдал за ней, изучал её (охранник показался мне неинтересен). Потом сиделка-смотритель заснула под её мерный шаг на скрипучем паркете— а больше никого и не было. И я подумал: а ведь это тоже— отношение, философия жизни по отношению к бытию, такое поведение... И очень большое число, девять десятых живущих на этом свете,— не живут вовсе, а просто скрипят паркетом и рассматривают себя в стёклах витрин— пусть и в стёклах-зеркала великих художников, но себя, свои отражения... А ещё они ходят на кухню и в клозет и ждут ночных ласк, скандалов и страстных соитий. Или она кого-то ждала, а этот «кто-то» не пришёл? И тут уже трагедия по-мопассановски безнадёжная.

И холодная постель с холодным смертельно одиночеством... Повисшим дымком тонких дорогих сигарет и— равнодушными или настороженными расспросами мужа, которому, в сущности, нет до неё никакого дела.

Там же, в музее, в Севастополе на Большой Морской. Посетители:

— Хороший сервизик?

— Да. Приличный, приличный. В нашу бы гостиную...

— В особнячок?

Вышел на улицу, на избитое многими тысячами ног крыльцо музея, с таким чувством, будто вырвался из склепа. Мой грех: не могу заставить себя беззаветно любить людей. Почти бегом вниз, к морю. Вздохнул морем, забродившей уже осенней листвой, листьям парка, и, размышляя, поразился: как жалки потуги, труды самоотвержения одних людей для других— труды преподнести этот мир Божий в искусстве, музыке, литературе, себя, своё творчество. Отчего же, почему этот бесценный дар меньшинства большинству остаётся не оценённым, не принятым, даже и попросту не понятным, наконец? Ответ: «хромосома»?! Простейшее существование. Но ведь и сказано: «Не всех входящих в мир просвещает Свет». И так от рождения. Кроме того, девять десятых на этой земле бродят и трудятся единственно ради пропитания. И все их деяния, труды, порой даже и невероятные труды по выдвиганию во власть, кропотливым отстройкам особнячков,— всё это вид одного и того же: добывание «подножного» корма. И— никуда от этого не деться.

Это—иная информация на хромосоме, на геноме. Даже если скоту вызолотить рога, навалить под копыта сервизов и картин фламандцев, даже если не выключать, на полной мощности проигрывать над пастбищами Баха, Шопена и Чайковского, всё остаётся по-прежнему, и от этого грустно. Так спокойно-грустно и одиноко на старой скамье в парке у моря...

А в центре Севастополя, из-за магазина, из-за жёлтой квасной бочки, вдруг вышел мне навстречу телёнок. Он шёл мне навстречу, глупо тряс ушами и ставил копытца вкось. И стало смешно, словно укорял меня Вышний: не осуждай, на себя посмотри...

Притчи Царя Соломона, глава 30: «Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом; дабы, пресытившись, я не отрёкся [Тебя] и не сказал: „Кто Господь?“, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе».

И ещё, там же: «От трёх трясётся земля, четырёх она не может носить: раба, когда он делается царём; глупого, когда он досыта ест хлеб; позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Как это мудро и вечно свежо, при любых демократиях, диктатурах и режимах.

Два метода знаменитых романистов. У Бальзака: от частного случая—к общему, к обобщению, к великим идеям и мыслям. Весь Бальзак—великолепный опыт обобщать. У Льва Толстого—наоборот: от общего предположения или положения—к частному. Подобный «типический» пример—начало «Анны Карениной». Этот метод он вынес во многое, и особенно—для поздних вещей. Подобный приём—и в «Кавказском пленнике», и в «Хаджи-Мурате». Толстой мыслил и писал, чтобы не «угодить», а удивить, поразить общество, «обличить», показать жизнь уважаемых сословий с самой глупой и позорной стороны... То, что позднее Шкловский обозвал «отстранённостью». На деле—у Толстого сплошь и рядом, за исключением, пожалуй, детских рассказов, идея стоит на нелюбви, даже ненависти к человеку, и это—поразительно... При громадном, ни с чем не сравнимом художественном таланте!

Есть в Евангелии важное место (Лк. 8:31–32), где говорится о том, как бесы, изгнанные Иисусом из бесноватого, просят Его, Иисуса, чтобы Он не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней. И «брошилось стадо с крутизны в озеро и потонуло». Бесы—и те не хотят «домой», в бездну. Каково

же там? Отдают даже и бесы предпочтение пусть мучительной, но—деятельности здесь, на земле, в воздухе. Им—хоть в свиней—лучше, чем бытие в бездне (значит, и для них бытие там—не безмятежно?). Избежать бездны—стоит постараться, и уж тем более—человеку. Как же стоит душе человеческой постараться, потрудиться, чтобы избежать того места, где скрежет зубный, пепел и сера. Выходит, так?

Ехал через ночную Москву, мимо собора Василия Блаженного. И собор, и Кремль—совершенно пряничные, расписные. Собор Христа Спасителя в новых подсветках кажется гигантской сахарной головкой. Игрушечный Кремль с освещёнными стенами и тоже подсвеченными у стен, с высоко задранными водосточными трубами (почему-то обрезанными на два метра от земли), укороченными—та же нелепая задумка дизайнеров из «новейших»...

А Растрелли жил в России! Пушкин—памятник работы Опекушина—кажется совершенно алебастровым в ночи от освещения, тоже совершенно нелепого. Не хочется вспоминать, что стоит поэт на месте Страстного, спиной к нему, над погостом. Кто поставил его попирать погосты Страстного? А престольная икона Страстного женского монастыря, разграбленного и снесённого большевиками,—жива и здравствует в иконостасе церквушки на Сивцевом Вражке, справа от алтарных врат... Так весь русский тысячелетний характер, о котором сказано: «И один в поле воин, коли ладно скроен»,—превратили надмением своим в совершенно декоративный, кукольный характер—ох уж эти «мастера-имиджмейкеры».

Памятник Пушкину, будь он без подсветок, казался бы ещё темней, укоризненной, достоверней с той безутешной грустью о России, о Москве, которая так трогала его, Пушкина, при жизни.

Крутятся и мягко постреливают сегодня вокруг него светящиеся пьезоэкраны, с бесконечной рекламой, раззеркаленной потоком чёрных окон машин. И всё это дико, вспыхивает самым дерзким и вызывающим образом, ярко, с неоновым и компьютерным управлением, с лучами прожекторов, направленными куда-то вверх, к самому подножью сатаны, в безвоздушное холодное пространство. «Нокиа», «Филипс» с «Макдоналдсом» и ещё черт его знает что и с чем вокруг... И он, прославленный русский Пушкин, кажется сегодня таким униженным и опозоренным нашим проклятым веком и таким одиноким, каким не был и при жизни, даже и среди всех этих Нессельроде и Бенкендорфов. И какой «индивидуал», какой атом читает его теперь?—разве вот, проезжая под хмельком, любитесь у Кремля на пряничные избушки. Либерасты-евроцентристы, цивилизационные, телевизионные авторитеты... Это уже

не наш Пушкин—и мы не его? Да и Кремль, и площади, и собор, и страна—наши ли? Не украдены ли они у нас? Так и величайшие, духовные вещи могут быть «переработаны» в продукты цивилизации...

И стоит, всё стоит—и мавзолей Бланк-Ульянову Ленину, борцу с «великорусским шовинизмом»,—и стоит на том месте, которое приметил Николай Второй—мученику, спасителю России и свидетелю во Христе патриарху Гермогену.

Мерзость запустения... Она бывает и сияющей... Внешне.

Откуда это, сон или явь?—откуда это представление, свидетельствование мне о том, будто бы перед плотским рождением в этот мир, перед вхождением в «ризы кожаные»,—видел я яркий сияющий свет божественной Любви—Солнца радости и мира, и свет этот—наставлял и ободрял душу? И душа моя жаждала воплотиться и молила Солнце-Любовь о воплощении. И ясно чувствовала, понимала, что это воплощение в тело и странствия на земле—необходимо ей для спасения и прощения. Воплощение же во спасение не всем даётся, но его надо вымолить. Быть может, всё это—некая «прапамять»? И эта память осталась не замутнённой по случаю? И теперь, спустя полвека от моего рождения, и мало того—с каждым годом, что-то опять приоткрывается мне, «припоминается». Ещё и ещё, и открывается.

Это сейчас, сегодня я готов догадываться, напряжённо додумывать все те знаки, что были явлены мне загодя, а тогда ей, душе, всё и так ясно было и понятно, до самого доньшка, и она готова была на любые муки с радостью в предстоящей жизни, лишь бы только закрепиться в этой жизни во плоти, вытерпеть и снести все опасности и страдания всей долгой предстоящей жизни в теле,—и всё для того, чтобы, вытерпев, быть с этим духовным Светом, заслужить близость и родство с Ним.

И условия от Света, условия на непростую жизнь, все,—она принимала легко и радостно, и соглашалась на всё, и она, душа моя человеческая, не думала тогда и не желала думать о тех трудах, боли, болезнях и бедах, что непременно постигнут её, воплощённую на земле по её же перед этим Светом просьбе. Заранее соглашалась она на самый тяжкий путь крестный, потому что знала, что если положишь тело по Божьему промыслу—то лишь тогда обретёшь тот милейший покой и блаженство, за мгновение которого миллион лет и миллион мук на земле—ничто.

Солнце-Любовь «оговаривает» заранее—«словом-мыслью»—всё, что встретит душа. Спрос был и со всего существа души моей, представшей перед Ним: согласна ли она, душа с условиями воплощения?... И со слезами восторга и благодарности

за дарованную возможность послужить Ему душа соглашалась, что да, да, согласна, конечно, согласна... Согласна на всё... И тогда душе человеческой открывался доступ в этот мир земной—прямо от Него, подлинного хозяина и Светила-Солнца, и Правды. «Но как, как же я попаду туда, на землю? Я не знаю дороги. Я не знаю опыта: как войти?...»—«Ты получишь ангела-хранителя, следуй ему... Следуй ему всё земное твоё поприще...»

И вот—первое мгновение—душа, уже войдя в этот мир,—ещё носит с собой опыт этого земного «до-рождения». Душа сердечно всё видит. Видит сверхчувственным зрением, и с ангелом, приведшим её в этот мир,—разговаривает. Ангел же с ней из мира сверхтелесного сообщается ежемгновенно. И собеседование это слышно душе от самого крещения души. И я, ребёнком, кричал от боли рождения, ещё зная и помня отчётливо это своё «до-рождение», разговор со Светом, и то, что это и есть главное условие: то, что если я вытерплю эту земную боль до самого конца, до смерти телесной,—я возвращусь к Богу-Солнцу. К Нему. И тогда только и наступит то подлинное рождение в жизнь, тот полный Свет, в котором только и можно найти Успокоение и Радость. Стать частью Его и обрести то великое счастье, которому тщетно искать замену на бренной земле. Земле труда и испытаний...

А условие этой жизни одно: не жалеть ни души, ни тела—нимало, и—умереть для пользы ближнего...

Так легко и ясно это «там», перед Светом при Боге, и так тяжело, неудобнозимо здесь, невыполнимо кажется теперь, когда воплощён в тесном, телесном и напряжённом мире. Плотский, испытанный и тяжкий, отяжелел. Не исполнил. Порой плоть заставляет полностью забыть и то обетование, что дано было душе. И так благодатно знать и вспоминать всё, что было. Помню и знаю: «Имя твоё есть в книге жизни... Трудись и не ропщи...»

Всё помню!

Ходил с больным отцом (еле ноги передвигает после инсульта) на прогулку. Он намеренно тепло оделся, зябнет даже в эту последнюю жару бабьего лета. Балахоном на нём гороховое пальто, нелепого уже для нашего времени покроя, с раскрылёнными лапами. И весь он какой-то усохший, с обвислыми небритыми щеками, поминутно закуривает, чтобы скрыть своё бессилие и волнение... Нервы его натянута, а сам—жалкий, немощный против всего этого пиршества и буйства красок уходящей осени, красоты роскошно засыпающей жизни, природы. Видно как-то страшно и безвозвратно: он сам уже вступал в зиму...

Увядающие рябины, с листьями, сквозными от солнца,—похожие на виноградные против солнца

лозы, светлые гроздья; эти берёзы, великолепные в своём волшебном увяданье. Смотрю, любуюсь до ломоты в висках. А отец... он еле-еле шаркал обочь. Как короток, неверен и мал век человеческий. Как беззащитны люди. Все мы сироты, и ещё больше — те, которые живы и бодры и, как бы в насмешку, не ведают скорбного своего будущего. И всё в страданье, в этом шатанье ветвей, в прощальном блистанье солнца.

И вот всё ходила, вилась мимо красotka-фотограф, фотографировала клёны на дорогой, с длинным объективом, цифровик, — их скоротечное пламя, дымящуюся прекрасную опадь. Меняла позиции, двигала нагло аппетитными бёдрами затянутыми в джинсы. Сама — какого-то мужиковатого, ловко-спортивного вида. Ребёнок её — физически недоразвитый акселерат, сосущий тайком импортные конфетки, — еле успевал за ней семенить, то и дело отбрасывал яркие фантики. А я видел большей частью только её, думал о ней: «Конечно же, она, верно, разведена, одиночка, хоть всё ещё привлекательна и даёт понять, что знает себе цену. У неё какой-нибудь содержатель-менеджер, по-русски — приказчик. И такой относительно благоприятной жизни ей ещё года три-четыре. А потом...»

Как ярко помню этот день: на солнцепёках греются коты и кошки. Отец даже и на ходу — никак не может согреться. Провезли детей в колясках мамы — дети дородные, крупные, как нахохленные кукушата, — «уценённые дети». «Уценённые», потому что ценны только для родителей, и то — тем лишь только, что вложили в них частицу себя. Родители — в этих детей. И вот эти дети безразличны, странны, разомлели, беспечны и не рады дару жизни — осени. Вот она — и в детях — та же любовь к себе, та же сила бытия, которая умрёт непременно, несмотря ни на что, умрёт, мучаясь, как и всё умирающее, и как это неприменимо, несбыточно кажется именно по отношению к детям... От страшной догадки — «что же „там“, за порогом» ещё... И — «для чего они жили?»

...Отец совсем-совсем плох. У меня замирает сердце, глядя на него. Внутренне убеждаю себя держать душу в узде, но и творчество не успокаивает, просто отвлекает. Крутится-вертится колесо Иксиона, а надо терпеть. Иначе нельзя: раскиснешь, пропадёшь.

И разговариваем возможно меньше, бережём силы. Отец, тот и вовсе давно молчит... А я, я сам — отчего так ужасает меня эта прекрасная осень, эти детки, эта двигающая бёдрами женщина с фотоаппаратом? Для чего всё это медленно-прекрасное и вялотекущее время? Ужасает. И так ужасает впервые.

Полустанок под Москвой. Спускаюсь вниз, под уклон, к полотну, почти бегу по крутизне вниз — тащит вниз, словно магнитом, дух захватывает,

как в детстве, даже весело. Вдруг тут же, на платформе, — пятеро избивают одного, окровавленного. Бьют страшно, ногами. (Верно, только что пили вместе.) Окровавлен весь лоб лежащего, он скрючился, сжался. Потом один из них (лицо почему-то тоже в крови) быстро встал на корточки и быстро-быстро, по-крысиному, стал обыскивать, ощупывать лежащего. Что-то вытащил, прыгнул с платформы вниз на рельсы — и побежал вдогон проходящему поезду. И тогда все, опытно, кинулись в разбег в разные стороны. Двое — в одну сторону, двое — в другую. Избитый, верно, был ранен ножом в живот. Лежал на боку, очень страдал и не разгибался. Было в этом избииении, в этом ограблении и воровстве что-то такое ветхозаветное, нелепое, страшное под небом, вопиющее к небу об отмщении. И я как-то воочию поразился: как упорен, и страшен, и укоренён во зле человек. Он рвёт самого себя, не понимая, что все мы — единое тело и единый дух. Человек истязает, грабит и убивает. Всю историю своего бытия. А как, вероятно, было бы страшно, нелепо увидеть войну, особенно — рукопашную штыковую атаку... Людское сумасшествие. Трагедия бытия неизбывная. И так ясно стало, что Христос приходил в мир и погиб — и не мог не прийти и не погибнуть. Иначе — как и что объяснишь этим зверям в людском обличье?..

Холод и осень. В электричке грязно. Сел по-глупому, сел у не закрывающегося до конца окна, и всю дорогу хлётко било ветром навстречу, и эти мотание и стук до самой станции Осеевской, с перерывом дёрганья и скрежета, длились полтора часа. Время от времени в ту или другую сторону пробегал дежурный с трёхгранником-ключом по вагонам. А я всё читал, или, вернее, пытался читать дневники Ивана Бунина... И поразительное встречал у него: «Читал о Серафиме Саровском. Дождь». Или: «1.1.43 г. Пятница. Господи, спаси и помоги»... — и так везде рассыпано по дневникам. А дневники, конечно же, написаны задним числом, по памяти. И ещё — художественным чутьём — и это ясно, и чувствуется.

Прочитав эпизоды дневников Бунина, думал, вспоминал утверждение, что Христос был распят на «черепе Адама» — лобном месте, на камне. И этот камень и стал камнем преткновения. Как много, «тьмы и тьмы» народу разбили за эту идею, сверхидею свои головы и сердца. Особенно почему-то русские.

А камень тот «лобный», который и всемогущий Бог без нашей помощи не понесёт, не сможет понести, и есть — человек. Человек одержимый, перенявший дьявольскую занозу, прививку смерти: стать равным Богу. Потому — и этот неприкрыто-дьявольский протест в утверждении, что человек — он и есть мера всех вещей. И повод протеста Богу

стали называть разными вычурными словами: «радио», «гуманизация», «либерализм»... И к чему это привело? Как ясно выражено, как трагически прослеживается всё это по переосмыслению «Дневников» И. А. Бунина. Бог у него, орловского дворянина, родственника Жуковским, — появляется только к сороковым годам, когда ему самому — за семьдесят! Вот какова была Русь, и притом — и лучшие её представители — писатели...

И всё мотало меня в электричке, воняющей горелым табаком; погасал свет. Вспоминался большой отец... И эти ужасные нервические дни, безблагодатное состояние. Как давно, и серьёзно, и, видимо, непоправимо болен отец, и как он переживает немощ свою, кричит. Страшно и часто курит поминутно, взхлёб. И ничего не сделаешь, выход один: постоянно молчать. Поразительно вдруг открылось, что ничего хорошего «за глаза» люди, даже и самые близкие, не говорят друг о друге. «И враги человеку ближние его...» — говорит Евангелие.

Электричка неслась среди ветра и чёрных огромных полей, и так вдруг подлинно открылось, что я в этом мире никому, в сущности, не нужен, как не нужен даже и мне великолепный Иван Бунин с его блистательными «Дневниками», написанными неповторимым великим языком.

И я бросил книгу за шумящее, бегущее огнями окно, в мокрый осенний дождь, и едва не разрыдался.

Афиша «Фотография». Две двери. Одна из них внезапно открылась, и я увидел, что там изготавливают медали. На памятники. Ретуширует их молодой, держа на коленях и сидя. С фотографий смотрят на него разные люди, смотрят по-живому грустно. Он ретуширует. Потом устраивает их лица на камне. Он смотрит на них. Они на него, «с того уже света». Из-за рубежа. А рубеж-то от них до него — полметра, рукой подать.

Рубеж, самый дальний из дальних, метафизический... «Послушайте, ещё меня любите за то, что я умру», — трогательно и страшно-правдиво писала Марина Цветаева. Но кому? Людям. В сущности, не изменяющимся людям, во множестве своём механистически-мёртвым, как эти ретуши и плоские раскраски на памятниках-камнях...

Как страшно пытаться растрогать на любовь и сочувствие умных манекенов. Как страшно живому жить среди пластиковых и нейлоновых сердец. Её так никто и не услышал. И её жертва сыну Муру была им, Сыном, одобрена...

Для чего же тогда и памятники, и фотографии? Какая-то условность, трагикомическая в своей архаике...

Москва спешащая. Старуха на улице в городе, нагибаясь, что-то отыскивает, поднимает в листвяной

опади. Присмотрелся: ягоды боярышника. Она складывает их в сумку и, напихав её, пухлую, красную, точно от крови, и тяжёлую, будто с картечью, — из сумки всё пихает и пихает двумя руками ягоды в рот. Рот узкий, старушечий, сморщенный, похожий на сфинктер.

Мимо едут машины, дружно загудели при попытке её перейти дорогу. Старуха — в обносках, «обтёрхана», в рванье. Всеми забыта. В глазах — безнадежность и покорность судьбе. А рядом, через улицу, — многоэтажное здание, типажом — «под немцев», под современные новостройки Европы, с блестящим бронзой стеклом окон, с изразцовой, «под Запад» же, отделкой толстых чугунных наличников. На заборе наличников ослепительно: «Банк „Возрождение“... Ах, сукины дети — радетели, «возродители», опустившие богатейшую Русь — банками, фьючерсами, закладными, с брокерскими продажами и перепродажами, ваучерными аукционами, залоговыми аукционами притащившие её к «кризису»... И в который уже раз. И ходят старухи и старики, роются в помойках, плющат ногой и собирают пивные банки, подъездают боярышник, как птицы, остающиеся на зимовье в стране, в которой не выжить. И вдруг стало понятно, совершенно ясно, что поднимет и опять потряхнёт Россию снова, потряхнёт снова, и, быть может, потряхнёт крепче семнадцатого года. Не всё русским старухам собирать боярышник вдоль ослепительных фасадов чиновничьих контор, не всё нам терпеть, глядя, как унижают наших матерей, сестёр, молиться да пукать с сухомытки в импортные портки-джинсы «от китайца», лёжа ничком от тоски в тусклой и выматывающей безработице.

Москва. Всё ещё относительно благополучна. Относительно прошлых бед...

Сатанизм центричен, и центр его — в сердцевинах городов, в самом скоплении людей. Сатана любит людей, любит их общества, любит города, афиши, футбол с сотнями фанатов футбола и так далее. Сатана полюбил общества людей ещё со времён Адама и Евы — ведь и это было «общество», с ним, с сатаной согласившееся, — они были втроём, когда Бог уже искал их, потеряв свои создания из виду — во грехе их.

Именно поэтому Бог противодействует сатане, отпускает Духа Святого на скопления, «где двое или трое собраны во имя Моё». Единственно (и это по необходимости, в противовес сатане): Бог сам более всего силён именно в одиночестве; как это хорошо сказано: «Внутри вас есть». Оттого и монах в келье один. И анахорет Иоанн Мосх, и Мария Египетская, и Авва Дорофей...

Москва во множестве неисчислимом своих людей — ушла от Бога. В церквях, я заметил, поют «Символ Веры» — не слушая ближнего своего, поют для себя.

Нигде так не одинок человек, как в крупных городах, в Москве. Одиночество—это не когда ты один, а когда хочешь, чтобы услышали, — и не слышат. Почему же не слышат? Сатана не даёт. Вмешивается. Противоречит. Отталкивает.

Я стучался с девятнадцати лет во все московские художественные журналы. Окончил Литинститут, публиковался в Германии, по проторённой дороге «через Запад»,—едва-едва добился цели: и опубликовали везде, во всех журналах, кроме духовно близкого, от Старого Арбата, журнала «Москва»... Напечатали, но была уже, по сути, потеряна вера в то, что свои, русские, и вообще—читают рукописи «из потока». Совсем не то народ малый, внимательный. И прочитает, и пообещает. Часто даже и сдержат слово, но на совсем ином уровне, на уровне ничтожном, если ты «не их», не принадлежишь им по крови.

Вот он, «другой берег». И—да, там, читают, и печатают, и пробуют поддержать отношения. И мягко, ненавязчиво начинают советовать, как писать... Пока ненавязчиво. И как это странно устроено наше общество, что русскому в нём нет места. Если выплывешь на другой берег—и руку подадут, и просушат одежды. По эту, русскую, сторону—никому не нужен. Сколько видел я подтверждения этому. Едва ли не на грамм дара, а его уже привечают, и стипендию оформят, и отзвонят везде, и ждут его. Почему? Он свой. По крови, и никак иначе. «Русопятого» же—никто не поддержит. Да что там! На годовщине Гоголя чествуют... Жванецкого. И какой праздник! Сколько жара и холода, прекрасных слов и света рампы, аплодисментов. Граждане, ну послушайте внимательно, что читает Жванецкий на юбилее Гоголя. Ведь это не эстетично. Ведь это издевательски-цинично, как в бараке на зоне. И шутки таковы же, как шутила бы «шестёрка» перед нарами «пахана», тот же уровень.

А вспомнить, сколько раз и когда праздновали годовщины жизни и смерти русских писателей, поэтов, даже великих (по сравнению с пришлым народцем, притащившим сюда своё «искусство»: безверие и хохму)!

И вот сегодня, грустным Великим постом, я думаю: а сколько же надо стучаться к Богу, чтобы апостол открыл двери благодати? «До самых до смерти, Марковна...» А ведь и вера тоже, и так бывает, что—убывает, убывает вера в свой народ, и в сам тайный, сакральный смысл бытия, и в предназначение русского...

Всё убывает с годами.

Труд и творчество, те интерес и целеустремлённость, с которыми входит в эту жизнь новорождённый ребёнок,—несопоставимы по усилиям и напряжению ни с каким творчеством повзрослевшего, уже обжэгшегося об этот мир. Несопоставим

ни с каким искусством и творчеством взрослой жизни. Все, даже и независимые, или мнящие себя таковыми, творцы,—ждут утешения в творчестве и радости коротких вспышек озарения; кто-то—признания, кто-то—забыться, уйти, остановить катящийся вниз камень Сизифа. А всего этого вправе ждать от жизни—только новорождённый, осваивающий мир вокруг себя ребёнок... Он вправе надеяться. Легко жить. И что же получает он, взрослый творец, за свои ожидания? Получает кровавый труд, затем опыт разочарования и тяжесть камня Сизифа—и никакого признания. Но тот труд, и кровавые раны, и синяки-шишки, с которым и мы начинаем жить, не обещает ли он и сам по себе и благодать, и прощение?

...И вот он, «кризис», да ещё мировой. И будто бы необходимо было неким силам встраивать Россию в этот мировой порядок, тот, что так подвержен всякого рода «кризисам». Мало было России «приватизации», которая сделала из ста процентов хозяев своей страны—девяносто девять процентов работягами и рабами. То есть почти все бывшие «хозяева», освобождённые революцией семнадцатого года, вновь стали баграками, да ещё и потеряв при этом и права на страну, и все свои накопления от прежней трудовой жизни (в противовес банкирам, знавшим о спланированной девальвации, курсах рубля и «цене» ваучера). Но и этого мало. Кризис обещает новый передел, но теперь уже между банкирами и олигархами.

Итак. Пирамида перевернулась и рухнула, раздавив за эти семнадцать лет около тридцати миллионов русского населения, умершего от недоедания, отсутствия медицинской помощи, волнений, отъёма денежных средств, скопленных за всю жизнь, отравлений водкой от палаточников. И прочее, и прочее... Сколько-то уцелеет теперь? Ближайшую перепись населения, вероятнее всего, отменят. В самом деле, кому сегодня выгодно знать правду? Есть данные, что в России уже сегодня не более шестидесяти миллионов человек русских...

Но то, что с Россией обходятся теперь люто,—стало ясно давно. Ещё на праздновании шестидесятилетия на параде в честь Победы в Великой войне, Парад Победы в честь шестидесятилетия окончания Великой Отечественной войны—победы, которую силятся перевернуть в крошечное (уже с 2005 года), даже и с репарациями, поражение страны-лилипуты, страны-флюгера,—отчётливо объявили. По многим статьям.

Многие главы союзных республик отказались приехать на празднование юбилея на Красную площадь в Москву. Они считают себя обиженными. Они будто бы унижены разграбленной теперь и обескровленной Россией. Они хотели бы ещё большего от России. Денежных компенсаций, как тянули они из того остатка Союза, который-де

и был причиной их нынешних бедствий, — и требуют: выплат, компенсаций, возмещения всяческих ущербов и прочее... Известно, «пешего ворона и галки дерут»...

Известно и то, что и Первой, и Второй мировым войнам предшествовали «мировые» кризисы. Верно, Россию многие, очень многие рады бы числить в должниках и всё ещё числят. Иначе отчего бы, откуда, с самого «верха» — Белого дома Америки, сообщать на весь мир, что Россия незаслуженно владеет Сибирью и богатства её «непропорциональны» со странами и территориями «другого мира»?..

И при этом — какие амбиции, какая смелость и тяга к справедливости (как они её себе представляют)!

И как же они её, Россию, видят? А так: подмятой под себя, насилуемой, как насиловали они её девяносто лет назад, в семнадцатом году, вывозя иконы, пушнину, золото, хлеб... всё.

Концессии, составленные с Западом Троцким и разорванные Сталиным, поработают опять, и с небывалым напряжением! Вот вам и Победа.

Сын-подросток у святого источника, бьющего из-под глубокого угора. Станция Клязьма и посёлок вдоль одноимённой реки. Крутизна к реке почти отвесная.

Шёл вдоль реки, по-над этой крутизной. А внизу — хрустальной свежести источник, освящённый в честь иконы Матери Божией Гребневской. У источника сидит малыш лет девяти. Я сразу узнал сына. И так задумчиво сидел он, глядя на огнистые струи светлого родника, сидел долго. Припав к струе, он наполнил пятилитровую банку из святого источника, играл со струёй, рассматривал. И я долго смотрел на него с высоты. Он наполнил банку, вторую, попил и присел.

О чём может так напряжённо думать или мечтать малыш девяти лет? И вот — так остро, до боли остро почувствовал я, что все мы на этой земле изгнанники, и я, и он, и вон там вдаль — те, другие... И все мы с рождения чувствуем это так напряжённо-остро, с такой тоской, что не выразить словами, и, значит, тоскуем об утерянном в прошлом ином бытии, лучшем, чистом... Бытии с кем? С Богом? И вот теперь до боли мы ощущаем своё сиротство и тоску по какой-то иной, истинной родине, которая кажется невозвратимой, кажется существующей далеко, где-то в иных мирах, тех мирах, которые так отличны от этих, так несравнимы и несопоставимы, что кажутся эти места — противоположными, даже и отдалённо не напоминающими те иные пределы, которых мы были некогда, вероятно, достойны и с которыми ни в какое сравнение не входит эта бледная, грешная, странная земля...

...Корабельные сосны косо и неприютно нависали над крутизной обрыва, канадские срезанные

клёны в солнечном сочном восходе, казалось, безмолвно слушали небо; иные — словно молились, стоя на коленях вокруг моего сына и источника. Иные — жалобно выставив дупла своих сучков — угрюмо показывали их мне, эти чёрные дыры — следы ежегодной обрезки, — как воины показывали бы свои раны. «И этим деревьям — и то не благо здесь, на земле», — так ясно легло на мою душу, словно кто-то вслух сказал мне эти слова, даже и не называя их, а так, одной мыслью...

Я окликнул сына. Он весело и легко побежал ко мне в горку, торопливо прыгая и выбирая, куда ступить... Боже мой! И эта радость встречи с сыном, не омрачённая на этой неуютной, строгой и равнодушной ко всему земле, — на этой холодной и пустой планете, — эта радость встречи показалась мне так дорога, что я, пожалуй, не отдал бы её за все богатства мира.

И всё думалось, когда мы шли вместе домой и несли воду с источника: «Господи, а где же души наши? Ведь они — с Тобой и у Тебя. И какова будет встреча наша с Тобой, ведь все мы — лишь печальники и лишь горчинки по Тебе. Хотя и сами так часто не осознаем этого. Мы все дети...»

По-сумасшедшему прекрасное небо всё лето N-ского года. Что-то грозное, предупреждающее в этой красоте и постоянном, при ветре, движении туч и облаков. Белоснежные на грозном жёлто-зелёном фоне, они — постоянно бегущие, восстающие и вновь волшебным образом возникающие с самыми причудливыми очертаниями, меняющиеся в столпах света и солнца, рядом с чернильными — дымного индиго. И вот они идут-двигаются и не движутся: те, что вверху надо мной, — быстрее, те, что вдаль, — медленнее, и от этой их медлительности кажется, что — текут они в другую сторону. Так получается, что облака и тучи кружат и кружат. Неделю и две... И всё это время — красный, пылающий, грозный закат... Потом — опять красный, палящий, индиго — жёлтый восход. И над всей этой пышной красотой — красный уголь солнца.

Сказано в Писании, что когда смотрите на красное солнце, говорите: завтра будет холодно... И как истинно-страшно это: «...МалOVERы... Знамения солнца умеете понимать, а знамения Духа — нет...»

Работаю, пишу теперь мало, исключительно для себя. Где-то в письмах Алексея Толстого сказано, что кто же станет писать на необитаемом острове, если будет знать доподлинно, что никто и никогда не прочтает его рукописей... Никто. Сумасшедший. Вот я такой сумасшедший и есть. При СССР, сетуя на цензуру, «диссиденты» жаловались, что работать над рукописями можно только на перспективу, писали в стол. Теперь нет смысла и в стол писать. Мало у кого из пишущих не детективы и не фантазии с «попаданцами» в иные

миры и иные измерения, мало у кого из честно пишущих и не прогибающихся под нынешнего невзыскательного читателя есть перспективы напечатать книгу. Если он не богат, а богатых, «с полной мощной», писателей я не встречал. Зато пышным, махровым букетом-веником расцветает бульварщина, детективы секретарш и любовниц. Беда в том, что девять десятых из читающих не способны отличить художественную литературу от подделок. И это не их вина. Вкус начитывается десятилетиями. Даже и образование не гарантирует «вкус». Даже филологическое.

Недавно чудом открыли дневники Иоанна Кронштадтского. Дневники эти писаны им тоже «для себя». И писаны так: предложение на немецком, на английском. Потом — по-латыни. И так — на пяти языках. Святые не хотели, чтобы современники их прочли. Они писали для себя, для своей души, внимая, «внутрь — имая», в себя, ибо «внутрь вас есть царствие Божье». Меня же томит неуслышанность. Почему? Потому ли, что я не святой? Потому ли, что я так и не отыскал это Царство внутри себя, и оттого эта одинокость и надежда, пусть и слабая, быть услышанным?

... Не одиночество, а вот именно — одиночество...

Дни нашей жизни. Они похожи на дрящееся похмелье. И как похмельный ищет вина, чтобы опять очароваться нелепыми мыслями и видениями — отравить себя, свою душу, так и мы, живущие, жаждем жить. Мы ждём всё новых и новых дней, которые будто бы принесут нам новые впечатления и события, заставят забыть прошлое — освободят, откроют новое. Но одновременно сознаём, что и события, и покупки, все эти поиски праздника жизни, смена действий — всё это самообман и ничего кардинально непохожего на предыдущее — нет и быть не может.

Похмелье жизнью не отдалить и не оставить. Каждый жаждет жить и иметь. Но у каждого: у одного — раньше, у другого — позже, — наступает отравление. Навсегда. Навечно. И если взглянуть бегло, то и внешне кажется: всем, кому за сорок, — все, даже и непьющие, кажутся с похмелья. Вялая кожа, их потухшие глаза. Неизлечимо. Их похмелье — к концу, а они всё ещё живут для внешнего человека, внутренний же забыт и измучен. А возят этого «внутреннего человека» — единственно только и предназначенного для царства Божия — прокатывают жизнь на шикарных машинах, кормят в дорогих ресторанах, кутают в собольи шубки, чем бы себя порадовать, но радость их недолга... Часто так и до самой смерти не подозревая, что насытить, согреть, напитать и обрадовать человека внутреннего можно лишь совершенно иной пищей, бытием в идеальном мире, но он им неведом.

И спохватываются поздно. Чаще — и вовсе не спохватываются.

«Кто внушил тебе, что жизнь всякого человека — такая драгоценность, „подарок“ от Бога?» — как-то с сомнением и иронией услышал я вопрос своей совести, с потаённым сарказмом, — как бы спрашивал меня некто.

«Играй, — говорили древние и Эпиктет, — а когда пройдёт интерес, можешь уйти. Дверь открыта, никто не держит...» И вот я разговариваю с одним, вторым, третьим своим попутчиком — и ни у кого не нахожу того подспудного, болезненно-нервного ощущения зряшности этой жизни, бесцельности уходящего момента — того самого ощущения, что так присуще мне. Не нахожу и отдалённо того, чем мучаю себя я сам.

«Глупости, — опять словно услышал я, — никто никого не держит. Дверь открыта...»

Утро. Крепкий вояк с красным лицом прогуливает возле дома добермана. И вот — поразительно пустые разговоры его со мной: о кошке, о работе в горячем цехе, о его, вояка, перевязанной руке, которая заболела в самый неподходящий момент и которую, быть может, надо в гипс, а уж на рентген — точно; и опять — о еде, о ценниках на еду, — и всё это бесконечно, и никак не уйдёшь. И вот приходится кивать, подыгрывать, выслушивать «в глубину» существо вояка, да и не его одного. И ведь девять десятых живущих рядом со мной — именно так, на таком уровне, живут всегда, до самой могилы.

Два часа он гулял с собачкой — и никаких угрызений совести, что транжирит жизнь, Богом данную. Отчего же у меня так до болезненности остро это ощущение — пустой траты бытия, мне отпущенного, за пустоту которого придётся отвечать? Словно во мне заложено что-то выполнить, и это мучит. А время идёт. Или это просто гордыня? Вид гордыни...

Как найти покорность истинную, как понять своё, поставить парус и плыть?

«Положись на волю Божью, и дела твои свершатся в срок», — а это откуда? Нет, это уже не «некто». К этому стоит прислушаться.

Случайно включил и просмотрел небольшой репортаж американцев о больной женщине, которую лечили и оперировали врачи-хирурги, лазерными скальпелями исправляя врождённый её недуг — порок головного мозга. Они были вынуждены на несколько часов отделить её голову от тела, искусственно питая и мозг, и сердце. Не знаю, можно ли верить этому, как высадке американцев на Луне. Но дело даже не в этом, а вот в чём: Джойс писал своего «Улисса» — почти слепым, Кафка — был нервнобольным, и не только нервно, Мопассан в конце жизни превратился из красавца-гребца в сумасшедшее животное. Он не выдерживал даже дневного света. А Акутагава Рюноске, а Марсель Пруст... Но всех их объединяет одно, а именно то, что когда они писали — они были счастливы. Дело

в том, что счастье, скорее всего, по сути заурядно, вяло, как вода в болоте, и поэтому многие, прожив так,—так и не поняли, что они жили счастливо. А ведь это истина, и далеко не всем дано в этой жизни насладиться безмятежным счастьем обывателя, и ещё того меньше — счастьем творца. А главное — понять, осознать то, что прожили — и было оно, счастье. (Сытый боров, лежащий в грязной луже, тоже по-своему счастлив.)

Так здоровый человек смотрит на муки оперируемого — и не может быть осенён сознанием счастья хотя бы своего собственного здоровья. А что его волнует в это время? Возможность крупного ценового падения его акций на бирже? Ревность? И прочее, и прочее... А где же счастье? А счастья нет и не было.

Самое высокое счастье, доступное здесь, на земле, — здоровье, творчество и жизнь в духе. «Тело не более ли одежды, а душа — не более ли мира?»

Женщина, прооперированная так сложно, когда очнётся, будет ли счастлива?

Два друга, встретившись:

— Я слышал, что ты женился?

— Женился. Как на льду обломился.

Первый вздохнул:

— Это да... Один женился — с головой пропал, другой женился — свет увидал. Знаешь армянскую поговорку: «Жена может создать дом, да такой, что и шайтан не создаст. И разрушить такой дом, что и шайтан не разрушит...»

Расходились они, прощаясь, тоже в глубоком раздумье.

Мука да вода. А взболтал, посолил — вот уже и хлеб. И есть в этом хлебе нечто от самого Бога. Плотяное, созданное, сотворённое в милость человеку... Тело человеческое — из глины с водой, а тело Христово — хлеб и вино преосуществлённые.

«Я — хлеб жизни» и «источник жизни». Кровь — вино от щедрой лозы. Так и отдельно: муж да жена — есть только тогда одно, единое и могут назваться людьми, когда в течение жизни взболтаются, смешаются, взойдут от малой закваски, как вода и мука, как вода и глина, — когда переживут, перетерпят многое вместе, станут не просто водой да мукой, но тестом уже. Не глиной (прахом), но телом человеческим, сотворённым.

И питание этого тела человеческого, то, что поддерживает в нём жизнь физическую, — есть само проявление любви к нему, к человеку. Питание, вос-питание — есть уже и сама любовь. Питающая тело и душу во всех отношениях.

Едешь по России — и кажется, что вся Россия — на старухах, на бабах стоит. И держится она последний свой срок. Проедешь глубинкой — диву даёшься, как деградировало, упало всё, не в подъём.

Сегодня март, двадцать третий день. Совершенно сумасшедший, мокрый, мартовский снег, тяжёлый и сырой. Острый, неумный, сыпет и сыпет. Валит огромными хлопьями, словно охапками. Русская баба, в поту, еле двигает — сдвигает с платформы мокрый снег двуручным скребком, приседает от тяжести его с налипшим снегом. Скребком сотворён так, что очень широк — для двоих-троих, не меньше. Баба уже и сама еле двигается, телогрейка хоть выжми.

Ей — другая такая же — кричит с противного конца платформы:

— Анна Тимофеевна, тяжёлая лопата. Да снег налипает ещё!

В ответ:

— Какая разница, Тань, тяжёлая ли, нет ли?... Мне быстрее надо!

В этом вся русская женщина, безропотно-терпеливая страдальца. Русская женщина не думает о себе, а вот быстрее надо — и всё. А зачем быстрее? Затем, что и там, куда спешит она, — и там дела, скорее всего тяжелее, чем даже и скребком возить.

И вот, проходя, спросил:

— Помочь?

Взглянула, взмахнула рукой:

— Сама управлюсь.

— Когда же отдыхаете? Каждое утро с темна — вы уже здесь.

— Когда сдохнем — тогда и отдохнём.

Как глубоко, страшно виноваты мы, русские мужики, перед ними. Бездонна, неумолима вина наша, и «к небу вопиет», как великий смертный грех... Мыслима ли вот за таким скребком американка или голландка? А немка?

Быть может, оттого и живёт наша Россия так, что безжалостны мы к нашим женщинам, жёнам...

Где вы, мужики русские? Ау!..

Переход подземный к Рижскому вокзалу. Сидит, просит подаяния стриженный наголо мальчишка лет девяти. Перевернутый картуз совершенно пуст. Он сидит как зачарованный. Недалеко от него — безрукий старик, подняв кверху глаза, будто молится. Усогнутых коленей — несколько мелких железных монет. Ещё через двести метров — стоит овчарка. Прижав уши, она держит банку из-под майонеза «Провансаль». Эта баночка — пластмассовое ведёрко — доверху набита бумажными купюрами.

Выживет ли такая нация, которая предпочитает ближнему, спасению жизни ближнего — «спасение» собаки. На выходе из метро, у забора с кустами, всё усыпано одноразовыми, белое с красным, словно поплавками, — одноразовыми шприцами. Недалеко храм Святого мученика Трифона, днём он всегда пуст.

Теперь это кажется невероятным, но я помню, как меня крестили. Мне было два месяца от роду.

Церковь казалась безмерно высокой. Я глядел вверх—как в трубу, уходящую шатрами среди изгибов свода. И спланирована она была так, будто купол вверху оплетён паутиной «хоров»—хоровыемонок, с окошечками-полусферами.

Со словами священника: «Дунь и плюнь»,—помню, мне стало невыразимо страшно, я завожился и заплакал...

Особенно поразило меня, месячного (странно, что я всё это помню), тогда,—поразило то, что едва священник понёс меня куда-то (как оказалось позднее—в алтарь)—во мне тут же подало голос некое мудрое и всезнающее существо. Существо это, я знаю, есть во всяком человеке. Даже не существо—сущность, некая субстанция... Оно и сказало мне, что несут меня в алтарь, и ещё сказало, что я напрасно жду чуда. Напрасно жду. Чуда явления Света не будет...

Кто-то—то ли вне меня, то ли—совсем рядом, то ли—во мне самом,—морочил меня, смеялся язвительно надо мной. И при этом казался совершенно прав: там, куда меня принесли (в алтарь), и в самом деле не случилось никакого чуда, хоть душа ждала и замирала в ожидании этого чуда. Красивые семисвечники и на стекле икона Христа со вскинутой рукой—вот и всё, что способно было удивить неискушённый взгляд младенца. То, чего предвкушало сердце за Царскими воротами,—не было... И от этой внезапно открывшейся пустоты, отсутствия ожидаемого чуда, от испуга перед грядущими трудами и тяготой жизни—так занемело испуганное маленькое сердце в моей груди!

До сих пор помню—и то разочарование, которое постигло меня тогда при крещении и которого, подобного ему, я не испытывал впредь никогда. «Смотри, никого и ничего здесь нет,—словно шепнул мне кто-то слева,—алтарь пуст... Он пуст всегда...» И я обомлел от испуга.

Но—отчего и чьё было это нашёптывание? Не знаю до сих пор. Странно, что этот «кто-то» оказался прав: ничего того, ради чего замирала душа моя и от кого ждала радости—Того, ради Которого я и пришёл,—никого Этого Тайного, зримого—не встретил я и впоследствии. Только Тень... Величайшую Тень Его всеприсутствия.

Но и Тень, если увидеть Его духовными глазами, поражает.

Детство закрепило в памяти: днями, а зимою—до глубоких сутемок, гулял я в одиночестве. Если в городе Кирове—то уходил в промышленную зону, ходил по механическим мастерским, бумажным и цементным заводам. Если в рязанской деревне—то до татарских и мордовских посёлков, до святого источника села Кошебеево, вёрст за сорок-пятьдесят. И никогда не чувствовал, чтобы мне было скучно или одиноко. Это нередкое ощущение тоски и покинутости, даже и среди весёлой компании

друзей,—оно появилось потом, позже. Когда? Наверное, после падения. Это падение и стало для меня вкушением «запретного плода» от древа.

...Кажется, ушедшим в монастырь, вернувшимся к естественному детскому состоянию, должна быть легче и понятнее жизнь, что крутится каруселью, волчком вокруг быта.

Ну а мне, мне самому, если бы пришлось сегодня выбрать: какой стезёй идти, стезёй тоски или стезёй одиночества,—что бы я выбрал? Не знаю.

Только кажется с высоты сегодняшнего дня—выбрал бы уж явно не тоску...

Помню (по детству), мужик жил в нашей деревне, всё у него: «Ну ладно». Выдержан необыкновенно, весь в себе. Придёт, вздохнёт, сядет на табурет: «Ну ладно...» Если работает, силы невероятной, злой на работу,—поработает, опять посидит, вздохнёт... И так вздыхал он, так умел глядеть вдаль, словно в Бога веровал (тогда все прятали веру, даже в деревне).

Жену свою он почему-то в шутку прозвал «семь на восемь». Или, уходя, теще:

—А жене скажи, что в степи замёрз.

Та в ответ:

—Я те замёрзну, охлом, а охлом...

Она всегда добавляла это «а», как апостроф во французском, с прононсом: «Дурак, а дурак...»

—Что ты в карман-то спрятал опять? Деньги, поди? От семьи тащишь-прячешь?

—А это у меня горловые...

Однажды так и ушёл с «горловыми». Ушёл совсем. Спокойно и неожиданно. И никто до сих пор не знает, жив он или нет.

И это тоже свойство русского странного характера: терпеть-терпеть, да вдруг и выкинуть такое колено, что никто не ожидает и не готов к нему. Даже и сам сотворивший «колено».

Бог наградил старостью, дряхлостью человека, чтобы смирить его недугами и немощью, а ещё—удлинить «росстани» с жизнью, не делая их нравственно особенно тяжёлыми: одно дело—уходить в пятнадцать-двадцать лет, и совсем другое—в семьдесят-восемьдесят, обременённым болезнями...

...А вот и я скоро подойду к полувеку. И хоть это ещё незаметно мне самому, а только, верно, со стороны, по определённым чёрточкам и морщинам,—ветшает тело, эта храмина души... Так точно истончается зимний лёд на стекле. И всё светлее, яснее и надёжнее за этим стеклом—видны дали, и солнце, и зубчатый лес, и поле в засохших остьях полыни. И за этим льдом-клетью бьётся клокочущая, всё ещё страстная и требовательная, к Богу медленно возрастающая душа. Но рано или поздно—разобьётся и этот стеклянный, ледяной сосуд, и миры снежного ясного поля и тёплой натопленной комнаты соединятся. И зимнее утро

заберёт это тепло, не заметив... И этого «разбиться в стихии» — не минует никто. Ни царь, ни раб. Ни умница, ни глупец. И это — единственная подлинная справедливость и очевидность этого мира. Очевидность, с которой не поспоришь.

Шабашники работали в совхозе. Прекратилась поставка материалов. Шабашники грамотные, все с институтскими дипломами, затребовали по договору неустойку от подрядчика. Грамотно обосновали всю ту сумму денег, которые они могли заработать за всё то время, пока им не подвозили материал: цемент, брус, кирпичи. И... получили эту неустойку-штраф. А получив, на радостях уехали пьянствовать. Остался один. Вместо сторожа. Сам, в одиночестве, кладёт стену, подносит блоки, замешивает раствор. Неподалёку сумка — битком набитая непочатыми жестяными банками пива... Это уже потом мы, студенты стройотряда, узнали, что он долго сидел по тюрьмам.

Сдержан во всём необычайно. В словах, в поступках, даже в жестах и эмоциях. Единственно — то и дело варит чифирь в алюминиевой кружке, привязанной проволокой к живой ещё (чтоб не прогорала) ореховой палке-лещине.

Мы приехали на уборку картофеля. Подошли. Подозревали, что не пьёт, потому что на себя не надеется. Мы были тогда молоды, максималисты. Окружили его. Стали помогать от нечего делать. Кто-то уже распечатывал с сочным треском баночки с пивом. Он только посмеивался. Разговорились о жизни, о его жизни и ахнули. Оказалось — перед нами едва ли не великий человек, подвижник, анахорет, аскет. А сидит в клетчатой рубашке, подолом утирает пот... На церковь зарабатывает, строит храм.

— Отдохнём?

Кто-то из нас стал рассказывать с возмущением: — ...А то тут, в райцентре, милиционер коррумпированный, конечно, зарплата — шесть тысяч рублей. Свою палатку пивную открыл. На жену записал. Жена и торгует. Порядок — невообразимый. Мы зашли на минуту, а пиво — это не пиво, а вода, моча. Даже не пенится нисколько. Это пиво уже один раз пили...

Он смеётся:

— Это так. А то ведь мы как живём... Некоторые называют это: «не умеем жить». Знакомый мой давний в тяжёлые голодные времена нанялся сторожем на давальню, думал, жмыха вволю натакает. С ним — жестящик с отрезанной пяткой. Украли они и спрятали мешок ворованных семечек. — И что? Посадили? Лет по пять вкатили, как два пальца об асфальт...

— А у них у самих украли. Так ни с чем и остались... — Так что, разве это не неумение жить, ведь так? — Это? — он подумал, покусал травинку... — Это — судьба наша русская. Вековая...

Земная жалость, любовь человеческая — лишь отзвук Любви Божьей. Оттого — так и велико, и трагично разочарование: «разлюбил» или «разлюбила». Эта боль — именно оттого, что корень любви-жалости не на земле, а в небе, в духовном мире. Люди же — любовью земной живут, верят в неё безоглядно, полагают — начало и конец её здесь, на земле. И тем трагичней обман, разрыв... И душа человеческая мятётся, страдает невыразимо, — путает: ей кажется, что порвана не земная и брэнная связь, а порван сам корень — любви небесной. Многие ли могут перенести? От этого — такие трагедии. Надо понять: лишь Божья Любовь не обманывает, не предаёт. Не путать земное с небесным. Вот отчего сказано, что — нет таких из людей, «кто оставил бы и мать, и отца, и жену, и детей» ради Христа и любви ко Христу — и не обрёл бы в тысячу раз больше... Чего же больше? Любовь Божью, Любовь взаимную, безо всякого обмана, Любовь вне времён и пространства.

Та же любовь, которую мы ищем здесь, на земле, и находим лишь тень той, желанной, ради которой только и стоит жить, здесь — быстрый и неуловимый блик её.

Ищем всю жизнь, мучаясь и не обретая...

Писательство есть наблюдение внутреннее за собой и другими, писательство за столом при оформлении мыслей — шитьё золотом. Оно отнимает столько времени, столько сил и воли, что кажешься порой выжатым совершенно и... счастливым. Но счастливым — на очень короткое время. Едва отдышишься, опамятуешься от переживаний и мыслей, и вот следом уже идут, тут как тут, — пустота и удушье. За призрачную и краткую радость творчества — многие заплатили трагедиями, кровью, жизнями.

Как часто и с разных сторон, по разным поводам говорит Христос в Евангелии о том, что богатство, деньги — главное препятствие восхождению человека в царствие небесное. Почему? Потому что именно через деньги, имущество человек прочно утверждается именно в этом мире, пускает глубокие корни своих забот, чаяний и опасений, и этот мир тянет его вниз, как якорь. Через деньги — подчиняет человек и ближнего своего, принуждая работать на себя, поработает его, не только всё более утверждая через деньги свои притязания на его, ближнего, свободу, закабалая его, но и прямо отрицая его волю (а это само по себе в корне противоречит главному условию спасения). Главное же учение аскезы — не только возлюбить ближнего как самого себя, но и отринувшись своей воли и тем самым очиститься для принятия благодати Божьей. Значит, деньги, злато — прямой противник благодати Христовой. Не случайно причиной гибели Христа стала алчность Иуды (ближнего Христа),

апостола. С куском хлеба (по попущению Сына Божьего) вошёл в него сатана и легко принудил продать Бога-Слово за деньги. Даже прозрение Христа в душу Иуды: «То, что делаешь,—делай скорее»,—не испугали и не остановили предателя.

Мы также знаем, что за предательством последовало. Тридцатью сребренниками Иуды возвращёнными, брошенными им, не захотели воспользоваться и сами подкупившие его первосвященники. Куплена была на эту сумму Земля Горшечника, годная лишь для погребения странников. Названа она была Землёй Крови. Но что же главное во всей этой евангельской истории? Не воздействие ли первосвященников на Иуду деньгами? Они отринули его волю, подчинили и утвердили свою. И этим полностью утвердили притчи Иисуса о богатстве и деньгах, о том, «...как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное».

И ещё... более того: не просматривается ли здесь того подобия, что и вся Россия сегодня куплена хриstopродавцами? Не просматривается ли здесь, что и она—стала «Землёй Крови», проданной и продаваемой через иуд, нескончаемо, всё время—вслед за обдуманной казнью Белого Царя? И долго ли ещё протянет она, опустошённая, обезображенная и униженная, годная сегодня лишь для того, чтобы хоронить в ней странников—пришлых да своих нищих?... Земля Горшечника, Земля Крови, Антиминс Миру... Россия...

Соседка по кооперативу пришла агитировать за то, чтобы поставить подпись под агиткой за нового соседа, выдвинуть его в депутаты местного самоуправления. Сосед этот купил недавно землю в собственности.

— Кто он?

— Начальник УГРО по борьбе с бандитизмом. Молодой, деятельный. Двадцать девять лет.

— Богатый, ишь какую стройку развернул...

— Да кой там богатый? Пятнадцать тысяч оклад, сами знаете, как нынешней милиции платят. А его я знаю, бывший мой ученик. Очень надёжный...

— Я вижу. Пятнадцать тысяч, а такая дачка. Лет сто—сто пятьдесят с его зарплатой работать надо... Вижу сам.

— Да говорю же, бандитов ловит. Подпишите вот здесь.

— Не ловит, а отпускает?..

Обиделась, хлопнула дверь, ушла.

Станный народ. Или время такое? Вслух правду не скажи. Даже и думай—и то осторожно...

Всё сетовал внутренне, переживал эту жизнь, клял себя за безденежье, суету, озабоченность и невозможность стать выше, освободиться от бремени этих огорчений. И вдруг подумал: «А что, если бы на моём положении и на моём месте был мой сын, что, если бы он подошёл со всем этим ко

мне и попросил совета? Что бы я ответил ему на всё это, от чистого сердца?» А сказал бы, что всё проходит. Что нужно от жизни нам? Ложку каши, здоровые сердце и лёгкие. Руки-ноги да кое-какую одежду, чтобы надеть её, и она не была бы срамом. Да ещё вот: делать дело, и делать с весельем и утешением. Работать над душой, записывать мысли для пользы этого духовного делания, для того чтобы можно было пересмотреть их и переоценить пройденный путь, чтобы жить со вниманием.

И ещё я сказал бы ему: «Сын, несмотря ни на что, человек не может быть несчастлив. Все мы—дети Божьи. Положись на Его волю и попробуй жить радостно и достойно...» Сказал так мысленно—и стало легче самому, словно сказал и сыну, и сам себе... Душа наконец услышала свой голос и успокоилась.

Святая София—храм в Константинополе, чудо света—впервые была разрушаема и ругаема вовсе не мусульманами. Мусульмане впоследствии обратили этот великий собор в мечеть. Даже и мусульмане не могли не признать его величия. Святая София была поругана... крестоносцами-христианами.

Поразительно, как невероятно всё перевернулось и перевернул на этом свете «отец лжи». Недавние реставрационные работы в Святой Софии открыли фрески страстей Христовых, неизвестные до сего дня. На фресках—карточные масти: «крести»—крест Христов, «пики»—пика, прободавшая рёбра Христа, «червы»—сердце Спасителя, «бубны»—эти страшные четырёхгранные гвозди, коими был пригвождён Христос. И всё это—дано в изображении страстей, в облаках этих страшных мастей, на фоне их...

В мусульманских странах играющие в карты подлежат суду шариага, наряду с воровством и прелюбодеянием.

И вот сегодня покерные залы-павильоны будто бы оправданы, а игры в карты пытаются включить в список олимпийских состязаний. Вероятно, скоро и в школах станут изучать методы игры в эти безобидные, раскидываемые веером листы четырёх мастей. Протестанты, лютеране и баптисты обожают отстроенные с размахом города-рулетки. Москва июльская с 2009 года решила расселить огромное убожество своих карточных притонов во множестве, даже и по нищим городам и весям. Неизвестно, как долго продлится эта приверженность мира четырёх мастям, игре с судьбой.

...Святая София была разрушена «братьями по вере». Хороши же «братья». А ведь они «взяты из христианской» среды. Такова же и «среда». Католицизм не раз ходил войной на Россию и был побеждён и рассеян. Протестантизм во времена Анны Иоанновны—был изгнан. Оккультизм фашизма—тоже. И вот в наше время, на наших глазах—новое нашествие протестантизма, теперь уже экспортируемого из Америки.

София Максимычева

Воробей на ветке



Заходится рябью вода под ногами,
небесная влага заполнила пустошь.
Задумчиво люди плывут под зонтами,
страшатся, чтоб только не стало им грустно.

Они обезличены маревом тусклым,
их думы— о хлебе насущном, о детях.
И путь их суровый канавами устлан,
и мокрый фонарик им больше не светит.

Скорее бы выйти знакомой дорогой
до истины или хотя бы до дома.
И стоит напрячься всего-то немного,
а может, дорогу укроют соломой.

И ветер торопит, толкается в спину,
а кто-то споткнётся о рельсы некстати...
Но воздух просохнет, чтоб головы вскинуть
и плечи расправить для жарких объятий.

Сирень

Вот ангел склонился над домом,
и дом зажигает огни.
Как это до боли знакомо,
покажется— только шагни.

Войди в это светлое «помню»,
где мама шарлотку печёт;
и мальчик листает двухтомник,
а рядышком греется кот.

Идиллия или картинка
из прошлой счастливой поры.
Опустится хмурая дымка
и ангела скроет вихры.

Останется: пепел, дорога,
усталость от разных невзгод...
Но веришь, что там у порога—
сирень беспробудно цветёт.



Медное блюдо наполнено светом
яблок янтарных с истрёпанных веток.
Счастья достаточно пчёлам блаженным,
зреет отвар с драгоценным женьшенем.

Мёд и елей на губах медовара,
время густое, как капля нектара.
Взбитое небо, где птицы болтливы,
смерть притаилась в корнях дальней ивы.

Рано ей тешиться телом пчелиным,
пить и смеяться под тенью осины.
Будет зима и година под спудом
в тёмном пространстве, ветрами обдутом.

Но вопреки и назло лихоимству
улы воскреснут под яблонь молитву!
И полетят неуёмные пчёлы
в сад благовонный с настроем весёлым.



Каких соловьёв мне подкинет природа,
играя на спор в остывающий век?
Заходится горлом сухая погода
в низине петляющих медленных рек.

Поодаль, в кустарнике,— гнёзда без света,
примята горячая пеплом трава,
как будто вся жизнь наизусть перепета
запойной пичугой не раз и не два.

И чудится мне в очевидном простое
отрезок пустой болтовни не со зла
испивших янтарный отвар зверобоя,
чья птичья эпоха на убыль пошла.

В тени ли грустить о несбыточном благе?
А может быть, пусть остаётся как есть:
усталая трель в крутобоком овраге,
зовущая изредка рядом присесть.

Воробей на ветке

Качает ветер ветку,
на ветке—воробей.
У птицы взгляд недетский,
а ветер всё страшней.

Он так рычит и эдак
и птичку теребит;
и добрых нет соседок,
и никаких защит:

от жизненной напасти,
от снега и вранья,
от жадной волчьей пасти
и клюва воронья.

Так запросто и сгинешь—
ни неба, ни земли—
в презимней мешанине,
пока душа болит.

О ветке без гнездовья,
о смутном житие...
О мамином здоровье
и каждом воробье.



безупречен голос у дивной флейты,
тихо льётся звук, словно нет зимы.
за окном декабрь, облака на рейде,
кучерявый абрис водой размыт.
перестать бы верить, да разве сможешь?
говорят—всему в этой жизни срок.
убирает руки в карман прохожий
и бежит от ветра наискосок.
серый воздух в небе плотнее, злее,
у тебя подружка—из шерсти шаль.
к ней щекой прижмётся:

— жалеи!

— жалею...

бархатистый вторит по нотам альт.
для озябших птиц на ольхе кормушка.
сколько их ещё, кто к зиме готов?
одинокий вечер. часы с кукушкой.
и звучащий моцарт среди снегов.

ДиН СИММЕТРИЯ

Иван Бунин

АВГУСТ, 1922



Зачем пленяет старая могила
Блаженными мечтами о былом?
Зачем зелёным клонится челом
Та ива, что могилу осенила,
Так горестно, так нежно и светло,
Как будто всё, что было и прошло,
Уже познало радость воскресенья
И в лоне всепрощения, забвенья
Небесными цветами поросло?



Мечты любви моей весенней,
Мечты на утре дней моих
Толпились—как стада оленей
У заповедных вод речных:

Малейший звук в зелёной чаще—
И вся их чуткая краса,
Весь сон блаженный и дрожащий
Уж мчался молнией в леса!



В полночный час я встану и взгляну
На бледную высокую луну,
И на залив под нею, и на горы,
Мерцающие снегом вдалеке...
Внизу вода чуть блещет на песке,
А дальше муть, свинцовые просторы,
Холодный и туманный океан...

Познал я, как ничтожно и не ново
Пустое человеческое слово,
Познал надежд и радостей обман,
Тщету любви и терпкую разлуку
С последними, немногими, кто мил,
Кто близостью своею облегчил
Ненужную для мира боль и муку,
И эти одинокие часы
Безмолвного полуночного бденья,
Презрения к земле и отчужденья
От всей земной бессмысленной красоты.

1922

Александр Авдеев

Скамья одна у входа в храм



То страшно порой, то тревожно.
 Всё знаешь ты и —ничего.
 Лишь то, что в руках или подножно:
 Чай в кружке, паркет — в торжество.
 Компьютер, газеты да книги —
 О чём они? Верить и нет.
 Мелькают года, точно миги.
 Лишь чай расплескал на паркет...
 Выходим одни на дорогу,
 А звёзды глаголют не нам.
 Если бы верили Богу,
 Ходили бы по волнам.

Зима

О перламутровой погоде
 Не помышлялось в декабре:
 Зима морозная не в моде —
 Дожди косые в январе.
 Блестящим инеем покрыла
 Зима деревья и кусты.
 И солнце ярче засветило.
 «Вот это да!!» — пронзает ты.
 А мне бы нынче слов попроще,
 А мне бы — творческого дня.
 И надвигаются, как строчки,
 Кусты да ёлки на меня.
 Вдыхаешь с радостью морозный
 И побелённый ветерок.
 И не беда, что несерьёзный
 Смысл надвигающихся строк.

Снег

Первый снег сегодня долгий —
 Целый день летит, гудит.
 Побелил траву и ёлки
 Да молящийся мой скит.
 Крыша храма, купол храма —
 Слово белые навек!
 Только тает снег упрямо.
 Каждый день — как первый снег.

Январь

По тяжёлому полёту птиц на юг
 Что-то буду знать я про январь.
 Как порою скучный взгляд подруг
 Вторил: навсегда расстаться, — встарь.
 Скучный взгляд... Усталых крыльев груз...
 Ну а я здесь, кинутый причём!!
 Пусть в похолоданье радость — пусть,
 А под взглядом скучным — мы вдвоём.



Синее небо с красным закатом.
 Жизни не мыслю без неба теперь.
 Солнцем луна выплывает над садом.
 В храме открыта пустынная дверь.
 Жду не дождусь посетителей поздних:
 Может, кто вспомнит о Боге, о мне.
 Перед Пасхальной седмицей не подвиг —
 После молитвы дышать при луне.
 Подвигов нынче не будет, не надо.
 Стану молитвой спастись теперь.
 ...Плавно луна выплывает над садом.
 В храме открыта безлюдная дверь.



Срывает яблоки с яблони
 Длинным сачком сосед.
 Я пропускаю завтраки
 Да не сажусь за обед.

Лень приготовить вкусное,
 Да и времени жаль.
 День уплывает, и люстрами
 Снова включается даль.

Но засмотрелся, как трудится
 В августе позднем сосед.
 Царство Небесное — нудится...
 — Батюшка, здравствуй!
 — Привет!

● ● ●
 Я не рассчитывал на драки—
 Настраивался на любовь.
 А поселившийся в бараке
 Не избежал позорных слов.
 Барак—роскошная столица.
 Барак—окраина земли...
 И даже где гнездятся птицы,
 Друг с другом спорят журавли.
 А помолчать немного—можно.
 Возможно—много помолчать.
 Но обольют и заморозят,
 Оговорят отца и мать.
 И, поселившийся в бараке,
 Переживаю вновь и вновь:
 «Я не рассчитывал на драки—
 Настраивался на любовь».

● ● ●
 Ничего не докажем друг другу,
 Зови тебя в храм, не зови.
 Чётко идём по кругу.
 Война у людей—в крови.
 Раскол, но служу немного.
 А лишнего знать не хочу.
 Да будет светла дорога,
 Улыбка порой—по плечу.
 По гордости тоже воюю,
 Когда мой приходит черёд.
 Устал я глаголать впустую,
 Народ—он везде народ:
 Идёт от ворот по кругу...
 Зови тебя в храм, не зови,
 Ничего не докажешь друг другу
 От недостатка любви.

● ● ●
 Слава Богу, что мама молится,—
 Подышу ещё здесь, поживу.
 Может, выстрою к храму звонницу,
 Перед службами всех позову
 Помолиться—людей разбуженных,
 Спящих сердцем, Бог даст, разбужу.
 Неохота быть людям недужными—
 Значит, надо молиться в нужду,
 И не только в нужду—да и в сытости
 Помолитесь в своё торжество...
 Мама молится в трудной бытности:
 «Слава Богу—лучше всего!»

● ● ●
 Под небом и земля, а небо над землёй.
 Земля пока жива, и небо в облаках.
 Люблю бродить один вечернею весной,
 Берёзовым дымком не надышусь никак.
 Кому ж не мил простор, когда прошла зима?
 Попробуй насмотришься на небо, надышись.
 И не уйдёшь домой, пока не ляжет тьма,
 И не захочет спать с тобой улечься жизнь.

● ● ●
 Последние прогулочки в рубашках
 По улицам, в тишайший листопад.
 Порою лета солнечного краше
 Осенний кратковременный закат.
 Подорожите временем удачным,
 Не хлопайте разладными дверьми.
 Грядут в одеждах лёгких и прозрачных
 Мамаши, сыновья и с дочерьми.
 ..Коль не дано, так не дано надолго,
 Допустим, сырость, зиму полюбить,
 Ходить полжизни в скованных дублёнках
 И печку десять раз на дню топить.
 Но хорошо, что вечером беспечным
 Случайно или вновь гуляем мы,
 Поговорив о солнечном, о вечном,
 Припомнили внезапности зимы.

● ● ●
 Вышло солнце краем из-за леса,
 Осветив трубы котельный дым...
 Неба покрывальная завеса
 Землю защищает от беды.
 «Солнце Правды»—Богом на иконах.
 От рассвета ал кадилный взмах.
 Тонкий нимб земного небосклона
 Днесь на Богородичных руках...

● ● ●
 Осень же, батюшка, осень.
 Всё так и любишь смотреть
 Вдаль и в небесную просинь,
 Что тебя может согреть
 После ушедшего лета.
 Быстро сгущается тьма.
 Ждётся литургию с рассветом.
 Жить—не хватает ума.

● ● ●
 Туман и паутина— и солнце на востоке,
 Церковные ворота и храмовый забор.
 Кресты повыше неба, и радость в каждом вздохе,
 Когда с ключами сторож пустой обходит двор,
 И храм открыл осенний, зажжёт лампы, свечи,
 Иконам поклонился и скрылся в алтаре.
 ... Легко так и не просто— в одном лице три встречи:
 И сторож, и алтарник, священник,— на заре.

● ● ●
 Опять звезда на небе та же,
 Что создана за пару лет.
 И в дымке сизой вижу: пляшет
 Да излучает колкий свет.
 То ближе светится, то дальше...
 Наверно, было так
 Всегда:
 Перемешались правда с фальшью...
 ...А в небе—
 Зоркая звезда.
 Звезда, звезда... Созвездий море,
 И с детства радуют они.
 ...А нынче думаешь про горе,
 Заметив новые огни.

● ● ●
 Цветы тридцать первого августа,
 Омытые летним дождём.
 Зажмурилась грусть в моей радости—
 Что завтра не скажешь о том:
 «Вот август, и дождики летние
 Умеренно льют на цветы».
 ...В свиданья и встречи последние
 Нечёткие помню черты...

● ● ●
 Цветы под окнами у храма.
 Не уходить бы никуда.
 А дома есть больная мама,
 Есть слишком быстрые года.
 Трава склоняется от ветра.
 Скамья одна у входа в храм.
 Я сам к земле клонюсь заметно,
 Подвластен сам земным годам.
 И кто о ком заплачет горько:
 По мне ли мама, я—по ней?..
 Цветов у храма милых сколько!
 Дай, Бог, подольше светлых дней...

Литературное Красноярье ∴ ДиН РЕВЮ



Дмитрий Косяков
 Сказки про девочку Ульрику
 и её волшебных родителей

Дмитрий Косяков Сказки про девочку Ульрику и её волшебных родителей

Красноярск: «Литера-принт», 2022

«Жил-был волшебник. Самый настоящий. И он умел творить самые настоящие чудеса.

Рано утром он вставал и отправлялся на работу. Правда, работа у него была не волшебная, а обыкновенная, потому что чудеса (по крайней мере, добрые) за деньги не делаются. А без денег не проживёшь— так что наш волшебник работал в сфере торговли. Кем именно, рассказывать будет скучно— даже сам волшебник не любил говорить про свою работу, она ему не нравилась. Как хотелось ему порой с помощью волшебства укоротить себе рабочий день или наколдовать лишней выходной, но это было нельзя— даже попросту невозможно.

В свободное время он ходил по магазинам или в разные чиновные конторы. Всегда ведь так много дел: надо и за квартиру заплатить, и в банке карточку переоформить, и перепланировку квартиры согласовать, и счётчики воды перерегистрировать. Тут уж не до чудес.

Порой он так уставал, что, приходя домой, начинал смотреть телевизор или какую-нибудь глупость в интернете.

Жена у волшебника тоже была очень занятая. Она хлопотала по дому: мыла полы и посуду, стирала, чистила, гладила, да ещё и старалась кое-что зарабатывать. Вообще-то она тоже была волшебницей и тоже очень тосковала по своей главной профессии— по волшебству. Поэтому волшебник старался помогать жене с домашними делами, но всё равно времени на чудеса оставалось слишком мало.

А ещё ведь у них была маленькая дочка с волшебным именем Ульрика, и девочке требовались забота и ласка. По вечерам волшебник забирал дочку у бабушки и вёл домой. И вот по дороге они заворачивали в небольшой скверик, и там папа-волшебник иногда творил чудеса и переносил дочку в сказку...»

Марина Панфилова

Люблю Сибирь

Гончарный круг

Гончарный круг вращается, шурша,
Податлива, послушна пальцам глина.
Я создаю горшочек не спеша,
Не замечая бег минут недлинный.

Нежны, сильны прикосновенья рук,
Ваяющие красоту упруго.
Весь мир—один большой гончарный круг,
Где лепим мы и создаём друг друга.

Случается, что дрогнет вдруг рука—
Бывает в жизни промахов немало.
Но опытный гончар наверняка
Сумеет всё опять начать сначала.

А глина шелковиста и мягка,
Она, как тело юное, упруга.
Прикосновенья—словно облака,
Что обнимают бережно друг друга.

Вращается Земли гончарный круг,
Мы постигаем Вечность понемногу...
Творим свой мир не покладая рук
И знаем, что творец подобен Богу!

Не жалея

Не жалея о прошлом, не жалея,
Память не терзай душевной болью.
Улетела стая журавлей,
Захватила молодость с собою.

Пусть не стало свежести былой,
Мудрость ей—достойная замена.
Опыт осенил своим крылом—
Это дар Всевышнего бесценный.

Если людям делал ты добро,
То бояться старости не надо.
На висках сверкает серебро—
Это жизни высшая награда.

Снова листья жёлтые кружат,
Начиная осени вторженьё.
Не сдавайся, не гляди назад,
В детях, внуках будет продолженьё!

Не жалея о прошлом, не жалея,
Жизнь ведь не кончается, послушай!
Главное, что приобрёл друзей,
Не продал, не растерял ты душу!

Синильга

Далеко, за синими горами,
Где туман в распадах круглый год,
Средь тайги, усыпанной жаркáми,
Юная красавица живёт.

Чёрные, как смоль, змеятся косы,
Гибкий стан, глаза—как синий снег.
Лёгкая походка, ноги босы,
Ручейком звенит девичий смех.

В час, когда дымком запахнет вечер,
Подойдёт и сядет у костра,
Скинет шаль цветастую на плечи,
Околдует песней до утра.

Ах, Синильга, милая певунья,
Ты ни людям, ни себе не лги!
Может, ты и вовсе не колдунья,
А легенда и душа тайги!

Красота—как сладкая отравка,
Страсть всегда приходит невпопад.
Ароматом опьяняют травы,
Гулко вторит бубну водопад.

На пригорке рдеет земляника,
Золотится солнечная нить...
Я люблю тайгу, как ты, Синильга!
Ведь Сибирь нельзя не полюбить!

Ледоход на Томи

Ледоход на Томи, ледоход
Мимо Северска льдины несёт.
Я на реку гляжу из окна
И ликую: приходит весна!

Вновь очнулась от плена река,
Отражаются в ней облака.
Быстро, весело плещет вода,
И уходят от нас холода.

Свежий ветер мне песню поёт,
Что растает задумчивый лёд
И черёмухи запах опять
Будет память мою волновать.

Сердце молодо бьётся в груди:
Сколько солнечных дней впереди!
Продолжается жизни полёт!
Ледоход на Томи, ледоход.

Зимняя свадьба

Зимушка морозная,
Ясная да звёздная,
На окошках линии
Начертил мороз.
Белая метелица
Снежной дымкой стелется,
И в холодном инее
Кружева берёз.

Девушка-красавица,
Как заря, румянится,
Не боится холода
Русская краса!
Статная да ладная,
Радость ненаглядная,
Сердце бьётся молодо,
И блестят глаза.

От любви не спрятаться,
Еду к милой свататься,
Мы с тобой повенчаны
Богом и судьбой.
Шубу соболиную
На тебя накину я
И в саях с бубенчиком
Увезу с собой!

По следу Жар-птицы

Пролетала Жар-птица
В небесах над тайгой,
Захотела напиться
Родниковой водой.

Над поляной кружила,
Где цветёт иван-чай,
И перо обронила
На траву невзначай.

В заповедную чашу
Я приду поутру,
На беду иль на счастье
То перо подберу.

Боль и радость познаю,
Вспыхнет в сердце огонь,
И Жар-птица шальная
Сядет мне на ладонь.

Верю, чудо случится —
У таёжной реки,
Словно перья Жар-птицы,
Пламенеют жарки!

Татьяна Кырова

Чингачгук не может умереть

Каждый дождь имеет свой характер. Один налетит, шумит, скандалит — громового треска много, а толку чуть. Беззаботный шалопаи брызнет как из детской лейки пригоршню влаги на пересохшую почву — и был таков. Умчался за горизонт. Трезвонит там и раздаёт посулы на хороший урожай. Другой шагает степенно, как истинный барин. Лишь слегка тросточкой по водосточным трубам постукивает. Дорогу выбирает, обходит образовавшиеся на тротуаре лужи, боясь промочить ноги. Утренний дождь был из праздных гуляк. Всю ночь пропал неизвестно где. А когда народ отправился по своим делам, устроил для них внезапный потоп. Так бывает, когда непутёвый хозяин откроет водопроводный кран на полную катушку, чтобы остудить голову после ночного кутежа. Стихия застала горожан врасплох. Разношёрстная толпа на автовокзале едва успела укрыться под широкими козырьками крыши перрона. Ливень смыл со штукатурки здания накопившуюся пыль и придал фасаду вокзала свежесмытый вид. Никто из пассажиров этого даже не заметил. Они наблюдали за тем, как вода нехотя стекает в ливнёвки, унося окурки и мелкий мусор. Никакой лирики. Лишь досада за вынужденную паузу в бесконечной суете. Переждав стихию, люди тут же принялись раскручивать привычный для вокзала собственный живой поток, состоящий из озабоченных лиц, потных тел и бесконечных тычков в спину.

На фронтоне автовокзала из кирпича красного цвета были выложены цифры «1962». Марина догадалась, что это год постройки здания. Раньше она не замечала этих цифр. Девочка пыталась посчитать, сколько же лет прошло с той поры. Элементарный пример никак не желал решаться. Несмотря на то, что перрон был значительно расширен, пассажиры, как будто слепые, то и дело натыкались на Марину и этим сбивали с толку. Прилегающая к вокзалу территория минувшей весной была переделана и облагорожена. Установили ряд телефонов-автоматов. Стало просто связаться с родными в других городах. Марине звонить было некому, друзей в других городах у неё не было. В столице жила тётка, но провинциальную родню она не жаловала. Объявленная в стране перестройка только набирала обороты.

Скоро торговцы вытеснят пассажиров на задворки и захватят не только большую часть перрона, но и всю привокзальную площадь. Марина повернулась лицом к газетному киоску и стала рассматривать яркие обложки журналов. Особенно ей нравился журнал «Бурда Моден». Просто полистать его было нельзя, а стоил он очень дорого. Марина любила вокзальную суету. Это означало всегда одно — школьные каникулы. Её ждали бабушкины пирожки и вольная деревенская жизнь.

Маринина мама стояла рядом. Она была не в духе. В начале недели ей подписали заявление на отпуск, а потом начальство передумало, и заявление отозвали. Надежда отвела взгляд от струившейся с крыши водной пряжи и с чувством затаённой гордости начала разглядывать свою милую девочку. Марина была в том возрасте, который принято называть переходным. Но обычной угловатости и нескладности подростковой фигуры ей счастливо удалось избежать. В платье с вишнёвыми веточками на белом фоне она выглядела нарядной. На днях Наде повезло купить для неё в «Детском мире» красивые туфли знаменитой фабрики. В такой обуви и взрослому человеку не стыдно выйти. Матери очень хотелось, чтобы дочка выглядела настоящей горожанкой. В тот день женщине везло с покупками. Совершенно случайно удалось отхватить в универсаме приличный отрез белого гипюра. Из него получится необыкновенно ажурный фартук. Марина будет самой нарядной девочкой в школе на первое сентября.

Объявили посадку на рейс, но назвали номер другой платформы. Надежда встрепенулась: — Что сказали? Номер три?!

— Третья, — подтвердила стоявшая рядом старушка в красном платке.

Надя дёрнула уголками губ, так она выразила своё недовольство.

— Странно. Всегда посадка была здесь. Ну, пошли туда.

Марина неотступно следовала за матерью, не давая возможности другим пассажирам проскочить между ними и помешать слаженному движению. Когда они подошли к автобусу, посадка только началась и большой толчеи не наблюдалось. Надя позаботилась о дочери и после работы отстояла

очередь в кассу предварительной продажи. Билет в такой кассе стоил дороже, зато на нём было указано сидячее место. Зная характер своей девочки, она была уверена в том, что та непременно уступит своё законное место, и просила Марину не делать этого. Бойкие бабёнки умеют выбить для себя местечко, а чтобы купить билет заранее, им и в голову не приходит. Станут они суетиться и переплачивать. Надежда помогла дочери устроиться, открыла окно.

— Если будет дуть, закроешь.

Вышла из салона и обошла автобус с другой стороны. Надя решила подождать до того момента, когда автобус тронется. Погрозила указательным пальцем и сказала:

— Сиди. Ты поняла меня? Не уступай. Сделай так, как я тебя прошу. Если будут приставать, скажи, что тебя укачивает.

— Хорошо, мама. Иди уже. Куда я денусь? Буду сидеть до самых Лесников.

Девочке было неловко за этот маленький спектакль, о котором они условились заранее. Хотя и понимала, что мама права. Через десять минут в автобусе было уже не протолкнуться. Как ни остерегайся, а в такой тесноте обязательно наступят на ноги. Новенькие туфельки растеряют свой блеск и покроются множеством царапин, их невозможно будет оттереть или замазать кремом. А впереди целое лето, и хотелось пофрсить.

Дорога до бабушкиной деревни занимала по времени час с небольшим. Прекрасный асфальт мог бы превратить поездку в сплошное удовольствие, если бы не одно обстоятельство: маленький трудяга марки ПАЗ не был рассчитан на такое количество пассажиров. Людей в нём всегда набивалось вдвое больше, чем положено. Марина смотрела в окно, любуясь июньскими видами, и невольно слушала разговор двух женщин, сидевших у неё за спиной. Спор то затухал, то вспыхивал с новой силой. Марина заметила эту пару ещё до посадки в автобус. Молодая женщина была беременна и, кажется, очень раздражена этим. Не стесняясь окружающих, она выговаривала своей терпеливой матери все накопившиеся обиды:

— Сколько я переняла от тебя красивых, но бесполезных слов. Каждый сам определяет степень своей свободы. Главное—не навредить другим. Надо быть искренней и всегда говорить правду. Мещанство—это не про сословие, а про состояние духа. Человек должен бояться тёмного царства, которое внутри него. Этому меня не учили в школе. Этому меня научила ты. Я так и написала в сочинении. И что в результате? Не хватило балла для поступления в медицинский институт. Надо было не умничать, а писать штампованными фразами, как все. Много помогла тебе в жизни такая философия?

— Зачем ты так, доча?! Такими должны быть принципы всякого порядочного человека. А ты могла бы поступить в институт, если бы повторила попытку. Не стоило торопиться с замужеством. — Мама, ты не поумнела. Разуй глаза. Кругом блат. А этот твой любезный Николай Васильевич! Какой молодец! Как ты за него впрягалась: «Товарищи, его нельзя сокращать. После смерти жены работа—это всё, что у него осталось».

— Ирочка, но это действительно так. Он очень одинок. Детей им с женой Бог не дал.

— А когда сократили тебя, где же был Николай Васильевич? Скромно промолчал.

— Что же он мог сделать? Он заболел и ушёл на больничный.

— Конечно. Какое совпадение.

Мать прилагала усилия, чтобы прекратить неприятный разговор. Отвечала коротко и смиренно, но на дочь это не оказывало должного эффекта. Неожиданно появилась возможность сменить тему, и женщина сказала:

— Ой, смотри, Ира. Кто-то крест поставил. Какие молодцы! Настоящий православный крест. И в таком нужном месте.

В сотне метров от дороги на опушке среди берёз появился новенький деревянный крест. Женщина перекрестилась и горестно произнесла:

— Мне бабушка рассказывала. Страшные бои в этих местах были. Много тогда здесь наших полегло.

— Что за чушь? Война сюда не дошла.

— Я про другую войну—Гражданскую. Мой дедушка где-то здесь лежит.

Марина поняла, что дед этой женщины воевал не на стороне Красной армии. Всех красноармейцев похоронили в братской могиле и установили мраморный обелиск с фамилиями героев. На памятнике золотыми буквами было выбито: «Вечная слава борцам за советскую власть». Наверное, о том же подумали все пассажиры, и в салоне автобуса повисла длинная пауза. Женщины, так досаждавшие Марине своими разговорами, неожиданно открыли для неё другую правду о далёкой, обросшей легендами и мифами Гражданской войне. И девочке стало грустно оттого, что здесь, по сути, в чистом поле, покоятся останки людей. Таких же русских. И не осталось даже холмика от них. Эти знания требовали глубоких размышлений. Но долго думать об этом Марина не могла. Мысли о смерти пугают детей глухой и неизведанной тайной. Они признают только одну сторону бытия—жизнь. Жить весело и интересно. Это справедливо.

Говорливые женщины вышли на остановке, которая располагалась на обочине дороги. Марина знала название деревни—Озерки, но автобусы в этот населённый пункт никогда не заезжали. Что там были за Озерки, ей было неизвестно. Иногда

случалось слышать со стороны деревни колокольный звон. Звук колокола был глухой, несмелый, какой-то испуганный, что ли.

Высадив мать с беременной дочерью, водитель заглушил двигатель и выскочил из кабины за ними следом. Пассажиры стали свидетелями странной сцены. Шофёр догнал женщин и протянул старшей из них крестик на тоненькой цепочке. О чём они говорили, не было слышно. Мужик в соломенной шляпе, сидевший впереди Марины, протрубил на весь автобус зычным голосом:

— Во даёт! Чужим людям золото отдал. Ха-ха! Видали дурака?

— Видимо, они в храм собрались. Говорят, что в Озерках икона мироточит,— пояснила старушка в красном платке.

Марина не знала, что значит «икона мироточит». Она повернула голову налево и внимательно посмотрела на старушку, сказавшую эти слова. Пассажир в шляпе поинтересовался:

— И что?

— Ничего. Исцеляет, говорят. Болеет, видно, у него кто-то. Крестик на икону повесят,— добавила старушка совсем тихо и замолчала, понимая, что широкомордому в соломенной шляпе об этом говорить бессмысленно.

Мужик криво усмехнулся:

— Ага. И будет вам чудо!

В это время вернулся водитель, и автобус покатил дальше. Позади остались сосновый бор и железнодорожный мост. Закончился затяжной подъём на перевал, и начался такой же затяжной спуск. Скоро Лесники. Пассажиров в салоне заметно поубавилось. Проход был почти свободен.

Марина была несколько озадачена и раздражена тем, что услышала от пары, следовавшей на богомолье. Как сложно устроен мир. А диалог между старушкой в красном платке и противным мужиком в соломенной шляпе только добавил душевной смуты. Жизнь неумолимо накатывала. Марина понимала, что пришла пора взросления. И эти перемены больше пугали, чем радовали. Складывалось ощущение, что из слаженного механизма выпал какой-то винтик.

В начале прошлого учебного года был ещё случай. После первого урока Светка, с которой они дружили чуть ли не с детского сада, шепнула ей на ухо сокровенную новость:

— А я, между прочим, пришла в лифчике.

Маринка почувствовала, как от этих слов кровь ударила ей в виски и кончики ушей заципало. Разве можно такие интимные вещи обсуждать, да ещё на перемене? Она с удивлением посмотрела на Светку и осторожно отодвинула стул, чтобы ненароком не услышать ещё что-нибудь в таком же духе. Заметив эти манёвры, Светка погладила её по спине и, не найдя застёжки от лифчика, ехидно сказала:

— Ну, ты ещё ребёнок!

Марина вспыхнула снова. Почему-то было неловко, стыдно и обидно одновременно.

— Ой, да ладно тебе. Вырастут ещё,— успокоила подруга и благоразумно оставила эту тему.

Портить отношения с одноклассницей ей было невыгодно. Марина часто выручала её с уроками.

Светлане не терпелось почувствовать себя взрослой. Марина, наоборот, тяготилась новыми ощущениями. Раньше всё было просто и ясно. Теперь даже не так радовала предстоящая встреча с деревенскими друзьями. В Лесниках у них образовалась дружная команда из местных и городских детей. Вдруг и эти друзья припасли какие-нибудь свои секретные новости? Тайна появилась у неё самой. Только рассказывать об этом она никому не собиралась. Марина назвала его Чингачуком. Такое сочетание букв ей показалось очень удачным для того, чтобы закодировать настоящее имя своего героя. А звали его Григорий Чингаров. Симпатия к старшекласснику возникла неожиданно— можно сказать, на ровном месте. Началось всё с пустяковой выходки Чингарова. Он опоздал на урок. Распахнул дверь и ворвался в кабинет. И только тогда заметил удивлённые физиономии шестиклассников. Понял, что ошибся этажом, и перед тем, как ретироваться, брякнул первое, что на ум пришло:

— Рубль дайте!

Дети шутку оценить не сумели. В шестом классе был урок биологии. Пожилая учительница застыла с указкой возле доски и не нашла нужные слова, чтобы поставить хулигана на место. Неожиданно для самой себя Марина сказала:

— А два не надо?

Всё произошло очень быстро. Чингаров задержался в дверях и грозно спросил:

— Кто это сказал?

Марина выдержала паузу и ответила:

— Я. А что?

Взгляд Чингарова потеплел, и Гришка улыбнулся:

— Да так, ничего.

Чингаров вообще-то не был отъявленным хулиганом. Эта выходка была случайной. Он пользовался авторитетом не только среди сверстников, но и среди учителей. Учился неплохо. К тому же Гриша был чемпионом города по греко-римской борьбе среди юношей. И вообще всесторонне одарённый спортсмен. Физрук здоровался с ним за руку. Чингарова ставили финишёром, и сборная школы всегда выигрывала городские эстафеты по лёгкой атлетике. Только с дисциплиной у него случались проблемы. Для парня с рабочей окраины это нормальное явление.

Почему он брякнул про рубль, Гришка и сам не знал. На следующий день в школьном буфете Марина увидела его и немного оробела. Но Гриша

весело помахал ей рукой и, раздвинув толпу руками, освободил место впереди себя:

— Так. Мелкота, рассыпались. Быстро пропустили. Бери: что тебе надо?

— Булочку и чай,— тихо сказала Марина.

— Булочку и чай,— громко повторил Чингаров и подмигнул ей.

С того дня каждый раз, если они встречались в буфете, Григорий помогал ей пробиться сквозь толпу голодных школяров. Заметив это, Светка не удержалась и решила поехидничать:

— Ой, не могу! Только не воображай, что он в тебя влюбился.

— Я и не воображаю. А тебе лучше помолчать, или поругаемся навсегда.

— Да мне-то что? Просто смешно.

— А мне нет.

«Чингаров, конечно, парень видный. А эта растаяла. Тоже мне. Даже лифчик ещё не носит, а туда же»,— подумала Светка и прикусила язык, хотя её так и подмывало вылепить всё, что думает.

Светлана была не тем человеком, с кем можно делиться сокровенными переживаниями. Детская дружба постепенно сходила на нет. В своих мечтах о Чингарове Марина не улетала слишком далеко, а в Светкиных намёках появилось что-то порочное. И это отталкивало. Девочка поняла, что влюбилась в Гришу. Нежданно-негаданно, прямо как в известной песне. А чтобы легче было думать о таком взрослом молодом человеке, она решила называть его Чингачук. Так звали главного героя в популярном фильме про североамериканских индейцев. Чингаров перешёл в выпускной класс, и это было для неё самое ужасное. Что она будет делать без него? Чингачук уехал на всё лето в спортивный лагерь, и видеться с ним не было никакой возможности. Марина гнала от себя грустные мысли, чтобы каникулы не превратились в череду душевных терзаний. Она слышала, что Гриша намеревается поступать в местное военное училище. Другой выбор её Чингачук и не мог сделать. Офицерский мундир ему будет к лицу. Марина тайно гордилась его достижениями—больше, чем собственными успехами.

В компании деревенских друзей Марина надеялась ненадолго вернуть беззаботные детские радости. Дни напролёт купались и загорали. Вечером ходили за околицу встречать деревенское стадо. И всё казалось как прежде. У бабушки коровы не было, Марина ходила встречать соседскую Бурёнку. За это получала литр парного молока. Тётке Любе не давали покоя артритные колени, и долго ходить она не могла. Несмотря на недуг, советы о том, что пора отказаться от коровы, она категорически не желала слушать: «Кормилица моя, куда же я без неё?» Упорство женщины вызвало сочувствие только у Марины и её бабушки.

Другие соседи считали блажью такую привязанность к обыкновенной корове.

В августе зарядили дожди, и Марина всё чаще вспоминала Чингачука. Пыталась нарисовать портрет своего героя, но должного сходства достичь не получилось. Беспокойство, переходящее в безотчётную тревогу, с каждым днём всё усиливалось. И уже не лёгкая детская печаль, а настоящая тоска охватывала Марину в дождливые сумерки. Теперь она подолгу не могла заснуть и мечтала лишь о том, чтобы увидеть во сне Гришу Чингарова.

Дожди наконец-то прекратились, и оставшиеся летние вечера друзья проводили на берегу речки у костра. Мальчишки брэнчали на гитаре, разучивая дворовые песенки. Девочки подпевали знакомые строчки. Домой шли скопом. Компания редела по мере продвижения по улице. Марина радовалась, что их дружная команда не распалась на парочки и ребята продолжали общаться, как и прежде. Но однажды к ней пришла Наташа. Она вызвала Марину во двор и, отведя за калитку, затеяла выяснять отношения:

— Марина, скажи мне честно. Тебе нравится Коля?

— Коля?! Конечно, он добрый и надёжный друг.

— Нет. Я не об этом. Не как друг. Нравится ли он тебе, как мальчишки нравятся девочкам?

— О чём ты, Наташа? Нет, конечно.

— Это хорошо. Мне Коля очень нравится. Я бы хотела с ним встречаться. Ну, ты понимаешь, как пара. Я жутко ревную, когда Коля провожает тебя домой. Скажи мне честно, что вы делаете?

— Что мы можем делать? И провожает он не только меня, а всех.

— Просто вы же остаётесь вдвоём. Ваши дома в самом конце деревни. Получается, Коля провожает тебя до самого крыльца.

— Наташа, что ты выдумываешь.

— Извини. Я так жалею о том, что мой дом в середине улицы. Когда вы уходите, я прячусь в палисаднике и смотрю вам вслед. Мне ужасно хотелось бы оказаться на твоём месте. Сейчас, когда я выяснила, что между вами ничего нет, я надеюсь, у меня с Колей всё получится. Через год мы поедем в район, в школьный интернат. У нас там многие уже переходят с парнями к серьёзным отношениям. Я постараюсь сделать так, чтобы Коля женился на мне до службы в армии.

Марина боялась даже спросить, каким образом Наташа надеется осуществить задуманное. Лишь смутно догадывалась, на что она намекает. И эти откровения ей было неприятно слушать. Не зная, как побыстрее избавиться от Натальи, она пролепетала:

— А после школы вы разве не хотите поступать куда-нибудь?

— Раньше я хотела после восьмого класса поступить в медицинское училище, но теперь передумала. Зачем? Колины родители недавно новый

дом поставили—огромный. У них и хозяйство самое большое в деревне. Даже «Запорожец» имеется. Я уже рассказала маме, что люблю Колю. Представляешь, а моя мама, оказывается, когда-то сама любила Колиного папу.

«Видимо, у неё тоже не сложилось. Наташа, Наташа! И зачем ты мне это рассказала? Кого же ты любишь? Колю или новый дом с „Запорожцем“? Какой ужас. Даже не думала, что ты такая глупая. Разве можно мечтать о таких банальных вещах?»—подумала Марина, заметив, что от прежней Наташи остались только тугие косички. Перед ней стояла пустя и не до конца сформировавшаяся, но девушка. Марина не могла рассказать, что вообще-то Коля пытался взять её вчера за руку. Может быть, он тоже вообразил себе, что у них свидание. Его сбил с толку мечтательный взгляд, которым Марина провожала красивый закат. Только думала она о Грише Чингарове. Ей хотелось одного—скорее вернуться в город. Она уехала бы в город завтра утром, если бы не день рождения бабушки. Вся родня неизменно собиралась двадцать третьего августа. Ничего не поделаешь, придётся потерпеть ещё неделю. Надо устроить так, чтобы больше не оставаться наедине не только с Колей, но и с Наташей. Детские радости летних каникул больше не повторятся. Оставалось смириться. Что же будет дальше? Об этом думать не хотелось совсем.

Летние сюрпризы на этом не закончились. Скандал случился во время праздничного застолья. Гости сидели за столом, и всё шло как обычно, пока не приехала младшая из бабушкиных дочерей, тётя Катя. Марина уже знала, что непутёвая тётушка развела с третьим мужем и нашла себе очередного ухаждёра. Бабушку не успели подготовить к встрече с новым зятем колоритной наружности по имени Баадур. Четверо сестёр никак не могли решить, кто из них сумеет деликатнее рассказать матери, что так уж складывается Катина судьба и никто не виноват. Павлик, на которого возлагали большие надежды, оказался тьюфяком и не сумел удержать жену. Хотя в душе все понимали: сумасбродство младшенькой не знает границ. Катерина специально приехала с большой задержкой, надеясь, что почва уже подготовлена. Бабушка вышла встречать приподнявших гостей. Она обнималась с Катей и, улыбаясь, приняла подарок из рук Баадура, не подозревая, кто стоит перед ней. Застолье продолжилось, но веселье длилось несколько минут. Бабушка почуяла неладное и внимательно оглядела поочерёдно гостей. Недослушав здравицу в свой адрес, поднялась из-за стола и вышла. Немного замешкавшись, родня последовала за ней во двор, но старушки нигде не было. Марина знала, где её искать. Соседки сидели на лавочке в тени старых яблонь за домом тёти Любы. Бабушка рассказывала, почему бросила гостей:

— Ничего не понимаю. Как живут нынче? Люба, мы разве такими были? Вышла замуж—терпи. Чего их менять, мужиков-то? Все одинаковые. Притираться друг к дружке не хотят. Уступать никто не хочет. Себялюбия у всех через край.

— Это точно, Егоровна! Нынче все скорые на праву. Мои тоже всё твердят: забей корову, забей. А как бы я без неё их троих подняла, когда Миши не стало? Теперь глаз не кажут. Лёгкой жизни все хотят.

Надо сказать, что Марина всегда удивлялась бабушкиному терпению. Сидит, беседует с соседкой как ни в чём не бывало. А когда в середине июня случились заморозки и в огородах всё вымерзло, тётя Люба поехала на рынок за рассадой. Бабушка дала ей денег и просила купить для неё цветов. Хитрая тётя Люба купила, но себе выбрала крепкие саженцы, а оставшиеся отдала бабушке. Даже неопытная в садоводстве Марина это заметила. Но бабушка отнеслась к этому с абсолютным спокойствием и ни разу не попеняла соседке. Марина пристроилась рядом на лавочку и молча слушала разговор взрослых. Пришла тётя Нина:

— Мама, ну ты чего? Пошли. Виктор уху сварил. Шашлыки готовы.

— Иди, Нина. Посижу ещё пять минут и приду.

Как научиться такому терпению и умению прощать всех, Марина не знала. Люди часто несправедливы даже к самым близким. Ей и в голову не могло прийти то, что бабушка давно изучила характер своей соседки. Старушка давала денег на рассаду, уже зная, каков будет результат. Поэтому ничуть не огорчилась. Поехать в районный посёлок на рынок она не могла, так что выбор был невелик. Лучше хиленькая, но рассада, чем совсем остаться без цветника.

Первого сентября Марина проснулась ни свет ни заря, чтобы самым тщательным образом подготовиться к общешкольной линейке. К ней в комнату заглянула мама с букетом цветов и удивилась: — О, доча! Да ты уже встала. Тётя Шура тебе астры принесла.

— Хорошо. Передай спасибо тёте Шуре.

— Ну, я побежала на автобус. Рубль возьми на холодильник. Всё не трать. Это тебе на два дня.

— Хорошо, мамочка! Спасибо.

Марина, лёгкая и красивая, влетела на школьный двор. Быстро нашла свой класс. И начала разглядывать ряды десятиклассников. Светка как бы случайно провела ладонью по спине подружки и, нащупав застёжку лифчика, многозначительно постучала по ней указательным пальцем:

— Так-так! Понятно.

— Отстань. Тебе-то что? — дёрнула плечом Марина.

Она начала переживать. Чингарова нигде не было видно. И разговаривать совсем не хотелось. А Светка была настроена поболтать.

— Зря высматриваешь. Нет его здесь. Ты что, ничего не знаешь?

Светка гордилась своей осведомлённостью, ей очень хотелось продлить интригу и посплетничать. Но Марина всё же была не совсем чужим человеком, и она не удержалась, выложила всё сразу: — У него родители развелись и разъехались в разные города. Гришка забрал документы из нашей школы и уехал совсем. Говорят, его зачислили в школу олимпийского резерва.

— Как совсем?! Этого не может быть!

— Я думала, ты знаешь.

Весёлый барабанщик, всё утро отбивавший Марине лёгкий мотивчик, куда-то исчез. Сердце свернулось колючим ёжиком. Стало больно. Ещё минуту назад сердце было источником искрящейся радости от предчувствия скорой встречи с Чингаровым — и вдруг перестало биться, превратившись в колючий комок. Марина словно оглохла и перестала слышать его беспокойные удары. На месте весёлого барабанщика появилась маленькая грустная девочка, точная копия Марины. И эта девочка не могла справиться с внезапно свалившимся горем. Этого не может быть! Как же так? Марина беспомощно озиралась по сторонам, не веря ни единому слову подружки. Это шутка. Злая шутка. Только и всего. Светлана заметила резкую перемену настроения, и ей стало жалко Марину: — Не переживай. Бывает и того хуже. У нас сосед утонул этим летом. Вот это горе. А тут — подумаешь. Не умер же он, в конце-то концов.

— Чингачгук не может умереть, — прошептала Марина.

— Что? Я не поняла.

Светка внимательно посмотрела на Марину слегка прищурив глаза: «Что за чушь? При чём здесь Чингачгук?» Она не любила, когда кто-то говорит загадками. Маленький ужик сочувствия, мелькнувший среди других мыслей, тут же принял стойку злой кобры.

Утром, собираясь на школьную линейку, Светлана внимательно изучала своё отражение в зеркале и была весьма довольна собой. Вьющиеся каштановые волосы, прямой нос и надменный взгляд, который она подсмотрела на одной знаменитой картине в Третьяковской галерее. Прошлым летом они с мамой побывали в Третьяковской галерее. Мама сказала, что теперь им есть чем гордиться. Мало кто в их городе может похвастаться тем, что посетил культурное заведение такого уровня, знаменитое не только в стране, но и во всём мире. Сегодня уверенность в собственном превосходстве дала трещину. Она впервые поймала себя на мысли, что завидует этой недотёпе. К тому, что Марина лучше учится и хорошо соображает в математике, она уже привыкла. Всё это ерунда. Светлану беспокоило другое. Она очень хотела влюбиться в какого-нибудь мальчика или мужчину, самое время, понять, что чувствует при этом влюблённый человек, но ей решительно никто не

нравился. Успокаивала себя тем, что мама права: любовь — это глупые фантазии дураков. Придумают сами себе и верят. Вздыхают, плачут. Глупости всё. Жить надо для себя и любить себя. Как можно любить совершенно постороннего человека? Бред. Светка верила своей маме, но сейчас, наблюдая за тем, как мечется Марина, она засомневалась в маминой правоте. Сама мысль о том, что в этом мире могут быть вещи, недоступные для понимания, вывела Светку из себя. Учёба не в счёт. Косинусы и синусы — это фигня на постном масле. Деньги она считать умеет лучше других. В делах житейских в сто крат умнее Маринки. В людях-то она разбирается. Но искренней и неподдельной привязанности одного человека к другому Светка понять не могла. Зачем? Зачем надо обрекать себя на душевные муки. Ей хотелось любовного флирта, не более того. Велика беда — уехал какой-то Чингаров. И что? Свет клином сошёлся?

Марина так же внимательно изучала лицо подружки, словно впервые видела её. Она жалела о том, что позволила Светке догадаться о своих чувствах к Чингарову. Сегодня Марина выдала себя с потрохами. Светка ни за что не пропустит её слова мимо ушей. Кто угодно, но только не Светка. Только теперь Марина заметила странную особенность своей подружки. Выражение её лица всегда было неизменным и даже надменным. Лёгкий прищур зелёных глаз и блуждающая полуулыбка, которая исчезала только в минуты редкого сосредоточения. При выполнении контрольного задания уголки губ озабоченно опускались. Обладая скромными способностями, получать плохие отметки Светлана не любила. Сейчас Марина поняла, что это не она выбрала себе подружку, а Светка выбрала её. В самом начале, когда их общение только зарождалось, Марине нравилось, что эта рыжеволосая девочка рассуждает не по годам, знает какие-то вещи о которых сама она даже не догадывалась. Светка была осведомлена обо всех значимых и не самых значимых событиях города и уж тем более школы. Это ставило Марину в тупик.

Два года назад подружка сообщила ей о том, что учитель математики Виктор Николаевич и «англичанка» Лариса Ивановна состоят в любовных отношениях. Каким образом пятиклассница могла проникать в тайны взрослых людей? А главное, зачем? Учительница английского жила с Мариной в одном дворе. Однажды девочка случайно увидела, что Виктор Николаевич появился возле её дома. Любопытство взяло верх, она остановилась и стала наблюдать. Учитель тенью промчался мимо неё, сделав вид, что не заметил. От волнения Виктор Николаевич проскочил мимо подъезда. Вернулся назад и с вызовом посмотрел на Марину. Несмотря на то, что их разделяли добрых десять метров, Марина успела заметить, как побагровело лицо учителя математики. Ему явно не понравилось, что

какая-то пигалица стоит и наблюдает за ним. Следующую контрольную работу Марина написала на «три», чего с ней никогда до этого не случилось. Виктор Николаевич нашёл способ отомстить за минуты унижения. Вообще-то Марина не обиделась на учителя, понимая, что вела себя весьма глупо. Весь дом знал, что муж у «англичанки» горький пьяница и тиранит свою семью. Драма закончилась через пару месяцев — вызовом наряда милиции и составлением протокола. В приступе белой горячки мужчина вышагнул из окна подъезда или выпал случайно, потеряв равновесие в алкогольном угаре. Признаков насилия на теле погибшего не обнаружено. На этом мучения Ларисы Ивановны и её шестилетней дочки закончились. Выждав приличное время, Виктор Николаевич и Лариса Ивановна узаконили свои отношения.

Сейчас они стояли рядом на крыльце школы и улыбались. Им было светло и радостно. Марина вспомнила эту историю и отвернулась от Светки окончательно. Вокруг было торжественно и шумно. Бодрым шагом промчался мимо один из выпускников, держа на плече первоклашку с колокольчиком. Взволнованные родители теснились вокруг. Школьный двор тонул в море цветов. Марина с тоской смотрела на ставший чужим для неё праздник: «Зачем столько цветов? Как на похоронах». Она внезапно поняла, что этот день стал для неё последним днём детства. Прежде всё было по-другому. Первое сентября дарило волнительные и радостные встречи. Ты становишься старше на целый год. Нынче они — уже седьмой класс. Марине даже казалось, что разница в возрасте между ней и Гришей сократилась. Теперь всё это не имело значения. Одноклассники с любопытством рассматривали друг друга. Мальчишки ревниво прикидывали, кто кого перерос за это лето. Никому из них не хотелось на уроке физкультуры

оказаться в хвосте шеренги. У девочек свои дела, рост их не слишком волнует. Они хвастали нарядами безделушками в виде школьных принадлежностей, заколок и прочих мелочей. Одна стала обладательницей золотых серёжек. Наконец-то после долгого нытья и уговоров родители сдались и разрешили проколоть уши. Важно? Ещё как важно! Другая одноклассница впервые побывала в Крыму и привезла оттуда поющую раковину. Все по очереди слушали морской прибой, стараясь уловить запах моря. И только Марина не видела и не слышала ничего. Не радовал даже ажурный и удивительно белоснежный фартук. Мама старалась для любимой дочки. Таких фартуков не было больше ни у кого в городе. Стандартная школьная форма была намного скромнее.

Торжественная линейка закончилась. Марина не пошла вместе с классом на набережную, а вернулась домой. Переоделась. Небрежно бросила нарядную форму на спинку стула и, не застёгивая халат, без сил свалилась на кровать. Она чувствовала такую усталость, словно разгружала вагоны с арбузами. Теперь ходить в школу не хотелось. Чингарова там не будет. Совсем недавно она осуждала Нагашу за то, что та рассуждает о Коле как о своей собственности. Это казалось диким по отношению к человеку, даже если ты его любишь. Тем более — когда любишь. А теперь она сама думает точно так же. Она любит Гришу, и он просто обязан быть рядом. А как же иначе?! Всё лето Марина мечтала о нём. Время разлуки не казалась таким тяжёлым, впереди была радость их встречи. Теперь всё рухнуло. Не осталось даже крохотной надежды. И это величайшая несправедливость! Гриша уехал навсегда. Это почти что смерть. «А Чингачук не может умереть!» — она мысленно несколько раз повторила эту фразу и заснула.

Андрей Белозёров

Трое

(К новым берегам)

Средь бела дня в городе на Днестре опять звучали выстрелы... Горожане, сбитые с толку пропагандой, свыклись и с этим выяснением первенства—между милицией ПМР и полицией Молдовы. В отличие от Тирасполя левобережного, Бендеры занимали позиции умеренные в стратегиях Разрыва, травимых политтехнологами, и... пожинали плоды. Головной же офис Республики непризнанной в тылу находился. И через годы заслуги как центра атаки мозговой будет превозносить, упустив, что победу на острие меча добыл ему сосед правобережный. Однако бендерчане полагали до последнего: перебесятся лидеры в газетах и по телевидению; словно и не пылали на прежде единой одной шестой веси—в Абхазии и Осетии Южной; а армянские и азербайджанские кунаки по зачину мундиров не наставляли в пылу «калаши» друг на друга... а тут только волю дай!

1.

...Двадцать второго июня, по прошествии полувека от начала Войны большой, война малая, междоусобная (коварная не менее), в Бендерах была в разгаре. На занятом армией конституционной микрорайоне «Ленинский» люд местный принимал тяготы восстановления целостности государственной... В подвал пятиэтажки жилой, расположенной бок о бок со штабом вояк (в отделении местном кинопроката), под дулами автоматов были водворены ввечеру двое мужчин с гематомами на лицах и женщина, почти юная, без признаков глумления. Тела их изнывали от усталости. — Господи, *за что?!* Знаю! Тридцать лет жилось вольно: школа с медалью, вуз, точил репортажи *как полагается*... Ударисься и в мистику: в ответе, мол, за всё, за всё, *за всё!*..

— Пальцы твои без следов пороха... Ещё несколько сот метров побудь для них машиной землеройной, а дальше—свобода!.. Ещё чуть-чуть...

— Крови на нём нет, ты права, девочка, да взяли-то его с корочкой на кармане, хе-хе, корреспондента

издания сепаратистского! Окопы для него—поклоны Богу: умолять, чтобы рытьё не прекращалось! И мясо ладоней стереть до костей... А ты говоришь...

Голос выдаёт амбиции обладателя, он старше лет на десять протагониста... Всполохи дальние и ближние освещают помещение через оконце под потолком. Дворницкая. К стене привалившись, старший вбросил в пыль ноги в туфлях израненных. Объект же критики едкой в джинсах изгвазданных—напротив, об руку с заступницей своей. —...Расстреляют!—в беспросветности катал младой какую-то лепёху тонкими, как у пианиста, пальцами в ссадинах.—В окопах слышал: *четверых уж!* Сутки отпахали под обстрелом—а всё равно: если не знаешь языка, значит, наймит вражеский!.. — Отличник: вспомни десяток слов молдавских...

Спутница желала успокоить младшего из мужчин. Ощущалось, что не жена ему, но есть между ними притяжение. Высока и стройна, как с подиума; на лицо ж не совсем легитимна в привлекательности: соголазие... А вот голос нежный, грудной... — Оставьте, девушка, миссию гуманитарную: будем к смерти готовиться, хе-хе. Зачем иллюзии питать?... Ну что в ней, в жизни-то: дрожать и бежать, дрожать и бежать!.. По молодости боялся не успеть в деле любом—к примеру, жениться не на той; дети пошли—опять страхи: *как они, что, кровинушки мои?*.. Боялся: империализма, сионизма, распада Союза и, наконец,—объединения Молдовы с Румынией!.. Потому и искал сразиться—с судьбой. Три дня катавасии сей—верите, гора с плеч: не боюсь!.. Стрельба в районе «Северный» меня застала, я ж шёл на юг, на «Ленинский»: все *оттуда, я—сюда!*.. Близ Крепости у позиций ПМР казаки просили пулемёт на крышу девятиэтажки подсобить. Помог, ради Бога! По периметру же части российской у автовокзала—ни выстрела тебе: хранит нейтралитет армия. А поодаль снаряды ссаживают деревья, как лопухи, обыватель кишками тротуары метёт, провода виснут, асфальт дыбится... А мне хоть бы хны: не бегу! Ведь я порвал и с *теми*, с кем не просто порвать... Да брось ты глину мять!

Трибун задумался. Прежде чем началось *это* (чего избегал в помыслах обыватель), он расточал

себя на толпу уличную, на лица, дома не усидев. Оборотил как-то взор к глянцу витринному—и «возлюбил» себя, апологета порядка нового: готов был отражению дать пощёчину! Ведал: не без участия рьяного его вспыхнет вот-вот в городе родном. И что смог? Самоустраниться, когда карьера взлёт обещала!.. И стало так: взирал в горожан с иным блеском глаз своих испытующих и жадных. Уже не с войной заодно.

— А я только начинаю — *бояться!* — младший швырнул лепёху в проём оконный, где гул крепчал. — И невдомек: *почто?*.. Да, журналист, но учился-то я в Кишинёве... — он не закончил мысль. — Скорее б утро — и за лопату! «Шма Израэл! Адонай элэхейну, Адонай эхад!..» — «Слушай, Израиль! Господь наш Бог, Господь один!..»

Пролетело *нечто* по-над крышами кинопроката — штукатурки метель здесь, в дворницкой... То ли залп по центру города бунтарского, то ли обратка в колеснице огненной. Всё сдвигалось в какофонию: и близкие мин шлепки, и дальние во чреве земли гаубиц насаждения... также и трели автоматные и пулемётные, вдёрнутая харизма в них... Такой футбол!

— Помолился — и нет *жуткого*, так ведь? — оживилась девушка, усилив голос в канонады наплыв. — Сказал же товарищ: «Война — с плеч гора!..» — смерила раскосого старшего, одобряя. — На все воля Божья, за чередой событий грозных взойдёт и их приятия *лёгкость*... Роман Кундеры по радио «Свобода» слушала я в час начала войны...

Полемист заядлый и тут не удержался, сшибая всё и всех в бездны разбитные:

— И давно это у вас — увлечение *волнами?* — но ответ его не интересовал, гнул своё. — Слушал некогда и я «Голос», будучи уверенным, что не застучают, хе-хе... а вот ныне со спецкором «Свободы» соседствую по площадке лестничной — времечко-то? — Вы знаете Хладнюка? — пуще забрала тоска младшего. — Он в газете нашей лил на мельницу сепаратизма. Но потом... Вот из-за перевёртышей этих я в овнах жертвенных?

— Опять разволновался, — застонала напарница — и с вызовом к оппоненту: — Я бы просила не давить! Заразителен ведь негатив. Возлюбите себя — и вокруг всё изменится!

— Городишь чушь, милая! Если я извернусь, как йог, и лизну в обожании пятку свою — приятеля твоего не расстреляют?! Или он из сепара обернётся в конституционалиста?!

— А за что вы меня так? — младший разобраться желал. — Мы ж в упряжке одной. Я прикрывал вас, когда вы то и дело залегали. У меня, между прочим, мозоли кровили... и у неё, — берёт ладонь девушки, — но мы продолжали грызть окоп... А вы всё не спускаете?

— Догадайся с трёх раз! — оппонент глядел на парочку, не мигая.

— Хм. Претерпевать в лапах наци — и самому изводить *такого* же бесправного! И перед расстрелом, сверкая очами, не упустите погрёка курчавому, не правда ли?

— Заладили, мужчины: еврей — не еврей! Я наполовину русская, на другую — молдаванка; полукровок *они* называют манкуртами!

— Да уж, куда забавнее на фоне этом лозунг *их* нынешний: «Русских — за Днестр! Евреев — в Днестр!..» — прыснул молодой. Он и не думал обижаться, по большому счёту.

Помолчали под раскат очередной.

— Меня Владимиром зовут, — сменил тон старший. — Не поверите: сороковник вот стукнул позавчера — под вой сирен штаба го... Давайте уж знакомиться, весь день ведь мантулили бок о бок...

— Ефим, тридцать лет, корреспондент газеты «Новый путь». Бывший теперь уж *кор*.

— Дойна, двадцать пять, руководитель хора церковного.

— Вот и славно... По вопросу же *главному*: мне, русскому, обидно, что на сутки третьи за евреями автобусы пригнали из Кишинёва! А горожане иные — мастью не вышли?

— Я отверг шанс сей эвакуации в пользу детей и стариков, — не сбавлял и Ефим. — А лозунг дня: про русских и евреев на Днестре... кому пришлось бы ту же в ситуации, как думаете? — но махнул рукой; стряхнул и с головы ошмётку. — Кормить нас будут?

— Проголодался — значит, в порядке мóлодец, а я уж думала... — Дойна решала уравнение сложное. — Слушай, Ефим, а взял бы ты меня в жёны, если б не уродство моё?

— В клинике одесской косоглазие правят в одночасье... Свадьба скорая, ха: а вдруг женат паря? — подкинул ей неизвестных Владимир.

— Я холост. И, вероятно, женился бы на Дойне... — Ефим к Владимиру. — Утром мы попутчиками случайными на вояк этих напоролись. Они вскинули дула в нас, а я не смог откреститься — от удостоверения чёртова... Она ж бросилась под «калаши», кричала по-молдавски, чтобы убивали обоих, так как *муж и жена мы!*

— Ох, Ефим, не трави душу! — Дойна лицом в ладони. — Мной погнушались!.. Ничего нет хорошего в насилии, но если тебя отвергают *те*, кому позволено всё...

— Дура! Радуйся, что солдатня не попользовала. В книгах о войне девки сажей мазались, чтобы не глянуться фрицу. А ты — берёза стройная... Ефим, угомони девчонку!

— Дойна, милая... — тень Ефима от всполоха взметнулась по стене. — Обещаю: если не расстреляют, заживём на лоне Красного и Средиземного... В новом году в Иерусалиме!

— Честно?! Ефимушка, я сейчас *опять* зарыдаю. От радости...

— Куда уж честней: ты ему жизнь спасла. Торжествуй!.. Вот только мужику русскому податься некуда. В новом году в Иерусалиме, однако! — взялся за голову в показном...

— У нас любовь — вы не допускаете? — и ушёл в рефлексию Ефим: — Вот оно — перед казнью всё только и встало на места! А ведь я всегда думал о месте в жизни. Теперь подальше — от политики и от территории проклятой извергов и рабов!

— Манифесты лидерам-сепаратистам кропал: *виновен!* — Владимир цербером у врат.

— Познал, как Свобода даётся! — отмахнулся Ефим; потом к Дойне: — Ты со мной?

— Куда она денется?.. Будто забыл: *в любой момент!* Крысам оставят на плитах этих!

— Впрямь! — хлопает Ефим себя по лбу. — В минуту любую... рас-с-стрел! *всё, что они могут!*.. — обнимает Дойну. — А вот хрена!.. — тянет кукиш в окно. — Когда ты их умоляла, а *они смеялись*, я тогда и решил: будем вместе!.. А вы, — к Владимиру, — нарушите приличие — и меня ваша категория весовая не остановит! Это я с виду хлопкий...

— Успокойся, Ефим: Владимир — шутит. Он просто такой всегда... Вы такой ведь? — Дойна к Владимиру. — Я не шучу. Если не дают еды пленникам, значит, завтра других на окопы.

— И что мы можем изменить? — Дойна, также ополчаясь в диспут.

— Готовить побег.

— Вот тогда точно пиф-паф, — едва улыбнулся Ефим.

— Не смейте! — Дойна всплеснула руками. — Надо ждать!

— Ха, умолить небеса на участке тщедушном? — Владимир торжествовал в отчаянии. — На евреев глянь, девочка: сотни лет ожидания в алию обратили!.. Надо бороться! — к Ефиму: — Помни: у них не диплом твой, а корка сотрудника, что по линии издания гнёт!

Пауза. Канонада набирает обороты и опадает. Ливнем сыплется где-то стекло битое.

— Что-то мне лицо ваше знакомо, — поднял глаза на мучителя Ефим. — Быть может, *они* заинтересованы именно в *вашем* расстреле?

— Да, я один из лидеров комитета рабочих, вернее, бывший... И с тобой, Ефим, мы коллеги, беря во внимание пару-тройку воззваний, подправленных мастеровито рукой твоей... Доложи это усачам с «калашами», уверь их, что в сеть угодила рыбёха!

Ефим выругался; Владимир продолжил:

— Я отвечал за организацию митингов. Через форму данную мы и сколачивали Фронт антинационалистический; в помощь нам — газеты, телевидение-радио. А вот курировали нас — всё *те же*, кто испокон верховодит. И наци сплошь — под контролем тем... Заявить же открыто о приготовлениях того и другого лагеря к войне я не решился, кишка тонка...

— А здесь, в плену? — встряла Дойна. — *Что* здесь?

— И тут я — узник совести, и там — в Одессе, в Кишинёве или в Москве, без разницы!

— Вы не пытались дать интервью «Свободе»? — спросил Ефим.

— Верно, я вот слушаю волны, и многие в ПМР их слушают, — воспрянула Дойна. — *Знаю* и Хладнюка, он бывает в храме на службах воскресных... с батюшками общается...

— Замаливает грешки, сосед хренов! — сверкал глазами Владимир.

— Мы бессильны против охраны вооружённой! — вернулся Ефим в русло.

— *Кое-что* в наличии! — Владимир подобрал брючину, обнажил привязанный к ноге нож армейский. — Вот почему я залегал во рву и прятался за тебя.

— Ой, не нравится мне это! Ой, мужчины... Ой! — Дойна себя превзошла гортанно.

— Тише, Дойна!.. Дело говорит Владимир. Нужно бежать!

— Дождёмся конвоира. Ефим отвлекает, а я подступлюсь сзади... и... прощай город!

— Я бегая хорошо... — часто дышала Дойна. — В направлении полей, там и тропка... Я проведу, — и опомнилась враз: — Только не насмерть: человек не овца, чтоб резать!

— Вот и вечно у вас, барышня-христианка, — *как бы*. А богам войны крови подавай! По богу и богомольцы! — Владимир пребывал в *диком* поле разума, знал это.

— Руки-ноги связать... — Ефим тянул ремень брючный свой, на прочность апробируя его. — Да и у вас — кожаный... — к Владимиру. — Резать не надо. Человек всё же.

А Владимир метал молнии:

— Э-эх!.. И я курицы не заколол, чёрт возьми, — по этой части жена... Но сейчас перегрызу кадык каждому. И вам приказываю: собратся в кулак! — Детский сад! — срывалась Дойна. — Отдайте нож, — ринулась к Владимиру (Ефим удержал, она села). — Нужно покаяться. *Они же* — по праву. Мы — раскольники!.. Надо молиться. Безучастным Бог не останется. Нас *трое*, а где *трое во имя* Его, там и Он!..

— Предложу *им* денег?... — Ефим разошёлся во имя спасения всеобщего. — По сотне за каждого — и дело в шляпе! Могу и по двести баксов...

— Как *им* отпустить тебя за деньгой?... Или еврей хитрый гроши в трусы зашил?

— Ещё вариант, — не сдавался Ефим. — Здесь недалеко квартира бабули покойной моей, там серебро столовое, *кое-что* из утвари... облигации... Если, конечно, дверь цела.

— Да уж, дверь любую вышибают ныне в поисках диверсантов. *По праву*, хм... Спасение — нож! — поигрывали рьяно блики на оружии холодном в руке Владимира.

— Мужчины, не умножайте зло! Предлагаю солнце встретить с молитвой! Они придут — и увидят нас на коленях: мы молимся за свои и за *их* грехи...

Канонада за окном усилилась. Вгрызлся ожесточённо металл в коробки домов, струны асфальтные рвал, шуршал маракасами по окраине многоэтажной... И после каждого разрыва металлофонического, сдвигающего осознания плиты (с чьей стороны залп? на чьей вдребезги осколки?..), — вопль! *То* жертва очередная сходила — в восторг саднящий, душу испепеляющий... *То* — музыка войны... И *это* передавалось Вселенной!

Ефим бил кулаком о пол пыльный:

— Я *строил* жизнь, планируя, не позволяя прозябания в праздном... никаких игр тебе опасных — лыжи, горы, акваланги... Однокашников, угребающих с песней в армию, я презирал. Не моя зона смысловая! А-ха-ха-ха! Ну-ка дайте нож!!! — Что ты собираешься делать? — всполошилась Дойна.

— Не чини ущерб телу своему, хе-хе! — играл сталью Владимир. — В этом Бог ваш!

Ефим уткнулся в колени, зарыдал. Под футболькой позвонки обозначились. Подросток в катакомбах на игре «Зарница» — заплутал! Дойна тронула осторожно его за плечо:

— Положись на меня.

Владимир, матюгнувшись на сие, встал и устремился в угол, где среди метёлок узрел ящик громоздкий, подтащил к окну его, опрокинул вверх дном и вскочил на него.

— Казаки прорвутся — будет у нас *шанс*. Не прорвутся — окопы на славу мы отрыли!

— У вас, Владимир, ассоциации странные, — произнёс Ефим, всхлипывая.

— Дружище, знаю мысли твои: авось разведка проявит интерес к нам? — Владимир вернулся на место. — Меня ж спасение эдакое троичи нашей не устраивает!

— Я вас ненавижу. И всех, навязавших модель авантюрную на берегах Днестра, — без разницы: разочаровались *лично*, ушли из-под влияния Конторы ли... сволота, дичь. Не даёте жить нам и себе поганите!.. Я вас узнал — как только взялись мы за кирку и лопату!

— И тексты мои правил перед вёрсткой, косолапости фраз усмехаясь... Со мной нельзя быть незнакомым, я на виду!.. Я и есть медведь тот с карикатур голливудских, хе-хе...

— Убейте меня — и меньше слов!

— Что вы такое говорите, мужчины?!

— Убейте; не слушайте её! Ну же...

Владимир вскочил-таки на призыв — и с ходу примерился с ножом к горлу Ефима:

— Ну, пульс участился? Начинаешь *быть* лишь на *острие*!.. Умилостивим Господа?..

Обернулся к Дойне, ухватив её за волосы пышные; приставил ей нож:

— О, возьмём лучше девицу!.. Чик-чирик — и кровушка ручьём! — склоняется к уху Дойны (та ни жива ни мертва): — Женишок твой кудрявый — такая ж рыхля, как и все!

Оттолкнул девчонку; сел под стену на место прежнее.

— Прошу простить слабость мою. Хотел явить: человеко-зверь, загнанный в угол, — опасен!.. — и опять мысли ход. — Не горазды мы на прыжок: так и будем *уповать*.

— Однако Бога вы сейчас призвали, отрицая в Нём — Его же! Вы — на подступах!

— Прибереги песни для хора! Все соплеменники его, — указал на Ефима, — держат Бога за яйца. И Бог впряжён в арбу их сонмом ангелов и демонов... Чтобы объегорить *не избранного*, необходимо во время оно убедить себя — в избранности собственной!.. Евреи знакомые говорят: «Мы, хитрые, научились водить за нос мир при помощи Бога!..» Я же уточняю: «Вы, евреи, таки бестии, научившиеся обводить вокруг пальца *себя*!»

— В этом и ключ! Мы *познали* Бога, а ваше *незнание* ведёт к состоянию животного. Поэтому: «Евреев — в Днестр...» Искоренив нас, вы растянете экстаз самоуничтожения!

— Ты прав, чёрт! — чесал затылок Владимир. — Главное, что мы знаем о *Боге*, — это требование от нас же веры и смирения. А у евреев не сошлась на смирении вера!.. Да, не люблю я брата вашего; надумывал и со скамьи школьной, что вы — инопланетяне, — так как родители мои не имели ответа: почему русские, украинцы и прочие — стаей, а евреи — особняком? *Нездешние*, задачу блюдут? Но какую?.. А без понимания *миссии* *вашей* (и *миссии*) с места и не сдвинешься в осознании законов социальных!.. И в аппарате у нас шептались все в кулуарах — о всесии еврейском... Вот и молдаване, прозревая о перемен рычаге, кропают лозунги эти смешные: кого там за Днестр, а кого — в Днестр...

— Мы в плену у националистов, а сами рубите — с плеча.

— Надо молиться!.. — встряла Дойна. — И одолеем беду. Молитва, коей зверь лишён, *усечёт* зла умножение! Ведь то, что Владимир *якобы* не признаёт Бога, а ты, Ефим, *признайши*, — в этом споре *уже* Бог. Ибо сказано: «Где трое во имя Бога — там и Бог!..»

— Браво: *ждём чуда*?! — ударил в ладоши Владимир. — Ну и невеста у тебя, Ефим: симпозиум в *оковах* завела пред казнью!..

— А вы не можете не затащить в страх! — крыл Ефим. — Сгонять стада дрожащие на митинги, рисуя картины апокалипсические. И потерей свободы третировать рабов! Кредо?

— Стары как мир техники управления, да уж... — Владимир уваливался к стене.

— Всё образуется, мужчины: стихнет свистопляска ночная... всё образуется...

— Лучшее не обсуждается! Сама знаешь: пятерых расстреляли на участке; они и рыли могилу себе... А вот другим еду давали. Нам же—воду, как лошадям... Признак гиблый.

— Опять волну гоните?!—вздыхал Ефим, не теряя надежды пронять Владимира.

— Ты верно усёк: страх правит. Но, может, *страх Божий?*—Владимир в репертуаре.

— Так есть!—Дойна вскочила, огладила джинсы, воздела руки к потолку; сообразно моменту изрекла:—Всегда проще ужаснуть, чем подвигнуть околично! Страх—не признак бесхребетности, но причина для Духа осознания. Промысел святой!.. Вы оба—*верите*; и вы, Владимир, как бы ни изобличали себя, угодны—так как *горячи!*

— Она к тому же и артистка!.. А что запоёшь, когда поставят нас на краю ямы, которую и выроем?.. Палачи—*тоже* горячи! Ведь горячи, горячи—палачи?.. Хе-хе!..

Ефим охватил голову: опять эти штучки несносные оппонента. И заговорил:

— Вот и сообразили—*на троих!* Смерть на троих! Удел мой: пред лицом Творца—с антисемитом и христианкой. Откровение с пелёй на шею! Кха-ха-ха! Ведут меня на эшафот, а я правлю на манжетах письмо к Тому, кого измыслили предки мои для сделок с гоями!.. И вот они, загогулины,—Огненной Книги текст!—подносит к глазам ладони.—Буквицы неопалимые, чаяния и раздумья... вы служите мне оправданием на Весах! О Господи, мою Книгу переведут на языки мира... Дух аж захватывает!

— Дорогой, что с тобой?—склоняется Дойна над Ефимом, в изречённом им не вникая.

— Не дождутся!—Ефим встал в рост перед антагонистом, отстраняя Дойну.—Социума звано избыточное, коим мнили нас на отшибе антисемиты мастей всех, *ещё* сильно—в цепи *человеков*, в будущее устремлённых!.. Владимир, а вы ведь подметили: за нами, евреями, не просто сила капитала, но и сила *иная!*.. Да, я буду поутру тянуть к ртам с щётками усов диктофон... Но именно *они*, исполнители, будут передёргивать—и затворы, и смыслы, утверждая избранность свою, а *не мою*, дискурса зачинателя!

...Взрыв мощности невероятной потряс здание до основания—в апофеоз реплики Ефимовой. Трагедия личности (триединой) взметнулась в Сферы к Создателю незримому Вселенной явленной,—и—*ответ Небес!!!* Средства информации массовой передадут: «За минувшую ночь артиллерией гаубичной превращён в руины дом пятиэтажный!..» Но это не совсем так. Были смежны квартир угловых стены; в уровне подвальном—также флуктуации конструкций несущих и ограждающих... всё скособочилось *там!* Острога узники залегли; припечатало их, засыпало штукатуркой, кровь пустило из ушей—в июньскую

скрежета зубовного ночь... И канонады гул уступил тишине оглашенной. Но никто ничего не мог произнести (по поводу *стихий означенания*), нужны *ещё* секунды, в вечность распяленные, чтобы артикулировать начать.

По остову двери железной брешь образовалась—с кирпичами шаткими, что зубья тебе гнилые. Клубы едкие заволокли подвал... Владимир, припав к решётке окна, *вещал*:

— Бегут! И оттуда—и туда... всё, короче, смешалось!.. Кхе-кхе—горло дым дерёт!.. Мать честная, у них танк горит!.. Знать, Ефим, взыскание к потомкам отменяется: позже с монологами!.. Ба, огонь перебросился на хранилища с кинолентой... мечутся тараканы!.. Много огня и дыма, друзья!.. Ефим, давай вдарим по двери с разбегу! И дело в шляпе!

Выходили, озираясь. Под носом тех, кто мог угрожать расстрелом, но был занят иным: несколько квартир, как пирог в разрезе, явили сурово интерьеры многослойные. И тела мёртвые у подъезда кровавились веско, включая волонтера военного... Ругань, стоны контуженых, раций стрекот... И мирные, и армейские составляли среду суматошную... *Опрометью* через двор под гвалт и шелест шпарящий мин—вперёд, где гаражи и голубятни чернеющие, мусорные баки вывернутые, заборы, клумбы. Тропами, а то и по отмошке бетонной—к фасадам, сливаясь с ними... Нет-нет да и сыпалось стёкол крошево. По беглецам ли лупил снайпер, или обстрел *всех* окон?.. К бордюрам и цоколям, скаула и матерясь во всполохах огненных,—*трое*—по Ефимову адресу...

Через школу и детсад, задворками магазинов разграбленных и изъеденного мин осколками ресторана «Космос»... И чуть на патруль не нарвались, курсирующий по периметру микрорайона. На черепашу заводную был похож бронетранспортёр тот с триколором по борту. За остовом оплавленным павильона овощей укрылись от него... За столбом каждым мерещился *кто-то* с ружьём. Но шансом располагали беглецы. Путь до квартиры бабушки Ефима (под разрывами близкими и дальними)—лет в сорок блужданий! Минуты вселенские, распяленные в вечность *оголтело*... «Шма Израэл!..»

2.

Хрущёвка заветная. Во дворе—«козёл» милицейский, в сопли копотные утёртый по бортам шинами сторевшими... Подъезд первый. По маршам лестничным сердцами громыхали они, пульсом надежды: надо отсидеться, страхами питаюсь, ведь нет новостей внятных! И вот уже площадка квартир этажа пятого—и номер «семнадцать» в ромбике на дерматине двери... Рука Ефима тянет ключ. И—стоп! Сквозь скважину—потоки сумеречные. Замок выбит; след рант на обивке! В люк

чердачный по лесенке Ефим карабкается: приютить всех там или осмотреться желает? И—обратно, что пожарник на шесте... Бледен он обнаружения бледностью, как луна светит лицом.

— Пулемёт! — павлином сипит запоздало Ефим.

И в момент сей *из-за* двери шум—рация! Штык-ножом с мозга на живую срез. Там движение, то есть *здесь* уже, в дверях распахнутых: всё полонится башмаков ором, оставивших след рант! И фонарь навстречу шпарит люминесцентно. Обложены они (и те, и эти) заставой перил, очертились зверьём *на краю*, стресс последний постигая... Рация истерику небес усугубляет: скрежет зубовой! И армейцы блуждают взорами. Затрусил фонарь их—и упал, луч прокрутился. Глаз фары рефлектируют габаритно—в безумии друг на друга.

Разрешила напряг вселенский Дойна—по-молдавски:

— Мэй, домнуде... мы хотели проведать дом свой, но вам важнее... мы—*уходим!*

Владимир и Ефим кивали—в отсутствие апломба иллюзорного. Пользовались фонаря расфокусировкой: выспавших на площадку рассматривали. Трое их. В лицах мучение нездешнее. Призраки, юные оголтело... Командир же расчёта данного, базирующегося на окраине района занятого, отсутствует. Что и подтвердилось в ответе *на русском*: — Простите *вы!*—голос субтильный. — Лейтенант в штабе, в связи с ситуацией. Как вернётся, переберёмся... Вещи ваши в сохранности,—затем к своим: — Жосан и Рошка, на позицию!..—и жест пригласительный к гостям после отмашки формальной бойцам...

Дойна—уверенно вперёд. За ней Ефим и Владимир. Сержант (форма советская) чему-то улыбается в себе, фонарь и радию укрощая нервически. Даже по умолчанию читалось: верхолазы, ушмыгнувшие к пулемёту,—села жители диковатые, а этот, *на план* вышедший,—горожанин, холёный и коммуникабельный. Пристроив фонарь на шкафа антресоль, начал он с ходу *историю*, стоя, озираясь на себя (как и все) и на стол круглый, на коем и хлеба ломти, и тушёнка вскрытая; луковица вот ещё каталась, и зубья чесночные вразброс, словно патроны... Исключая виды паркета затёртого с окурками и шелухой, всё было цивильно: сервант с тренькающей в рюмке от сотрясений гулких медалькой-шоколадкой, телевизор цветной, ваза с ландышами из пластика, фотография внука-школьника у семисвечника на комодё... Итак, история радетеля прав конституционных:

— До дембеля месяц оставался. А нас в фургоны по тревоге—и сюда! Как овец в арбе, свезли битком. И ничего в спешке не понять: учения?... Чтобы служить дома, в Кишинёве, родители военкому двести долларов кинули; тот мог и «отмазать» вовсе—за «штуку»... и вот я при штабе бока околывал с выездом на стрельбы раз в квартал. Хм,

по расписке: тридцать патронов для «калаша» и сорок пять для пулемёта... К битве *иной* тяготел я,—приткнул автомат к табуретке, сел на неё; и всех пригласил жестом к дивану.—В училище искусств поступил: на руководителя коллектива фольклорного, танцевального. А меня сюда: восстанавливать целостность государства!.. В подчинении моём двое, «морпехами» их окрестили,—на крыше в дозоре по периметру: *докладывают*. Наша точка крайняя в линии, а «морпехи» знай себе—в дозор. Я и включаю-выключаю фон: «говорю», что диверсантов не обнаружено, чтобы только *мои* успокоились. Внуки чабанов с холмов Молдовы Северной, «морпехами» прозвали их *за то*, что уверены, будто с Америкой воюем. Офицер на политучёбе выразился некорректно: Америка-де руками России угрожает Молдове; а они так и свели конец и начало... Упёртые—спасу нет; лук и чеснок поглощают, стресс глушат, утверждаясь, что сепаратисты—пособники Америки. С детства их учили чабаны: Россия с добром к Молдавии, а со злом—турки и англичане... Офицеры махнули рукой: с Америкой, так с Америкой! Хотя по уставу воин обязан знать, против кого бой... Я же вскипаю *от осознания*: руки дрожат, голова кружится, пот и озноб... Грех, грех—и для ваших, и для наших—убивать!.. Терпеть не могу оружие. А *те*, на чердаке, трутся у пулемёта день и ночь, смазывают, перебирают. Автохтоны, говорил профессор в училище про сельских. И с тягой к машине смерти: баранов и индюков резали—и с «америкосами» поквитаются, *с вами!*.. Одни животные гнобят других; кровь льётся рекой, как поёт Мик Джаггер... Тошнит. Не стрелял, а уже облевал крышу, когда позицию осматривал... Многие из наших полегли у исполкома, выучки ноль. Офицеры про потери *те*—молчок. А сколько смотали удочки? Стучатся в дома, просят одежду, вплавь—за Днестр, в Украину бегут. А «орешкам крепким», кто *за возрождение* нации, им бы скальп снять кому из вас, сепаров!.. Злодеяниям по обе стороны несть числа. Хм!.. А ныне приказ: сдавшихся считать дезертирами. Всё, баста, выхода нет!

Стало ясно: перед ними срочник армейский, чудный грабежом и расстрелам.

— Как зовут тебя? — на прavaх хозяина поинтересовался Ефим.

— По-молдавски—Николае... по-украински—Микола... Коля—по-русски!

— А по национальности? — наседали Владимир; он уж освоился вполне.

— Наполовину—молдаванин, а на другую—хол,—улыбнулся сержант.—Школу вот русскую окончил... в училище же выбрал группу молдавскую—из-за стипендии...

— А я окончила консерваторию! И сразу—в хор церковный! Мы—коллеги! — Дойна смягчала напористость Владимира.

— Айда с нами! — краюху хлебную заглатывал Владимир, распорядившись здесь каждым и заглядывая по углам. — Выберемся из зоны боёв и — в Кишинёв! Ой-ля-ля, Николая...

— Дезертиры о возвращении домой не мечтают. А мне ещё учиться, семью строить...

— Неужели одно — *воевать*? — с тоской Дойна.

— Пять долларов... — Николай проныривал по гимнастёрке, не слыша. — Бабушка на именины подарила. Возьмите! — тянул он Дойне купюру. — Не медлите, огонь крепчает.

Ефим сидел очарованный, блистая слезой. Владимир хмыкнул. Дойна отдернула руку.

— Берите и *бегите!* — Николай ввернул хрустящую в ладонь девушки. И — промельк плутовской в лице: — Знаю: *вы в розыске!* Я перехватил ориентировку штабную: «Побег журналиста с пособниками, в том числе — женщина...» Садами уходите — к трассе на Каушаны. Беженцы тянутся туда, это нормально: комендатура ломает голову, что делать с лишённым воды, газа и электричества жителем... Вот-вот явится лейтенант.

Дойна обогнула круг света от фонаря, упрятала деньги в лифчик. Затем шагнула к служивому и, пригрозив прежде Владимиру, зашла речитативом, словно с клироса:

— Николай, *ты* наш Угодник. Прими иконку: «Святая Троица», носила, тебе передаю. И пусть охранит сердце твоё чистое, защитит от умысла злого и глаза и от пули спасёт!

— А если наступление? — дожёвывал Владимир. — Придётся ведь и за цевье... хе-хе...

Не досказал. Взрыв силы непомерной расколосил сознание, как арбуз, — и ужаса всполохи смачные, и восторга ляпы (раз живы, раз не убило!), и хохота брызги бесовские (послевкусие: не изведав, не понять!) вылизывали изнутри черепа мозга мякоть. *Впечатление*: снаряд за дверью смял в гармошку марши лестничные!.. Но — *по-прежнему* всё: и семисвечник на комод, и фото... и ландыши в вазе... Лишь в ушах звон. И качка!

— В поле за домом снаряд угодил, — пояснил весело Николай. — Я привык!

Ефим бросился зигзагом, равновесие храня, к ящику комода, к серванту, к тумбочке под телевизор: искал на ощупь, бормоча. Выхватил чётки коралловые из шкагулки — в карман, бусы сердоликовые — на шею Дойне. А книги: Тора, Галаха, Шул хан Арух, — как *их* с собой?... Обнялись по очереди — с Колей, от коего не разило ни войной, ни отчуждением (интеллигент, выбрит). Ринулись вниз, перепрыгивая ступени. Дилеммы «что делать?» не возникало — для тела о головах трёх, свет в конце тоннеля узревших.

Ан чёрт не желал шутить. У выхода из подъезда Владимир (вожаком он) наскочил на офицера, у коего бант белый на груди, за плечом же — в обуздании небрежном «калаш». Но передёрнуть затвор,

скомандовать зверю железному: «Взять!» — или им просто: «Руки!» — как это принято (час комендантский, да и беглецы на ориентировке!), — не удалось. Блюда лидерство, Владимир бросился на вояку, будучи ростом вровень, заглядывая спиртом потевшее вдоха-выдоха марево поршней нутряных его. И в стиле портняжьем (шито-крыто!), без стали посвиста широты, скovyрнул, будто профи, *что-то* в такт себе под взопревшей *его*, молдаванина, гимнастёркой... *Вкусил*. Вибрировала током по лезвию вдоль канавок кровь человека, сделавшегося близким тревожно... и — иссяк импульс на острие с интонацией песенной Кодр (откуда и был он родом, *этот*). Испытал Владимир новое — *о нём* и *в нём* — с жизни аккордом последним лейтенанта молдавского. Шли они в объятия годы, к сути этой несносной (наносной) — с задачей шли: один — улицами и умом линейный, другой — лесом витиевато-помпезным...

— Василаке — меня зовут! Я из Ниспорен!.. А ты — *кто?*.. Не отпускай на землю...

Ничего больше не сказал — только то, что сказал — с акцентом выдал убивцу наказ.

— Тс-с... — но уши себя не слышали.

Обмяк Василаке. Так и держал его на штыре точёном пьяный кровью экс-предводитель движения рабочего. Не назвался *ему*, зная, что имя *заберёт* он *туда*, за грань! Досаждало и то, что нет логики в воле последней жертвы: куда ж его, как не на землю? На порог, котами меченный, к мусоросборнику, а может, на диван?... В газон его, непрошеного, человека бывшего, к отмостке фасадной, где тропы забуддыжные, стекло битое и фантики конфет?..

Автомат взять не решились, и штык-нож — у трупа в груди. Вперёд, вперёд — и не оборачиваться: в столп заледенеешь... Закон погран, всё во Вселенной потрясено!.. И никто не сбивается с шагу... Позади микрорайон. С вершины горы Суворовской, что за полями-садами, взирали они во все глаза на хаоса действо. Пульсировал в ночи город, озарялся снарядами всполохами (наподобие электросварки те дуги взрывные, вскипающие бурно и опадающие скопом)... Почти бежали, чahnув *от памяти*, просёлком... Тёмные окна домов одноэтажных... Ни прохожего, ни собаки. И никто не окликнул: «Стоять!» Всё замерло вокруг и замёрзло: в жару июньскую — *стынь полярная!*

Дуб поваленный в куртине леса близ трассы Каушанской путь заградил. Они присели.

— Я имя своё скрыл от него... Я — трус и ничтожество!.. — дышал часто Владимир.

— Смерть эту мы разделим с тобой, — впервые перешёл на «ты» Ефим.

И ещё через час хода по леса кромке вдоль трассы, где не проехал ни один транспорт гражданский, лишь фургоны военные (от фар их беглецы к деревьям припадали), тройца повалилась в травы.

До Каушан, судя по указателям дорожным, восемь километров ещё...

Свежесть ночная расслабляла. Однако и сна не было.

— А как *ты* вляпался в политику? — обратился Ефим к Владимиру. — Облегчи душу.

Луна освещала их бивуак у ручья призрачного, реальность сводя к теней трепыханию. За чертой многое теряет смысл. И обязательства письменные хранить тайны в том числе.

— Я учился в Одесском политехе. На втором курсе дал согласие на сотрудничество так называемое. Эх!.. Но к делу. Лет за семь до перестройки произошёл раздел округов военных и дорог железных: молдавские и одесские — врозь. Раздел коснулся и структур Конторы горячо любимой. Фишку рублишь, Ефим: как оно всё зачиналось — по границам разломов будущих и линиям огня?.. Тирасполь и Бендеры наводняются агентами, идеи в массы провозгласить: «Свободный народ на свободной земле!» Сравни: «Земле без народа — народ без земли!» — цитируя воззвания из источников разных неопалимых, Владимир словно ухватил за гриву конька. — Лидера пэмээровского уровня любого возьми: все обучались в Одессе... Кишинёв жертвовал Тирасполем и Бендерами, кои, по сути, и являют ПМР, и с проектами возрождения духа национального не лез сюда. Ты — выученик Кишинёва и если б не покидал его, то лил бы на мельницу под патронажем ребят сердца горячего тамошних. Еврей, с тебя и взятки гладки, ан дотумкал быть от конторских подальше. Петух же войны клонул — в Израиль лыжи наострил! — Да и вы к берегам иным намерились! — опять на «вы» Ефим. — Но продолжайте!

Дойна бормотала молитву:

— Господи, помилуй!..

— Нас держали в рукавицах ежовых, — сподобился далее Владимир, — и нам давали шанс... хм. Зарплату получал, числясь начальником цеха в «ящике» военном. За два года до войны мне, одному из спецов *номинальных*, поручили создать комитет рабочий, кой прибрал бы после коммунистов вожжи идеологические. Отвели здание старинное, круче горкомовского — не в плане комфорта, а по надёжности погребов в случае осады. Рядом Дворец пионеров валится, нет средств на ремонт, а мы, власть грядущая, депеши шлём директорам заводов и с корпусом депутатским нога на ногу дискутируем о том, что дальше так жить нельзя: ох уж это «движение национальное Ионов» в Кишинёве! и паче «Закон о языке» их! А дань с промышленности левобережной, как с вотчины?.. «Эта земля никогда им не принадлежала!» — внушали мы, пятеро нас, креатур. «Никогда!..» — блеют в ответ депутаты. «Провозглашаться, стало быть?» — «Так точно! А война-то будет?» — «Нет, не будет: извечная заступница

наша, Россия, не позволит!» — изрыгали мы довод и — в баню к девчонкам...

Взыскав к луне полной, Владимир и ещё принудил себя:

— А в Кишинёве воздвигают памятник у музея Исторического — волчице, из сосков которой хлещут молоко имперское *Ромул и Рем*... А к музею Бендерскому грузовик катит с тонной прутков стальных — для оснастки увлечённых Провозглашением; автоматы в подвалах комитета рабочих — тоже ждут часа!.. Как я сказал, разделение Молдавии на картах-схемах тайных произошло в начале восьмидесятых. Но все они — это я о двух сторонах «патриотизма»: и выкормыши *национализма пещерного*, и проект *интернациональный*, — курировались Конторой. «Если без требуемого временем *раздела* одной шестой не обойтись, дабы модернизировать экономику и администрирование, то раздрай этот эпохальный надо *возглавить!*..» Вот и зарпортовались, деятели!.. — рвал Владимир сорочку на груди, глазами увлажнёнными сверкая. — А я его вижу!.. Труженица его вскормила... А я эти смыслы бытийственные: «Мы с тобой, сыночек, как ниточка с иголкой: куда ты, туда и я!..» — перечеркнул... до сердца... Прости, Дойна, дичь с ножом у шеи твоей отчебучил... ох, кручина!.. Василаке!.. Василий по-русски...

— И у смерти есть достоинство, её заслужить надо... Поплачь, Владимир!.. А ты, Ефим, спи! Нам надо примириться с *жертвой нашей!* — шептала Дойна мужу своему.

3.

Каушаны были полонены беженцами с микрорайона «Ленинский». Жители же центра Бендер шли по мосту отвоёванному — за Днестр, на восток, в незатронутый войной Тирасполь, далее с вокзала — курсом на Украину, Белоруссию, Россию... И так, Каушаны, к югу от Бендер расположенные и не вошедшие в анклав, в века средние преобладали, будучи столицей административной Бессарабии. А форпостом военным на окоеме империи Османов служила крепость Бендерская. Кишинёв же тогдашний — деревушка-приют гайдуков близ Кодр заповедных.

Нечёсаные, в саже, брели они по выбеленным солнцем улицам городка аутентичного. Но многие здесь такие: на пяточке раздачи пайка у приэрии; полицейские в касках полевых и глазом не ведут на прибывающих из Бендер «хипарей» (беженцев-бешенцев) со взорами ошпаренными... Трагедию вселенскую несёт Владимир, понунив голову, вослед Дойне и Ефиму: с лидера замашками у него как отрезало... На улочке близ колодца с распятием скульптурным у Дойны живёт сродственница, можно перекантоваться, пока не оттаёт разум от бытия *тяжести* ледяной. Дальнейшее — в руках Господних!..

— Я спасла его! Он женится на мне, и — в Израиль! Новый год будем в граде Святом встречать! — выпалила Дойна, теребя бусы на груди и тыча — то ли во Владимира, то ли в Ефима, когда хозяйка сердобольная (со многими в Бендерах она дружна — с батюшками, певчими и просто прихожанами) оттягивала калитки засов.

Тридцатитрёхлетняя Домника была женщиной пышной и славной во всех отношениях. Муж её — тоже молдаванин — подрядился бригадиром на строительство дома частного под Одессой. Дочь — пятиклассницу и сына — дошкольника по случаю страстотерпцев явки (Дойну она звала от войны начала, пока связь телефонная не оборвалась) отправила к бабке... И закружилась гостеприимица, как юла. И место для душа в огороде указала, и с одежкой не поскупилась (не беда, что с плеча чужого), и для вещей грязных бак определила, и индюка знатного из стаи в сарай резать поволокла... Дойна помогала ей, об ужасах, что испытали, вещая на ходу... Про убийство офицера молдавского умолчала.

Омывшись, мужчины *нашли себя* в погребке, покуда в кухне летней скворчало на плите.

— Русские — за Днестр! Евреи — в Днестр!... — придуляясь к бочке винной, Владимир протягивал стакан запотевший Ефиму. — Наш Поток полноводный: утонем *вместе*?

...Ефим страховал напарника вверх по ступеням крутым на веранду, виноградом увитую, — к изобильному по-молдавски столу. Гость с расслабухи и зашёлся пред хозяйкой в комплиментарностях — и не только по поводу возможностей кулинарных. Сбавил обороты, узнав, что Домника ухаживаний не приемлет: «лишь от мужа, *что* от Бога!»

— От Бога? — переспросил вольно Владимир. — Но Он — мужчина!

— Бог, — отвечала хозяйка, — ни *кто* и ни *что* — а *всё*!..

Дойна улыбалась, зная школу...

И вот всем открылось по случаю *о его* семье. Жена с детьми уехала... в Израиль! Туда, не ослышались. Детей двое, в том же возрасте, что у Домники. Упомянув о них, Владимир ударился в слезу: один как перст в царстве-государстве самопровозглашённом!

— Еврейка?! — Ефим поперхнулся замой наваристой. — И вы скрывали?!

— Ты же помнишь, Ефим, фольклор городской наш: «Кинь взгляд в Бендерах — хошь не хошь, а в еврея попадешь!..» И я втюрился во времена оны... чего уж тут!..

— Вот откуда это ваше «пристрастие» — к вопросу иудейскому?

— Контора, молодой человек, *она*... — пьянел Владимир, — *она* крестила на Слово и Дело и лоботомию вершила, а не сужена моя, науськивающая обрезаться ниже, хе-хе!..

— Жена требовала обрезания? — чуть не рукоплескала Домника, ликуя, что беженцам помогла. — Евреи — народ избранный! — дивилась она в тайну заветную, румянясь. — Иисус Христос был евреем! И вы могли бы... приобщиться...

— *Гиюр!* — чеканил знанием Владимир. — Чтобы стать *человеком*, да... К особи мужеской подходит мogleь, заостряет у себя ногти и — рвёт счастливцу плоть крайнюю...

— Где черпаете знания допотопные? — смеялся вполне искренне Ефим.

— А если мogleь не выпьет кровь ту, вылетит из синагоги в два счёта! — Владимир ни в какую не давал опровергнуть. — Ох, будто специально и война эта: вытолкать евреев с мест насиженных! Так-то... — стрелял он только в ему вёдомое.

После сиесты компания собралась в гостиной. Ждали по телевизору новостей, в коих талдычилось о разрушениях застройки жилой в арт-обстрелы, хотя по правде ни один дом многоквартирный в микрорайонах полностью сметён «Градом» армий враждующих не был, лишь строения сектора частного. В ночь сию Кишинёв предпринял авианалёт на мост через Днестр. Мост не пострадал; на месте же подворий ближайших — воронки дымящиеся... Домника утверждалась, сколько горя хлебнули и её постояльцы. Извлекла из укладки двадцать долларов, наказав Дойне отправляться поутру за майками и шортами — для конспирации. Ведь в виде «опалённом» (стирай не стирай, гладь не гладь) можно и *накликать*: волонтёры военные, ожидающие переброски в зону боёв, готовы в плане репетиции накопты «сепарам», горнила избежавшим. Примеры есть. Одна беженка опознала на грузовике скарб свой: холодильник, два кресла, шкаф, а в нём пароварки, четыре престера для утюжки (возила их в Польшу на продажу). Накатала жалобу в полицию. Виновник вернул барахло — оказался он офицером армии конституционной. Дама уже арендовала гараж, куда сложила пожитки, только престера не досчиталась. В гараже том и обосновалась войну переждать. И вот «в кусты» приспичило ей. Там её и нашли — с трусами спущенными и престером, к лицу припечатанным...

По телевизору преподнесли *ничто*. По инициативе Кремля стороны договариваться в Москве начали. Владимир аж стакан накрыл ладонью, чтобы яростью не заразить:

— Комиссия трёхсторонняя — повод признать на деле ПМР! — почти взревел он.

Женщины притихли; Ефим и Владимир углубились.

— Десятки лет возгораться конфликту и тлеть. В этом ряду: Ирландия, Страна Басков...

— А был ли путь, *кроме* независимости? — не уступал Ефим. — «Закон о языке», побитие депутатов

Левобережья и многое, о чём Конторе вашей знать не дано?..

— Думаешь, в Тирасполе засели апологеты Свободы-Равенства, а в Кишинёве—румынская клика кровавая? Не было б директив из Кремля—мышь не пикнула б!

— Как с настроем сим вращались на орбитах?—подвигал и далее *интервьюируемого* Ефим.

— Мы ратовали против национализма. Но исподволь *ввернули* сверху нам вектор—на Разрыв берегов. Через неприязнь эту взаимную и взята Бессарабия на поводок...

— Тенденции в политике... М-да!—Ефим подначил профессионально.

— По живому режут *тело народное!*—аж подпрыгнул Владимир—и ударил по столу кулаком.—Резут, не задумываясь о последствиях!!!

— Вы ж сказали: *желают влиять* на Украину и Румынию! А Молдову, исторический хлам,—за борт! Гнобят субъектность её!—жестом успокаивал Ефим и женщин заодно.

— Э-ге-ге!.. еврей хитрый!—пригрозил пальцем Владимир.

Но от взгляда оловянного и слов с подтекстом Ефиму легче не стало.

— Евреи во всём виноваты—знали о войне задолго?! Не предупредили? Так, что ли?

— А то!..—заухмылялся Владимир, расставив локти.—В Конторе мозги прочистили мне, детективов чтения круче... А рассуждать с евреем *про евреев*—конфетка!

— Увольте, мы же интеллигентные люди. Про Контору *лучше*.

— Чего тут?—чесал затылок агент в подпитии.—Разве то, что по *их* причине я и с женой развёлся? «Не к лицу гегемону жить с еврейкой!»—заявили.—Старые времена канули...» И мужа нового подыскали ей, не заподозришь в фактов подтасовке—как в кино... А я хотел, чтобы приняла она безболезненно. Я человек subtilный.

— И буйным прикидывались от безысходности на поле личном?

— Может быть, может быть...—Владимир расклеился окончательно после мытарств.—В отношении ж семьи передела многоходовка была у *них*. Готовили из меня—Огурца!

— А это ещё *что* такое?—перешёл Ефим на доверительность упрямую с тембром пониженным (даже женщины, смутившись, ушли в своё, пересев подальше).

— Вели меня... *в президенты!* Нынешний же оказался в нужное время и в месте нужном. А я—дублёр перед стартом космическим... Просто харизма у *того* и взгляд!

— Да уж, чернокнижник с бровями косматыми и бородёнкой крашеной...

— Кураторы бдят: низам нравится... А ведь давно *урод* народ тот, раз клюёт на *кормицика*, что

посадит корабль на мель!.. Бл...ди, вонзили гарпун в сердце по кабинетов сговору—и сошёл дух... и брошено на поругание тело. Мясо пушечное! *Я и народ мой!!!*

Слёзы. Пришлось стопорить *интервью*. И шепотуньи оставили насущное—косоглазия исправление в Израиле, а также догматику домостроевскую («Родители не будут против брака с евреем?») — «После их развода я определяю судьбу свою... И в паломничество по местам святым ты, Домника, поедешь с нами...»),—перешли в схоластику иную. Владимиру необходимо в бессознательное до утра, а вино потеряло силу.

— Василаке!..—зывал Владимир, разрывая душу и размазывая по щекам потоки солёные.—Василаке!!!

— *Кто* такой Василаке?—спросила Домника.

— Сослуживец погибший,—ответила Дойна по-молдавски.

Домника принесла из погреба напиток *фирменный*. Засосал Владимир полстакана граппы в девяносто градусов—и в момент обратился в сома, на брег выброшенного: он глазами стекленел и рот раскрывал немо... Уложили в постель его. Уснул. Не праведника сном, а грешного грехом смертным. И сон был страшнее, чем явь, что сна страшнее...

Ему снился визит в Контору кишинёвскую, где и не был никогда, так как директивы получал из одесской. Перевёртыш! Ноги как на подушке воздушной—к Центральному парку, к памятнику господарю всея Молдовы, к месту сбора комбатантов, взыскующих яростно к штабам о предательстве... За парком—дом с колоннадой, о коем ведают функционеры столичные... *Здесь* всё вибрирует уплотнением целевым; даже муха летит в холле по параболе замедленно-строгой... У дежурного на телефоне испросит аудиенции с Седым, такой есть всюду. «*Кто* ищет встречи?» Ответ: «Кто шествовал по пятам в коридорах власти сепаратистской и—подсекал на дистанции. *Лицом к лицу—лица не разобрать!*...» Приёмная—с зал вокзальный... Поэт национальный *тоже* в сон явился: никакой тебе вальяжности богемной—погоны синие майора горят у борзописца на кофте жёлтой. А сколько хулы изрыгнул он на чучело Феликса у арки Триумфальной, думал во сне Владимир. И зеркальцу карманному Поэт вслух: «Я уж десяток седьмой разменял! И *ещё* кланяться?..»—гроза манкуртов артикулировал по-русски!.. Предстала взору и голова говорящая телевизионная из ПМР, и *ей* у бюста Дзержинского перетаптывать время. Нагородила она в эфир *за Разрыв*—не одному поколению разгребать охаянное огульно «молдовское»... Прочие возникали—в форме и в штатском, животы подбирали и спины прогибали, как в жизни... Владимира черёд. Он и взвился.—...Ну и дела! Явился *Третий*, проваливший работу на участке... ишь, *криз экзистенциальный*

у него!—шагал по кабинету Седой. Лет шестьдесят ему, плотный, лицо без отёчности, пиджак твидовый...—В оперетте отдыхаем иль на подмостки социума преобразований вознесены?!..—ярился громкогласно он.—Если с Первым и Вторым *что-нибудь*—время такое, война на дворе,—а вы *где?* Брешь в цепи?

—Хочу Правду.

—Вы знаете, сколько надо. И для вашей же пользы.

Унял спесь. Сел. «Он, конечно, ничтожество, приговорённый товарищами из Одессы,—думал чин,—но *свой*, чёрт возьми, требующий обхождения и перед казнью!..»

—Хм... Просьбы личного плана есть?

—Отзовите с фронта сержанта Николая, хореограф он... И—Правду, *её* и приму!

—Сократ на голову нашу!—бровью Седой, как мим.

Отыскал в столе ключ, сойти предложил в «Почке для операторов коммутирующих»—в подвал то бишь...

...Потолок в кафеле сияет, перегородка стеклянная делит куб: по одну сторону кресло дыбится, что тебе стул электрический; по другую—аппаратная. Владимир на «эшафот» влез; Седой ремнями приковал сновидцу руки и ноги, а сам удалился к пульта за стекло... Ради этого и жил, ради минут трёх, что Правда потоком бурливым откроет шлюз в вечность. Третий инициирован на принятие Истины, в отличие от Первого и Второго, ибо сказано: много званых, да мало избранных!.. *Три минуты, три минуты, это много или мало, чтобы жизнь за три минуты пролетела-пробежала?..*

Свет стал ярче. По нервам воспалённым проехался и смычок усилителя вещательного.

—За ритуал сей каждый голову сложит!—огласил Седой сверху и отовсюду.—Узнаешь, что знаем мы! Базовый в жизни стимул—Знание тайное! Мы им располагаем.

—Весь внимание!—из глаз Владимира—слеза страстная: в капле—надежд океан.

—Чтоб схлестнуться со Злом мировым, нами Принцип разработан. Запад думает, что мы восстанавливаем Империю,—ан деконструируем *её!*.. Мы сами всё прогнившее под агентов вражьих стопой опрокинем! Возьмём землю великую, пусть и разорённую в прах!.. Ну, это как в песне известной поётся: мир прежний разрушим до основания, а затем—наш, новый, Мир построим!.. Ха-ха-ха!.. —Хочу Истину!—заклинал Владимир наперекор вещания громкости.

—Молдова—противоречий клуб; в него и Румынию берёмся вовлечь—для Москвы улаживания! Но Москва сама и становится событий заложницей!.. —Истину!.. Ваш голос—будто фреза в долю лобную... Умерьте звук!

—Поразмысли: *ради чего* междуречье Прута и Днестра с центром административным в Кишинёве

назвали Молдовой? Правильнее б—Бессарабией, как при царе Горохе...

—Истину!..—Владимир изнывал от громкости динамиков.

—Молдова историческая со столицей в Яссах—растворена в Румынии, с коей стараниями нашими не подписан о границах договор. Чтобы Молдове воспрянуть, надо проект «Румыния»—слить. В чём ты, Третий, и вызревал до поры, запуская с одесситами проект «ПМР»... Под прикрытием создавался анклав сей на Днестре, где тебе должно было двинуть войска на Кишинёв,—чтобы зверь румынский заглохнул...

—Сделайте звук тише! Молю вас!

—Бухарест ринется на выручку к *своим* в Кишинёв. Пиит в приёмной—из когорты той *ура-унионистов!*.. И это на руку нам. Входим в состав государства вражьего, точим его вместе с венграми, что мечтают о крае Секуйском суверенном... Явим Молдову—со столицей в Яссах, а Валахию—в Бухаресте... мухи отдельно, ну и котлеты...

—У меня голова... как в канонаду!..

—Но преткновения камень—олигархи. Одобряют дробление в границах корпораций, уж поделивших народы в иерархию с учётом возможностей кошельков их слаботочных!..

—У меня кровь из ушей каплет... звук вырубите!..

—Только страны-отщепенцы способны вырваться из Конфигурации, явить *нечто* в противовес Плоскости всеобщей мертвящей!.. Абхазия, Карабах, ПМР,—цветочки пока!

—Вы включили вибрации?! Раскалывается мозг!!!

—Столбить тебе, парниша, в Непроявленном отныне!.. В Проявленном всё занято *иными!*.. Сказал же оглохший от Истины Бетховен: «Жизнь есть трагедия, ура!..»

—...*За что* я убил человека?! И говорите громче, я уже не слышу!

—*Кровь сковывает жертву и палача, тормозит становление свобод гражданских. В этом наш Принцип новый, забытый старый... ГУЛАГ навсегда, ГУЛАГ—forever!*

—Нет. Ничего не слышу!.. *Но знаю:* Истина! Истина наша родная, Системная!!!

...Владимир умер. Как умирают во сне. Слышал и видел куратора верховного своего, протокол штемпельющего о гибели агента провального. И было это для Владимира сокровенностью,—как и Седому знающий откроет то, без чего ни один апологет тайный не уйдёт. То, *во имя чего* голова им на плечах носится—а если надо, на Алтарь слагается,—этот смысл должен быть раскрыт! Быть может, в поездку ближайшую в Москву (с вводом сил миротворческих в ПМР) будет Седой встречаться на Лубянке-Ходынке-Поле Ясеновом с кардиналом Серым и Седым всея Руси—чтобы *истить* Истину порядка нового!

И тут в поту холодном Владимир угодил в сон *другой*. На простынях смятых койки панцирной он; в глаза бьёт солнце люминесцентное... Ни души в палате узкой и длинной. Кто он? Агент спецслужб в больнице психиатрической? Узник инквизиции? Иммигрант политический, на жизнь приговорённый?... Дверь отворилась; входят красавица Дойна (левый глаз её не кривил) и Ефим. Дойна тянет корзину с фруктами:

— Дары края морей трёх: Средиземного, Мёртвого и Красного!

И Ефим силится выказать участливое:

— Вы перенесли стресс. Нужна реабилитация... И—как в гимне звучит: «Будем мы снова народом свободным на Родине нашей...»

Владимир шурился блаженно в ответ и, *не слыша себя*, шептал:

— ...Я выдюжил!..—и в сон другой канул, ступая босо по полу, взрытому снарядами,—в объятия Василеке...

4.

Через евреев, бдящих в Каушанах когортой со времён екатерининских, Ефим разузнал подробности репатриации экстренной в Израиль. Улыбался догадке внезапной, глядя-вслушиваясь в трав и цветов переливы до горизонта: вот он, прямой, как стрела, путь в Землю обетованную! Отовсюду вдруг воссияли холмы призрачные, проходящие на Сион... в знойной степи Буджакской—за огородом Домники...

— Как ты на них вышел?—вопросил Владимир с подушек.

На лбу у него белела повязка уксусная, а на тумбочке—бутылка с рассолом от хозяйки, что на кухне хлопотала.

— Рыбак рыбака, так сказать...—не вдавался Ефим в явки подробности.—А вот полиции тутошней до нас дела нет! Виват нам всем, виват!

— Мы и *там* им потребны лишь на окопы. Война для галочки, штабы диффузные всё решили давно. Главное, чтобы никто не уклонился!.. Как ты насчёт конспирологии сей?

— Работа—лучшая поэзия. Солженицын в этом нас убедил—в «Иване Денисовиче»...

— М-да, Ефим!—откинул Владимир со лба компресс со сравнением книжным.—Хотел спросить тебя, да недосуг: *что* делал, *где* был, раз попался в лапы вояк?

— Шёл на квартиру бабушки,—светился Ефим.

На день третий освобождения он проникся мессианством и к медведю разлапистому на перине.

— Для чего?—допытывался Владимир.

— Чётки... вот,—Ефим и впрямь теребил в руке чётки коралловые.

— Брось лапшу вешать!

— Должен был исполнить обет семейный,—не сбивался в оправдания Ефим.

— Монета периода Хасмонеев, небось?... Аль семи-свечник на комодке—из золота?

— Менора—из бронзы. Есть и другие реликвии у нас.

— Какие?—Владимир не спускал.

— Прапрадед завещал, прадед взял клятву с деда, дед—с меня: в Земле обетованной камень от Стены Плача обратно возложить,—Ефим раскрыл свёрток из кармана.

— Камешки какие-то, истёртые почти...—Владимир морщился, разглядывая.

— Да, ценят евреи *известняк*—не только изумруды и алмазы,—был прост Ефим.

— Что ж получается: старцы с бородами до колен и в камилавках перед тобой стоят, ждут исполнения? У тебя ж диплом универа,—ёрничал Владимир.

— Не *стоят*, а сидят—на реках, как в псалме поётся,—и плачут, вспоминая Сион... Так и в ха-Тикве,—полнил Ефим паузу щекотливую:—«Пока не угаснет в сердце огонь нашей души еврейской мятежной, будем к Востоку идти мы, взор устремив на Сион...»

— Ага, *вывод*: ты меня, презревшего амбиции и *долг*, падшего до убийства офицера молдавского,—будешь агитировать в Израиль, апеллируя к детям: они, мол, *там*?!

— Верно.

— Думаешь, если я с Конторой не в ладах, то никому и не нужен по определению—ни конституционалистам, ни сепаратистам?... Я—носитель Знания тайного...

— Тем паче выбор ясен,—снисходительно Ефим к позе оппонента.

— Но у меня нет документов. О каком выезде речь?

— На то мы и беженцы. Зарегистрируемся в Кишинёве—в Обществе культуры еврейской, оно же и посольство: бумаги от евреев каушанских кое-что значат там!

— Как же я, русский до мозга костей и *не* из последних,—в эту вашу страну картавую отправлюсь?! Я же не просто *вороном* белым буду—а стану значительнее антисемитом!

— Ой ты, гой еси!.. И среди евреев нередки споры межконфессиональные...

— Предложение заманчиво в целом, мой друг, хотя детали...

— Я готов поручиться, что жена ваша, дочь и сын—*уже* в Израиле!

— Зачем тебе это?

— Хочу помочь. Или считаете, что еврей и пальцем не шевельнёт ради *другого*?

— Мне преподали знание иное основ—отрекаться?—Владимир недоумевал втуне.

— Начните с листа чистого—как подобает *человеку*! И на прародине человечества! Уж поверьте, оттуда мы и выведем всех *их* на воду чистую, *диффузных* ваших!

Этих слов оказалось достаточно, чтобы троица, чудом спасшаяся из плена, засобиравшись — уверившись, что полоса тёмная минувла и впереди сплошь судьбы обходительность... А сколько тех, кому не дано поблажки? Кто изнанку телес своих являет под завалом бомбардированным, а если и остался в живых, то не знает, кого винить в стратегиях оглашенных: патриотов или либералов, Молдову, Россию или Америку пресловутую?... Те, кому повезло, хоть и претерпели

(труд рабский в окопе звенящем, отсутствие еды и воды, иго страха смерти), будут благодарны воле случая — за возможность узреть свет в конце туннеля... Вечная память погибшим... И вечная слава живым, кто осмелился мыслить — и призвать к ответу зачинщиков Террора, а также пособников его! Это нужно мёртвым, это нужно живым. Иначе все мы (и поколения грядущие) в потоке бесконечном соглашательства в скотов превратимся!

ДиН симметрия

Викентий Вересаев

В тупике

(фрагмент)

Они пошли вдоль пляжа. Зелёно-голубые волны с набегавшим шумом падали на песок, солнце, солнце было везде, земля быстро обсыхала, и тёплый золотой ветер ласкал щёки.

Катя просунула руку под локоть Дмитрия и сказала:

— Вот что, Митя! Что ты вчера рассказал про себя, про Марка, — это что-то такое огромное, — как будто все эти горы вдруг сдвинулись с места и несутся на нас. Я всю ночь думала. Это и есть настоящая война. Если люди могут друг друга убивать, всё жечь, разрушать снарядами, то пред чем можно тут остановиться? Так уж много нарушено, что остальное пустяки. А когда идут рыцарства и всякие красные кресты, это значит, что такие войны изжили себя и что люди сражаются за ненужное. И знаешь, мне начинает казаться: когда победитель бережно перевязывает врагу раны, которые сам же нанёс, — это ещё ужаснее, глупее и позорнее, чем добить его, потому что как же он тогда мог колоть, рубить живого человека? Настоящая война может быть только в злобе и ненависти, а тогда всё понятно и оправдательно.

Дмитрий слушал с серьёзным лицом, с улыбающимися для себя тонкими губами.

— Это оригинально.

— Нет, это правда. И вот, Митя... Те матросы, — они били, но знали, что и их будут бить и расстреливать. У них есть злоба, какая нужна для такой войны. Они убеждены, что вы — «наёмники буржуазии» и сражаетесь за то, чтобы оставались генералы и господа. А ты, Митя, — скажи мне по-настоящему: из-за чего ты идёшь на все эти ужасы и жестокости? Неужели только потому, что они такие дикие?

В глазах Дмитрия мелькнули страдание и потерянности, как всегда при таких разговорах.

— Это, Катя, сложный вопрос.

— Ничего не сложный.

Дмитрий украдкой оглянулся, поднёс Катину руку к губам и шёпотом сказал:

— Зачем, зачем теперь об этом говорить? Катя! Так у нас мало времени, — давай забудем обо всём. Когда мы опять свидимся! А мы будем ворошить то, чего всё равно не изменить... Вот дача Агаповых. Зайдём.

— Я с какой стати? Не хочу я к ним. Я тебя здесь подожду.

Виталий Орлов

«СВЕТЕ ТИХИЙ»

Отцы наши, не хотели принимать в молчании благодать вечернего света, но тотчас, как он наступал, приносили благодарение.

Свт. Василий Великий

Нет, я не буду знаменита.
 Меня не увенчает слава.
 Я—как на сан архимандрита—
 На это не имею права.

— Ты написала?

— Одоевцева.

Мама Славика была поэтессой. Точнее—поэтом. Когда-то её печатали в толстых журналах. Слегка пожелтевшие, они стояли на полках.

Потом печатать перестали, потому что редакторы—бездари и завистники.

Мама сдавала свою «однушку». На эти деньги они жили в экологически чистой деревне. Им там досталась развалюха от бабушки.

Деревня была пустынной. На одном конце обитал фермер, державший хозяйство. На другом—Славик с мамой. И ещё несколько дачников-пенсов приезжали летом.

Весной много гектаров земли неподалёку выкупили люди из Москвы. Жизнь Славика изменилась. Появились лошади, появилась Варя.

Ему исполнилось семнадцать, здоровьем Бог не обидел, и Варя взяла его на работу. Один конюх с пятью лошадьми не справлялся.

Варя была на год старше, у неё уже имелись права и «Порш», но страстью были не авто, а кони. Славик предполагал, что она не прочла в жизни ни одной книги, кроме брошюр по коневодству.

Он хотя бы кое-что пролистывал из маминой библиотеки. Знал, что его чуть не назвали Райнером в честь поэта Рильке. Но тогда надо было бы записать в свидетельстве: Райнер Мария. Маме показалось, это перебор.

Вряд ли Варя слышала про Рильке. Зато бывала в таких странах, о которых Слава не имел представления. Даже нынешним летом пару раз слетала за границу.

Она была первым человеком, который платил ему деньги. Возможно, небольшие, с её точки зрения, но для Славы—целое богатство.

Тогда он особенно боялся тётки из опеки. Говорили, они сразу лезут в холодильник, смотрят, есть ли йогурт. Если нет, ребёнка забирают.

Он понимал: зайдя они к ним—ничего, кроме креплёного вина, не увидят. Мама пила умеренно, но ей нужно было в день хотя бы пару бутылок.

У неё случались и срывы. Тогда доходило до самогона. Такое происходило редко. В основном—если получала письмо из редакции. Последнее время журналы вообще перестали отвечать, поэтому она не выходила из нормы. Ясно, что при таком раскладе денег на йогурты и прочие детские радости не оставалось.

Но тётки пока игнорировали их домишко. Они выбрали другую жертву—приехали к фермеру и забрали сыновей. Девчонок почему-то оставили.

Потом Славика объяснили: кто-то накатал жалобу, будто он использует труд детей. Мальчишки действительно помогали отцу.

После увиденного страх усилился. На первые же деньги Слава купил этих паршивых йогуртов и других продуктов, которые, по его мнению, должны быть в рационе ребёнка.

Соседка-пенсионерка зашла в гости и одобрила ассортимент.

— Только,—подсказала она,—опека и даты на продуктах проверяет.

— Что делать?—спросил Славик.

— Съесть и купить новые.

«Так ведь никаких денег не хватит»,—прикинул он.

Слава обедал в школе, ужинал при церкви, где помогал безвозмездно, но за еду. По воскресеньям бабушкина жена давала продукты «с кануна». Тем и питался.

Маме прокормиться было проще. Она всё время сидела в Интернете, сил много не тратила. Ела в основном сушёных кальмаров и картошку.

Когда появились Варя и её кони, на приходских коров времени уже не осталось. Там взяли помогать бездомного, а Слава приходил лишь изредка.

Большая разница—еда или живые деньги. Деньги нужны на глупости, без которых человек не может жить. Например, компьютерные игры в церкви точно не подарят. Или—хороший дезодорант. Зубную пасту, может, и дадут, а парфюм—вряд ли. Кроме того, человеку надо постоянно класть

на телефон. Или—в город съездить, в кино сходить. Грустно без наличности.

Плюс—Варя. Ему нравилось на неё смотреть. Когда кто-то нравится—не поймёшь почему. Вроде и не красавица, даже грубоватая, да ещё качается гантелями. От этого и фигура коренастая. Но когда на коне, глаз не оторвать.

Волосы густые, рыжие. Могла бы остричь, неудобно с длинными ходить, но тогда образ нарушится.

Слава знал, что «Варвара»—значит «варварская». Точно такими готских всадниц он и представлял.

Конюшню и загородный дом возвели быстро. Будто поместье было всегда здесь.

— Кто он у тебя?—спросил Слава про её отца.

— Обычный предприниматель,—сказала Варя.— Просто они хорошие родители. Понимают, что я—лошадиная фанатка. В Москве, при их средствах, конюшню не завести. А здесь—без проблем. И ты очень кстати попался. Знаешь, кто наш конюх? Бывший режиссёр. Лошадей не любит. Делает только «от» и «до». Ты—не такой. Поедем завтра купать коней?

Она посмотрела в глаза.

— Чего их купать-то?—смутился Слава.— Я их и так каждый день из шланга мою.

— Нет, купать в реке—совсем другое. Приходи завтра пораньше, прокатимся.

Она просунула руку Славе под рубашку, потрогала мышцы. На веранду вышел отец. Варя убрала руку.

— Приду,—сказал Славик и пошёл чистить конюшню.

Работалось ему легко, в голове звучали какие-то песни, неизвестно когда услышанные.

Лето было прохладным, но август и первые дни сентября оказались неестественно жаркими. У Славы, начались занятия в школе, одиннадцатый класс, а Варя надо было в институт, но она всё тянула с отъездом.

Подкатила машина. В ней—два парня и девушка. Слава помог оседлать коней, гости и Варя уехали на прогулку.

Закончив работу, он прикинул, что может сегодня помочь на приходе. От деревни до асфальта километра три. В общем, ерунда. А если пересечь трассу, начнётся посёлок, и там—церковь.

Когда он вошёл, вечерняя служба уже началась. Он никогда не мог выстоять её до конца. Легче машину комбикорма разгрузить.

Но где-то в начале будет песня, которая ему нравилась. «Свете тихий». Пели три человека: Лиза—батюшкина дочка, его жена и учительница из музыкальной школы.

С Лизой он учился в одном классе. Сейчас она была в платке, длинном платье и не походила на ту, что в школе. Послушав, Слава вышел, стараясь

не стучать по каменному полу. Но Лиза всё равно обернулась.

Немного постоял на крыльце. Вечерний свет был действительно тихим. Утешал. Слава подумал, что о нём и поётся в песне.

Коровы с телятами ещё паслись. Он прошёл в хлев, увидел там беспорядок. Бездомный работал из рук вон плохо (если вообще работал), и Лиза, похоже, не справлялась.

Четыре головы скота, иначе на небогатом приходе не проживёшь. Куры, кролики. Конечно, не авгиевы конюшни, но... Он взял лопату и начал работать. После службы придёт Лиза, ей будет полегче.

Вспомнил, как Варвара прикоснулась к его груди, даже потрогал это место. Он почти закончил, когда Лиза пригнала коров. Начала доить. Одна бурёнка сначала не давалась. Слава обнял её за шею, зашептал на ухо какие-то глупости. Корова успокоилась, и молоко пошло. Наверное, правду Варя говорит: у него контакт с животными.

— Английский выучил?—спросила Лиза.

— Нет,—честно ответил он.

— Давай позанимаюсь. Время есть?

— Полно.

Слава прикинул: мама сегодня получает деньги—жильцы переводят на карту. Она сядет на велосипед, поедет в посёлок, где банкомат. Конечно, поддаст немного и задержится у друзей.

Лиза налила ему молока. Они пошли в дом. Батюшка уже сидел за компьютером, его жена пекла пироги для воскресной школы. Завтра она будет учить с местными малышами стихи и читать «Детскую Библию». Трудно сказать, доходит ли до них Закон Божий, но пирожки съедят с удовольствием.

Лиза сходила в душ, чтобы смыть запах хлева, переоделась, стала разливать чай. Она была красивая и знала об этом. Одевалась хорошо, или, как сказала одна училка, элегантно. Никаких тебе леопардовых принтов, блёсток и прочих сельских особенностей.

Слава знал, что одежду она и матушка покупают в Москве, в магазинчике секонд-хенда. Он как-то ездил туда вместе с ними.

Налегая на бутерброды, он успевал читать английский текст, совершенно дурацкий, как ему показалось. Грамматику Лиза умела объяснить вполне понятно. Проще, чем в школе.

Они проводили вместе много времени и неплохо знали друг друга. Иногда Славик представлял Лизу своей женой. Конечно, хорошо, что она стройная и умная. Но она бы стала его ломать. Начались бы разговоры: поступи в институт. А зачем?

Бывает, люди думают: кем стать—модельером, инженером, архитектором? Но Слава уже решил, что он хочет для себя.

Он хочет быть слугой.

Самое главное—найти хороших хозяев. А дальше—он не подведёт.

Круто иметь красивую жену—глянул он ещё раз на Лизу. Только такая заставит по струнке ходить.

Она вышла на крыльцо—проводить.

— Спаси Господи. Мне бы за три дня не справиться. — Да ерунда. Извини, что редко прихожу. Я же работаю теперь.

— Помогаешь коннозаводчице?

— Ну, до завода ещё далеко. Хотя если покрыть кобыл и пойдут жеребята...—оживился Славик.

— Про покрытие кобыл расскажешь завтра.

Она осторожно притронулась к его руке и закрыла дверь.

Ночи в начале сентября уже тёмные. Но ещё тепло.

Слава шёл в деревню по просёлку, с трудом различая дорогу. Фонарей здесь отродясь не бывало.

Издалека увидел галогеновый свет. Машина неслась на него, и тот, кто сидел за рулём, похоже, даже не замечал пешехода. По характерной форме фар Слава узнал Варин «Порш». Едва успел отпрыгнуть. Внедорожник пронёсся мимо. Скрипя шинами, с большим заносом вывернул на трассу и полетел в сторону Москвы.

Славик почувствовал, что всё же вымотался. Пошёл медленнее. Мама, скорее всего, дома нет.

Её и не было. Даже дверь за собой забыла закрыть, так спешила за деньгами. Посуда тоже не вымыта. Он хотел нагреть воду и помыть, но тут же заснул на кухонном диване.

Очнулся под утро. Было душно, и пахло кислой капустой. Тряся головой, он подошёл к газовому котлу—посмотреть, всё ли в порядке.

Котёл горел ровно. Слава вышел во двор. Уже светлело, над рекой поднималось солнце неприятного красного цвета. Они несколько секунд смотрели друг на друга—Славик и выглянувший из тумана день.

Ополоснув лицо в дождевой бочке, он пошёл к лошадям. Вроде договорились на восемь, но лучше прийти заранее.

Калитку открыл конюх-режиссёр.

— Все уехали,—сказал он, глядя в сторону.

— И Варя?

— Я же говорю—все. Отдыхай пока. Я здесь один справлюсь,—он стал теснить Славика за калитку.

— Нет, подожди,—сказал Слава жёстко, по-взрослому.—Расскажи, что случилось.

— Варвара примчалась вечером,—начал говорить конюх.—Проорала родителям: «Еду в аэропорт. Улечу любимым рейсом». Схватила сумку—и по газам. Ну а что? «Шенген» есть. Вольная птица.

— С чего бы?

— Ты подожди. Потом—её родители: так и так. Уезжаем. Надолго... Деньги оставили на прокорм—коням и мне. Такие дела. Ты бы, парень, сходил до трассы. Посмотри, что и как.

Слава кивнул и поплёлся по деревне. Когда вышел на просёлок, его затошнило. Ещё недавно всё было хорошо, не хотелось думать о скверном.

Мама лежала в канаве. И велосипед рядом, как-то дико вывернутый. Почему она не осталась у друзей? Поехала, подвыпившая, домой. Темнота полная. Значит, он вчера прошёл рядом и не заметил. Может, она была ещё жива? Сейчас она, конечно, мёртвая. Мёртвого не спутаешь с живым.

Славик присел на корточки. Тихонько заскулил, погладил плохо покрашенные волосы. Похоже, её сбила машина и отбросила. Пол-лица разбито. Кровь смешалась с креплёным вином, которое она везла.

Рядом остановился фургон, фермер ехал в посёлок.

— Звони куда-нибудь!—раздражённо крикнул он.

— Я не знаю как,—сказал Слава.

— Сто двенадцать, кажется. Ладно, сам позвоню.

Ты, смотри, не сотвори с собой ничего!

Он начал дозваниваться и орать на дежурную, объясняя, куда подъехать.

Слава сидел рядом с мамой. Зачем-то трогал велосипед. Ручка руля воткнулась в землю. Славик вытащил её. Там, в глубокой впадине, оказался жук. Он пытался выбраться наружу, но земля осыпалась, и он скатывался назад.

Слава взял стебелёк травы, спустил в углубление. Жук полез по стеблю, выбрался наверх, расправил крылья и улетел.

Подумал: не заберут ли его в детдом? Работы нет. И Вари нет. Вряд ли она скоро вернётся. Конечно, её родители замнут дело. Она не виновата. Возможно, мама сама вильнула под колёса. Но Варя—бросила человека на дороге.

Его тошнило сильнее, и солнце поднималось выше, становясь всё противней. Тем не менее жук выбрался из ямы, вспомнил он.

Лиза, наверное, уже встала и выгнала коров пастись. Он достал телефон, отправил ей эсэм-эску: «Мама умерла».

Лиза и полиция приехали почти одновременно. Начались какие-то «следственные действия». Потом—опознание. Слава уже ничего не соображал. Стал как ватный.

Батюшкина жена, вежливая женщина с железным характером, всё взяла в свои руки. Слава переехал в приходской дом. Маму отпели в церкви, куда она никогда не ходила. Местный бард-алкоголик написал в социальных сетях, что погибла известная поэтесса. На похороны приехали из Москвы—две подружки-писательницы и поэт.

В трапезной накрыли стол. Получились настоящие поминки. С одной стороны сидели Славик, Лиза и её родители. С другой—бард и литераторы из Москвы. Всё происходило прилично,

но довольно натянуто. Напоминало переговоры конфликтующих сторон.

Писатели уже успели выпить на кладбище. — Она была великая. Великая! — выкрикнул московский поэт и заплакал. — Вы не понимаете. Вы — ничего не понимаете! — повторил он, всхлипывая. — Умирает литература.

Несмотря на то, что это прозвучало диковато, Славiku стало приятно, что кто-то, хоть и по пьяни, назвал маму великой.

— Душно здесь! — пожаловался гость. — И курить нельзя.

Возможно, ему не нравился настоявшийся запах ладана.

Литераторы откланялись. Батюшка повёз их на вокзал.

Славик и Лиза вышли из дома, сели на скамейку под окном. Они молчали и смотрели на закат.

Перед ними цвела деревенская клумба — с гладиолусами, георгинами и золотыми шарами. Коровы паслись за оградой. Наступал вечер. Свет был мирным и не раздражал. Несмотря на боль похорон, было почти хорошо. Казалось, они могут сидеть так сто лет.

ДиН СИММЕТРИЯ

Морис Метерлинк

Монолог скупого

(из пьесы «Обручение»)

Сегодня я займусь вот этими тремя мешками. Прошлый раз я, наверное, ошибся при подсчёте... Не хватает трёх луидоров... Три луидора — это целых шестьдесят франков, а их тут всего-то шестьсот тысяч: недостача большая... Я всю ночь не смыкал глаз... В каждом из этих мешков должно быть двести тысяч франков, в двух — двадцати-франковиками, в третьем — десятифранковиками... Я сейчас высыплю всё на ковёр и сперва полюбуюсь, какая красивая получится грудка... (Высыпает на ковёр монеты из одного мешка.) Так и струятся!.. Так и струятся!.. Сколько их тут!.. Сколько их тут!.. Когда золото вот этак рассыплется, трудно поверить, что оно всё умещается в одном мешке!.. Теперь подсыпем из другого... Это мешок с маленькими луидорами... Они такие же красавцы, как и крупные... Только помоложе, вот и вся разница, и потом их больше... Поглядим-ка теперь, что в третьем... (Высыпает монеты из третьего мешка; несколько золотых монеток скатывается с ковра. Скупой ползёт на животе за ними.) Э, нет, э, нет, мои крошки!.. Так не полагается!.. Нехорошо так удирать!.. Из этого подвала никто не уйдёт!.. Вы хотите закатиться, а потом улизнуть?.. Но — куда, позвольте вас спросить?.. Лучше, чем здесь, вам нигде не будет!.. Убежать от старика отца! Стыдно, ай как стыдно!.. Сюда, мои крошки, сюда, мои милочки, сюда, красавицы!.. Все опять в кучку, сию же минуту

домой, в гостях хорошо, а дома лучше!.. (Подбирает монету, которая откатилась дальше всех.) Знаю я твою повадку: вечно в бегах, озорница ты такая, а на тебя глядя — и другие... Проси прощения, а то накажу... Когда я что-нибудь куплю, так тебя первую истрочу!.. Нищему тебя отдам, слышишь?.. (Целует её.) Ну-ну, я пошутил... Не плачь, не плачь!.. Это я так только, попугать... Я тебя всё-таки люблю, но чтобы это было в последний раз!.. Трам-там-там, тут и там, предо мной и за мной!.. Мне и за две недели их всех не пересчитать и не взвесить... Сколько их! Сколько их!.. Красавицы вы мои!.. Я их всех знаю, каждую могу по имени назвать... Для них надо сорок тысяч разных имён, и каждое имя будет обозначать сокровище!.. (Кагаётся по ковру, усыпанному золотом.) Люблю смотреть на них вблизи!.. Ах, какое дивное ложе, как хорошо мне в кругу дочерей!.. Ведь это же все мои дочери, я их родил, воспитал, охранял от бед, ласкал, лелеял, я знаю историю каждой из них, помню, каких забот они мне стоили. Но это всё позади — они любят меня, я люблю их, мы неразлучны!.. Как хорошо быть счастливым!.. (Хватает золото горстями, сыплет его себе по груди, по лбу, по бороде, хрюкает при этом от удовольствия, и это его хрюканье постепенно переходит в сладострастный рёв. Внезапно он вздрагивает, приподнимается, встаёт. Очевидно, ему послышался шум.) Что это?.. Кто там?..

Павел Чхартишвили

О ЖИЗНИ, ПОЭЗИИ И ЛЮБВИ

Доброго дога звали Чук

Родители Музы Ребриковой работали на московском заводе: мама в отделе кадров, папа механиком. Папа был старше мамы. Знал каждый винтик конвейера и любого станка. Когда что-то ломалось, ему звонили, даже ночью, и присылали за ним машину. Семья состояла из Музы, её родителей и родителей её мамы. Жили все пятеро в девятиметровой комнате. Кроме них, в квартире проживали ещё две семьи.

Музу крестили. Это стало известно в заводском комитете в ВЛКСМ. Ребриковой-маме вынесли выговор с занесением в учётную карточку.

Первое сентября 1957 года выпало на воскресенье. На следующее утро Муза отправилась первый раз в первый класс с мамой и тяжёлым букетом гладиолусов.

Училась Ребрикова-младшая старательно, из года в год являясь старостой. После уроков занималась с двоечниками. Её слушались даже хулиганы. Сосед по парте Валера как-то ей сказал: — Ты красивая.

Девочка не ответила.

Семья получила от завода отдельную трёхкомнатную квартиру.

В восьмом классе на экзамене по геометрии к Музе подошла математичка, шепнула:

— Закончишь — помоги Валере.

В аттестате зрелости Ребриковой троек не оказалось, пятёрок было больше, чем четвёрок. Муза поступила в Московский полиграфический институт. Когда девушки в группе обсуждали одногруппников, она отмалчивалась. Один из них, Иванченко, пытался сблизиться с Ребриковой. Как-то он в вагоне метро, под шум в сотню децибел, поделился с Музой мыслями:

— В религии (даже когда она называет себя наукой) всё основано на вере, на священных постулатах, сомневаться в которых запрещено. А подлинная наука требует не веры, а знания, критики, проверки всех, даже самых авторитетных, утверждений путём анализа, исследований, измерений.

Услышал ответ девушки:

— Самые умные люди могут ошибиться. Бог — никогда.

Не заинтересовал Иванченко Ребрикову.

Крещёную комсомолку избрали в институтский народный контроль. Она явилась в столовую снять пробы. Дошла очередь до киселя. Девушка заявила: — Что-то несладкий. Надо подбавить сахару.

Недовольная повараха буркнула:

— Придётся из своего сахара добавить.

Вынесла из подсобки большую глубокую тарелку, доверху наполненную песком, высыпала в котёл с киселём.

Умерли дедушка и бабушка Музы.

Защитив дипломный проект, девушка стала инженером-технологом полиграфии. Была распределена в типографию и с увлечением принялась за подготовку к печати текстовой и графической информации, изготовление печатных форм, контроль качества. Распределяла процессы между работниками. Её старания не остались незамеченными начальством.

А ровесницы тем временем выходили замуж и рожали. Музе не то чтобы совсем не хотелось этого; ей хотелось, чтобы ей этого хотелось. Но парни и мужчины её не интересовали, были совершенно ей не нужны. Так что немного видела Ребрикова счастья.

Знакомый дал ей почитать самиздат — стихи Медеи Асавиной. Одно стихотворение захватило Музу.

Молитва

Кто придёт на свою же тризну,
Тот на ней
Посмеётся над жалкой жизнью
Над своей.

Постучится с мольбою: «Боже!
Отвори!
Все печали, какие можешь,
Сотвори,

Ниспошли мне, приму без звука,
Всё ничто.
Но за что мне *такая* мука?
Ну за что?

Я пирую, никем не признан,
Я пою.
Не на чью-то пришёл я тризну,
На свою.

Я молю Тебя, жду ответа.
Где ответ?
Мне неизвестно: всё отпето
Или нет.

Или завтра дорогой пыльной
И прямой
Я уйду, молодой и сильный—
И хмельной.

Поэтесса выразила всю тоску девушки.

Муза думала: может быть, я нездорова? Внутри её, в глубине души зрело восстание. И девушка решила.

Явилась к участковому терапевту, высидела очередь и сказала:

— Пожалуйста, ничего не записывайте. Я пришла не за больничным. Меня удивляет отсутствие полового влечения.

— Лечения?

— Влечения.

— Больше ничто не мучит?

— Мне этого хватает.

— А как настроение?

— Скверное.

Врач помолчала. Спросила:

— Вы видели в музее скульптуры обнажённых мужчин?

— Конечно.

— Как вы на них реагировали?

— Равнодушно.

— А на аналогичные женские?

— Так же.

Терапевт задумалась.

— Неспособность любить вас огорчает?

— Убивает.

— А вас не беспокоит, что вы не можете прыгнуть в высоту на два метра?

— По-моему, это несоизмеримо по важности для человека: прыжки в высоту—и...

— Несоизмеримо по важности для человека...— повторила врач.

Помолчала. Продолжила:

— Животный инстинкт, быть его рабой—зачем вам?

— Ну, рабой—не знаю. Но я хочу иметь человеческий инстинкт.

— Что же, вам мужика положить?

— Пусть мне сделают влечение, и я сама, без посторонней помощи, найду себе мужчину. Впрочем, если я напрасно обратилась, извините.

— Нет, конечно, вам надо помочь.

Терапевт подумала.

— Случай вообще-то нередкий,—сказала она.— Но ваша откровенность...

— Станешь откровенной... Жизнь проходит мимо, а я в стороне.

— Вам нехорошие мысли не приходили?

— Нет.

Приходили. Но если бы Ребрикова созналась, её бы связали. Она сказала:

— Я считаю, что это ненормально, что это болезнь. А если это болезнь, почему не попытаться её вылечить?

— Да, это aberrация, отклонение от нормы. Но это не болезнь. Это изъясн. Вам следует проконсультроваться у психиатра. Мне кажется, здесь есть что лечить. Психиатр выпишет вам препараты, повышающие настроение.

— Настроение-то—следствие.

— А мы начнём со следствия. Глядишь, и удастся разогреть ваше сердце. А нет—что ж. В жизни человека самодостаточного есть свои плюсы. Будете жить другими интересами. Я вам больше скажу: возможно, взрослые люди, не испытывающие физической потребности в партнёре,—это счастливы, у них одной заботой меньше, а про расходы я и не говорю.

Муза не нуждалась в искусственном, таблеточном хорошем настроении и ушла.

Не стало папы и мамы.

Ребрикова полностью отдалась работе, которая оказалась лучшим лекарством. Доросла до должности директрисы. Типография обслуживала объединения разных профилей, выполняла цветные рекламные работы на уровне импортных. Муза пользовалась авторитетом, не подводила многочисленных заказчиков.

Однажды ей приснился кошмар: она—девушка, учительница биологии, ей предстоит давать старшеклассникам урок о половом размножении человека, под ржание созревших юных самцов. Проснулась и вздохнула с облегчением.

Грянула перестройка. Ожили не пришедшиеся когда-то к брежневско-сусловскому двору косыгинские идеи рентабельности, прибыли, хозрасчёта. В стране впервые после ленинского нэпа была легализована частная собственность. Начали оформляться ооо. Заказы банков и фирм приносили типографии Ребриковой немалый доход. Из директрисы типографии Муза превратилась в её владелицу, в бизнесвумен. Годы, для многих «лихие», были для неё благополучными, женщина избавилась от работы по дому.

Занималась благотворительностью: художники и музыканты часто были не в состоянии самостоятельно оплачивать выпуск буклетов о своём творчестве.

В России возродилось Православие. Многие хотели помочь Церкви, и Ребрикова решила участвовать в этом. Церковь не могла оплачивать красивые печатные работы по истории храмов и монастырей. Муза начала заказывать в ведущих библиотеках из запасников редкие издания и литографии, которые ранее можно было видеть только на выставках, под стеклом. Цветные, высокого «подарочного» качества фото икон, убранства

монастырей, трудов старцев для больших религиозных праздников она изготавливала бесплатно и ощущала признательность высших чинов Церкви, а также простых людей. Людская благодарность предпринимательницу радовала.

По вечерам она читала. Прочитала в Новом Завете, в послании святого апостола Павла к Ефессянам: «Господь вознаградит каждое доброе дело».

Хорошее полиграфическое оборудование Муза закупила за границей. Доллар рос, и оснастка дорожала. В результате подскочили в цене полиграфические услуги. Появились цифровые машины, новые технологии, менее качественные, но дешёвые. Фирменное качество стало убыточным. Частных типографий стало много, число заказов сократилось, конкуренция мешала повышать цены. Оказалась не по силам аренда помещений типографии. В один не прекрасный день пятидесятидвулетняя Ребрикова её закрыла.

Пришлось снова самой ездить на рынок. Выискивала там подешевле маргарин «Рама», «ножки Буша», бульонные кубики «Кнопг — вкусен и скор!».

В некоторых (немногих) литературных журналах платят гонорары. Муза созрела для сочинительства, у неё накопилось что сказать людям. Написался рассказ «Жизнь без печали», послала в «Новый Рим». Ей тут же приснилось, что напечатали; пробуждение принесло разочарование. Но сон оказался вещим! Ей прислали экземпляр журнала и небольшие денежки. Вскоре получился второй рассказ: «Чувство иронии и первый снег». Отправила во «Флаг» — снова пришла скромная сумма. Дело пошло.

В 2005 году Ребрикова начала получать пенсию, правда, нищенскую, но через четыре года пенсии повысили.

Телевизор Муза не смотрела: достала реклама. Спасение от одиночества по-прежнему находила в чтении. Сочиняла. Бродила по дорожкам между корпусами.

Был ранний вечер. Душу пенсионерки наполнило последнее воскресенье лета. Ветерок был уже осенний. К ней пристроился, спросив разрешение, пожилой мужчина с немецким догом. Представился: Арон Левкович. Он оказался разговорчив. Сообщил между прочим, что младенцем был обрезан, позднее крещён; у Ребриковой мелькнула мысль: как Иисус! Арон известил, что позавчера отпраздновал семьдесят первый день рождения. Беседовали. Муза поведала, что недавно на экране монитора возникла надпись: «Срок лицензии Windows истекает. Необходимо активировать Windows в параметрах компьютера». Пришлось пригласить мастера. Тот всё сделал за пятнадцать минут и без малейшего стыда взял с пенсионерки треть пенсии.

Стали гулять вместе. Доброго дога звали Чук.

Новый знакомый рассказал свою жизнь. Он в юности увлекался политикой. Но при Брежневе не было различных партий и их газет. Прикоснуться к политике можно было, поступив на истфак. История распадается на политическую, экономическую, военную, историю культуры и искусства и так далее. Левкович поступил в педагогический и выбирал для докладов, курсовых и диплома темы, связанные с политикой, ему было интересно, он получал пятёрки, можно сказать, отвёл душу. После вуза у советского историка существовали три пути: наука, преподавание и архив. Стать аспирантом у Арона не было шансов (не та национальность). Заведующая роно заглянула в паспорт молодого специалиста и отправила его восвояси. А в Государственном архиве парня охотно взяли, сначала на восемьдесят рублей. Там Левкович десятилетиями добросовестно исполнял нужную тягомотину, не связанную даже с историей, что там говорить о политике. А тем временем политика в стране забурлила. Но Арон был уже немолод и не рискнул сорваться с насиженного места. В конце концов ушёл на заслуженный отдых с должности главного специалиста. Наступило безделье, такое же скучное, как бывшая работа.

Рассказал Музе свой сон: он в страхе идёт по городу, оккупированному национал-социалистами, и в любой момент кто-то может показать на него: «Жид!»

У пенсионера сохранился интерес к политике. Он в ней разбирался. Поделился мыслями с Музой:

— Старого социализма народ не хочет, помнит дефицит. Хочет, чтоб не было «буржуев» и чтоб была колбаса. При этом многие не понимают, что не будет «буржуев» — не будет и колбасы. Но лидерам оппозиции это ясно. Они, если придут к власти, не тронут предпринимателей, только повесят вывеску: «Новый социализм».

Ребрикова приходила к Левковичу и Чуку домой. Арон ставил на проигрыватель пластинки сефардской и клезмерской музыки, и на женщину веяло магнетическим ароматом еврейского искусства. Левкович сказал, что, по его мнению, евреи и русские — два самых многострадальных народа. Признался, что еврейская история и нынешние проблемы Государства Израиль (в котором он ни разу не был) его волнуют не больше, чем история и проблемы Аргентины или Австралии:

— Я не еврейский патриот, я космополит. Еврейский Берия меня посадил бы.

Арон интересовался русским галантным веком, предлагал послушать Трутовского, Хандошкина, Соколовского, Фомина, Пашкевича. Слушали втроём. Мелодии были трогательными. Гостя об этих композиторах раньше не слышала; знала из той эпохи только про матушку-царицу Екатерину с «голубчиком Гришенькой».

Однажды во время прослушивания зазвонил телефон. Звонил однокурсни́к Левковича. Сообщил, что сегодня была кремация Вики Даниловой. Однокурсни́к знал, что полвека назад Арон любил её. Левкович спросил:

— Какого числа она умерла? Я запишу.

Музыка осветляла душу Ребриковой, рождалось сочувствие Арону, зарождались стихи про слёзы чистые, словно снежные хлопья, про печаль нежную, как туман.

Левкович стал для Музы дорог. При этом в её душе не было места тому, чем жил Арон. Политика, история и многие другие вещи оставались для Музы внешними факторами, не затрагивавшими глубину, важно было одно: чтобы они не осложняли жизнь. Всё основное для Ребриковой, всё волновавшее её, составлявшее её суть, происходило в её сердце. Оживали дорогие моменты детства и ранней юности, мечта и обида молодости. Ощущалось пришедшее в старости понимание жизни; припозднившаяся, но не опоздавшая радость любви: женщина её дождалась. Два старых человека, оставаясь разными, составили единое целое.

Они часто слушают русские народные песни. Муза думает: сколько в них красоты и юмора!

Арон хвалит её рассказы. Он перебрался с Чуком в её трёхкомнатную квартиру, а своё жильё сдал семье из Калуги. Левкович и Ребрикова — члены актива храма. Читают православную литературу. Муза вспоминает слова апостола: «Господь вознаграждает каждое доброе дело». Уверена, что счастье ей и Арону послал Бог.

Мистер Хардинг, Лера и пятиэтажка

*Юность — единственная пора жизни,
когда мы чему-нибудь научаемся.*

Марсель Пруст.

Под сенью девушек в цвету

1.

Семья Широковых жила в Москве, в Олсуфьевском переулке.

Артемий Вячеславович Широков хорошо помнит сентябрьский вечер 1964 года, когда к ним пришли гости: мама подруга с сыном — учащимся электромеханического техникума. Женщины стали обсуждать обстоятельства гибели Пушкина. Мама Артёма сказала:

— Жаль, что Александр Сергеевич был так вспыльчив. Другой бы на его месте жил себе спокойно, носил стёганный халат, играл с детишками, не рискуя жизнью и не подставляя себя под пулю. Всех козлов не перестреляешь, надо как-то с ними ужиться.

Разговор коснулся поэзии Маяковского. Гостя выразила мнение, что у того в стихах слишком много политики. В ответ папа Артёма сказал, что в юности Маяковский гениально писал о любви,

его как поэта погубила Октябрьская революция, но чего никогда не было в его стихах, так это пьяной есенинской мути. Мамина подруга возразила: — Лучше кабак, проститутки и драки, чем:

...Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше

слово,

товарищ маузер.

— Под этим подписался бы доктор Гёббельс, — молвила гостя.

Сын её поведаль восьмикласснику Артёму, что каждый месяц получает стипендию двадцать рублей, а ещё они после занятий играют в баскетбол. Вот здорово, подумал Артём.

Он выбрал в справочнике учебных заведений Московский техникум электроники и автоматики (МТЭА) на Большой Ордынке. Родители были «за»: на дворе стояла эпоха физиков, а не лириков.

2.

В августе 1965 года, написав в техникуме на пятёрку диктант, сдав на четвёрки устно и письменно математику, Широков увидел свою фамилию в списке второй группы первого курса — группы А-12 — и вздохнул с облегчением. Рядом стояла абитуриентка и шмыгала носом.

— Не поступила? — спросил Артём.

— Да. Тройка за диктант. Я без ума от электроники. — Через год поступишь, — обнадежил Широков.

Группа А-12 съездила в воскресенье на пикник. Бабье лето, церквушка на пригорке, засыпанная по поясу листопадом, вода в водохранилище уже холодная, не искупаешься, в небе журавлиный клин, вино — не дома при родителях и их гостях, а впервые самостоятельно, в своей компании, в честь долгожданного начала взрослой жизни.

В октябре, присоединив вторую стипендию к первой, Артём отправился на ярмарку в Лужники, чтобы купить за сорок рублей кинокамеру «Спорт-2», которую давно приглядел. За окном автобуса накрапывал дождь, жёлто-красные листья прилипали к асфальту. Проезжающие машины безжалостно давили погибающую красоту ушедшего лета, рождая в голове юности ещё не совсем оформившиеся, но вполне кинематографические образы. Затем, в его шестнадцатый день рождения, родители подарили ему кинопроектор «Луч», стоивший семьдесят рублей, и осветительную лампу на треноге. Ни у кого в техникуме не было подобной роскоши. Так создались основные условия для рождения кинокомпании. Она состояла из одного человека. Не хватало только названия, но за этим дело не стало. Широков как-то снимал на перемене ребят и девочек из своей группы, и его увидел завуч Василий Васильевич Славолубов, преподававший «Детали машин и механизмов».

Он предложил Артёму организовать кинокружок, но тот совсем не загорелся этой идеей, ощутив, что его хотят поставить под контроль и завладеть его сокровищами. Завуч на ближайшем уроке раздражённо заметил:

— Вот предложил Широкову организовать кинокружок, а он отказался. Частник, понимаете!

Словечко как нельзя лучше подошло для названия кинокомпании. Компания «Частник», в лице её основателя, вскоре задумала художественный фильм из американской жизни—о чём же ещё? Сценарий сочинил сам основатель и владелец фирмы. «Поднять» звуковой фильм «Частнику» было не по зубам, пришлось довольствоваться титрами. Режиссёром по совместительству был назначен автор сценария—разумное решение. Вкратце, по сценарию, дело обстояло так. Главный редактор не пользовавшейся популярностью городской газеты «Дэйли Хроникл», желая поднять на неё спрос, инсценировал серию жестоких убийств. Газета поместила фоторепортажи с мест событий, и двойной тираж был раскуплен за час. Глава полиции города Старр узнал об убийствах, читая «Дэйли Хроникл». Озабочившись серьёзностью происходящего, он поручил расследование лучшему детективу Фрэнку. Прослышав об ужасах на улицах города, к Старру приехал начальник полиции штата Хардинг. По тщательно разработанному сценарию они должны были от разговоров перейти к выпивке. Хардинг хотел чокнуться со Старром, но простодушный Генка Капитанов, игравший последнего, сразу опрокинул рюмку в рот, и рука его начальника повисла в воздухе—это стало неожиданной находкой, понравившейся зрителям. Как во всяком порядочном западном фильме, были предусмотрены рекламные паузы. Оля Кубикова—самая красивая девушка группы А-12, дочь директора культурного московского магазина «Немецкая мода», в туфлях на шпильках, в шокирующем брючном костюме,—держала в кадре плакат со стихами Гены Капитанова, восхваляющими продукции фабрики «Сапогъ»:

Только в туфлях этой фирмы
Выбегаем из квартир мы.
Ходит в них и млад и стар,
Мистер Хардинг, Фрэнк и Старр.

В кадре трое бравых полицейских сидели и болтали ногами в надраенных до блеска туфлях. Потом Хардинг топнул ногой, Старр и Фрэнк вскочили и застыли по стойке «смирно». В другом кадре Оля явилась с плакатом:

В любое время года
Природа ждёт народа.
Наплюйте на погоду,
Глотните кислороду!

Стихи того же автора. На экране демонстрировались фотографии сентябрьского пикника.

Но вернёмся к сюжету. Фрэнк разоблачил газетного шефа-авантюриста и арестовал его. Новый главный редактор «Дэйли Хроникл» напечатал сенсационную статью о том, что в афере с «убийствами» замешан глава городской полиции Старр, и опять был успех: не любившие полицию горожане томились в очередях у газетных киосков. О своём преступлении бедняга Старр узнал с изумлением из сми, причём из того же самого. Он звонил Хардингу, клялся, что, ей-богу, жёлтая пресса врёт («Падла буду!»)—заверил он задолго до реплики из фильма Георгия Данелия «Мимино»), но всё-таки ему пришлось подать в отставку и устроиться барменом.

В день премьеры последним занятием был английский. Молоденькая, но уже замужняя «англичанка» Агнесса Алексеевна Дыкина тоже осталась посмотреть. На экран у кинокомпании средств не хватило, поэтому завесили доску простыней. Задёрнули шторы, погасили свет, включили магнитофон Оли Кубиковой. Короткометражная фильма пошла под песни знаменитой британской рок-группы—лучшее музыкальное сопровождение придумать было трудно. Заметим, что «Жуки» из Ливерпуля не пели ничего антикоммунистического, но всё равно это было буржуазное искусство, от которого советских людей надо было оберегать, поэтому пластинки «битлов» СССР не закупал. Граждан выручали магнитофоны.

Вернёмся к нашему повествованию. Во время начавшегося просмотра по коридору проходил завуч Славолубов. Ему с утра было тошно, потому что в левое ухо влетела муха, шевелилась там, ворочалась и никак не могла выбраться на волю. Он не лез в ухо пальцем, боясь запихнуть муху глубже. Зашёл в аудиторию. Артём, выполняющий по совместительству обязанности киномеханика, остановил проектор. Магнитофон работал.

— Что здесь творится? Кто заводила?—вопросал в темноте завуч.

Зрители молчали. А ливерпульская четвёрка голосила: «She loves you, yeah, yeah, yeah! She loves you, yeah, yeah, yeah!»

Дыкина попросила приглушить магнитофон и обратилась к своему начальнику:

— Василь Васильч! Мы смотрим кино. Присаживайтесь, посмотрите с нами.

Славолубову было не до важнейшего из искусств: муха в ухе трепыхалась всё сильнее. Но он сел. Картину и звук запустили сначала. Когда кончилось, завуч сказал, морщась:

— Ничего не понял. Что там в фильме происходит?

Встал и вышел, хлопнув дверь. Заслушали выступление другого кинокритика—Агнессы Алексеевны:

— Я всё поняла. Молодцы. Для дебюта нормально. Но на будущее имейте в виду: сюжет не обязателен, больше твиста и всякого грохота. Пусть доискиваются смысла, меньше смысла—больше смеха, долой грани между драмой и комедией. У вас уже есть главное—кинозвезда.

Все с интересом посмотрели на Олю.

Ребята иногда пользовались добрым расположением «англичанки», подходя к ней на уроке с иностранными журналами и прося перевести то одно, то другое. Дыкина охотно переводила. При этом прекрасно понимала хитрость учеников, потому что в конце урока говорила:

— Всё. Опрос.

Ребята вопили:

— Агнесса Алексеевна! Осталось пять минут!

— Пять минут могут потрясти мир,—отвечала леди Агнесса.— Comrade Shirokov, please!

Артём показал фильм дома. Родители не оценили. По мнению мамы, работавшей в издательстве, было затянуто. Отец же, старший преподаватель Московского международного дипломатического института, назвал сюжет развесистой клюквой: — Не похоже на американскую жизнь. Скорее, на марсианскую.

Сын обиделся:

— Это авторское кино. Не для всех.

Ещё бы. Он все свои сбережения ухлопал на картину.

Вере Викторовне Рощепкиной, преподавательнице обществоведения в МТЭА, исполнилось сорок. Её сына—ефрейтора Рощепкина—замполит сделал кандидатом в члены КПСС. Полк дислоцировался в Ленинградской области, но партсобрания проходили в городе на Неве. Молодой коммунист периодически получал увольнительную записку и «отрывался» (молодёжный сленг позднейших времён) в Северной столице. Всем бы так служить.

Вера Викторовна после развода переживала одно увлечение за другим, была в любви профессором. А ещё она читала. В книгах приключения героев ей были интереснее мыслей, поэтому Конан Дойла и Дюма-отца она ценила выше Теккерея и Камю. Вера Викторовна верила в викторию коммунизма. Призывала учащихся не слушать западные «голоса», в результате непродвинутая часть аудитории узнала от преподавательницы партийного предмета о существовании доступной альтернативой информации. Объясняла: «„Известия“—развлекательная газета, надо выписывать „Правду“—орган нашей партии». Поручила Широкову подготовить сообщение «Всемирно-историческая роль рабочего класса и неизбежность его победы», вручила ему брошюру. Артёма поначалу смутила глобальность темы, ему казалось, что она не для техникумовского первокурсника, а для бородатого основоположника. Но в итоге он

справился, мало сказать—он разгромил самых выдающихся идеологических наймитов империализма, те, скорее всего, впали в шок и в депрессию. Что любопытно: присутствовавших, в том числе Рощепкину, Широков ничуть не удивил. Получил пятёрку.

В Нью-Йорке произошло массовое отключение электроэнергии, мегаполис погрузился во тьму. В Москве вагоны метро по утрам и вечерам ломились от мокрых плащей и пальто. На тротуарах и мостовых лежала ноябрьская слякоть. В Институте русского языка и литературы выступили Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин. В эти дни комитет комсомола МТЭА предложил группе А-12 отправиться в воскресенье на плодоовощную базу, расположенную близ Зубовской площади. Работать предстояло, во-первых, бесплатно, во-вторых, добровольно, то есть явиться обязаны были все. Не вызывало сомнений, что перебирать предстояло картошку или другие неэкзотические овощи. Каково же было удивление собравшихся, обнаруживших объектом приложения своих усилий не грязные полугнилые картофелины, а «апельсины из Марокко», уложенные в аккуратные ящики. На каждом апельсине оказалась наклейка со словом «Jaffa». Учащихся предупредили:

— Здесь ешьте сколько хотите, с собой уносить нельзя!

Работа закипела. Каждый открыл по ящичку, достал по апельсину и почистил фрукт от приятно пахнущей кожуры. Отправляли в рот дольками или сразу половинку апельсина, прислушиваясь к реакции собственных молодых организмов. Спусти несколько минут операция была повторена. Третий апельсин уже елся с трудом, а четвёртый даже не хотелось чистить. Учащиеся перешли к переборке. Подгнивших апельсинов почти не было. Некоторые неординарно мыслящие нашли применение выданным топорикам, разрубая фрукт пополам и выжимая сок из половинок прямо в рот. Пришла расплата за такое роскошество: сок попадал на пальто, пахнувшие затем до весны апельсинами. Дима Петрушев всё же утащил один апельсин братику. За десять лет до этого воскресника мама и папа Петрушевы привезли из роддома свёрток, положили его поперёк кровати, и свёрток заорал.

Группа А-12 не забыла вкусный воскресник. Понимание, из какого «Марокко» приехали в Москву апельсины, пришло позже.

Ярчайшим событием для Артёма стала победа его любимой футбольной команды «Торпедо» в чемпионате СССР. На следующее утро он купил по одному экземпляру всех газет, вплоть до «Советской торговли», «Социалистической индустрии» и «Лесной промышленности» (в советское время такая грандиозная покупка материально не была обременительна). В сумку газеты не влезли. Артём

на руках принёс эту кипу в техникум. Преподаватель радиоэлектроники Борис Такисович Вилодаки опешил:

— Широков, я вас уважаю за ваш интерес к политике, но вам следует уделять время и моему предмету.

Дома Артём, оставив без внимания политику, уделил весь вечер чтению последних страниц газет. Он вырезал фотографии и наклеивал в альбом. У него совершенно не осталось времени на удовлетворение просьбы Бориса Такисовича.

Вилодаки, входя в аудиторию, всегда бросал от двери свой портфель на стол, портфель летел и хлопался точно на место. Это был коронный трюк грека, он ни разу не промахнулся. Любил покушать: как-то, объясняя новый материал на последнем уроке, когда все думали об обеде, вместо «искра» сказал «икра». Однажды во время урока Широков пытался решить проволочную головоломку: надо было разделить соединённые между собой части. Борис Такисович ходил и рассказывал о туннельных диодах. Он вырвал головоломку у Артёма и занялся ею. Продолжая лекцию, курсировал между рядами и, проходя мимо Широкова, бросил ему на стол рассоединённые части. А ещё Вилодаки в дни полочки подходил к Дыкиной, Рощепкиной и преподавателю сопромата Зосименко с просьбой разменять ему бумажные рублёвки и трёшки, после чего ехал домой с карманами, полными монет. Причина валютной операции был проста: жена у него мелочь не забирала.

Однажды Борис Такисович пришёл на урок сильно взвинченный, вызвал Гену Капитанова, долго и злобно терзал парня вопросами, наконец вlepил несчастному двойку и вышел. Народ начал роптать, а Генка высказал предположение:

— Грек пьяный!

Дверь приоткрылась, Вилодаки всунул голову в аудиторию и сказал:

— Ну и что?

На следующий день он сообщил:

— Девяносто процентов неисправностей в электронике вызываются двумя причинами: там, где контакт нужен,— он пропал, или там, где контакт не нужен,— он появился. В свою очередь, девяносто процентов таких неисправностей устраняются простым постукиванием и потряхиванием.

На Ордынке, на Зубовской площади, в Олсуфьевском переулке на торопливый московский народ падал снег: густой, обильный. Снегопад подвёл черту под затянувшейся сырой осенью. В такое утро завуч Славолубов поручил Артёму подготовить доклад: «Принцип работы автомобильного генератора». Дома Широков сдул текст из учебника, положил листы в белую папку, на её обложке написал тему, красиво обвёл тему чёрной тушью и явился на урок Василия Васильевича. Тот повертел папку в руках.

— Это что за траурная рамка? Уберите.

Артём послушно соскрёбывал рамку, лезвие громко скрипело. Завуч поморщился. Опять нехорошо.

— Широков! Не скребите!

К пятому декабря—Дню Конституции СССР 1936 года—папа Артёма принёс из института вкуснятину, которую было не найти в магазинах. В заказ впихнули нагрузку—килограмм пшёнки. А через несколько дней иностранное радио сообщило сквозь глушилки о небывалом событии—митинге на Пушкинской площади, собравшем около двухсот человек, под лозунгом «Соблюдайте Советскую Конституцию!». Участников разогнали, некоторых задержали, и у них были неприятности. За ужином мама сказала:

— Когда у нас будет демократия?

Её муж проговорил с полным ртом:

— Никогда.

Возможно, он не ошибся.

Завуч Славолубов презирал Гену Капитанова за отсутствие у того интереса к машинам и механизмам. Однажды на уроке он подошёл к Генке, взял его сумку и высыпал на свой стол её содержимое. Перед глазами группы А-12 возникла горка: шахматная доска, хоккейная шайба, «Стихотворения и поэмы» Есенина и тоненькая школьная тетрабочка за две копейки, одна-единственная по всем изучаемым предметам. Группе стало весело. Был доволен и завуч. Вдруг прозвучала реплика юного поэта:

— Василий Васильевич! Вы взяли сумку, не спросив моего разрешения, всё высыпали из неё. Я так не поступил бы с вашим портфелем. Вы невоспитанный человек.

Славолубов побледнел. Группа замерла: исключат!

Но нет, ничего. Даже не был назначен педсовет.

3.

1966 год группа встречала в квартире Артюховых у станции метро «Новые Черёмушки». Артюховы-предки благородно ушли. Снова валил снег, храня Русь от стужи, заматавая все беды. Били куранты—камертон Нового года. Родина, обьятая надеждой, пила водку. Когда на востоке, в Коломенском, взошло солнце, родители Майи вернулись. В квартире стоял дым коромыслом. Как в «Гаудеамусе»: возрадуемся, пока молоды! Отец повесил пальто и, не сказав ни слова, сел посреди комнаты читать вчерашнюю «Вечёрку». Гости поняли. Но кое-кто был не в состоянии передвигаться. Родители, проявив чудеса понимания и сочувствия, привели оставшихся безнадёжных в годное для самотранспортировки на метро состояние.

Однажды на уроке Вилодаки показал Оле Кубиковой кусок проволоки, избразил пальцем в воздухе синусоиду и спросил:

— Как вот в такой проволоке помещается вот такая синусоида?

Юморист.

А через пару дней завуч принёс мотор, поставил, снял крышку и тоже вызвал Олю:

— Покажите регулятор скорости.

Разве это занятие для юных девушек — копать в моторе? Они созданы не для этого, а для любви. Несчастливая Кубикова печально склонилась над столом. Она впервые в жизни созерцала внутренности мотора и ни за что не нашла бы в нём регулятор скорости, даже если бы их там торчало десять штук. Но, как выяснилось мгновение спустя, регулятора в означенном моторе не было ни одного. Славлюбов спросил:

— Не видите?

И достал деталь из правого кармана пиджака: — Вот регулятор скорости!

В восторге от собственного остроумия почесал регулятором себе спину.

На следующий день он принёс фильмоскоп и диафильм о двигателе внутреннего сгорания. Вращать ручку фильмоскопа поручил Петрушеву. Сам встал у экрана, направил указку на одну из деталей двигателя и объявил сидевшей в полумраке группе:

— Поршень.

Дима чуть-чуть подвинул фильмоскоп, поршень уполз от кончика указки. Василий Васильевич повернулся к экрану и удивился. Посмотрел, во что теперь упёрлась указка:

— Это коленчатый вал.

Снова повёл указкой и сообщил:

— Привод.

Повернулся к группе. Петрушев опять немного сдвинул фильмоскоп, теперь от указки отъехал привод. Группа была в восторге. Завуч посмотрел на экран:

— Что происходит?

Подозрительно поглядел на Петрушева. Тот ответил невинным взглядом. Славлюбов с наслаждением почесал концом указки себе спину. Мухи в его ухо больше не залетали, но зато у него часто чесалась спина, и унимать зуд указкой было очень приятно.

В техникумовской столовке можно было за двадцать копеек наесться от пуза: четыре винегрета по четыре копейки, чай с сахаром и кусок чёрного хлеба. Широков и ещё трое учеников купили по двухсотпятидесятиграммовому картонному тетраэдру кефира, сели. Каждый, оторвав уголок пакета, выдавливал содержимое в стакан. Артём нажал на тетраэдр — и раздался взрыв хохота, сопровождаемый стоном Капитанова: его лицо закрыла белая маска; шея и рубашка Гены, его не элитный костюм — всё утонуло в кефире, вырвавшемся из пакета Артёма. Готовый фрагмент фильма ужасов киностудии «Частник». Химическая чистка

костюма стала непредвиденным расходом для Генкиной мамы, машинистки. Муж давно бросил её и сына. Она подрабатывала тем, что печатала в тридцати экземплярах (шесть закладок в машинку) список экзаменационных билетов для группы А-12, учащиеся собирали для неё по полтиннику. Её сын ходил зимой без перчаток, грел руки в карманах.

Иосия Виссариевна Бабулькина преподавала скучный предмет с жутким названием «Допуски и посадки», как нельзя лучше подходящий к её имени и отчеству. Её ужасный двойной тёзка скончался за тринадцать лет до описываемых событий. Петрушев принёс на её лекцию книгу по сексологии. Это в эпоху, когда в Советском Союзе секса не было! В углу аудитории Дима Петрушев, Майя Артюхова и Гена Капитанов, не дожидаясь появления секса в СССР, принялись изучать захватывающий материал. В эту минуту близорукая Бабулькина попросила выполнить задание по теме урока. Заметив повышенную активность и оживление на двух задних партах, она участливо обратилась к этой тройке:

— Ну что, попробовали? Не получается? А вы дома потренируетесь как следует, и обязательно получите!

Призыв нашёл живой отклик в душах и телах. После ознакомления с теорией секса начались практические занятия.

Четырнадцатого февраля был лёгкий морозец. В этот день стартовал прокат прикольного зарубежного фильма. Размер стипендии не покрывал материальные потребности, и ученики приехали к кинотеатру, накупили билетов. Когда билеты в кассе кончились, приступили к спекуляции. К Широкову подошла женщина:

— Продаёшь?

— Да.

Она взглянула на цену:

— Сорок копеек?

— Рубль, — потребовал наглец.

Дама без возражений заплатила. Потом на просмотре сидела рядом с юным дельцом. Могла сдать его милиционеру. Впрочем, вероятность привода в отделение не пугала Артёма, ему это даже было бы интересно.

Вернувшись домой, он узнал, что телик не работает. Отец сказал:

— Почини, специалист.

Вспомнив рекомендации Вилодаки, сын постучал по «Рекорду», приподнял его, потряс, поставил, ещё раз постучал. Изображение и звук восстановились, и Широковы услышали новости: ввс США бомбят Демократическую Республику Вьетнам, в Сестриере (Италия) закрылась Универсиада зимы 1966 года, на суде в Москве писатели Юлий Даниэль и Андрей Синявский — «оборотни-пасквильянты с чёрной совестью» — получили пять и семь лет соответственно.

Фирма «Частник» выпустила новую незвуковую короткометражку под названием «Страдания юного Вертерова». Как было заявлено в начальных титрах, «фильм не очень художественный, но очень документальный». Директриса пришла посмотреть. Если бы кинокомпания продавала билеты, лента бы стала блокбастером и хозяин фирмы поправил бы своё благосостояние. Но коммерческие поползновения советских людей не соответствовали единственно верному научному мировоззрению, подлежали отмиранию. Женскую роль опытный сценарист Широков писал для известной в МТЭ артистки Кубиковой. Третьекурсницу Леру — «комсомолку, спортсменку» — Оля сыграла без блеска и выдумки, но актрисам-обаяшкам, красоткам мужская половина зрителей прощает всё. Себе владелец кинокомпании, сценарист, режиссёр забрал главную мужскую роль — Вертерова, однокурсника Леры, страстно влюблённого в эту девушку, считавшего её одним из прелестнейших в мире созданий. Её стан, тон, манеры поглотили всё внимание героя. Он отвечал на экзамене аспиранту Альбертову — жениху Леры, прекрасно понимавшему, каким сокровищем она является. Стоял у доски безмолвный, грустный и думал про аспиранта: как он смеет любить её? У Вертерова вылетело из головы всё, что он знал об электрорадиоматериалах, ему было не до них. Юноша представил, как Альбертов будет обнимать стройный стан Леры, и его глаза наполнились слезами. Удоски лежала тряпка, которой стирали мел, и Вертеров высморкался в неё. До сморкания в грязную тряпку Широков в сценарии не додумался, это была актёрская импровизация, потом в МТЭ опять говорили про находку, на этот раз гениальную. Благородный Альбертов поставил сопернику «отлично» и женился на Лере. Потеряв Леру, Вертеров потерял всё. Но думал: она знает, как я люблю её! Он пришёл к ней в отсутствие её мужа. Последовал диалог (титры), во время которого Вертеров убедился, что и Лера его любит. Но Лера понимала, что пути к счастью ей закрыты, и выбежала из комнаты. Она принадлежала другому. Вертеров ушёл домой. Он был не в состоянии готовиться к следующему экзамену — по технологии металлов. Целый день работал над текстом прощального письма Лере: «Мне хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу...» Потом желание умереть ослабло. Вскоре он познакомился с хорошенькой второкурсницей Лолой. На этом фильм кончился. Иоганн Вольфганг фон Гёте перевернулся в гробу.

Зажгли свет, и директриса сказала киномагнату: — Неплохо. Вы не там учитесь. Вам надо во вгик.

Артёму захотелось туда. Только вот на кого учиться: на сценариста, режиссёра, оператора, актёра или на всех сразу?

Дома папа одобрил картину:

— Это — другое дело.

Мама поддержала:

— Жизненно.

Приближалась весна. Дима Петрушев пригласил в гости Капитанова и Широкова. Артём предвидел карточную игру и отложил на неё немного денег. Решил прийти с бутылкой, но хватило только на «Яблочное столовое». Принесённое «вино» Дима назвал дерьмом, и Широкову захотелось одеться и уйти.

Сели играть. Быстро оставшись без копейки, Артём пересел на диван. Петрушев прокомментировал:

— Уже всё проиграл.

Они с Геной продолжали игру, пока не проигрался и Капитанов. Дима спросил:

— Господа! Кому нужна женщина?

И поднял руку. Генка, огорчённый проигрышем, буркнул:

— Мне не нужна.

Петрушев удивился:

— С каких это пор?

Посмотрел на не проголосовавшего Артёма:

— Ты воздерживаешься?

Широков был девственником и скрывал это.

— Я ещё не созрел, — сказал он.

(Если хочешь обмануть, говори правду.)

Но Дима всё понял и улыбнулся. Артём от смущения и стыда был готов провалиться сквозь землю.

Дома внимание Широкова привлекла в глупине шкафа книга в старинной обложке: «Подъ зимнимъ небомъ. Сборникъ стиховъ». На второй странице было напечатано: «Дозволено цензурою. Санктъ-Петербургъ. 20 января 1881 г.». Ниже красовался овалный фиолетовый штамп: «Пансіонъ Варвары Ивановны Урюпиной». Артём полистал.

Я гуляю, я гуляю, я брожу по парку,

А вернувшись, наливаю «Родерера» в чарку.

Я не знаю, сколько вѣсень мне ещё осталось,

Но хотелось бы, чтобъ осень малость задержалась.

Сколько прелести печальной въ чарке и ночлеге

И поэзии прощальной въ падающемъ снеге.

Колокольный звонъ несѣтся надъ притихшимъ лесомъ.

Либераломъ быть придѣтся. Можетъ, даже бесомъ.

4.

Перед Восьмым марта мужская половина группы послала Широкова за цветами. Он пришёл на радиотехнику пораньше с роскошными, необыкновенно красивыми лилово-малиновыми тюльпанами сорта «Хэдди» и раскладывал их на столах, по одному цветку для каждой девушки. Борису Такисовичу было любопытно: кому достанется тюльпан с самыми крупными лепестками? Ясно: Кубиковой.

Город долго ждал тепла, зима оказалась крутой и не уходила. Белым был март, снег мёл, мёл

в лицо. Артём задумал документальную кинокартину «Цветёт перелеска», чтобы под песню Булата Окуджавы «Дежурный по апрелю» в первых кадрах ещё лежал снег, а в последних вылезали из почек новые листики и всё расцветало. Но не сложилось: в мыслях парня изобретение братьев Люмьер уже вытеснила Оля, ею наполнились его утро, полдень и вечер.

Был объявлен воскресник; как всегда, добровольный, но обязательный. Коммунистка Рощепкина, преподавательница обществоведения, сказала заучу, что прийти не сможет. Беспартийная «англичанка» Дыкина тут же заявила Славолубову: — Если Верка не придёт, то и я не приду. — И я, — подключился Борис Такисович, тоже беспартийный.

В итоге все, и Рощепкина, убрали вместе с учениками лёд и мусор на бульваре. Артём работал рядом с Вилодаки. Борис Такисович опёрся на метлу и спросил у Веры Викторовны:

— Ты на какой кафедре защищала диплом?

— На кафедре научного коммунизма, — похвалилась та.

— Что это за наука? В ней ни одной формулы нет. В политэкономии хоть есть «деньги — товар — деньги штрих».

На следующий день на уроке, посвящённом двадцать третьему съезду КПСС, Вера Викторовна сказала:

— Артюхова! Сколько можно вертеться?!.. В отчётном докладе Первый секретарь ЦК Леонид Ильич Брежнев назвал так называемых писателей Синявского и Даниэля ремесленниками от искусства, очернителями, клеветниками, отщепенцами.

Широкову было жалко осуждённых.

Невзирая на политические проблемы, в Москву пришёл апрель — пора, когда птичьи трели греют и одуряют, нормальный мужчина становится ненормальным, думает об одной даме, не замечая прочих, и грустит как умеет: без тоски, но с печалью; ему хочется идти по бульвару домой с избранницей своего сердца, говоря ей слова любви, хочется, чтоб она внимала и чтоб ночь безумной страсти была вечной, а для полного счастья — чтоб обоим было по двадцать.

Артём ехал в трамвае. Вспомнил, что в восьмом классе у некоторых ребят были подружки, а у него не было. Вагон обгонял прохожих. Если бы у Широкова были способности Капитанова, он тут же сочинил бы стихотворение о том, что солнечные дождинки смывают усталость с лиц, хочется ехать и ехать по жизни шутя, стоя на задних лапах. Стихотворение посвящалось бы Оле и, возможно, содержало бы строку: «Ты мне — как этот дождь». Но Артёму поэтический дар не был послан, и он предложил Кубиковой загородную прогулку.

Воскресенье семнадцатого апреля выдалось тёплым. Электричка остановилась в лесу.

— Знаешь, как расшифровывается «отл»? — поделился свежей хохмой Широков.

— Нет, — заинтересовалась Оля, сошедшая с обложки «Burda»: причёска бабетта под Брижит Бардо, узкое немецкое пальто до «чуть выше колен» с поясом.

— «Обманул товарища лектора». А «хор»?

— Не знаю.

— «Хотел обмануть, разоблачили». «Уд» — «Ушёл довольный».

Развели на поляне костёр, проткнули прутиками куски белого хлеба и поджарили их. Горячий хлеб пропитался дымком. Осуществилась задуманная кинокартина: цвела наяву, а не на экране перелеска благородная, лопались набухшие почки, юноша впервые целовался; как герой Окуджавы, он держал путь из конца в конец апреля, но был счастливее персонажа песни.

Вернулись в город вечером. Когда шли по Сретенке к Олиному дому, навстречу ползли автомобили с зажжёнными огнями. В мрачном и сыром небе не было видно ни одного светила, но Артём, благодаря Булату, знал: звёзды стали и круглее, и добрее.

Начало мая в столице бывает холодным. Но если даже выпадет снег, не надо печалиться, он быстро тает. Заря обнимается с Бородинским мостом. Гладь Москвы-реки отражает розовые закаты. В мае ждут лета, близкого, как счастье. Широков купил с рук два билета на последний сеанс показа зарубежного фильма, который хором ругала центральная пресса (лучшая реклама). Фильм шёл ограниченным прокатом, на окраине. Артём пригласил Олю. Прогулка с любимой девушкой — сказка. Билеты спрашивали за полкилометра от клуба. Широкову картина понравилась. Кубикова, выходя из зала, произнесла:

— Чепуха.

Артём защищал фильм. Оля иронизировала: — Ты, наверное, в восторге от сцены с обнажёнными. Как цензура не вырезала?

Широков вспомнил разговоры родителей. Сказал:

— Цензуре только дай волю. Сегодня запретит раздетых, завтра запретит одетых.

Заговорили о посадке писателей. Кубикова процитировала отца:

— Не надо было сочинять гадости.

Артём возразил:

— Они не насиловали, не грабили и не убивали. Писали книги. Литераторы не могут не писать. Что они там написали, это их дело. Они никого не заставляли читать.

У подъезда Кубикова показала бежевого цвета «Волгу», принадлежащую её семье. Сообщила:

— Папа хочет «Мерседес-Бенц».

— «Мерседес-Бэмс!» — сказал Артём.

Оля улыбнулась и чмокнула его в щёку.

В первые летние дни у всех не учёба была на уме. Завуч чертил мелом на доске схему и, не оборачиваясь, спросил:

— Что я черчу?

Димка Петрушев с задней парты:

— Х...ня какая-то.

Славолюбов, не расслышав:

— Правильно там шепчут.

Вадим Боголюбович Зосименко читал внучке книжки с картинками. Он имел сорок два года трудового стажа, оставался год до пенсии. Ему надоело не сопротивление материалов внешней нагрузке, которое он преподавал, а сопротивление дураков всему разумному, наблюдавшееся им с молодых лет. Ещё ему осточертел завуч Василий Васильевич, который если открывал рот во время междусобойчика, то только для того, чтобы сказать пошлость. Жена была на шесть лет моложе и говорила:

— Будешь скучать без работы.

— Эх, поскучать бы,— отвечал Вадим Боголюбович.

Они спали раздельно. Июньские ночи выдались жаркими, и супруги до утра лежали каждый со своим включённым вентилятором.

Летняя сессия завершалась экзаменом по сопромату. Учащиеся сидели в классе и один за другим уходили в соседнюю аудиторию сдавать Зосименко. Майя попросила Петрушева:

— Дим! Покажи, как отец спит.

Это был любимый всеми номер. Петрушев-старший работал мастером на шёлкокацкой фабрике «Красная Роза». Дима уложил руки на парту, на них поместил голову, закрыл глаза и захрапел. Через десять секунд, не открывая глаз и не поднимая головы, воскликнул:

— Иванова! Иванова!

И продолжал храпеть. Умора.

Не вктив ни одного «неуда», Зосименко шёл по аллее. В воздухе было разлито тепло. Вадиму Боголюбовичу представилось, что он сошёл с поезда, прибывшего в пригород рая, и видит живую маму. Как хорошо!

Навстречу шествовали Кубикова, Артюхова, Капитанов, Широков и Петрушев. Последний нёс сумку, полную бутылок.

— Уже празднуете?— улыбнулся преподаватель.

Учащиеся рассмеялись. Зосименко позавидовал их юности и вдруг увидел шагах в двадцати драку двух мужчин. Один упал, второй стал бить его ногами. Широков схватил бывшего за руку. Мужчина вырвал руку и пошёл прочь. Артюхова и Кубикова наклонились над пострадавшим, тот сел на асфальте и отрицательно повёл головой.

Переход на второй курс группа отмечала в шикарной квартире Кубиковых на Сретенке. Включили радиостанцию «Молодость». Из приёмника полился «Гимн расшалившихся комсомольцев» на музыку композитора Анатолия Григорьевича Новикова:

Песни «Битлз» обожает молодёжь,
Молодёжь, молодёжь.

Эти песни в магазине хрен найдёшь!
Хрен найдёшь! Хрен найдёшь!

На следующий день сняли главного редактора радиостанции Скоринкину.

5.

Через три года Артём получил диплом. Поступать во вгик не стал. Возможно, мир потерял второго Нанни Моретти. А может быть, Широкова в кинематографе, как написал по другому поводу про другого юношу Александр Пушкин, «обыкновенный ждал удел».

В Советской Армии Артёму сначала было интересно, особенно когда на него свалилось звание младшего сержанта, потом надоело. После дембеля Широкову хотелось жить в чистом мире, но действительность порой оказывалась грязной. Артём привык относиться с любовью к ближним, а те, бывало, гадили ему на голову. Он искал счастья в отношениях с женщинами и был в этом чаще счастлив, чем нет.

Молодость сменилась зрелостью. Последняя перетекла в старость. Недавно Артемию Вячеславовичу приснилось, что ему сто два года. Его охватила тоска, соединённая с сильнейшим желанием жить. Открыв глаза, он понял:

— ему только шестьдесят семь;

— его семье нехило в зелёном микрорайоне, в трёхкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажки, которая нормально простояла бы ещё полвека, если бы не реновация;

— он дослужился до солидной должности.

Похолодало. Отопление ещё не отключили.

В качестве третьего блюда жена подала миндальные пирожные. Артемию Вячеславовичу запрещено сладкое, и он старался не смотреть на круглые аппетитные комочки. Дочь подзадорил:

— Папа, они такие вкусные, трёхслойные.

Это была пытка.

Потом старик отдыхал в кресле, обсуждая с внуком, равнодушным к электронике и автоматике, выступления московского «Торпедо» — команды третьего уровня. Оба болельщика верны своему несчастному клубу.

Включил компьютер. Говорила немолодая дама: «Ленин писал Луначарскому, что не видит разницы между чёртом синим и чёртом зелёным. А я не вижу разницы между фашистом коричневым и фашистом красным. Ультралевые — за Россию „без буржуев“; не понимают: не будет „буржуев“ — не будет и колбасы».

Выключил. Поделился с супругой давней мечтой: снять документально-игровой фильм «О любви»; добавил, что ещё не созрел для такой темы.

Настал час идти на собрание членов ЖСК. С удовольствием облачился в новую дублёнку. Расстроился:

— Она уже еле сходится на животе.

— Сейчас всем трудно,— успокоила жена.

Учетвёртого подъезда шумел митинг собственников.

— Провокаторы! Во время войны тоже были провокаторы.

— Пятая колонна.

— Я депутат.

— Депутат пусть говорит.

— Люди платят миллионы рублей, а нам в подарок.

— На Хлобыстова снесли два дома, и всех загнали в Некрасовку.

— Кто вы такая? Почему мы должны вас слушать?

У нас председатель есть.

Председатель правления Аксинья Торвальдовна Карлссон крикнула из окна:

— Заходите голосовать!

Народ повалил в подъезд. Квартира на первом этаже, в которой помещалось правление, всех не вместила. Председатель зачитала проект решения. Девушка спросила у неё:

— Я прописана. Могу голосовать?

— Только собственники.

Широков протиснулся к столу. Карлссон:

— Какая квартира? Паспорт. Пишите: «за» или «против».

Артемий Вячеславович написал «против».

— На втором листе пишете: «согласен»,— и распишитесь.

— Как же согласен, когда я против?!

— Согласен с протоколом.

— Так в протоколе вы написали, что мы одобряем снос дома. А я не одобряю!

Женщина из очереди—председателю:

— На лестнице много народу, они не слышали протокол.

— Я всех приглашала.

— Здесь места мало,— настаивала женщина.

— Я всё зачитала. Через час меня здесь не будет,— отрезала Аксинья Торвальдовна.

Широков покинул народный сейм, пришёл домой и сел смотреть хоккей. Под занавес матча россияне проигрывали одну шайбу, тренер Олег

Валерьевич Знарк убрал вратаря Андрея Василевского, и наши закадычные американские друзья вlepили нам в пустые ворота ещё одну.

Артемий Вячеславович вздохнул. Сказал жене:

— Меня никто ни разу не назвал плохим человеком.

Последовал ответ, так же далёкий от логики:

— Иди мыть руки.

Намыливая ладони, Широков думал: скорее всего, жильцы верхних этажей (чёрт бы их побрал), желая иметь лифт, проголосовали за снос дома. Посмотрел в зеркало на почти незаметный шрам на переносице. На втором курсе, на физкультуре, он и Петрушев фехтовали лыжными палками, и Димка нечаянно угодил ему остриём между глаз, пошла кровь. Идиот, подумал Артемий Вячеславович и улыбнулся. Вспомнил, как осваивал в МТЭА точные науки высокой техники и неточные науки реальной жизни. Словно на экране кинозала, ожили в его сознании покинувшие планету: глупый, но не злой Славолубов; зануда Рощепкина; славные мужики Вилодаки и Зосименко; добрая Бабулькина; недавно ушедшая Майя Аргюхова.

А Агнесса Алексеевна Дыкина жива, в семьдесят четыре года репетиторствует у себя на квартире.

Подумал о безразличных ему однокашниках. Дима Петрушев, всю жизнь занимавшийся ремонтом техники и электроники, спроектировал и своими руками построил на берегу Икшинского водохранилища дачу, с тех пор живёт в ней круглый год с женой; в их московской квартире обитает сын с семьёй. Гена Капитанов, так и не работавший ни одного дня по техникумовской специальности, ездит на службу полтора часа в общественном транспорте; опубликовал проникновенную патристическую лирику. Но печатающихся поэтов в России нынче двести тысяч; читатель если и тратится сегодня на художественную литературу, то лишь на детектив в прозе. Генка живёт одиноко и доволен этим. Оленька Кубикова—нежное потрясение его, Артёма, полудетского сердца,— была успешным трейдером, в 2014 году поселилась с мужем в Лондоне, на Уайт Бёрч стрит, на сорок восьмом этаже нового небоскрёба.

А вот август 1965 года: ещё одна девочка. Вытирает слёзы. Увлекается электроникой, но не зачислена в МТЭА из-за ошибок в диктанте.

Александр Конопкин

Хельга

Роман в письмах

Часть I

.....



Ты помнишь, Хельга, я ушёл от дел,
я выпал из безумных расписаний,
созвонов, конференций и собраний?
Но, видит Бог, я сам того хотел...



Ты представляешь, я почти в раю:
здесь тихо и спокойно, в баре вина —
с кусочком сыра, с долькой апельсина...
И так — пока бутылку не допью.
Тут столько книжек — ввек не прочитать,
и музыки — до смерти не прослушать,
и каждый встречный вежлив и радушен,
но я людей стараюсь избегать...



Послушай, Хельга, за окном июль,
и пахнет, как и должно, жаркой пылью.
И ласточки на тонких чёрных крыльях
летают вечерами. Бедный Жюль
весь день страдает: где отыщет тень —
уляжется и с тяжким хрипом дышит.
А солнце раздражённым жаром пышет,
и от жары случается мигрень.



Случилось так, что я всю ночь не спал.
Слонялся бледной тенью по квартире,
читать пытался, раза три-четыре
холодный чай в стаканы наливал,
дверями хлопал...
Кашляя в кулак,
дымил в окошко. А собаки выли.
Я пальцем рисовал по тонкой пыли,
осевшей на карнизе, некий знак.
И так — пока не выпала роса,
пока туманной ватой не накрыло
собачью будку. Жюль брехал вполсилы,
а я гадал: случится ли гроза?



Ты знаешь, Хельга, в здешней тишине
кощунственны сомнения и споры.
Здесь не бывает поисков опоры,
здесь всё понятно даже в пьяном сне.
Здесь время равномерно, а в словах
не может быть двоякого значенья.
Здесь жизнь прямолинейна и ничейна,
но каждый за себя, увы и ах...



Мне кажется, я начал привыкать,
и штиль уже не выглядит ловушкой.
Скорее, он удобная подушка,
с которой так не хочется вставать.
Одно и то же утро сотый раз,
и вечер не готовит перемены.
Нет ни вчера, ни завтра — ойкумена
от кухни до забора...

Я сейчас

возьму собаку, посмотрю закат,
послушаю предсонный шелест моря...
Ты знаешь, Хельга, жить вот так — не споря,
без спешки, без потерь и без наград —
почти приятно. И почти не больно.

Часть II

.....



Книга дочитана. Дом немой.
Чай с затонувшей лимонной долькой.
Хельга, мне кажется, что письмо
проще звонка. Ты прости, что столько
времени прятался. Телефон
выключен, адрес пять раз поменян.
Даже язык изменился, он
учится трудно, но я уверен —
справлюсь и буду на нём болтать,
аборигенов смешить акцентом.
Впрочем, на это мне наплевать,
главное — здесь тишина. При этом
лето здесь длинное, а зима

тёплая—в шапке ходить нелепо.
Здесь желтокаменные дома
и потрясаяще пахнет хлебом
каждое утро.

Лишь Жюль сердит—
воет тихонько и прячет морду.
Но постепенно и он простит—
он ведь отходчивый, хоть и гордый.



День добрый, Хельга! Я тебе писал,
но твой ответ пока ещё в дороге.
Наверное, его читают боги,
прищулив близорукие глаза.
А может быть, как глупая плотва,
вильнул хвостом в порыве своевольном
и, не поняв, что делает мне больно,
он просто потерялся на раз-два?

Я в душном баре вжался в уголок,
невидимый для публики галдящей,
слежу, как свет от лампочки висящей
стекает и ложится возле ног
нарядных дам, пришедших пить вино,
смущённых пар, боящихся случайно
раскрыть свою или чужую тайну,
пьянчужки, говорящего с окном...

Ответа нет. Но знаю: всё равно,
когда почти сожрут тоска и мука,
однажды утром я проснусь от звука,
с которым в ящик падает письмо.



К исходу день. Голодный телефон
нетерпеливо ёжится на стуле—
его кормил последний раз в июле,
подталкивая фразы в микрофон.
Слова, как будто камешки в трубе,
катились, затихая с дробным эхом,
но чей-то голос, хриплый, как помеха,
сказал понуро: «Кажется, вы не
туда попали. Я живу здесь год,
и имя Хельга вроде бы знакомо,
но в списке проживающих такого
не числится. Быть может, вас спасёт
моя соседка? Не спешите с „нет“,
она живёт здесь с самого начала—
она здесь провожала и встречала
почти любого. Ей под сотню лет,
но если нужно что-то разузнать,
она всегда подскажет. Дать ей трубку?»
И новый голос, старческий и хрупкий,
сказал: «Она просила передать,
что если ты найдёшься, не спеши
звонить и засыпать её словами.
Не знаю, что случилось между вами,
но письма забирает. Ты пиши—

она, читая, руки жмёт к груди,
она смеётся от твоих рассказов.
Но говорит, пока ещё ни разу
ответить не решилась. Так что жди...»



Мне пора бежать отсюда, Хельга:
здесь молчат с утра и до заката,
здесь никто не мается с похмелья
(пьют здесь неприлично аккуратно);
здесь ни с кем нельзя затеять ссору,
здесь на помощь не зовут соседей,
здесь укрылись по уютным норам
женщины, мужчины, даже дети;
здесь не ходят в гости по субботам,
здесь скрывают счастье и утраты,
здесь никто тебя не спросит: «Кто ты?»,
здесь никто тебя не спросит: «Как ты?»
Задыхаюсь...

Утром электричка,
Жюль заждался, Жюлю—только свистни.
По прогнозу завтра всё отлично.
Жди теперь письма из новой жизни.

Часть III

.....



Ты хочешь постоянства. Ты всегда
теряешься в изменчивом потоке,
когда в окне мелькают города,
когда никто не знает точно сроки
присутствия, а вечный имярек
жмёт руку, улыбаясь: «Просим, просим...»
Когда летели в солнечную осень,
а прилетели в сумерки и снег...

Я думаю об этом перед сном
под стук колёс и храп с соседних кресел.
Ты знаешь, Хельга, мне безумно тесен
застывший мир, где стулья, стол, окно.
Мне этот мир совсем не интересен,
мне нужно что-то большее... Без «но».

.....

Я долго не писал. И вот итог:
тот поезд, Хельга, был одним из многих.
Весну и лето я провёл в дороге—
я ехал, ехал, ехал и не мог
насытиться. Менялись поезда,
машины, самолёты и дензнаки,
и эта жизнь потерянной собаки,
бегущей, в общем смысле, в никуда,
мне нравилась.

Но ветер ободрал
последний лист, и в лужах захрустело,
и в голове занозой вдруг засела
потребность видеть утром не вокзал,

а, если выражаться в двух словах,
знакомый от и до привычный угол.
И знаешь, Хельга, я тогда подумал,
что ты не так уж сильно не права...
.....

У Жюля насморк, у меня мигрень,
вчера пропал рюкзак при пересадке.
Но это частности. Глобально— всё в порядке,
и завтра у меня великий день.

Я завтра заселяюсь в новый дом:
две спальни, кухня и забор с калиткой;
дорожка к морю выложена плиткой,
и хода— три минуты. А кругом
заросшие холмы— как на открытке.
Но я подробней напишу потом...



Даниэль (тот, с моторной лодкой)
постучался вчера в калитку.
Он принёс четвертинку водки,
по его— это *quarto di litro*¹.

Он сказал: «Предлагаю выпить.
Вы же будете рады гостю?»
Знаешь, Хельга, подобной прыти
не встречал с приключений в Хосте—
помнишь парня на остановке,
что просил подарить кроссовки?

День был ветреный и тоскливый,
Жюль брехал и скулил от скуки.
Я спросил: может, лучше пива?
Но сосед подышал на руки:
мол, для пива сейчас *fa freddo*²,
лучше водки. Уважь соседа?

Он ходил возле книжных полок,
удивлялся: зачем мне столько?
Он сказал, что он сам— психолог,
а жена его— венгро-полька.
Но она не приедет больше
ни из Венгрии, ни из Польши.

Он ушёл в середине ночи,
проверяя ключи в кармане.
А с утра его сбил молочник—
не заметил в густом тумане...

Я проснулся от вопля скорой.
Он лежал на краю дороги.
Из-под брошенной кем-то шторы
было видно одни лишь ноги.
И казалось, что он опутан
перехлестнутым парашютом.

На газоне со всяким сором
из размокшей уже бумаги
самолётик— измят и порван,
словно сбитый в небесной драке.
Самолёт и погибший лётчик.
И толпа всех других и прочих...



Послушай, Хельга,— трудное письмо,
я долго думал, всё не мог решиться.
Но мне необходимо поделиться.
Не знаю, как начать. Но всё равно...

Вчера был дождь, с утра висел туман,
к обеду тучи ветром разогнало,
и вышло солнце, но потом пропало.
По телеку твердили про обман
участников одной из лотерей.
У дикторши с волнующим контральто
была татуировка «Viva Malta»
и гладкое каре, как у Мирей
Матье. Потом пришёл сосед
с вопросом: «Почему у вас в России
не любят Бродского?» Я, право, был бессилён
что-либо объяснить, ведь мой ответ
был явно лишним. У него беда—
его жене врачи вчера сказали,
что рак неоперабелен. Едва ли
он что-то слышал, кроме «месяц-два»...

Мы с ним расположились на крыльце.
Его жена, уйдя от разговора,
играла с Жюлем около забора,
и у неё читалась на лице
готовность ко всему.

Закатный свет,
пробившийся сквозь тучи, вспыхнул резко,
и женщина с собакой, как на фреске,
лучились, утверждая: «Смерти нет!»

Но тучи сдвинулись, внезапный свет погас,
как будто в небе выключилась рампа.
И вместо фрески— серый штрих эстампа,
и чёрные колодцы вместо глаз.
В костёле исступлённо грянул Бах.
Сосед на полуслове поперхнулся
и бросился к жене. И не вернулся.
Вернулся Жюль— он чем-то сладким пах—
и грустной мордой мне в колени ткнулся.

В его глазах барахтался вопрос:
«Зачем она ушла? Ведь так прекрасно
кататься по траве...» Но было ясно,
что он всё понял. Он ведь умный пёс.

.....

1. *Quarto di litro* (итал.)— четверть литра.

2. *Fa freddo* (итал.)— холодно.

Недавно здесь был мальчик. В тишине предзимних улиц, вылизанных ветром, отчаянно и не по-детски щедро читал стихи. И мне казалось—не на память, а слагая на ходу и половины слов не понимая. Когда он замолкал, воронья стая, очнувшись, принималась за еду и начинала хрипло обсуждать услышанные только что сонеты; а мальчик улыбался—видно, это его смешило.

Я решил узнать, кто он такой... Пospрашивал. Никто его не разглядел в неверном свете гудящих фонарей. У всех соседей портреты разошлись: «Он был в пальто», «Да нет, в какой-то куртке»,—и тэ дэ. А что читал? Плечами жмут в смущенье, но как один сказали: «Ощущенье, что он не к нам приходит, а к тебе».

Ты знаешь, Хельга, от его стихов мне было сразу и светло, и страшно: в них пахло лесом, и весенней пашней, и яблоком, не сорванным с верхов, и пылью одиночества, и льдом, летящим с края крыши в чьё-то темя... В его стихах остановилось время, они светились окнами, как дом, в котором ждут незапертая дверь и стул на кухне возле батареи... Я раз и навсегда ему поверил. Вот только где он? Где же он теперь—мой бедный мальчик в ношеном пальто, бредущий мимо заспанных деревьев, зовущий: «Ну пойдём, пойдём скорее. Тебе здесь делать нечего—никто тебя не потеряет...»?

Он исчез.

Его теперь не вижу у забора.
Но он ещё вернётся, очень скоро.
И я уйду—с тобою или без...

.....

3. Ария Христа—из рок-оперы «Иисус Христос—суперзвезда».

4. Break (англ.)—здесь: прекрати, остановись.

Недели три назад, когда октябрь, едва начавшись, выглядел сердито, по надобности местного культлита я ездил в префектуру. Всё как встарь: бумаги в папке, очередь, приём, душевное: «Конечно, очень рады помочь и поддержать. Но что вам надо? Нет, денег частным лицам не даём».

Мне долго объясняли, как решить возникшую проблему. Я не слушал—всегда одно и то же, слишком скучно. Собрав бумажки, я решил сходить на Красный мост, что прячется внутри дореволюционного квартала, где всё из кирпича, потом—к вокзалу, чтоб дома быть примерно в двадцать три...

На площади у самого моста кипела жизнь: портье встречал туристов, автобусы толкались, гитаристы аккомпанировали арии Христа³ в оранжевой подсветке фонарей. У одного, помладше, мёрзлы руки, он мазал, дребезжал, и столько муки читалось на лице певицы. Ей хотелось заорать мальчишке: «Break!»⁴ И будто кто-то вдруг её подслушал: пропало эхо, звуки стали глуше, и на клочок мощёной камнем суши обрушился сырой лохматый снег!

Прохожие застыли. Как одна машины притулились у обочин. А снег валил—безжалостен и точен, и вместе с ним упала тишина.

Тяжёлый белый пластырь облепил деревья и развешенные знаки. И запах размокающей бумаги каньоны мутных улиц затопил.

.....
Я шёл к вокзалу и, устав месить раскисший снег, в каком-то переулке—пустом, и белом, и недавно гулком—остановился, чтобы покурить.

В окошко на меня смотрел мужик. Щетину потирая, ухмылялся и, кажется, совсем не удивлялся, что я стою и снег за воротник мне падает. Он приоткрыл окно, спросил:

— Скажи мне, ты же веришь в Бога?

И я ответил:

— Может быть, немного...

— Ты что, не знаешь?

— То-то и оно...

Я выдержал его протяжный взгляд, в котором недоверие, и жалость, и ожидание шутки— всё смешалось. И если бы не этот снегопад, он мне бы не поверил.

По пути

домой, считая блики в завагонной забитой снегом ночи, монотонно, безостановочно под стук колёс твердил:

— Ты что, не знаешь?

— То-то и оно...

И знаешь, Хельга,—это не смешно.



Жюль с самого утра вилял хвостом и около калитки ошивался.

Мне кажется, он даже улыбался, как будто что-то знал. Врывался в дом— скользя по полу, мебель задевал, заглядывал в глаза с немым вопросом, подскуливал и, мокрым чёрным носом в ладонь пихаясь, за собою звал.

Когда на башне звякнули часы и шедшие с вокзала пассажиры рассеялись по дачам и квартирам, он лёг под лавку, говоря: «Я сыт по горло и ненужной суетой, и бегом, и бесплодным ожиданием...» Я думал, он заплачет. Мы ведь знаем, что он умеет, Жюль—ведь он такой...

День завершался. Солнце уползло поближе к морю. Я, усевшись в кресло, в бездумной неге озираю окрестность. Блаженное вечернее тепло, и рыжий свет, и запахи с холмов меня сморили. Я о чём-то думал, не видя ничего, когда по скулам касанье лёгких пальцев потекло.

Я знал, что это ты,—никто другой не смог бы мимо Жюля просочиться. Но ты всегда умела ярко сниться, настолько, что нельзя понять порой, в какой вселенной я сейчас дышу, какое солнце дарит столько света, куда я попаду, когда всё это закончится... А если я решу

остаться, не нарушится ли мой безумный диалог двоих влюблённых?... Открыв глаза, увидел два бездонных зрачка. Неверящей рукой поправил влажный стог твоих волос. Твои духи, разбавленные морем, едва читались.

Где-то тараторил мальчишка-чтец—его слова принёс горячий ветер. Мальчик то спешил, то отставал, ритмическая схема его рассказа, будто теорема, нуждалась в доказательстве; смешил писклявый голос.

Платье по тебе

стекало, разбиваясь о колени.

А на лице читалось изумленье:

«Ну как же так? Ведь ты давал обет вернуть меня, а сам чего-то ждёшь; опешил, будто видишь привиденье. Дотронься, я—живая!» На мгновение мне показалось: ты сейчас уйдёшь...

В погасшем небе длинный хвост Ковша свернулся в непреклонный знак вопроса...

И я всё понял. Это же так просто— не нужно самому себе мешать.

За шорохом поймавших ветер крон, за криком опоздавшей электрички, за дрожью пальцев, чиркающих спичкой, за чёрным небом, погружённым в сон,— за этим всем, безмерно далеко— в начале всех времён и измерений,— качнулась тишина. Запнулось время и новое начало обрело.

Едва заметно дрогнула Земля, на пол-ангстрема сдвинулись светила, вымарывая то, что разделило тебя со мной. Возможно, только я почувствовал движение вовне, но я как будто снова научился дышать и видеть. Будто развалился упругий поводок. Я больше не: боялся, сомневался, ждал, таился...

Ты дальше знаешь. Смысла нет писать. Вот только утром, как я ни старался, Жюль не пришёл. Я знаю: он остался в том старом мире, чтобы вечно ждать.

Надежда Герман

Про Курочку Рябу и Сдыхлика Неумиручего

Это вторая история из цикла «Солнечная рапсодия». В первой сказке («За Калинов мост») всё только начиналось. А начиналось оно так. Проживавшие в одном частном пансионате одинокие—ни кола ни двора—старикаи волей судьбы переселились в Сказку.

Потерявшая квартиру бывшая библиотечка Ягвиги Космовна Каргашевская стала вдруг Бабой Ягой.

Отставной профессор истории Серпансион Эверестович Аспиданский превратился в девятиглавого Змея Горыныча.

А простому и доброму от природы, не раз покалеченному браконьерами егерю Дядь-Лёшке, соответственно, досталась роль Лешего.

Вместе со своими друзьями в Сказке оказалась и Кикимора—Кикилия Бенедиктовна Заболотникова, подающая надежды поэтесса, творящая под звучным псевдонимом Цецилия Орхидея. Она переселилась со всем своим многочисленным семейством: с детьми, мамой и мужем-пьяницей. В общем, весёлая компания.

Да, но куда исчезли ещё двое обитателей «Калинова моста»? Во-первых, конечно же, таинственный нелюдимый Часовщик? А во-вторых, злой на весь белый свет господин Никошев, бывший бизнесмен, жестоко обманутый своими приёмными сыновьями?

Об этом станет известно из этой сказки. Приятного чтения.

Эпиграф

Просто обрывок разговора

— Солнечный Свет обманчив. Днём небо кажется голубым и безмятежным. И только ночью приоткрывается космическая бездна, великая и ужасная. Да, Свет обманчив. И оттого весь мир живёт в иллюзии. Пора покончить с этим. Я дам в руки Солнцу не двойную радугу, но—двухцветную палитру: только белое и чёрное, Свет и Тьма. Истина не любит пестроты.

— Но жить в пространстве Истины—невозможно!
— И что с того? Свет—это морок в чистом виде. Мираж. И сама Жизнь по сути своей эфемерна. Только Смерть...

— О нет!
— Что «нет»? Не хочешь ли ты мне помешать?
— Хочу. И помешаю, можешь не сомневаться!
— ...

Присказка

Третье яйцо Курочки Рябы

Кто они такие? Да пёс их знает. Возможно, какие-то левые божества, не понять откуда вынырнувшие. Инопланетяне какие-то. Игроки.

Мужчины (их двое) заканчивают шахматную партию.

Тот, что сейчас играет белыми, лениво полудремлет, глаза полуприкрыты, рот полуоткрыт. Его зовут Трр (или Хрр?).

Второй, Пендельгак (можно Пеня), с трудом сидит на месте, бесконечно вскакивает со стула, ходит по помещению, шумно роняет на пол разные предметы.

Женщины (их тоже двое) режутся в подкидного дурака.

Одна (при модной шляпке, в косметике, с утянутой талией, на каблуках) хронически чем-то недовольна. Зовут её Гаёрза. Гая.

Другая—Тямуриза. Или Тяма. Пухлая, как сдобная булочка, всему радуется. Улыбчивая.

На полу, на коврике, двое детей. Мальчик по имени Свербияш. Свешик. И девочка Тармазуча. Тара. Играют в куклы.

— Мамочка, а Свешка у меня Снегурочку отобрал и не отдаёт!—жалуется Тара.

— Ну, забрал и забрал,—успокаивает Тямуриза.— У тебя, что ли, играть больше нечем?

— Ладно,—не спорит девочка.

Мальчик сердито кидает куклу, попадает прямо девочке в лицо:

— Забирай свою уродину!

От шахматной доски прилетает директива:

— Дети, не ссорьтесь! Конь Е-четыре.

— Король Д-восемь. Кому сказано—тихо! Получите у меня оба сейчас по тому месту, которым сидят!

— Правильно,—с энтузиазмом соглашается Гая.—

Э, а ты с чего это мою даму валетом бьёшь?

— Козырь потому что.

— Ты мне тут сказки-то не рассказывай!

— Почему? Сказка ложь, да в ней намёк.

Гаёрза делает ехидное лицо:

— Ага. Особенно твоя любимая. Про Курочку Рябу.

— Почему нет? История с большим смыслом.

— С таким большим, что ни в какие ворота не лезет!— Гая выразительно крутит пальцем у виска.— Курица снесла золотое яйцо. Пожилая супружеская пара его долбила полдня, и всё безуспешно. А мышь хвостом вильнула—и хана коку. Дед с бабкой реветь: яичка им жалко. А кура-дура в утешение обещает снести новое, простое. И в чём тут смысл? Простое яйцо можно на любой птицефабрике купить, полтина за десяток!

Тямуриза неторопливо собирает карты:

— А ты подумай и представь, что золотое яйцо— это божественная мудрость. Боги подарили её людям, а те не знали, что с подарком делать. И стали долбить почём зря. Что в итоге получилось?..

Тяма разводит руками: мол, всё и так понятно, без слов.

Гая презрительно фыркает, хочет что-то сказать, но передумывает.

Тямуриза продолжает:

— Люди пришли в отчаянье от содеянного, стали простить у богов прощения. Взмолились: «Верните нам утраченное по недомыслию. Мы больше так не будем, честное слово!»

— И что твои боги?

— Сжалились и простили. Но только теперь вместо божественной мудрости дали человекам мудрость житейскую. Ведь простое яйцо— символ жизни. Так понятно?

— Ну, допустим. А божественная мудрость— это что было, не расшифруешь?

— Может, и расшифрую. Если подскажешь: из чего состоит яйцо? Как оно устроено?

Гаёрза не может удержаться, ей смешно:

— Я и не знала, что это для тебя это такая загадочная тайна. Хорошо, открою секрет: скорлупа, белок и желток.

— Сказка про Курочку Рябу,— не обращая внимания на ехидный тон подруги, продолжает свою мысль Тяма,— намекает, что таков Порядок Мироздания. Всё, что снаружи яйца,— это Первородный Хаос, непостижимый, ужасный и безразмерный. Сама Курочка Ряба— некая разумная сила, которая смогла выделить (вынести) из Хаоса энное количество чего-то там и создать из этого всего (снести) яйцо— маленький, такой хрупкий мир человека. Мирок, можно сказать. Теперь спроси: как его, хрупкий такой, защитить от гибели?

— Ну, спрашиваю.

— Спасает скорлупа. Божественная защита. У древних славян это называлось Правью.

— Я вся пищу от восторга!

Гаёрза всем видом хочет показать своё тотальное презрение к этому бреду. А Тямуриза будто не видит. Не обращает внимания. Продолжает всё так же спокойно:

— Далее. Белок. Белый свет. Явь. Данность, в которой возможна жизнь. Это как раз то, что человеческий разум способен постичь. Весьма относительно, конечно.

— Надо же! А желток?

— Желток— Навь. То, из чего всё рождается и куда всё уходит в конечном итоге. Это Память. И Хранилище всех сокровищ мира. Разумеется, я имею в виду не червонцы и не золотые унитазы.

— Ах, ну конечно же!— не выдерживает Пендельгак.— Нам подавай всё сугубо духовное и возвышенное! Сказочки там разные, песенки, картинки. Да вот только весы всё больше склоняются в сторону именно золотых унитазов. Потому лично я рассматривал бы криминальную драму под названием «Курочка Ряба» в таком ракурсе: привалило тебе богатство— не кидайся им, но береги и преумножай, а не то найдётся, понимаешь, мышка с хвостиком. И весь твой золотовалютный резерв, что называется, тю-тю!

— У каждого своя сказка...— Тямуризе лень спорить.

— Бесит меня твоя Курочка Ряба,— сузив большие подрисованные глаза, шипит Гаёрза.— И ты тоже— бесишь!

— А это ничего,— успокаивает та.— Перебесишься.

Дети между тем помирились уже, играют.

— Это Дед Мороз,— говорит Свербияш вредным голосом и при этом держит за ноги вниз головой бородатую куклу в красном балахоне.— Он злой. — Нет!— хнычет Тара.— Дедушка добрый.

— Вот и забирай его себе,— бросает Деда Мороза, вытаскивает из ящика другую куклу.— Зато у меня есть Карачун. Кощей Бессмертный. Он-то уж точно добрым быть не захочет! И он твоего деда... Знаешь, что он с ним сделает?

— Нет. А что?

— Он его... Он его— бабах!— вырубит одной левой. Мальчик с удовольствием показывает, как он это делает.

— И что же, Нового года не будет?— всхлипывает девочка.

— Фигня!

— А подарки?

Свешик смотрит на неё немного растерянно: подарки— это святое!

— А тогда Кощей сам станет вместо Деда Мороза. Только он никому ничего раздавать не будет, всё себе заберёт.

— Это нечестно!

— Ладно, так и быть. Нам с тобой он привезёт по два... Нет, по четыре во-от таких мешка с игрушками.

— А другим?
 — Ой, отстань со своими глупостями! — Свербияш глядит на Тармазучу снисходительно, как знающий жизнь взрослый человек на неразумную дитяти. — Если дура — сиди молчи, чтоб никто не догадался!
 — Не будет по-твоему, — тихо, но сурово предупреждает Тара. — Не победит твой Кощей моего Деда Мороза!
 — Спорим — победит?!
 — Спорим! А на что?
 — На яйцо Курочки Рябы!
 — А это как?
 — Очень просто. Если выигрываю я, то... то я это яйцо разбиваю в лепёшку. Вот так: на! — и только брызги во все стороны.
 — А если я выиграю, тогда что?
 — Тогда ты разбиваешь.
 — Ой, нет, — пугается Тара. — Я не хочу разбивать. Мне жалко.
 — Ну и дура! — Свербияш показывает девочке язык. — Оставайся без выигрыша, раз ты такая жалостливая.
 — И останусь. Зато мир не погибнет.
 — Па-адумаешь, важность!
 — А вот!
 — Я же говорю — дура!
 От карточного стола прилетает строгое:
 — Дети! Прекратите ссориться! Немедленно помнитесь!
 — Ладно...
 — Хорошо, мамочка...
 — А кстати, — говорит вдруг Тямуриза, — чуть не забыла. Вы не в курсе, что Курочка Ряба снесла ещё и третье яйцо?
 — Поди, платиновое? — притворно ахает Пендельгак.
 — Или алмазное, — поддакивает мужу Гаёрза.
 — Не угадали, — совершенно серьёзно говорит Тямуриза. — Янтарное. А внутри у него — Луч Света Правды. Та самая игла, смерть Кощей.
 — Я же говорила, что не победит твой Кощей! — радуется Тара.
 — Ха! — презрительно оттопыривает нижнюю губу Свербияш. — Ты ещё попробуй доберись до того яйца...

Глава 1

Ягвиг Космовна

Ягвиг Космовна за полтора года проживания в Сказке с ролью Бабы Яги не просто сроднилась. Она срослась с ней всем своим существом. Прикипела настолько, что *несказочное* прошлое представлялось ей странным, не слишком реальным сном.

Ей уже казалось, что главной ведьмой Сказки она была изначально. Даже какие-то воспоминания на эту тему всплывали периодически.

В этом, пожалуй, не было ничего удивительного. Сыграть Бабу Ягу она мечтала всегда. Ещё в школе, когда шли приготовления к новогодним утренникам. Но взрослые, очевидно, боялись неловко обойтись со страшенькой хромоногой девочкой, потому к участию в игре-спектакле Ясю Каргашевскую обычно не привлекали. Вообще.

А может быть, просто были уверены, что у неё напрочь отсутствуют актёрские способности?

При Дворце культуры, где она проработала библиотекарем много лет, был организован так называемый народный театр (тогда это было модно!). Казалось бы: ну поднимись этажом выше... ну скажи главному режиссёру: «Ганс Вильгельмович, возьмите меня в свою труппу!» Неужто отказал бы ей этот добрейшей души человек?

Так ведь нет. Так и не хватило смелости. Куда, дескать, я, такая страшная, да ещё хромая?

Но зато по пьесам, ею сочинённым, было поставлено несколько спектаклей, которые даже имели успех. И с декорациями она помогала. И с костюмами...

Но мечта сыграть роль главной лесной ведьмы не уходила. Снилась даже периодически. (Отсюда, видимо, и теперешние лжевоспоминания?)

И вот сбилось...

Глава 2

Николай Иванович

Высоко в холодном декабрьском небе — тусклая одинокая луна. Одна на весь подлунный мир.

На весь квартал — единственный горящий фонарь, да и тот какой-то контуженный, еле светит. Детишки, видать, резвились...

Скрипит на ветру скособоленная калитка. На калитке, к столбику, прибит флаг. Весь выцветший и обтрепавшийся. Потому как висит аж с майских праздников. Вот и пусть себе висит. С ним — веселее.

В ветхом домике у окна — дед. Совсем старый. Ему, наверное, лет сто, не меньше.

Валенки с галошами, стёганный жакет.

Зябко.

Кровь старая — не греет...

На стене часы: тик-так, тик-так. Стрелки движутся медленно-медленно. Да движутся ли?

Тумбочка. На ней телевизор. Включить, что ли?

А ну его. Всё равно — видимости никакой. Кинескоп сел, менять надо.

Или это глаза надо менять?

В углу — пустая собачья миска, дерюжный коврик. Пусть. Не надо убирать. Это — вещи Шарика...

Сам-то Шарик уж год как... Или не год? Может — два?..

Да... А до сих пор в горле ком, лишь вспомнишь, как он свою лохматую голову на колени клал, как хвостом вилял радостно...

А потом помер. От старости. Совсем старый был. Еле-еле ноги переставлял.

Вот и дед—совсем старый, еле ходит. В люди выходит редко. Да и то лишь летом рискует по улице пройтись. Всегда, даже в жару,—тёплый жакет, галоши с шерстяными носками, на голове шапка. Такой смешной. Ребятишки при виде укутанного старика смеются: «Смотрите-ка, Дед Мороз идёт. Скоро Новый год, наверное!»

Обидно? Пожалуй, да. Да только в их возрасте и он таким был. Никто ведь в свои десять-двенадцать не верит в старость. В то, что когда-то и с ним это случится...

Эх, видели бы те сорванцы, каким он вернулся с фронта! Ослепительно молодой. Высокий, синеглазый. Грудь в медалях. На голове—бескозырка. Гвардейский экипаж Черноморского флота! А из-под бескозырки кудри так и вьются.

Девки тогда гроздьями на окнах висли: «Выйди, матросик, спой, сыграй нам на гармонии, повесели душу!»

А ведь хорошо играл! Да и пел тоже—дай Бог каждому. Ёлы-палы, когда ж оно всё было?!..

Да, от девок отбою не было, это точно. Но он выбрал Марусю. Вроде и не красавица. Тихая, скромная. Друзья не могли взять в толк: «И чего ты в ней нашёл?» А вот нашёл. И время показало: нет никого лучше и быть не может.

Теперь вот нет её.

И никого нет. Никого и ничего.

Только сны остались. И всё такие—праздничные, светлые. И все в них—живы. И все—молоды.

Вот так. Жизнь—серая, а сны—цветные. Говорят, это признак шизофрении? Нет?

Глава 3

Мишаня

Ночью выпал снег. Белый. Чистый. Лежит, сверкает.

В окне—солнце. Небо синее-синее. Смотреть больно. Но весело от этого всего. И кажется, будто немощ проклятая—отступила.

Старик открыл форточку. Запахло свежестью. Хорошо-то как!

И захотелось выйти на крылечко. Постоять. Подышать.

Николай Иванович натянул на себя тулупчик, шапку на вате. Откинул крючок. Дверь распахнулась. И утонул он в потоке света, и задохнулся от радости.

Осторожно, чтоб не поскользнуться, спустился по ступенькам. Дошёл до калитки. Отворил. Лавочка вся в снегу. Это ничего. Это можно стряхнуть подолом тулупа. И сесть.

Благодать-то какая!

Видит: мимо идёт военный. В форме. Офицер. Стройный, красивый. Николай Иванович сам таким красавцем был. Когда-то. Давно.

Подумалось ещё: «Копия мой Санька! Эх...»

А офицер не стал проходить мимо, остановился:

— Здоров будь, отец!

— И тебе, сынок, всех благ!

— Присесть можно?

— Сделай милость.

— Вас как звать-величать?

— Дед Коля. А тебя?

— А меня... Ну, скажем так—Михаил.

— Мишаня, значит. Как служба-то, Мишаня? Враги не сильно донимают?

— Всё нормально, дедуль. Можешь спать спокойно.

— Уговорил, буду спать. А ты это... не побрезгуешь к старику в хату заглянуть? Чаёк бы погоняли, а?

Скучно деду, это ясно. Михаил подумал, кивнул:

— Айда. Пой своим чаем.

За столом разговорились. Про то, про сё.

— Миш, у тебя семья-то есть? Жена, детишки?

— Увы. Не случилось.

— Так давай я тебя сосватаю! Ко мне девчушка всё время ходит. Патронажная сестра. Давление проверит, продукты принесёт, еду какую сготовит: супчик там, кашку, котлетки на пару. Умница, красавица. А сердце—чистое золото! Я бы вас познакомил, а? Лучшей подруги жизни—не найти, это я тебе как доктор говорю.

— Спасибо, дед Коля. Не могу я. Служба.

— Ах ты ж, язвы её! Не положено, значит?

— Вроде того...

Дед разомлел, расслабился, ушёл мыслями в прошлое. Войну вспомнил. Как он, совсем мальчишка, остался один на белом свете. Как подобрал его гвардейский флотский экипаж. Определили юнгой. А куда ж его девать? Кругом ад крошечный, и идти мальцу некуда...

А потом Победа. Победа!

— Да, было время...—вздыхает Николай Иванович.

Потом вдруг речь зашла о миске. О той, что стоит в углу.

— Это что у тебя, дедусь?

— Это-то? Да вот...—Старик горестно крякнул, откашлялся.—Это Шарика моего вещь. Его, Шарика-то, больше нету. А вещь пусть будет. Пусть. Вроде как он на двор выбежал, погулять... Ага...—Любишь собак?

— Их разве можно не любить? Самые верные и преданные существа на свете.

— Что правда, то правда. А ты слышал про Крылатого Огненного Пса Семаргла?

— Нет, не слышал. Расскажи.

— Есть такой бог. Сын Солнца. Семаргл. Семь-Яркл. Семи-светлый. Он, видишь ли, охраняет Солнечный Мир от чёрных сил Зла. А если Зло таки прорывается—ищет его следы, находит и... Ну, сам понимаешь, церемониться с этим—нечего.

— Трудная, однако, у него служба. Прямо как у тебя.

— Очень похоже, — улыбнулся Михаил. — А знаешь, говорят, будто он часто бродит среди людей, в человеческом образе. Так ему легче узнавать о людских бедах и напастях. Так говорят.

И началась их дружба. Михаил хоть пару раз в неделю да забежит к деду Коле на полчаса. Чайку попить, поговорить о жизни прошлой, о жизни будущей...

Глава 4

Ариэль

Ариэль — сублинный юноша четырнадцати с половиной лет от роду.

Полтора года тому назад приключилась с ним история, после которой в жизни семьи Богатырёвых произошли необратимые изменения.

Это случилось где-то в конце лета.

Дабы ребёнок мог дышать воздухом и получать положенное молодому организму количество солнечных лучей, доступ к ноутбуку и планшету на время летних каникул сурово ограничивался. И ребёнку не оставалось ничего другого, кроме как болтаться по улице с утра до вечера в компании других таких же несчастных, отлучённых от чудес электроники.

В маленьком городке всегда было тихо и спокойно. Лет, наверное, сто здесь не происходило ничего криминального.

И ничего такого, что могло бы причинить существенный вред здоровью юного организма: ни глубокой реки, ни крутых скал, ни дремучего леса с медведями и волками. Только старый ухоженный парк, в центре которого размещался крошечный пруд с лягушатами.

Даже самые бдительные родители за своих чад, гуляющих весь день на свежем воздухе, были абсолютно спокойны. В том числе и мама Ариэля, Маргарита Андреевна.

Но однажды случилось вот что.

Как-то так получилось, что Ариэль в тот день после обеда гулял один, без друзей. Впрочем, юношу это нисколько не тяготило, скорей — наоборот: он вдруг сделал открытие, что в этом мире можно найти до фига интересного, чего он раньше как-то не замечал. Растения всякие разные. Те же головастики в пруду: одни похожи на чёрные длиннохвостые запятые, а у других уже и ноги отросли, и они этими ногами так смешно дрыгают... А тут ещё одна храбрая белка с дерева спустилась, сидит, глаза выпучила, требует семечек. Прикольно.

Гулял Ариэль, гулял. И совсем уж собрался домой возвращаться, как вдруг дождь пошёл. До дома — верных полчаса шлёпать. А рядом — ни беседки, ни навеса. Только бетонный мостик через высохшую канаву.

Делать нечего, полез юноша под мост. Сверху вроде не капает, но под ногами грязь, мокро. Ни

встать, ни сесть. Видит: по ту сторона моста, среди кустарника — не то пещера, не то просто грот какой-то.

Ариэль перебрался туда. Сухо. Прошлогодней полыньё пахнет. Нет, не грот это, а реальная пещера. Откуда она здесь, интересно? И куда ведёт?

Включил юноша фонарик на мобильном телефоне и пошёл исследовать. Шёл, шёл. И вдруг навстречу ему, откуда ни возьмись, — чудо-юдо ужасное, Змей Горыныч о шести головах...

А дальше — как отключило. Полный провал памяти. Смутно помнится только, что вдруг Светка, сеструха, откуда-то взялась. И парень прикольный такой нарисовался, приклатнённого вида, в кепке, с папиросой в зубах.

Впоследствии выяснилось, что парня зовут Витёк, и он тоже в этой пещере от дождя прятался. Придремал малость. Спит он себе, никого не трогает. И вдруг на него с ходу налетает пацан. И орёт что-то нечленораздельное. Бредит, видеть. От страха и не такое бывает.

Ну что ты будешь делать? Витёк у пацана мобильник взял, позвонил по последнему активному номеру. Объяснил, что, где, куда. Светлана примчалась, как ураган. Вначале, не разобрав, что к чему, давай на парня с кулаками кидаться.

Но постепенно всё прояснилось.

И с тех пор они уже не разлучаются: Витёк и Светка. Полгода назад у них Ванька родился.

Вот такая история.

Глава 5

Несбыча мечт

За окном сиво, ветрено. Снег грязный, с чёрными проплешинами. На снегу — птичка. Подпрыгивает, чтоб не замёрзнуть. Неуютно.

Серые голые деревья. Серое низкое небо. Ветер воеет жалобно, будто у него зубы болят.

И всё — не так. Не клеится, не лепится. Нелепица какая-то...

Васька, паразит, всю сметану сожрал и не признаётся: смотрит честными глазами — не кот, а ангел с крылышками.

Говорящий ворон со своей вороной неделю глаз не кажут: у них любовь, святое дело!

Ещё и ступа взялась характер демонстрировать: не полечу, мол, никуда, и точка, выходной у меня, имею право.

Получается — все имеют право, кроме Бабы Яги.

Улеглась она, болезная, на кровать прямо в зипуне и галошах, лежит, на потолок смотрит. А на потолке — решительно ничего интересного. Ну, ничего такого нет, чтоб от мерзкого настроения помогло.

Тук-тук-тук!

В дверь стучат. Гости пришли, чтоб им...

Ягвиг Космовна, кряхтя, опустила ноги с кровати, встала, подошла к двери:

— Кто там?

— Свои. Открывай.

На фиг бы они сдались, эти свои? Давно известно: бывают времена, когда свои — хуже чужих.

Всем это известно. Кроме незваных гостей, разумеется.

Однако делать нечего. Откинула бабка засов, выпустила.

Знакомые всё лица. Кикимора, она же Кикилия Бенедиктовна, подруга дней суровых. Конечно же, Леший по прозвищу Дядь-Лёшка. И кто там ещё? А, Эверестович на крыльце переодевается: Баба Яга раз и навсегда запретила Змею Горынычу к ней в избу в своём девятиглавом обличии являться. Мол, если как человек — тогда милости просим, а ежели ужасной чудой-юдой, то будь ласков там, за порогом, фланируй!

— Подруга, а ты чего смурная такая?

Кикимора снимает пальто, проходит в кухню, садится на лавку у стола, поближе к скатерти-самобранке. Преобразившийся Горыныч идёт следом. А Леший — тот сразу к печке, огонь разводите. Глядит: печь как лёд, в доме — ни полена.

— Кузьмовна, я в сарайку за дровами.

— Иди, кто тебя держит...

Сама тоже идёт в кухню, садится на табуреточку, как сирота.

— Чего смурная, говорю? — повторяет вопрос Кикимора.

— Ай, — отмахивается Баба Яга. — Настроения нет.

— Чего так?

— Жизнь не задалась...

— Это у тебя, что ли?

— Что ли, у меня...

— А ты расскажи старым друзьям-приятелям, что за печаль, — советует Серпантион Эверестович. — Глядишь, и полегчает.

— Сомнительно как-то...

— А ты попробуй!

— Ага, — соглашается Кикимора. — Только для начала самобранку задействуй. Под чаёк с бубликами любой разговор и легче, и приятней!

Старуха нехотя подседа к общему столу, развернула волшебную скатерть.

— Ну и что в моей жизни было хорошего? Единственное светлое воспоминание — самое раннее детство, до падения с лестницы. А потом началось — больницы, операции... Так и осталась на всю жизнь горбатой и хромой. И только вечные насмешки либо того хуже — сочувственные взгляды. Про любовь и говорить нечего: ни детей, ни семьи... Всю жизнь одна, в пыли библиотеки... А ведь у меня была мечта. Эх, какая у меня была мечта!

Баба Яга вздохнула так тяжело и уныло, что вернувшийся с дровами Леший не смог остаться равнодушным:

— Чего-чего там у тебя, Кузьмовна, говоришь, было?

— Мечта, — опять вздохнула старуха и специально, чтобы обидеть Лешего, добавила: — Но тебе этого не понять.

Леший, однако, и не подумал обижаться. Сунул поленья в печку, чиркнул спичкой, подул на разгорающийся огонь.

— Расскаживай уже, что за мечта такая, сделай милость.

— Расскажи, расскажи, — дружно поддержали Горыныч и Кикимора.

— А вы смеяться не будете? — почему-то вдруг смутилась Баба Яга.

— Ни боже мой!

— Я мечтала... — старуха запнулась и покраснела. — Я мечтала танцевать!

— В балете? — уважительно ахнул Змей.

— Ну что ты! — Баба Яга мотнула головой. — Нет. Я мечтала быть солисткой в нашем местном народном ансамбле. Вы даже представить себе не можете, как я всегда чувствовала музыку! Ах, как я её чувствовала! Всем своим существом. Казалось, пусти меня на сцену — и я там такого навыворяю! Но бодливой корове, как известно...

Дальше она говорить не смогла, потому как в горле от печали — перехватило.

— Бог рог не даёт, — услужливо продолжила Кикимора мысль своей подруги.

— Ну и чего ж тебе помешало? — без всякого подвоха спросил наивный, как сто младенцев, Дядь-Лёшка.

— А то не ясно?! — разозлилась хромая горбунья. — Как раз меня в том ансамбле и не хватало, для полной красоты картины: опа, опа! И-ех!

И что-то такое изобразила ногами и руками. Лихое, народное.

— Да ладно, Яша, не переживай сильно, — стала утешать подругу Кикимора. — Я тебя так понимаю, так понимаю... У меня ведь тоже была мечта.

— И у тебя? — присвистнул Леший. — С ума с вами спятишь!

— Я мечтала... — Кикимора закинула к потолку глаза. — Я мечтала написать такую поэму... такую поэму, чтобы все буквально попадали со стульев от восторга. И чтоб меня на этой теме сразу бы приняли в Союз писателей.

— Хорошая мечта, — одобрил Горыныч. — Высокая.

— Да, — не стала спорить Кикимора. — Но, увы, несбыточная.

— Это почему же? — удивился Леший. — Ты ведь у нас — поэт.

А Горыныч добавил:

— Какие твои годы!

— И годы никакие...—Кикилия Бенедиктовна Заболотникова (литературный псевдоним—Цецилия Орхидея) в ответ лишь безнадежно махнула рукой.—И поэт я тоже никакой. Таланта—ноль. Так, одно графоманство. Думаете, я сама не понимаю? Всё я понимаю, только вид делаю. Куражусь вроде как. Чтобы с тоски не пропасть. В общем, жизнь—не задалась!

И опять махнула рукой, ещё безнадежней.
— Киля, да ты чего?—искренне испугалась за подружку Баба Яга, потому как вид у Кикиморы сделался такой, с каким в петлю лезут.—Тебе ли на жизнь жаловаться? Вспомни, какие у тебя дети! И мама твоя, слава Богу, жива-здоровая. И муж какой-никакой...

— Да, да,—согласно закивала та.—Всё так, всё так. А вот чего-то всё ж не хватает. Полёта хочется. Понимаете?

— Понимаем, понимаем,—закивал Змей.

— Хорошо вам понимать,—Кикимора опять сделалась удрученно-обиженной.—Вы оба летаете: один—на крыльях, другая—в ступе.

Тут в разговор опять вступил Леший:

— А я, может, тоже мечтал летать научиться. Или чтоб семья была, детишек чтоб мал-мала куча. Однако не ною. Потому—в жизни, окромя плохого, завсегда есть что-то хорошее. Или не так?

— А, раз пошла такая пьянка,—крикнул Змей,—я хочу тоже за мечту поговорить.

— Значит, и у тебя мечта?

— А то!

— Ну не томи уже, исповедуйся.

— Я—мечтал петь. Красиво.

— Как соловей!—подсказал кто-то.

— Нет. Ещё лучше. Как Муслим Магомаев.

— Губа не дура, ёлки-метёлки,—одобрил Леший.

Все засмеялись. И у всех вроде как отлегло: да, не все мечты сбываются, не всё в жизни происходит по нашему хотению. Но каждому что-то обязательно—даётся! Именно этому и нужно радоваться, а не строить судьбе претензии на предмет *несбывшегося*.

— А хотите—я спою?—от широты души предложил Змей Горыныч.—Для настроенья!

— Только не это! Не то я станцюю,—решительно остановила его Баба Яга.

— Тогда и я за себя не ручаюсь,—хихикнула Кикимора.—Листочки с последними стихами у меня в кармане, в пальто. Так что мало никому не покажется.

— Ну уж нет, я не такой великий ценитель прекрасного, чтоб всё это вытерпеть,—сурово предупредил Леший.—Я приму контрмеры. Я... я... я с вас всех портрет рисовать начну, вот!

И опять все дружно засмеялись. И стало хорошо и тепло. То ли оттого, что печка разгорелась и гудела и жар от неё шёл во все стороны. То ли оттого, что дружба сама по себе—понятие тёплое.

Глава 6

Карачун, Кощей

Карачун подошёл к зеркалу. Огромное такое зеркало, от пола до потолка, шириной метра полтора. Посмотрел на себя с удовольствием. Задумался.

«В эту новогоднюю ночь Дедушкой Морозом буду я. Зачем? А просто так. Скучно потому что...

Для начала устраним Семаргла, Стража и Хранителя Мира Яви. Потому как он точно встанет у меня на пути, как кость в горле.

А как ты его нейтрализуешь? К нему подойти-то страшно. От него так и пышет, так и разит силой Света.

Надо бы придумать какое-то коварство. Ну, например, превратить Огненного Пса в жалкого паршивого щенка. Нет, не в маленького, пушистого щеночка. Таких обычно жалеют и подбирают. А именно—в мосластого, вислохвостого подростка с облезлой шерстью, сплошь покрытого коростами. А сейчас зима, мороз... Конечно, боги бессмертны. Но сил у Главного Охранника уже не будет. По крайней мере, какое-то время.

Если этот замечательный план по какой-то причине не сработает, нужно иметь в запасе другой. Рассорить Огненного Пса с Огненным Соколом Рарогом. Натравить одного на другого. Пока братья вместе—их не победить. Значит, нужно сделать Рарога врагом Семаргла. И пусть они сражаются друг против друга. До победного конца. А я тем временем...»

— Эй, ты,—сказал он своему отражению,—мой двойник, моя тень, мой верный засланец в мире Яви, Кощей Бессмертный. Ну-ка, подь сюда. Встань передо мной, как лист перед травой!

Тот, который за стеклом, покорно склонил голову, сделал два шага вперёд:

— Слушаю и повинуюсь.

— Значит, так. Задача у тебя на сегодняшний день такая: занять место Деда Мороза. Будешь ходить с ба-а-альшим таким мешком и раздавать подарочки. Замечательные такие подарочки. Жаль, не всем они понравятся, но это уже несущественные детали.

— Yes, sir!—по-военному отозвался вышедший из зеркала.—Разрешите выполнять?

— погоди. Не всё так просто. Твоя первая задача—устранить Огненного Пса. Нужно подкараулить его в тот момент, когда он более всего уязвим. Я это вижу примерно так: Семаргл, нацепив на себя человечью личину, идёт в гости к деду Коле, своему новому другу. Счастливый такой, весь в предвкушении предстоящей встречи. Он идёт, а тут навстречу ты, эдакий мальчишка-сорванец. Подбегаешь к нему, говоришь: «Дяденька, дяденька, а я вас знаю, вы хороший! Вы меня однажды от хулиганов спасли!» Наш великий филантроп

расчувствуется, разулыбается, окончательно потеряет бдительность. А ты ему—на горсть ядовитой колдовской оборотной пыли в глаза.

— Yes, sir!

— Да, но у Охранника есть союзники. Нам нужно предотвратить незапланированный ход событий. В общем, так. Обернёшься вороном, прилетишь к Бабе Яге. Типа ты её друг и советчик Карлуша. Гляди только, чтоб настоящего Карла Ивановича там о ту пору не случилось. Твоя задача—испортить Наливное Яблочко. То самое, что по Серебряному Блюдечку катается и показывает все сказочные и мировые новости. Потому как перво-наперво врага нужно ослепить. Лишить информации.

— Yes, sir! Разрешите выполнять?

— Рвение—это хорошо. Мне нравится. Но дослушай до конца. И всё запомни. Да не перепутай смотри!

— Ни за что!

— Так вот. Яблочко ты проткнёшь своим клювом, и в нём сразу заведётся червяк. Червячок. Тот самый, который Правду терпеть не может. Это твоё второе задание.

— Разрешите выполнять?

— Погоди. Слушай сразу третьё. На обратном пути ты отыщешь родник с живой водой. И завалишь его камнями, палками, грязью всякой. Понял?

— Так точно! Разрешите...

— Да погоди. Экий ты ретивый. Дальше самое главное. Полетишь на остров Буян. А там... Там наша с тобой смерть. Точнее—твоя. Ибо мне, Богу Смерти, смерть не страшна по определению.

— Понял!

— Молодец. Сказку помнишь? Смерть Кощея—в яйце, яйцо—в утке, утка—в зайце, заяц—в сундуке, а сундук—на дубе.

— Понял. Нужно, чтобы медведь уронил дуб с сундуком, волк поймал зайца, сокол разорвал утку, а щука выловила яйцо со дна моря?

— Дурак ты, братец,—искренне огорчился Карачун.—Давай-ка мы без суицида обойдёмся. Всё наоборот: нужно, чтобы никто к Янтарному яйцу не смог подобраться. Ибо в нём—Луч Правды. Для тебя это точно—смерть. И мне такая ерунда все карты спутает.

— Понял!—Кощей щёлкнул каблуками и вытянулся по стойке «смирно».

— Молодец,—ещё раз похвалил Карачун.—Значит, так. Медведь сейчас, слава Богу, спит. Ибо зима на дворе. Но на всякий случай вот тебе сонный порошок, сыпани его в берлогу. Чтоб сон великана ничто уже не потревожило. Волк ходит голодный и злой на весь белый свет. Подкинь ему пару кусочков жареного мяса, да пожирнее. Пусть нажрётся. Пообещай и впредь поощрять за хорошее поведение. Серый станет послушным и трусливым, как заяц. А ты для пущей важности пригрозил, что если он вдруг надумает совершать необдуманные

поступки и помогать кому попало, то ты ему на морду—намордник. С шипами.

— На морду намордник,—на всякий случай повторил Кощей, чтобы ничего не забыть и не перепутать.

— Правильно. Вот дальше будет посложнее. Рарог. Огненный Сокол. Брат Семаргла. Некоторые даже считают их единым целым. Его ни запугать, ни прикормить не получится. Можно только одурманить. Опоить ядом Карого Змия. Но просто так, из чьих попало рук, он пить не станет. Тебе нужно принять вид доброго человека. Старца, например, немощного, седовласого. В руках у дедушки—Чаша с соляной символикой. А в ней вода из родника, смешанная с ядом. Да не забудь вначале напустить на добра молодца страшную неутолимую жажду. Понял?

— Yes, sir!

— Ну всё, пошёл!

Глава 7

Что приснилось Лешему в четверг

Лешему приснился страшный сон. Было это в четверг, в русалий день, когда, как известно, всякая гадость как раз и снится.

Приснилось ему, будто напали на Заповедный лес ужасные, безжалостные дровосеки. Идут они по лесу сомкнутыми рядами, топорами стучат, бензопилами визжат... И числа их войску—несть. «Ой, пропала вотчина!»—тоскует Леший.

Однако надо как-то спастись от вражьей силы родные дубравы, сосняки, березняки да осинники! —Вставайте, Родина в опасности!—стучится он поочерёдно в окна к Бабе Яге, Змею Горынычу и Кикиморе. Ему сонно отвечают:

— А?

— Кто тут?

— Чего надо?

— Я же говорю,—шумит Дядь-Лёшка,—Заповедный лес под угрозой уничтожения!

В ответ удивлённое:

— Да ты что?

— Не может быть!

— Как это?

— А вот так!—Леший уже терпение терять начинает от такой бестолочи.—Поднимайтесь, говорю. На смертный бой пора!

И вкратце обрисовывает ситуацию. Мол, то-то и то-то. И ещё вот чего.

— И что делать?—дружно ужасаются все.—Чем воевать против недруга? В Заповедном лесу любое оружие—строго запрещено!

— Слушайте меня ушами,—командирским тоном объясняет Леший.—Мой тщательно продуманный стратегический план таков. Мы их этим... интеллектом битть будем.

— Чем-чем?

— И где мы такое возьмём?

— Ой, а это как?

— А очень просто. Кикимора пусть читает стихи собственного сочинения—это убойное средство номер один. Для тех, кто устоит, Баба Яга польку-бабочку станцует. С выходом. Тут уж точно—всем амба! А для полного, так сказать, закрепления успеха Горыныч нам хором споёт что-нибудь чувственное, патриотическое.

— Раскомандовался тут!—недовольно вскидывается Баба Яга.—Мы, значит, все—на передовую иди, врага рази наповал и костями ложись за правое дело. А сам?

— А я...—замаялся было Леший.—Я... я—как Василь Иванович Чапаев завещал—залезу на стратегическую возвышенность и стану оттуда бдеть общую картину театра военных действий. Чтоб, упаси Бог, какой подвох не случился, засада там или обход с тыла. Ещё вопросы есть?

— Нету,—бурчит старуха.

Горыныч, тот вообще решил не спорить. Уточнил только:

— Мне под гармошку петь или как?

— Ну не под пианину же! Нету у нас пианины...

— Понятно,—вздыхает Змей.—Унас и гармошки нету. Зато я тут одного мужичонку знаю, у него балалайка есть. Самый патриотический инструмент, между прочим. Может попросить, чтоб одолжил?

— Ну, попроси...

Кикимора тем временем судорожно ищет в памяти самые проникновенные строки. И это правильно: когда ещё случай выпадет перед такой большой аудиторией выступить?

И вот началось.

— Смело мы в бой пойдём за власть Советов!—грозно на три голоса девятью головами рывкнул Змей Горыныч.

Вражеские ряды заметно дрогнули.

— Барыня, барыня, сударыня-барыня!—коротко взвизгнув, вылетела в круг Баба Яга и завертелась вприсядку.—И-их!

Смятение в рядах противника удвоилось.

Тут уж сама Цецилия Орхидея встала в стойку, тряхнула гордо головой и повела внятно и размеренно свой речитатив:

Я лежу на пляжé,
Вся одета в негляжé.
Пролетай, комарик, мимо,
Не кусай меня за же!

По без того уже смятому строю недругов пронёсся жалобный стон. Стали слышны панические настроения, призывы отступать на зимние квартиры, пока не поздно.

Ну, всё, вот, вот она—победа. Точнее, так: Победа, с большой буквы.

Ещё миг—и вопль ликования рванётся из двенадцати глоток защитников Заповедного леса: «Ур-ра, мы победили!»

Но...

Но как раз в этом месте Лешего принялась трясти за плечи давешняя лесная нимфочка: — Лёш, а Лёш! Ты жениться-то обещал—не передумал?

Интересно, это всё ещё сон?

Или самые страшные кошмары начинаются уже после пробуждения?

Леший сел, почесался. Подумал.

«А ведь не к добру этот сон. Ох, не к добру! Что-то будет. Нехорошее что-то. Как пить дать...»

Глава 8

Чаша

Рарога замучила жажда. Приболел он, что ли? Уже не меньше десяти раз летал к роднику. А во рту всё равно сухо. И что делать? Опять лететь? Но лень какая-то обуяла. Не хотелось в очередной раз превращаться в птицу, крыльями махать вниз-вверх, вверх-вниз. Не хотелось двигаться вообще. Точно, однако, приболел.

Вот нашёлся бы добрый человек, принёс бы чашечку студёной водички с ручья...

И вдруг откуда ни возьмись—старец:

— Здрав будь, Огненный Сокол!

А в руках у него большая чаша, полная воды. Чудеса, да и только.

— И тебе не болеть,—настороженно отозвался Рарог.—А ты, собственно, кто такой?

— Да так, прохожий. Вот набрал у вас на роднике воды. Полную чашу. Уж больно хороша водичка!

Рарог невольно сглотнул слюну. Пить хотелось нестерпимо. Внимательный дедуля заметил его мучения, предложил:

— А ты, добрый молодец, не побрезгуешь отведать из моей чаши?

— Я?

Сокол растерялся. Устав Прави запрещает брать из рук незнакомцев пищу и питьё. Ибо—много желающих отравить Стража.

— Тебя что-то смущает?—спросил старец.

— Да так... Мелочи...

— Может, ты думаешь, что я отравить тебя хочу?—догадался странный гость.—Что ты, что ты! Да разве я могу пойти на такое злодейство? Я же—наш. В смысле—свой. Глянь, на чаше моей—знак Солнца. И здесь у меня—такой же в точности знак.

Старик расстегнул шубу, показал висящую на груди свастику.

«Что-то с этим знаком не так,—смутно пронеслось в голове у Сокола.—Что-то нехорошее с ним связано. Но вот беда—забыл я напрочь... не помню, что именно...»

Потом он подумал так: «А может... коль скоро я не могу вспомнить, что именно... Может, и не было ничего такого? Может, это так... большое моё воображение разыгралось?»

— Ну что? — нетерпеливо спросил переодетый Кощей (разумеется, это был он!). — Пить будешь? Или мне всю воду на землю вылить?

— Нет, нет, не выливай! — вскричал Сокол. — Буду пить, буду...

От выпитой воды в голове зашумело. Странно так. Зато сухости во рту — как не бывало.

Уселись они вдвоём у подножия Дуба. И пошла промеж них беседа.

— И давно ты тут живёшь, в этой глуши, вдали от благ цивилизации?

— С незапамятных времён.

— И тебе это нравится?

Рарог пожал плечами:

— Не жалуясь.

— Неужто не наскучило?

— Служба у меня такая. Стерегу секретное оружие.

— Ух ты! А что это за штука такая, если не тайна?

— Вот именно, дедунь, тайна. Говорю ж — оружие секретное!

— Значит, не расскажешь?

— Нет. Я слово дал брату моему, Семарглу.

Старик на минуту задумался, потом сказал, не то спросил:

— А ты хозяин своего слова?

— Конечно.

— Тогда всё просто: сам дал, сам и заberi его обратно. Ибо, как говорится, хозяин — барин.

— А что, в этом есть здравый смысл! — обрадовался Рарог.

— Конечно. Пошли ты этого Семаргла подальше. Какой он тебе брат? Кто ты — и кто он? Ты кто?

— Сокол.

— А он?

— Пёс.

— Вот видишь. Сам себе ответил. Есть ещё вопросы?

— Вопросов нет.

— И славно. А тот, кому я служу... тот, кому, если только захочешь, станешь служить и ты...

О, служба у него — это высочайшее благо на земле! Мы, его верноподданные, называем это коротким словом «счастье».

— Правда? — глаза доброго молодца загорелись каким-то странным, неестественным огнём, в голове зашумело так, как если бы он, не сходя с места, осушил десятиведёрный жбан браги. — Думаешь, правильно будет, если и я тоже... того?.. — И не сомневайся!

Глава 9

Мы наряжаем ёлку

Мы — это я, Ягвиги Космовна, Баба Яга, и говорящий ворон Карл Иванович. Нас всего двое, если кто не понял.

Ёлка самая настоящая, живая. Она растёт подле моей Избушки много лет. Когда-то, вспоминает Карлуша, это был крохотный пушистый пруттик высотой не больше двадцати сантиметров. А теперь до её макушки мне, например, нипочём не дотянуться.

— Чем будем наряжать? — спрашивает ворон.

— Ну, не знаю. Можно — бумажными самодельными игрушками. Как когда-то в детстве.

— Мысль неплохая, — соглашается Карл Иванович. — Но можно и по-другому. По-волшебному. Давай мы украсим это прекрасное дерево воспоминаниями. Хорошими. Ведь ничто так не украшает нашу жизнь, как хорошие воспоминания!

И то...

Самое первое светлое моё воспоминание — это, конечно же, Новый год. Я совсем кроха. Мне года четыре. В комнате, в самом центре, возвышается до потолка сказочное дерево, которое все называют ёлкой. Хотя в действительности, как я теперь понимаю, это была пихта, пушистая, запашистая, с плоскими мягкими иголками. Папа стоит на стуле и развешивает хрупкие стеклянные игрушки, которые иногда падают вниз и разбиваются на сверкающие острые осколки. А мне доверено цеплять на самые нижние ветки плоские картонки в виде птичек, собачек, лисичек... Они рельефные, блестящие, одинаково разрисованные с обеих сторон. Ещё есть два ватных человечка в ярких бумажных шароварах и курточках.

Над всем миром висит тонкий запах хвои и апельсиновых корочек...

Я вешаю воспоминания на нашу ёлку. Получается красиво. Будто стеклянные шарики, сосульки, самолётики, птички, звери заблестели на верхних ветках.

И продолжаю вспоминать. Утро. День рождения. Шоколадка под подушкой — зайчик принёс. Игрушки, лежащие, стоящие и сидящие на стуле возле моей кровати, на ночном столике, на подоконнике...

Что ещё? Игры во дворе дома. Листопад. Белый-белый снег, только что выпавший. Весенняя капель. Летняя жара...

А потом...

Потом падение с пожарной лестницы. Боль. Запах больницы. И вот я лежу дома одна. Мама на работе, она учительница, школа — в соседнем дворе, и на каждой большой перемене она успевает прибежать домой, чтобы покормить меня, взбодрить, рассказать что-нибудь интересное.

И вдруг — та страшная находка в ящике письменного стола. Проклятая бумажка, где чёрным по белому написано, что я — приёмная дочь, не родная...

Но нет, нет, это не для новогодней ёлки.

Было ведь и хорошее в моей жизни, такой длинной-длинной. Друзья-товарищи. Работа в

библиотеке. Работа с читателями. Стенды. Книги. Мечты...

В общем, много чего. И хорошего, и не очень (а как без этого?).

Потом проводы на пенсию... Комната в коммуналке... которую у меня украли...

И наконец — пансионат «Калинов мост», похожий на сказку. Хозяйка пансионата Софья Ивановна и три её дочери: Верочка, Любочка и Надюшка.

А потом — как гром среди ясного неба: кончилась сказочная жизнь, «Калинов мост» забирают какие-то богатенькие буратины...

А потом...

А потом — вдруг — Сказка. И я в ней — Баба Яга. Сбылась мечта идиотки!

— Всё, всё, хватит, хватит воспоминаний, — одёргивает меня Карл Иванович. — Уже на ёлке места пустого не осталось.

Ну, хватит так хватит.

Глава 10

Смартфон

За два дня до Нового года Альке подарили смартфон. «Honor 8A Prime 64 гб». То есть вообще-то предполагалось положить коробочку с электронным чудом под ёлку, чтобы ребёнок в новогоднюю ночь нашёл и, соответственно, обрадовался. Но ребёнок полдня ходил, канючил. Мол, какая разница — день туда, день сюда?

Мама подумала-подумала и согласилась: ладно, чего зря ребёнка мурыжить, пусть уже радуется прямо сейчас.

Теперь он, счастливый, сидел на диване и играл в «Майнкрафт».

И тут вошла бабушка. Она сказала:

— Так, ёлку — нарядили, Деду Морозу письмо написали. Что ещё осталось?

— Не знаю, — пожал плечами Ариэль, не отрывая глаз от экрана.

В Деда Мороза он не верил давно. Точнее будет сказать — никогда не верил.

Нет, ну когда совсем уж мелкий был — тогда, наверное, да. Какой спрос с трёхлетнего карапуза?

В общем, Алька, сколько себя помнит, всегда совершенно ясно видел, что Дед Мороз — это переодевший дедушка с вагной бородой. А Баба Яга, приходившая с ним вместо Снегурочки, — соответственно, бабушка, вся перемазанная сажей и губной помадой.

Но не хотелось никого огорчать, и потому он очень правдоподобно делал вид, что радуется Деду Морозу и боится Бабы Яги.

Сейчас уже можно не притворяться. Всем ясно, что он слишком большой мальчик, чтобы верить во всякую ерунду.

Вот племянник, Ваньша, немножко подрастёт — пусть тогда старшее поколение для него старается:

наряжается, разговаривает ненатуральными головами...

— Алька, — сказала вдруг бабушка, — а давай мы с тобой что-нибудь придумаем? Чтоб весело было. Заведём какую-нибудь хорошую новогоднюю традицию или что-то вроде того! Давай, а?

— Давай, — на автомате, не отрываясь от экрана, согласился Ариэль. — А что?

— Ну, не знаю, — бабушка задумалась. — Например, можно на каждый Новый год придумывать новую сказку.

— Давай, — опять не стал возражать внук, продолжая играть.

— Может, ты перестанешь уже пялиться в эту штуку и посмотришь на меня?

— Не могу. У меня тут крайне сложная ситуация возникла...

— А как же сказка? — обиделась бабушка.

Ариэль вздохнул, нажал на паузу, поднял глаза. Спросил:

— Кто будет сочинять?

— Сделаем так: ты начнёшь, а я продолжу.

— Ну ладно... Значит, так. Жил-был один блогер. Каждый день он выкладывал на свою страницу клёвые видео. Но подписчиков у него почему-то всё не было и не было.

— Это ты сказку сочиняешь? — тихо ужаснулась бабушка.

— Ты же сама простила. Так вот, значит, подписчиков у него всё не было и не было. И вдруг однажды утром он открывает свою страницу. А там...

Что там увидел бедный блогер, об этом никто никогда не узнал, потому что в комнату вошёл дедушка и предложил:

— Идёмте делать снеговика. Погода стоит — сказочная. Солнце — сияет, птички — поют, снег — лепится! Но только нужно поскорей, а то скоро вечер, солнце уйдёт за гору, будет совсем не то!

И они пошли. Втроём.

«Honor» Алька положил во внутренний карман куртки — очень уж не хотелось расставаться с драгоценным подарком даже ненадолго!

Снеговик получился замечательный, высотой метра полтора.

Лепили его долго, до самых сумерек. Потом на балкон вышла мама и позвала всех домой. Ребёнку пришлось время читать книгу.

Ариэль начал было протестовать: мол, каникулы же! Однако мама была непреклонна: читать нужно каждый день, иначе мало толку.

Книжка была, в общем-то, интересная. Хотя древняя, конечно. Про те времена, когда дедушка с бабушкой были совсем маленькими.

Называлась книжка «Сказка среди бела дня». По ней даже кино сняли, «Снежная сказка». Нормальный такой фильм, Алька смотрел его давно, в детстве.

Но книжку читать оказалось даже интересней.

Начиналось так:

«Есть ли на свете что-нибудь лучше утра 31 декабря! Когда всё впереди: и новогодняя ёлка, горящая разноцветными огнями, и подарки, которые тебя уже ждут, но ты не знаешь какие, и новогодние пироги впереди — румяные, пышные...»

В общем, как раз про наступающий Новый год. И про мальчика Митю, который придумал, что его часики с нарисованными стрелками — волшебные. И про девочку Лёлю, которая сначала была простым снеговиком, а потом вдруг ожила благодаря Митиным волшебным часикам.

Оно, может быть, немного не по возрасту — вырос Ариэль из таких наивных сказочек. Но написано интересно, так что ладно, можно и почитать...

Он читал, читал, потом устал немного, решил отдохнуть. И, само собой, вспомнил про подарок.

Но в кармане куртки телефона не оказалось!

«Выронил, когда лепили снеговика! — ужаснулся Ариэль. — Где ж его теперь найдёшь, в снегу, да ещё по темноте?»

К счастью, светила полная луна, и видно было почти как днём. Алька шёл, глядя себе под ноги, и всё искал, искал, искал...

А потом внезапно хлопьями повалил снег. Такой густой, что с трудом можно было увидеть свою собственную руку.

Из снежного марева вышел мальчик в белой куртке и спросил:

— Что ты ищешь?

— Да так... одну вещицу.

— В такой снегопад ничего не найдёшь, к сожалению, — сочувственно сказал мальчик. — Нужно подождать до завтра. А пока я предлагаю поиграть в снежки.

И они стали играть. Белые шарики летали и рассыпались. Пушистый снег сыпался за шиворот, попадал в рукава. Перчатки давно стали мокрыми. Было так весело, что о потерянном смартфоне как-то даже и не вспоминалось.

И вдруг...

— Прости, что я не сказал тебе об этом сразу. Твой телефон — он здесь! — мальчик приложил свою правую руку к левой стороне груди. — Он у меня вместо сердца.

Алька, естественно, не поверил:

— Мой «Нопог»? Ты прикалываешься, да?

— Видишь ли, я тот самый снеговик, которого вы сегодня слепили. Ты случайно выронил телефон, и он оказался внутри снежного кома. Как раз на том месте, где положено быть сердцу. И вот я ожил. Ты даже не представляешь себе, как это здорово — быть живым!

Алька смотрел на мальчика и не знал: верить или не верить всей этой околесице?

Наверное, нужно было просто сказать: «Фиг с ним, когда-нибудь со временем мне, возможно,

купят другой „Нопог“. А если и не купят — то тоже не конец света!»

Но Ариэль молчал.

Тогда мальчик расстегнул молнию на своей куртке и вытащил из-за пазухи смартфон:

— На, возьми. Прости, я не хотел... не хотел... не хотел...

И превратился в снеговика.

Он стоял теперь белый, неподвижный, с угольками вместо глаз. На голове ведро. Нос — морковка. Такой смешной.

Алька смотрел на него и чуть не плакал...

И тут его разбудила мама.

— На, держи своё сокровище. И не оставляй больше в кармане, а то я сейчас чуть не постирала его вместе с курткой.

Алька взял свой «Нопог», посмотрел на него. Подумал: «Нашёлся, значит. Или он вообще не терялся? Да, конечно, это ведь просто сон был...»

От этой мысли стало немного легче. Но грусть — не проходила почему-то.

— Сын, ты чего? Часом, не заболел? Эй! Надо к празднику готовиться, а ты хандришь.

— Не хочу... — грустно сказал Ариэль. — Ничего не хочу...

И сам удивился: «Зачем я это сказал?»

Но опять повторил, медленно, почти сердито:

— Не хочу. Не хочу. Не хочу.

— Да что с тобой такое? — не на шутку встревожилась мама. — Нет, схожу-ка я за градусником.

— Не надо за градусником. Мам, можно, я выйду на улицу, посмотрю на снеговика?

— Сходи погляди, если тебе так приспичило, — мама удивлённо пожалала плечами. — Только не долго, пожалуйста.

Снеговик стоял всё такой же смешной и весёлый: на голове — ведро, вместо носа — морковка. Он подмигнул Альке левым глазом и сказал шёпотом: — Не журишь. Это — всего лишь сон. Снежная сказка.

А может, это ветер прошуршал брошенным полиэтиленовым пакетом?

Снежная сказка...

Снежная сказка...

Снежная сказка...

Глава 11

Дворник Петрович

Покинув спешным порядком осаждённый «Калинов мост», Вадим Петрович Никошев устроился работать дворником. И вот уже больше года он здесь. Двор, который ему поручили держать в образцовом порядке, не слишком велик. Но и не слишком мал. Средненький такой дворик, окружённый четырьмя пятиэтажками.

Не привыкший к физическому труду бывший бизнесмен поначалу сильно мучился и страдал: уставал, набивал мозоли на ладонях. Опять же спина...

Но постепенно как-то втянулся. Ладно, чего там, бывает и хуже. А тут вполне терпимо. Особенно если принять во внимание тот факт, что ему, как труженику метлы и лопаты, выделили жильё. Крохотная такая комнатусечка на первом этаже. Причём ни за свет, ни за воду платить не нужно: все расходы берёт на себя ЖКХ. Зарплата, конечно, смешная. Но в любом случае лучше, чем ничего.

Вот так важный господин Никошев стал простым дворником Петровичем.

Обстановку в жилище Петровича изысканной не назовёшь. Однако того, что имелось, было достаточно, чтобы жить. Узкая деревянная кровать с ватным матрацем. Коврик на полу, чтоб ногам не холодно было вставать по утрам. Шкафчик с нехитрой посудой. Холодильник непонятной марки, местами облупившийся, но рабочий. И даже телевизор. Тоже, конечно, древний. Ну да какой есть.

Петровичу нравилось после тяжких праведных трудов поваляться на неразобранной постели в одежде. Лежать, глазеть в мерцающий ящик, лениво материть всё подряд — от местных и центральных новостей до «Дома-2» и петросяновской «Смехопанорамы»...

Не так давно была осень. Листопад. Такая мерзость. Целый день сгребашь, сгребашь эти листья в кучи...

Потом листья кончились, началась зима. От осени она отличалась только холодом. А так — та же грязь. Тот же мусор. Те же самые лужи, только полужамёрзшие. И так почти весь декабрь.

Примерно за неделю до Нового года повалил снег. Тяжёлые белые хлопья падали на газон, на тротуар, на лавочки... И началась настоящая тоска.

Если листопад — мерзость, то снегопад — это мерзость в квадрате или даже в кубе: нужно подниматься в пять часов утра, брать лопату и расчищать пешеходные дорожки.

А тут ещё какие-то идиоты скатали снеговика: глаза — два камушка, морковка вместо носа, нарисованный рот, на голове расколотое пластиковое ведро... И всё это посреди двора, на детской площадке.

Не сказать, чтоб сие произведение народного творчества дворнику сильно мешало. Но ведь бесит: на фиг оно тут, уродство это?

Петрович решительно подошёл, прицелился лопатой, решая, с какого бока удобнее начать ломать. И тут, как по команде, детишки из подъезда посыпались. С ними бабушки, мамы...

Почему-то не захотелось вершить расправу над безвинным снежным человеком на глазах у малышни. Ещё рёв поднимут. Взрослые зашумят,

завозмущаются. Недолюбливает здешний народ вечно хмурого, нелюдимого дворника. Не дай Бог нажалуются начальству. А он и так тут на птичьих правах.

Решил Петрович действие-злодейство отложить на потом. Ночью совершить. Или рано утром, пока все спят.

С тем и подался в свою каморку. Инструмент в угол поставил, тулупчик скинул, телевизор включил. Рухнул в койку, лежит, в потолок смотрит. Настроение гадкое, не понять с чего. Выпить бы. Да нету, всё кончилось ещё вчера. А зарплату только в будущем году теперь дадут.

По ящику опять какую-то туфту показывают. Но вставать, выключать — лень. Ладно, пусть тарыхтит.

Повернулся Петрович на правый бок, тулупчик на голову натянул, да и прикемарил.

Разбудил его резкий стук в дверь. Чёрт, кого принесла нелёгкая? Не дай Бог начальство.

Петрович тяжело поднялся, хрипло спросил: — Кто там?

— Свои, — весело отозвался незнакомый голос.

— Какие ещё свои? Нет у меня никаких своих. Чужд я этому миру...

С той стороны немного помолчали. Потом спросили по-деловому:

— Водки хочешь?

— Ну, допустим...

— Тогда открывай.

Петрович подумал, посомневался. Повернул-таки ручку замка.

На пороге стоял среднего роста субъект в поношенной телогрейке. На голове растрёпанная шапка-ушанка, в руках две нераспечатанных поллитры. И улыбка во всю физиономию: вот он я, подарок к Новому году!

Они сидели друг против друга за столиком: разочаровавшийся в этой жизни дворник и его неурочный гость.

Сначала выпили за знакомство. Потом за здоровье. Потом ещё за что-то. После третьей или четвёртой гость спросил:

— И нравится тебе такая жизнь?

— Не нравится, — честно признался бывший бизнесмен. — Но другой всё равно нету.

— А если я скажу: есть! — что тогда?

— Тогда я тебе не поверю.

— Вот это зря.

— Ни фига не зря!

Вадим Петрович Никошев точно знал, что верить никому нельзя. Вообще никому.

— Ты даже представить себе не можешь, кто я такой! — таинственным полушёпотом сказал гость, многозначительно подмигнув.

— А мне это не актуально, — отмахнулся дворник. — Хоть сам папа римский.

— Бери выше. Сам Кощей Бессмертный.

— Ну, тогда я Иван-царевич.

Гость обиделся:

— Я серьёзно, а ты...

— Давай лучше ещё по одной!

— Нет, погоди. Ты мне не веришь, да?

Вадим Петрович оценивающе поглядел на гостя: неказистый, лысина на полголовы, нос картошкой. Морда красная, невыразительная. Типичная шваль подзаборная. Интересно, чего он припёрся? Переночевать негде? Или просто не любит пить в одиночку, шибко компанейский?

— Не, не верю...

— А так?

И произошла метаморфоза. Полное преобразование. Вначале вроде как дымка возникла (возможно, просто в глазах на миг потемнело). Потом всё прояснилось. И вот уже сидит перед ошалевшим дворником то ли сам король Ада, то ли ещё кто-то не менее великий и ужасный. Ростом — огромен, вместо глаз — две застывшие чёрные молнии, голос — как раскаты грома:

— Чего молчишь? Язык проглотил?

Тут проглотишь...

Гость захохотал так, что стаканы со стола падали:

— Ну, теперь ты мне веришь?

— Верю...

— И что думаешь?

— Пи... пи... пить надо меньше...

Глава 12

*Предложение, от которого
трудно отказаться*

— Значит, ты и вправду этот... Кощей Бессмертный?

И икнул, запоздало прикрыв рот ладошкой.

— Он самый.

Гость по настоятельной просьбе хозяина (для более комфортного общения) вернул себе вид давешнего забулдыги.

— А правда, что смерть твоя — в яйце, яйцо в утке...

— Вот именно, «в утке». Дурят вас, детей малых, как хотят. Я сам — Смерть.

Вадим Петрович непроизвольно вздрогнул. Умирать ему точно не хотелось. Тем более прямо сейчас.

— Да я не в том смысле, — понимающе усмехнулся гость.

— А в каком?

(Вроде как отлегло немного от сердца, но беспокойство осталось.)

Вместо ответа гость сурово спросил:

— Знаешь, что такое Хаос?

Петрович обиженно ударил кулаком по столу:

— Меня моя начальница замордовала: «Я этого хаоса не потерплю, я этого хаоса не потерплю!» И ты туда же...

— Тьма, — благодушно икнул Кощей. — Причём — беспросветная.

— Обидеть бедного дворника каждый может! — всхлипнул Петрович. — Обзываешься, да?

— И не думал. Тьма — это то, что вы называете небытием, а в действительности...

Кощей хотел было объяснить, что Тьма — это не отсутствие света и даже не отсутствие всего, но как раз наоборот — бесчисленность и необъятность. То, что не подвластно человеческому уму, и воспринимается им как Хаос, ужасный и непостижимый.

Но, подумав, понял: пустая трата времени. Это всё равно что двоечнику-первокласснику объяснять... ну, скажем, сущность теоремы Ферма. — В общем, не заморачивайся.

Однако господину Никошеву хотелось ясности. Очень хотелось. Он осушил в очередной раз свой стакан и спросил сильно заплетающимся языком: — Значит, сказки врут, что твоя смерть на конце иглы?

— Может, и не врут, — пожал плечами Кощей. — Всё зависит от того, как на это дело поглядеть. Игла — луч света. Свет — источник жизни. Жизнь и смерть — вещи взаимоуничтожающие... Но вообще-то я пришёл к тебе не за тем, чтобы предаваться беседам о высоких материях.

— А зачем? — удивился Вадим Петрович.

— Хочешь мне помочь?

— Не... Не уверен... А что мне за это будет?

— Скажем так: власть, богатство и уважение.

— Уважение — это хорошо. Ты меня уважаешь? — Вадим Петрович потянулся через стол, имея цель поцеловать гостя. — А я тебя люблю!

Кощей вежливо отклонился:

— Тебя буду бояться. Бояться — значит, уважают. Так ведь у вас говорится?

— Ну, допустим. А что я должен буду... это самое...

— Ничего особенного. Просто приютишь одного мальчика.

Вадим Петрович потемнел лицом:

— Нет... только не это. Один раз я уже приютил... двух мальчиков. И что из этого вышло?

— Мой мальчик не такой, как твои приёмные сыновья, — успокоил Кощей. — Во-первых, он станет делать за тебя почти всю работу. Снег будет разгребать. Чем плохо? А во-вторых, это совсем ненадолго, только до Нового года.

До Нового года три дня. Можно и потерпеть, если что. Господин Никошев вздохнул тяжело:

— Ладно, хрен с тобой. Я только не пойму: чего ты за него хлопотать взялся? Он тебе кто?

— Никто. Но так нужно для дела.

— Для какого?

Гость задумался: объяснять — не объяснять?

— Ладно, чёрт с тобой, расскажу. Хочу в этом году вместо Деда Мороза подарки разносить.

— Фи. Оно тебе надо? Ты, что ли, добрый такой?

— Ага, сама доброта, — хихикнул Кощей. — Знаешь, что такое эпидемия?

— Это грипп, что ли?

— Не обязательно. По чуму, про оспу слышал?

— Так её же победили вроде как? — неуверенно спросил Петрович, чувствуя в районе солнечного сплетения неприятный холодок.

— Ну, во-первых, не совсем и не везде. А во-вторых, можно и ещё что-нибудь придумать, новенькое, так сказать.

— А зачем?

— Земля перенаселена. Или ты не в курсе?

— А, вон оно что...

Нет, не нравился Петровичу такой разговор.

— И тут только два пути: или война, или эпидемия. Можно, конечно, то и другое сразу.

Ну до чего же неприятный тип этот Кощей. Бр...

Вадим Петрович скривился, спросил вызывающе:

— А мне-то от этого какая польза?

— Ну как? Сократится численность народонаселения. Дворнику работы меньше.

Вот спасибо, уважил! Вадим Петрович опять поморщился, даже головой потряс, пытаюсь протрезветь:

— Так это ж там, в Китае, перенаселение. В Индии ещё. Или, скажем, в Европе. А у нас в России всё наоборот. Нам бы рождаемость повысить...

Гость внимательно посмотрел на собеседника, удивился:

— Да вы, батенька, патриот. Ладно, флаг вам в руки, повышайте свою рождаемость. Но Деда Мороза мне по-любому нужно в ловушку заманить и заколдовать. Чтобы потом самому вместо него на троечке да с ветерком... Или на чём он там катается? На оленях?

— Без понятия, — честно признался господин Никошев. — Мне это в принципе не интересно. Но я так и не понял: а зачем тебе этот геморрой?

Кощей почесал лысый затылок, пожал плечами:

— Сам не знаю. Ну хочется мне. Для развлечения. От скуки. Да и спор тут вышел небольшой...

— Спор — это святое. А только я-то тут при чём?

— Говорю же — пацана одного приютишь.

— На фига?

— Опять двадцать пять, — Кощей начал уже выходить из себя. — Ты рыбу когда-нибудь ловил?

— Ну, допустим.

— Так вот, малец этот будет чем-то вроде наживки. Чтобы, значит, Дедушка Мороз клюнул и попался мне на крючок.

С крючком и наживкой всё было более или менее ясно. Непонятно было другое.

— А я-то что с этого буду иметь?

— Скажем так: ты будешь моим земным воплощением. Хочешь?

— Ну-у... — неуверенно протянул дворник. — Даже не знаю. Это злодеем, что ли?

— Злодеем, злодеем, — охотно подтвердил неурочный гость. — Потому что в любой сказке всегда должен быть отрицательный персонаж. Иначе никакой интриги. С чем, спрашивается, будет бороться Добро, если не будет Зла?

— А может, я хочу быть положительным... персонажем! — вызывающе заявил Петрович и ударил кулаком по столу. — Белым и пушистым.

— Хотеть, конечно, не вредно, — не стал спорить Кощей. — Но сам посудите: добрый должен всё время совершать хорошие поступки. Совершать, и совершать, и совершать. А если он хоть однажды этого не сделает? Например, пройдёт мимо, не заметив. Или ошибётся. Устанет, в конце концов, и пойдёт всё к чертям собачьим. И моментально все отвернутся от него и скажут: «Фи-и!» Злодеем быть проще. Сделал один раз что-нибудь хорошее... Или даже так: просто не сделал пакость. Из лени ли... или же от забывчивости... или ещё от какой причины. Тут же возникает мнение: «Может, он не такой плохой, а? Может быть, в глубине души он гораздо лучше, чем кажется снаружи?» Или я не прав?

— Ну-у... — господин Никошев серьёзно задумался.

— Решайся уже. Вот смотри: у меня есть перстень-печатка с парсуной Бафомета. Стоит надеть его на указательный палец правой руки, как все тёмные силы обязаны будут тебе помогать. Ты даже не представляешь, какую власть обретаешь!

— Какую?

— Безграничную!

— И мне больше не нужно будет самому сгребать снег?

— Естественно!

— А, бес с тобой, согласен, — снизошёл Петрович и широко, залихватски размахнулся правой рукой. — Держи клешню!

Гость отсутствовал минут десять, не больше. Вернулся не один. Вместе с ним вошёл мальчик лет тринадцати в белой синтепоновой куртке и таких же штанах. На голове вязаная шапка, тоже белая. Лицо худое, бледное. Глаза — зеленоватые. Какие-то холодные, отсутствующие.

— Знакомься. Это как твой внук, приехал погостить на каникулы. Зовут Лёнька.

— И что мне с этим счастьем делать? — недовольно оттопырил губы господин Никошев.

— А ничего особенного. Вот раскладушка. Ответь ему место где-нибудь в углу. И посылай по утрам и вечерам вместо себя чистить двор от снега. Нужно, чтобы ему жизнь мёдом не казалась. Для чистоты эксперимента, так сказать. А пока он напишет письмо доброму Дедушке Морозу. Слышь, пацан, вот тебе бумага, вот карандаш. Раздевайся, садись, пиши.

Мальчик покорно-равнодушно снял куртку и шапку, сел к столу, взял в руки карандаш.

— Пиши, я буду диктовать. Значит, так: «Милый Дедушка Мороз, возьми меня к себе, мне здесь очень плохо...»

Глава 13

Снегурочка

Бабушка Марана и дедушка Хорс вылепили меня из снега и льда. Так бывает каждый год. Такая традиция, и её никто никогда не станет отменять, я думаю.

Я стояла на открытой возвышенности и сверкала, будто была сделана из горного хрусталя, а белая моя снежная одежда искрилась и мерцала, как россыпь бриллиантов.

Хотя такое сравнение в корне неправильно. Не снег блестит как бриллианты. Это бриллианты отдалённо напоминают сверкающий под солнцем свежевывающий снег. Сами посудите: что первично? Ведь гранить алмазы люди научились не так давно. Вода появилась на планете Земля куда раньше. И вообще: что важнее для жизни — вода или красиво обработанные камешки? Но это так, лирическое отступление.

Вначале я не хотела оживать. Мне ведь нравилось быть просто снегом, лежать на вершине горы, ни о чём не думать, ничего не хотеть...

А у живых вечные проблемы, печали, заботы.

Но, как оказалось, и радости тоже!

Дедушка Хорс ласково погладил меня по голове и сказал, что скоро праздник, Новый год. И меня на этом празднике очень-очень ждут.

А ещё сказал, что сейчас мне следует надеть лыжи и идти к Деду Морозу в терем. Я спросила: — Как же я пойду одна? Ведь я совсем не знаю дорогу!

Мне ответили:

— Не бойся, не заблудишься. По дороге ты вспомнишь всё! Ведь ты состоишь из воды, а вода — это Память Мира.

Я не рискнула спорить с богами, потому послушно переобулась в лыжные ботинки, уложила свои новенькие голубенькие сапожки в рюкзачок, взяла в руки палки, оттолкнулась и поехала.

И сразу начала вспоминать.

Во-первых, моё тело моментально вспомнило, что ехать на лыжах — легко и весело! Я стремительно неслась с горы вниз. Ветер бил мне в лицо, раздувал мои волосы, выбивающиеся из-под белой пушистой шапочки. На резких поворотах сердце моё готово было впрыгнуть из груди — мне казалось, что я лечу, как птица!

Спустившись вниз, я неторопливо заскользила по зимнему лесу. Белый искрящийся снег лежал повсюду: на земле, на пнях и ветках деревьев. Весело переговаривались птицы. Дятлы стучали своими длинными крепкими носами, добывая себе на завтрак жуков-короедов.

Мне захотелось пить. Я подошла к одной из ёлок и слизнула языком снег, лежащий на её колючей ветке. И сразу вспомнила всё. Ну или почти всё.

Вспомнила, что каждую зиму я, слепленная изо льда и снега, превращаюсь в живую девочку. Потом, в марте, растаяв на весеннем солнце, убегаю вместе с весёлыми звенящими ручейками далеко-далеко. Летом я плаваю по небу в виде облака. Осенью проливаюсь грибным дождём. А потом — опять падаю на землю белыми хлопьями. Вспомнила я и шумное праздничное веселье у новогодней ёлки: музыку, детский смех, подарки в цветных пакетиках...

И только дорогу к терему Деда Мороза мне так и не удалось вспомнить. А уж как я старалась!

Что было делать? Куда идти?

Притомившись, я остановилась возле старой развесистой сосны и задумалась. Ноги мои с непривычки сильно устали от долгой ходьбы. Да ещё, как назло, правый ботинок оказался мне чуть-чуть маловатым.

И тут из-за кустов вышел большой серый Волк. Он сказал:

— Бросай свои лыжи и садись на меня верхом.

— Ой, — сказал я. — Ты откуда взялся?

— Вообще-то я здесь живу, — совсем не сердито проворчал Волк. — А конкретно к тебе меня прислал Велес. Переживает, как бы ты не заблудилась. Ну так что — будем ехать или и дальше почтаем пешочком?

Чапать мне не захотелось. Я быстренько переобулась в свои сапожки. Спросила:

— А куда лыжи?

— Оставь здесь. Кому надо — заберёт. Да садись ты уже, не тяни kota за уши!

Вначале я подумала, что скакать верхом на Волке будет не очень комфортно. Однако Волк оказался мягким, тёплым и чрезвычайно уютным. Просто диванчик-канapé, а не Волк.

Я, очевидно, сильно утомилась, пока шла на лыжах. И потому незаметно для себя уснула.

Проснулась я почему-то уже верхом на Медведе. — Ой, — удивилась я, — а ты кто?

— Посланник Велеса, — коротко ответил он, не поворачивая головы.

И дальше всю дорогу мы молчали. Медведь оказался совсем неразговорчивым. Не то что Волк: тот всю дорогу рассказывал мне разные ужасно смешные анекдоты. Пока я не заснула.

Наконец мы добрались до сверкающего дворца Деда Мороза. Там нас давно с нетерпением ждали.

Правда, Дедушка Мороз ещё не приехал. Но бабушка Зима была очень рада вновь увидеть меня. Почему «вновь»? Я говорила уже: всё это происходит со мной каждый год.

Меня посадили за стол, стали кормить вкусными ватрушками с творогом, поить чаем.

Мы сидели и разговаривали о грядущем празднике. Я спросила:

— А что мы будем делать завтра?

— Завтра? — бабушка Зима заразительно зевнула. — Да ничего особенного. У меня свои дела. А ты, если хочешь, покатайся на лыжах, полюбуйся окружающей природой.

— Нет, только не это, — вежливо отказалась я, вспоминая свой сегодняшний марш-бросок.

— Тогда на саночках. С горки. Или, если хочешь, возьми оленей. Или тройку лошадей запряги. Заодно потренируешься управлять гужевым транспортом.

Да, это уже лучше. На лошадях. Или на оленях. С ветерком.

— А хочешь — телевизор смотри. Там столько интересных новогодних передач обещают... Ну всё, всё! — спохватилась бабушка Зима. — Хватит! Время позднее, заканчиваем разговоры. Завтра будет завтра. А пока — спать, спать, спать! Иди, внученька, я тебе постелила.

— Спасибо, бабуля, — сказала я. — Спокойной ночи! — Спокойной ночи, моя радость!

В окна моей комнаты светила полная луна. Не включая свет, я прошла к одному из окон, отдернула занавеску и выглянула на улицу. Было светло и тихо. Снег искрился. Деревья стояли белые, нарядные. Вдалеке, на фоне неба, облитые лунным светом, возвышались остроконечные вершины гор.

Глава 14

Что рассказал филин Савелий

Весь декабрь письма идут потоком. А потом...

Вот что самое трудное в моей работе, как вы думаете? Предпраздничная свистопляска, когда не продохнуть, когда в день иногда приходится разбирать по несколько десятков тысяч писем?

Ничего подобного. Здесь как раз всё нормально, всё продумано. Я научил читать сорок и ворон, и они трудятся на благо жаждущего подарков человечества от рассвета до заката: помогают мне разбирать корреспонденцию.

Конечно, светлое время в декабре длится не больше восьми часов. А сороки, да и вороны тоже — птицы дневные. Ночью они ни черта не соображают — какая тут работа!

Потому ночью уж я — сам... Сам, сам тружусь. Да ещё мышшей подключаю, чтоб скучно не было. А если совсем запарка, то и крыс.

Ночью хорошо. Звёзды. Луна светит. Снег переливается, сияет таинственно и мягко. Глазам не больно. Не то что днём.

А днём солнце яркое. Всё вокруг горит, сверкает — ослепнуть можно.

Днём я спать хочу. Двигаюсь как сомнамбула, натыкаюсь на разные предметы.

А ночью у меня — бодрость и жажда деятельности. И активность повышенная. Это потому что я — сова.

Точнее — филин.

Зовут меня Савелий. Такое вот красивое имя. Я сам придумал. Дедушка хотел было меня Филей назвать, но я возмутился. Не захотел. Слишком уж всё просто и примитивно: раз филин — значит, Филя. Никакой фантазии!

Да, но я отвлёкся, простите, пожалуйста! Я ведь про что? Про трудности моей службы.

Служу я, как кто-нибудь уже наверняка догадался, секретарём у Деда Мороза. Моё дело — разбирать предновогодние письма с разными просьбами: «Дедушка, подари мне то-то и то-то, мне оно очень надо!»

Или: «Дедушка пришли мне новый смартфон, иначе я опять стану плохим мальчиком, вот увидишь!»

И так далее, и всё в том же духе.

Всем от дедушки чего-то надо! Просят и просят. Простят и просят. Аж противно бывает.

И так весь декабрь.

А как только наступает январь, так сразу — всё! Тишина. Как отрезало! Хоть бы одно коротенькое письмишко. Или копеечная открыточка к какому-нибудь празднику. Нет. Ничего похожего. Ни гу-гу. Никто даже и не вспоминает про Дедушку Мороза.

А мой старик ждёт. Страдает. Хоть виду, конечно, не подаёт. Но меня-то не обманешь, я-то всё замечаю!

Так печально бывает на это смотреть, что впору сам садись и пиши письмо дедушке.

Да я уж давно сел бы и написал ему кучу писем. Каждый день бы писал по письму. Или ещё лучше — по два. Нет, по три. Но...

Но пишу я как курица лапой!

Оно, конечно, сравнение не совсем корректное: где я — и где курица! Однако с природой всё равно не поспоришь: ну не приспособлена птичья лапа для написания текста с применением шариковой, либо гелиевой, либо ещё какой ручки.

Вот на компьютерной клавиатуре я бы смог. Тюк-тюк потихонечку, тюк-тюк.

А только старикан мой никакой электроники в доме не держит. Из принципа. Хочет, чтоб всё — по старинке. Чтоб, значит, как в дни его светлой и безоблачной молодости!

Ох, когда они были-то, эти дни?

Ну да ладно. Не об этом речь. Речь о письмах. Точнее, об их отсутствии.

Итак, я сам писать — не могу, ибо почерк у меня...

Кстати, вспомнилась хорошая индийская притча. Как раз в тему.

Приходит как-то один мужик, индус (а у них там в Индии в основном индусы живут), к писарю. Дело давно было, народ в массе своей грамоты не разумел. Вот и ходили на поклон к тем, кто с горем пополам алфавит выучил.

Так вот. Мужик этот, который индус, просит писаря (тоже, кстати, индуса): мне, дескать, надо по-срочному письмо написать. Сеструхе. В соседнюю деревню. Помоги, мол! А уж я тебя за твои труды отблагодарю как положено!

Писарь ему говорит: «Прости, друг, не могу. Нога болит». Мужик удивляется: «Ты чё, охренел прикалываться? Скажи ещё, что—ногой пишешь!»—«Пишу-то я, конечно же, рукой,— отвечает писарь.— А вот только писанину мою, мною написанную, никто, кроме меня самого, разобрать не сможет. И потому пошлют за мной, для разъяснения. И как я, по-твоему, пойду—с больной-то ногой?»

Ага, аккуратно про мой почерк!

Но я опять отвлекся.

Так вот, значит. Повторяюсь: самая большая трудность в моей работе—это отсутствие писем. Тех самых, от которых в декабре отбою нет!

И что с этим делать—ума не приложу. Уж я и намекать пробовал детишкам: осчастливьте дедушку, напишите пару тёплых слов!

Да только современные дети чересчур прагматичны. Говорят мне: «Большие мы уже, чтоб во всякую чушь верить!» А самые маленькие, которые—верят, те—опять же беда—писать не умеют! Вот такой расклад.

Да, я забыл сказать, что после праздников мы с дедом из ледяного дворца, где, конечно же, красиво, но холодно и чересчур помпезно, перебираемся в маленький симпатичный домик, недалеко от одной одинокой полузабытой деревни, в лесу, на берегу большой красивой реки, не буду её называть, а то другие реки начнут завидовать.

Мне в домике гораздо больше нравится. Он хоть и небольшой, но хороший. И всё, что нужно для жизни, в нём есть. Кухня с печкой. Спаленка, небольшая, но уютная. И ещё комната, называемая торжественно: «зала». Здесь Дед Мороз гостей принимает. Ну, разных там зайцев, лис, волков, бурундуков, белок... Звери покрупнее—лоси, олени, медведи—в хату не помещаются, потому с ними старик на свежем воздухе общается.

Однажды я в очередной раз взялся наводить в нашем жилище порядок. Пыль протёр, полы подмёл. А потом вдруг ни с того ни с сего вспомнил про чердак. На нём уже лет сто никто не убирался, а лишь толкали туда всё подряд и как попало.

В общем, решил я немного и там прибраться. И вот среди старых газет и открыток я нашёл конверт, подписанный: «Дедушки Марозу».

По почтовому штемпелю я вычислил, что адресовано письмо было ещё тому, старому Деду Морозу, который работал здесь раньше, до моего старикана.

«Да, в те времена дети были не в пример добрее и доверчивее,— подумал я.— Или, может, просто не были такими загруженными?»

Мне стало любопытно, и я раскрыл конверт. Смотрю—письмо, простым карандашом нацарапанное. Буквы неровные ошибки, конечно же. Видно, что совсем мелкий кто-то писал.

«Драстуй дорагой дедушка марос Мороз! Пишит тибе Саша.

Я живу в детскам доме патамушта у меня никаво нет.

Дарогой дедушка Марос! Генка Синицын ска- зал что взапрвду тебя нет а только в сказках. Он пративный и злой и всигда меня лупит если вас- питатилница ни видит.

Милый дедушка Мароз я хачу с табой дружить! Со мной некто ни дружит патамушта я не умею дратся.

Падарок на Новый Год ты мне нидори. Пата- мушта видь на всех падаркав всиравно не хватит.

А если вдруг захочиш то падари складной но- жик. Он мне очинь нужен. Я хочу отсуда убивать. А как же я буду бижать по лесу бизаружный когда визде дикие звери?

Можно я прибигу к тибе? Я буду памагать тибе и всигда тибя слушатся.

Дасвидание. Саша».

Дочитал я это до конца и подумал: «А что, если подкинуть сей памятник эпистолярного жанра моему старикану? Якобы оно только что пришло? Бумага, как это ни странно, совсем не пожелтела от времени. В самом письме дата нигде не ука- зана. А конверт у меня есть новый. Вот и порадую дедушку!»

Я запечатал исписанный листок, кое-как, с грехом пополам, нацарапал сверху две печатных буквы: «Д. М.» Деду Морозу то есть. К нам иногда приходят корреспонденции и с таким адресом. Так что ничего удивительного.

Потом опустил послание в наш почтовый ящик и стал ждать.

Утром я залетел в Дед-Морозову спальню и увидел такую картину: старик сидит на койке, в ночной рубаше, на носу—очки, в руках—раскрытый кон- верт, на глазах—слёзы.

Я даже испугался:

— Что случилось, дедушка? Плохое письмо? Оно тебя чем-то огорчило?

— Нет-нет-нет...—отрицательно замотал он голо- вой.— Но... Но понимаешь... это моё письмо!

И он рассказал мне про то, как один маленький мальчик по имени Саша написал Дедушке Морозу

письмо. Мальчик был совсем одинок—ни родных, ни друзей. И вдруг случилось Чудо: в их детский дом приехал самый настоящий Дед Мороз и забрал мальчика Сашу к себе жить.

А потом мальчик вырос и сам стал Дедом Морозом.

Такие вот дела.

Мне, конечно же, пришлось признаться в том, что послание из прошлого—это моя проделка. Но дедушка на меня даже не рассердился.

И всё бы хорошо, но вдруг я стал замечать, что старикан мой захандрил. То молчит целыми днями, слова не добьёшься. То ворчать возьмётся: и это не так, и то не эдак! Аппетит потерял, спать стал плохо.

И чем дальше, тем хуже.

Я его спрашиваю:

— Дедусь, что с тобой?

А он мне отвечает:

— Устал я. В отпуск хочу.

— Какой,—удивляюсь я,—тебе отпуск? Ты и так весь год, считай, отдыхаешь.

— А в бессрочный,—говорит.

— В какой, в какой?

— Эх, Савка,—вздыхает он.—Знал бы, как мне всё надоело: праздники эти, суета, письма, подарки... Хочу пожить как человек. Чтоб меня любили не за то, что я новую машинку или крутой смартфон могу подогнать. А просто так, ни за что. Понимаешь, я ведь сам по себе хороший человек, добрый. Сказок много знаю опять же...

— Так я ж тебя за то и люблю,—говорю я совершенно искренне.—Мне ж от тебя никаких подарков и не надо. Или ты сомневаешься?

— Не сомневаюсь,—опять вздыхает старик.—А только есть у меня мечта: найти в каком-нибудь детском доме круглого сироту да взять его себе на воспитание. И ему хорошо, и мне...

Я аж присвистнул:

— Ну ты, дед, даёшь! Думаешь, это так просто? В наше время, пока опеку оформишь, пять раз облезешь и неровно обрастёшь.

Дедуля мой после этих моих слов совсем скис, опечалился.

Я его, конечно же, утешать начал.

— А с другой стороны,—говорю,—если взять его к нам сюда, в нашу глушь, то тут его никакие органы опеки, никакая ювенальная юстиция не найдёт. А что? Хорошая мысль. И тебе веселее, и мне развлечение: будет кому в меня сосновыми шишками кидаться.

— А разве так можно?

— Почему нет? Тебя же прежний Дед Мороз взял, не побоялся.

Старик было загорелся, но тут же погас:

— Тогда всё проще было. А сейчас и времена другие, и дети не те. Вот возьму я, к примеру, мальчонку. А он вырастет и проклянёт меня за то, что я его

благ цивилизации лишил. Тут ведь у меня ни компьютера, ни Интернета. Приёмник только вот, да и тот одну волну раз в неделю ловит.

Я только крыльями развёл:

— Ну, не знаю уж, чем тебе и помочь...

— Да это я так,—вздыхнул он,—шутейно. Куда мне с дитём возиться? В мои-то годы. Прости старика, болтаю невесьть чего.

А за что, собственно, прощать?

Ну ладно. Поговорили. Излил дедуля мне свою душу. Полегчало ему или нет, я не понял. Но по виду вроде как успокоился.

А тут и Новый год на подходе, пора в дорогу собираться. Некогда хандрить.

Я уж и волшебный мешок с подарками в сани загрузил. Оленей приготовил: шкуры им красиво причесал, копыта посеребрил, рога позолотой украсил. Только запрячь осталось.

Итак, всё готово. Скоро, что называется, отчаливаем.

Я белкам, зайцам и волкам, которые дом сторожить остаются, ценные указания выдал на две недели вперед. Последний облёт хозяйства совершил, проверил, всё ли в порядке. А потом прикемарил. Я ж говорю, днём меня всегда в сон клонит.

Просыпаюсь на закате.

— Дедуль, пора!

В ответ тишина. Ага, тоже, поди, спит. Умаялся старикан.

Я в спальню—кровать пуста. Я во двор. И там его нету. Белок, зайцев, волков спрашиваю:

— Где Дед Мороз?

Они только уши виновато прижимают:

— Не знаем... Не видели...

Что за шутки? В прятки, что ли, дедулька решил поиграть, счастливое детство вспомнил? Вот самое время сейчас!

Я все окрестности облетал. Под каждую, считай, ёлку заглянул: мало ли, вдруг дедуля на радостях принял на грудь, завалился где-нибудь в сугроб да и дрыхнет себе?

Однако—нету. И никаких следов. Чертовщина какая-то.

Я уж кричать давай:

— Ау, дед, ты где?

От моих воплей ворон на сосне проснулся. Для начала обложил меня по матушке в четыре этажа. А потом пояснил:

— Видел я твоего старика. Вылетел давеча на крыльцо как ошпаренный. Развернул свои ладошки, как карту. Посмотрел, посмотрел. А потом хлопнул волшебными рукавицами и исчез. Часа три назад это было.

Тут и я, каюсь, заматерился. Не выдержал. Что за шутки, ёлы-палы: до Нового года всего ничего, а у нас Дед Мороз в бега подался!

И что мне с этим счастьем делать, я вас спрашиваю?

Глава 15

Пропаж

Сплю сном праведницы. Смотрю сон про летний отдых на юге: море, пальмы, магнолия цветёт и пахнет... Вдруг (и как всегда—на самом интересном месте!) стук в окно.

А, чтоб вас! Хотя бы раз дали досмотреть до конца такую красоту!

Встаю, накидываю на плечи тулупчик, выхожу на крыльцо. Ору сердито:

— Ну и кто мне тут опять мешает мой любимый сон смотреть?

— Простите, это мы...

Перед крыльцом—зайчонок на задних лапах, передние лапки крестиком на груди, весь испуганный. За ним—ещё один, такой же белый и пушистый.

А чуть поодаль—волк и лиса. И ещё лось—здоровенный, как слон.

— Ну?—начинаю выходить из себя.

Но сдерживаюсь пока. Потому как если я из себя совсем выйду—хрен меня потом обратно загонишь!

— Бабулечка-красотулечка!—лепечет зайчонок.— Спасите-помогите! Катастрофа!

— Да что опять стряслось? Сороки воронам войну объявили?

— Хуже,—пищит другой.—Дедушка Мороз пропал...

— Это ещё зачем?

Сон—как рукой сняло. И правда—катастрофа. До Нового года—считанные часы. Так что если эти белые пушистые не шутят (а похоже, что как раз—не шутят!), то дело—дрянь.

— У Снегурки спрашивали?

— Да... Она тоже не знает...

Куда ж его, старого пер... перфекциониста, унесло так некстати? И что делать? Хочешь—не хочешь, а надо спасать ситуацию.

— Ладно,—говорю я собравшейся делегации.— Авьс прорвёмся.

Надеваю шубейку, ватные штаны, валенки, шапку-ушанку, сверху шаль (прабабкина любимая вещь!). А куда без этого? Чай, не лето, не юг с пальмами.

Вытаскиваю из-под кровати метлу, выкатываю ступу из сарайки. Потом закладываю два пальца в рот и свищу молодецким посвистом.

На свист прилетает мой Карлуша, говорящий ворон. Он всё на свете знает, будет советы давать.

Объясняю птичке ситуацию, сажаю к себе на правое плечо, закарабкиваюсь в ступу.

Взмах метлой. Снежная пыль в разные стороны. Полетели.

Внизу делегация моя стоит—скупились, смотрят на меня с нескрываемой надеждой, лапками-копытами машут...

— Куда сперва, как ты думаешь?—спрашиваю я у ворона.

— Ну, не знаю. Давай в Белоруссию. Может, он у тамошнего своего коллеги загостился? За рюмкой чая да за разговорами... туда-сюда... Про время и забыл?

— А, чай, не близко до Белорусии-то?

— Ну, не близко... А что делать?!

— Я к тому, что ступе моей такого путешествия, однако, не пережить. Не нравится она мне в последнее время: всё хандрит, всё хнычет, на жизнь жалуется. Ещё и кашлять взялась. Видать, простудилась. А, ступа, что скажешь?

— А-а-апчихи!

— Вот и я про то же...

— И что теперь?—запереживал Карл Иванович.— Лететь-то всяко-разно надо!

— Я вот что подумала. Полетим на Горыныче. Он у нас парень бравый, ему все эти расстояния—раз плюнуть, два раза чихнуть.

— Ну...—согласился ворон.

Эверестович оказался дома не один. Как раз Леший к нему пришёл в гости. Хорошо, что они не успели ещё бутылочку откупорить. А то слетали бы. С печи на полати. Ага.

Мы с Карлом Ивановичем вкратце рассказали о проблеме.

Горыныч говорит:

— Ну, я готов. Как юный пионер.

А Леший:

— Возьмите меня с собой!

А Горыныч:

— Имейте совесть: я вам всё-таки не Ан-225 с неограниченной грузоподъёмностью!

Я поддержала:

— Путь далёкий, устанет наш девятиглавый. Ты уж, братец, лучше здесь походи по лесу, поспрашивай: может, кто чего слышал или видел? Ну не мог же целый Дед Мороз пропасть бесследно. Вот и поищи эти следы.

— Собака я, что ли?..—обиделся было Леший.

Однако возражать сильно не стал. Остался. А мы полетели.

Глава 16

Галопом по Европам

Дзед Мароза мы застали за репетицией праздничной речи.

Представляете, картина: красавец-бородач, совершенно седой, но стройный, подтянутый, стоит перед зеркалом, опираясь на свой волшебный посох, артистично размахивает свободной рукой и—говорит, говорит, говорит. Да всё так складно, да с таким чувством.

Я залюбовалась, ей-богу, чуть не влюбилась.

Он заметил нас, речь свою прервал, поздоровался, спрашивает:

— По делу какому али так, погостить?

— Какое погостить! У нас дед пропал. Не знаешь, часом, куда?

— Дед Мороз, что ли? Да нет, я с ним с прошлого года не видался. Он, конечно, не раз обещался заглянуть, да, видать, дела. Ох уж эта суета сует!

Ну вот, зря летели, выходит.

— И что же делать?—опечалились мы все втроём.
— А вы слетали бы на Украину... ну, или в Украину. Там хоть и беспокойно нынче, а только Дід Мороз с вашим стариком как дружил, так и дружит. Может, он у него?

А что, мысль!

Поблагодарили Дзеду Мароза за добрый совет и полетели на просторы братской Украины.

Однако Діда Мороза мы не застали. Вместо него подарки в мешки расфасовывал взмыленный Санта-Клаус.

Увидев нас, он улыбнулся приветливо, оставил на минуту свою работу, бухнулся на диванчик и нас пригласил присесть.

— Здоровеньки булы! Чем могу служить?

Я не стала ходить вокруг да около:

— Помощь твоя нужна. Не подскажешь, где нам нашего Деда Мороза искать?

Никола Угодник покачал головой, искренне огорчился:

— Ничем не могу помочь, ибо не знаю.

— А кто знает?—сердито спросил уставший от длительных перелётов Горыныч.

— Никто,—печально развёл руками старик (хотя не такой уж он и старик, если разобратся: ему бы курить бросить, по ночам не лазить в холодильник, а утром бегать трусцой километров по пять—мужчина получился бы, я вам скажу!).

Итак, опять никакого результата. Опять, получается, впустую километры мотали!

Выходим мы, грустные, на крылечко. Вдруг откуда-то маленький такой гномик.

— Эй!—шепчет он нам таинственным шёпотом.

— Ась?

— Санта сказал, что про вашего деда знает Никто. Так, да?

— Ну.

— Так вот. Я знаю, где этот Никто живёт. Могу подсказать.

— Ага,—говорю,—подскажи.

— А в Германии он живёт. Его так и зовут—Ниманд. Никто то есть.

— Это за что ж его так?—удивилась я.

— А за то,—поясняет гномик,—что брал и берёт на себя вину непослушных детей. Их, детей этих, спросят, например: кто это тут напакостил? А они в ответ дружно: Никто! Мол, его и наказывайте, а мы тут ни при чём.

— Бедный герр Ниманд!—сочувственно вздохнул сердобольный наш Змей Горыныч.

Мне стало любопытно, я спросила:

— Он что там у них, заместо Деда Мороза и Санта-Клауса?

— Да нет. Есть у них и Санта-Клаус, конечно же, как не быть. И даже что-то сродни славянским Деду Морозу и Снегурочке осталось от старых времён. По-немецки это называется Вайнахтсман и Кристкин. Вайнахтсман—он весь такой добрый, ласковый, улыбчивый. На спине—полный мешок подарков, за поясом—розга!

— А розга-то зачем?

— Как зачем? Для непослушных детишек.

— Очень добрый дедушка,—одобрил Карлуша.

— Вот и я говорю. А Кристкин—она такая красавица! Она ходит в белом наряде, в руках корзинка с яблоками, орехами и прочими сладостями для послушных детей.

— Опять для послушных!—проворчала я, потому как сама сильно послушным ребёнком, помнится, не была.

— А то как же,—кивнул гномик.—Дети ей рассказывают стихи, поют песенки...

Я вежливо перебила его:

— Ну, с этим всё понятно. Снегурочка—она и в Германии... как ты её назвал?

— Кристкин.

— Вот именно. Давай дальше.

— Вот. А с ними ещё иногда ходит ужасный Польц-никель.

— Это ещё зачем?

— Известно зачем. Народ пугать. А ещё...

— А можно поближе к теме?—вежливо попросил Серпансион Эверестович.—Мы вроде бы про этого, как его... про...

— Про герра Ниманда,—подсказал ворон.

— А что про него?—гномик пожал плечами.—Ну ездит он на своём ослике, ну раздаёт детям конфеты. Сильно добрый. Лучше я вам про Ла

Бефану расскажу. Представляете, в Италии Дед Мороз—женщина. Да, да! Она прилетает в дома к хорошим детям через дымоход, верхом на метле...

— Да твою ж Йоулупукки,—не выдержала я.—На метле я и сама могу. Ты про Ниманда, про Ниманда давай! Про товарища Никто.

— Про Никто я больше ничего не знаю,—печально признался гномик.

— Может, мы сами слетаем и сами всё разузнаем?—говорю.—Горыныч, ты как?

— А легко!

И мы полетели.

Но, увы, оказалось, что ничего этот самый Ниманд-Никто про нашего Дедушку Мороза не знает.

И вообще, в Германии мне чуть плохо не стало: до того всё чистенько, до того всё аккуратненько.

Ни пылинки, ни соринки, ни опавшего листика, ни клочка снега. Тротуарчики перед домами—аж блестят. Языком они их, что ли, вылизывают?

Я бы от такой жизни на пятый день застрелилась. А на шестой повесилась.

Решили мы вернуться к братьям-славянам.

Сначала—в Чехословакию. В смысле, в бывшую.

Там у них Дед Мороз называется Микулаш. Ходит он в длинной шубе, с посохом, за плечами—короб с подарками. С левой стороны от него идёт чертёнок Крампус, а с правой—Ангел. Вот такая у них весёлая компания.

Про нашего дедушку они тоже ни черта не знали. Так что мы полетели дальше.

И в Болгарии Дядо Коледа ничего толкового нам не сообщил. Так, поулыбался, поздравил с наступающим...

— И куда теперь?

— А полетели в Грецию. Всё-таки колыбель европейской культуры.

Греческого Деда Мороза, как оказалось, зовут Василием. Пряма как моего кота.

Но мужичок оказался славный.

Он как раз сидел у себя на кухне за столом с каким-то кренделем. Обыкновенный такой крендель. На колхозника малость похожий. Возле него—большой мешок из плотной ткани. Я ещё подумала: картошка у него там, что ли?

Василий, как увидел нас, поднялся из-за стола, поздоровался приветливо. Спросил: не желаем ли мы с дороги перекусить чего?

— Нет, благодарствуйте,—говорю.—У нас тут дело безотлагательной важности.

И рассказала про свою беду.

Увы, про нашего дедулю он тоже ничего не знал. Однако дал добрый совет:

— А вы, раз такое дело, найдите ему ВИО. Временно исполняющего обязанности.

— Это мысль!—обрадовалась я.—А ты, Вася, сам не согласился бы, а? Временно, так сказать...

— Я бы с радостью. Да у меня своих забот—выше крыши. Кто за меня ребятне подарки будет дарить? Пушкин?

Мне понравилось, что нашего Александра Сергеевича здесь тоже уважают. Как говорится: Пушкин—он и в Африке... и даже в Греции...

Но оставался вопрос: а нам-то что делать?

— Вы вот что,—посоветовал Вася,—летите-ка на Восток. Там ещё остались страны, которые Новый год отмечают по-восточному календарю, а это совсем в другое время, где-то в феврале-марте. Так что они вполне могут вас выручить, если хорошо попросите: исполнят вам роль Деда Мороза на общественных, так сказать, началах.

— Вот спасибо за совет! А поконкретней можно? Восток—он большой.

— Это да, не маленький. Ну, скажем, так: Монголия. Китай. Вьетнам. Индия. Погодите, у меня где-то шпаргалка была. От викторины «Что? Где? Когда?» осталась.

И зашарил по карманам.

— Понятно,—тоскливо выдохнула я.—Но это ж чёрт знает где! На другом конце света. Нет, Горынычу таких перелётов нипочём уже не выдержать. Притомился он. Из последних сил крыльями махает... Нет, не осилить нам этакое перелёта... Нипочём не осилить...

— Да, да,—закивал Василий.—Я вас понял. Сейчас что-нибудь попробуем сообразить.

Он задумчиво почесал затылок. И вдруг его осенило:

— Эврика! То есть, я хотел сказать—Эвр... а также—Зефир, Борей и Нот. Восточный, Западный, Северный и Южный ветра. Кони, не знающие усталости. О, это будет самая быстрая в мире квадрига. Она мигом домчит вас куда надо. Мой старый добрый приятель Эол, повелитель ветров, очень удачно заглянул ко мне в гости. Сейчас я поговорю с ним и решу этот вопрос положительно. Но только вначале прошу не побрезговать, отвечат нашей трапезы. Голодными я вас в такую дорогу всяко-разно не отпущу, даже не мечтайте.

Кушать, если честно, очень сильно хотелось.

После того, как мы с Карлушей и Эверестовичем подкрепились, Эол (тот самый крендель колхозного вида) осторожно развязал свой волшебный мешок. А из него ка-ак дунет! Жуть. Чуть меня со стула не снесло к чёртовой бабушке.

Но вот уже великолепная четвёрка лошадей стоит запряжённая, грызёт удила и бьёт копытами.

Горыныча мы домой отпустили. К Лешему. Пусть они там вместе с Кикиморой мозговую атаку организуют. Голов у них много. Глядишь, до чего и додумаются.

А я, соответственно, полезла в квадригу. И Карлуша со мной.

Глава 17

Мозговая атака

Первым взял слово Змей Горыныч.

— Ну, в общем так. Дедушка наш Мороз как в воду канул. А без этого традиционного новогоднего персонажа—что за праздник?

— Это уже не праздник,—поддержала Кикимора.

Кикилия Бенедиктовна хоть и не имела к пансиону «Калинов мост» непосредственного отношения, однако вместе со своими закадычными друзьями (а также с мамашей своей, мужем и многочисленными детками) проживала теперь в Сказке, в должности Кикиморы. И была этим обстоятельством весьма довольна.

— Я полностью согласен с мнениями предыдущих ораторов,—сказал Леший.

— А коли все согласны, так давайте искать выход из создавшегося затруднительного положения.

Горыныч напустил на себя важный вид. А что, имеет право. Это ж он, а не кто-нибудь, летал за тридевять земель. И именно он пытается теперь сделать то, что, возможно, не удастся самой Бабе Яге. То есть найти замену Деду Морозу.

— Итак, какие будут предложения?

Кикилия Бенедиктовна, как первоклассница, подняла руку:

— Я предлагаю Лешего.

— Нет, нет, — поспешно заотнекивался Дядь-Лёшка. — Я ж ни одного детского стиха не помню. А то, что могу рассказать... Нет, дети этого не поймут.

— Ещё как поймут, — сдержанно хихикнула Кикимора. — Ты нынешнюю молодёжь не знаешь.

— Всё равно — несогласный я.

— А ты, Эверестович?

— Что вы, что вы! Я детей боюсь. Честное слово. Теряюсь и не знаю, как себя с ними вести. Студенты — понятно, студенты — совсем другое дело. А вся эта мелочь пузатая... Что я им скажу? Лекцию начну читать на тему «Откуда есть пошла русская земля»?

Кикимора задумалась.

— Тогда можно Кота Баюна задействовать. Ему сам Бог велел детишек развлекать. Он, кстати, и песни может, и стихи... И всё в пределах нормативной лексики.

— А что, это мысль!

— Я так не думаю, — усомнился Горыныч. — Этого строптивца уговорить — проще Вавилонскую башню построить.

— А мы не сами, — хитро подмигнула левым глазом Кикимора. — Мы к нему детишек подошлём. Уж им-то наш Котик отказать не сможет. Кстати, Леший, твоя новая пассия, кажись, в детском доме работает?

— Вроде да.

— Вот. Поговори с ней. Пусть она организует своих короедиков.

— Да нет, — заартачился Дядь-Лёшка. — Я это... Я как раз с ней расстаться собирался... Может, ты сама поговоришь, а?

— Ладно, поговорю, корона не упадёт.

— Вот и славно, — Серпантион Эверестович удвоил слезы и шлёпнул себя по лысине. — Решение принято. Приступаем к выполнению.

Глава 18

На просторах Азии

Для нашего удобства, ну и чтоб нам с Карлом Ивановичем не околеть, летя над землёй со скоростью ветра, вместо традиционной открытой двуколки Вася подогнал нам высокие сани, крытые мехом. Кроме того, выдал огромный, просто безразмерный медвежий тулуп. Интересно, где он это всё

нарыл? У меня даже появилось такое подозрение: а не из Сибири ли родом наш гостеприимный, душевно отзывчивый Василий?

Спросить я, конечно, постеснялась. А надо было!

Впрочем, мы с Карлушей очень спешили, не до лишних разговоров было. Я, кряхтя и охая, влезла в сани. Ворон уселся ко мне на колени. Эол хлопнул в ладоши, зычно крикнул:

— Пшли!

Кони рванули с места. И вот уже земля пропала из виду. Мы летим выше туч. Яркое, незамутнённое солнце слепит глаза. А ледяной воздух заоблачных высот застревает в лёгких.

Вначале мы полетели в Монголию.

И чуть не заблудились среди бескрайних гор и степей. И хоть бы одна живая душа, чтоб дорогу спросить!

Наконец видим — огромная отара пасётся. Пастух — крепкий седобородый старик на лошади, в лисьей шапке. Я к нему:

— Не подскажете, уважаемый, где нам тутошнего Деда Мороза найти?

— Увлин Увгуна?

— Возможно. Так где?

— А вам он зачем?

Я рассказала всё как есть, без утайки.

Старик языком зацокал, головой закачал:

— Ай, ай, ай! Не выйдет ничего. Не с руки сейчас пастуху в игры играть. Ему отару пасти надо. На кого он своих овец оставит? Помощница его, Зазан Охин, отпросилась на неделю домой съездить, отца с матерью проведать. А внук, Шинэ Жил, в школе-интернате, знания приобретает, без них нынче нельзя. Пастух совсем один остался. Потому — никак не может. Совсем никак.

— Так ты, однако, и есть этот самый... э-э... Увлин Увгун? — догадался ворон.

— Возможно, однако. Только какая разница, если помощи всё равно не будет?

— Никакой разницы, — согласились мы.

И полетели дальше.

— Куда теперь? В Китай?

— В Китай.

Дон Чен Лао Рен ехал как раз верхом на ослике, в ярко-красном шелковом халате, в высокой шапке с фонариками и колокольчиками. Увидев нас, он спешился, широко, очень широко улыбнулся, прижал руки к груди, поклонился. Я тоже поклонилась. Вежливо так, с почтением.

— Сыграем в го? — гостеприимно предложил Дон Чен.

— О нет, — скромно отказалась я, ибо понятия не имела, что это такое.

— Тогда в домино?

— Спасибо, спасибо, в другой раз.

— Айкидо? Ушу? Хэйхуцюань?

Ага, именно этого мне для полного счастья и не хватало. Мотаю головой, развожу руками.

— Тогда— вместе почитаем Конфуция!— радуется Лао Рен.

— О нет,— взмолилась я.— Простите, но у нас очень мало времени. Мы к вам по крайне важному делу. Тут такая проблема...

Выслушав меня внимательно, китайский бог Нового года сказал:

— Чтобы заменить вашего Деда Мороза, нужно, чтобы кто-то был. И нужно также, чтобы этот кто-то мог заменить вашего Деда Мороза. Иначе никак!

— Это мне понятно,— говорю я.— Мне не понятно: вы согласны нам помочь?

— Помочь— это всегда пожалуйста. Но дело в том, что у нас в Китае первого января тоже случается праздник. Правда, не такой большой, как весной. Но тем не менее. Так что...

Китаец опять широко улыбнулся, поклонился.

Я тоже поклонилась. А куда деваться— этикет.

И мы полетели дальше.

— Теперь— в Индию,— предложила я, вспомнив душещипательные ленты Болливуда.

В дни моей молодости индийское кино было крайне популярно. Я до сих пор будто вижу красочные пейзажи долины Ганга, слышу голос Латы Мангешкар. Песни, танцы. Сказка, одним словом. Всё такое родное, привычное.

Карлуша возражать не стал. И мы полетели. Но, видимо, сбились с курса. Сильно сбились. Потому что вместо полуострова Индостан попали почему-то на Японские острова.

— Слушай,— говорит Карлуша,— а ведь японцы справляют Новый год, как все белые люди, первого января. На фига мы сюда припёрлись?

— Ах ты ж...— говорю я.— Ну ладно, коль скоро мы припёрлись, давай тутошнего Деда Мороза попытаем на предмет: а вдруг ему чего-нибудь про нашего старика известно? Чем чёрт не шутит? — Чёрт— он такой,— не стал спорить ворон.— От него всего можно ожидать.

Сегацу-сан, японский Дедушка Мороз, оказался добрым молодым в самом расцвете сил. В небесно-голубом кимоно, красивый, мускулистый, подтянутый, он сидел на коврик и медитировал, обратив лицо в сторону высокой заснеженной горы.

— Какая красивая гора!— сказала я, чтобы вывести мужчину из транса и привлечь внимание.

— Яма!— закивал он.— Фудзи-яма.

И вернулся в нирвану.

«Не так-то просто,— подумала я,— найти общий язык с человеком, который гору называет ямой».

Индию мы всё-таки с Божьей помощью отыскали.

Там, как выяснилось, обязанности Деда Мороза исполняет Лакшми. Женщина невероятной красоты. Богиня счастья и процветания.

Когда мы увидели её— она стояла на огромном лотосе. Точнее, не стояла, а танцевала.

— У вас ко мне какое-то дело, странники?— спросила она нежным голосом.

И перестала танцевать.

— Мы хотели бы просить вас, о величайшая из богинь, снизойти до нашей смиренной просьбы. Будьте в этот Новый год нашим Дедом Морозом!

Лакшми задумалась.

— А это где?

— В России.

— Ох, я люблю Россию,— вздохнула богиня.— Но только не зимой. Русские морозы... о, они убьют меня. Мне очень жаль... Очень-очень...

В общем, очередной облом. Летим дальше.

В Камбоджу тоже зря слетали. Там вместо Деда Мороза— Дед Жара. Это уж точно не для нашего климата...

Зато вьетнамский дух Нового года встретил нас как родных.

— Тао Куэн,— представился он, низко поклонившись и прижимая руку к сердцу.

Мы вкратце рассказали ему о своём горе.

— Ай-ай-ай,— проникся сочувствием старикан.— Ну конечно же, я помогу. Я приду в каждый дом, узнаю про все хорошие и плохие ваши дела за этот год, запишу в особую тетрадку. А потом сяду верхом на дракона и полечу к Небесному Владыке, чтобы доложить ему про всех всё-всё-всё...

А я подумала: «Терпеть не могу ябед и донощиков. Нет, нам это точно не подойдёт. Не тот у нас менталитет, однако».

— Знаете что, уважаемый господин Тао Кун,— выпалила я первое, что пришло мне в голову.— Я только что вспомнила одну важную вещь. Вспомнила, что Дед Мороз оставил мне записку, а я по рассеянности её так и не прочитала. Наверняка там он пишет, где его искать! Так что мы, с вашего позволения, быстро-быстро полетим домой!

— Быстро-быстро— это хорошо,— обрадовался вьетнамский новогодний дух.

Похоже, и ему не очень-то хотелось лететь на своём драконе в заснеженную Россию.

Мы радостно раскланялись, попрощались. И отправились в обратный путь. На Родину.

— Про записку— это правда?— спросил ворон, когда мы пересекли границу.

— Конечно, нет,— ответила я.

— А вдруг дед уже нашёлся?— с надеждой в голосе предположил он.

Я только вздохнула:

— А вдруг...

Внизу уже расстилались родные российские снежные поля.

Глава 19

Кот Баюн

— Никого не трогаю, не шалю, починяю примус, — заученной скороговоркой пожаловался Кот. — И оставьте меня все в покое, пожалуйста!

Детишки, шумной стайкой ввалившиеся в помещение, на секунду было смутились, замолчали. Самый старший из них кашлянул в кулачок и отважно выпалил:

— Здравствуйте, дорогой, уважаемый господин... дяденька... Э...

Мальчик запнулся: имя этого огромного зверя, похожего скорей на грозного тигра или пантеру, но только не на ласкового домашнего мурлыку, вылетело вдруг из головы.

— Сегодня можете называть меня просто, без церемоний: Бегемотик. Сегодня я добрый, — великодушно разрешил Кот Баюн, который уже решил, что нынче на новогоднем карнавале он будет котом Бегемотом.

А, собственно, почему бы и нет?

Понятливые дети дружно закивали головами и затараторили наперебой:

— Дяденька Бегемотик...

— У нас Дед Мороз куда-то подевался...

— Пропал дедушка...

— Вы не могли бы...

— могли бы нам помочь?..

— Мы вас очень просим...

— Очень-очень!

Кот заткнул уши лапами:

— Да что же такое творится в мире! Ни одной тебе минуты душевного покоя и равновесия! Просто буквально некогда вздохнуть, выдохнуть и привести в исправность кухонную утварь!

И сделал вид, что рассердился. В действительности же ему ужасно нравилось, когда его просили.

Особенно вот так, шумно и многочисленно:

— Пожалуйста, пожалуйста!

— Если вы нам не поможете, тогда кто?

— Никто!

— Только вы, дяденька... Бегемот!

— А я-то тут при чём? — Кот опять сделал вид, что собирается выгнать всю шумную ораву за дверь. — Какой такой помощи вы ждёте от одинокого, всеми забытого существа?

Дети загалдели так, что вообще ничего невозможно стало разобрать, кроме единственного повторяющегося слова «Дедушка Мороз, Дедушка Мороз».

— Цыц! — рявкнул Кот Баюн. — Ну и где, по-вашему, я его вам возьму этого... вашего, как вы там его называете...

— Дедушку Мороза! — дружно подсказали дети.

— Сразу заявляю: лично я о месте его теперешнего пребывания не имею ни малейшего представления.

Почесался и добавил:

— Проще говоря — не стану я его искать!

А про себя подумал: загулял, видать, старый перец, решил откосить от исполнения служебных обязанностей. Ну и правильно: себя нужно любить больше, чем работу!

— Нет, нет, нет! — опять загалдели дети. — Мы хотим, чтобы — вы!

— Что я? — не понял Кот.

— Чтобы вы были вместо Дедушки Мороза!

Здасьте, приехали. Мало было по цепи ходить, народ потешать. В смысле — песни петь и сказки разговаривать...

— Я не ослышался? Вместо кого? — глаза Кота, и без того огромные, стали, кажется, в два раза больше его же собственной морды (а морда эта никогда не была маленькой!).

— Вместо Дедушки Мороза! — ласково глядя на него снизу вверх, пискнул самый мелкий дитёнок (кажется, это была девочка), в красной шубке и такой же красной шапочке с заячьими ушами на макушке. — Вы ведь такой хорощий, такой добрый!

Кто бы сомневался!

— Нет, я, конечно, понимаю, что дети — цветы жизни, — сказал Кот Баюн. — Да только для цветов нынче не сезон: снег на дворе.

— Это потому что скоро Новый год, — пояснил самый старший. — А вам всего-то и надо — прийти к нам на ёлку. Надеть колпак и бороду. Взять мешок с подарками.

— Мешок с подарками — это хорошо, — одобрил Кот, постепенно склоняясь к тому, чтобы согласиться. — Что же касасемо бороды — то это, право, лишнее: коту борода — как корове седло. Вполне достаточно усов. Потому что кот — это почти что гусар!

— Мы согласны, согласны, — закивали дети. — Вы, дяденька, только шапочку наденьте и мешок возьмите!

Кот задумался всерьёз: а почему бы и нет? Приятно ведь, чёрт побери, когда тебя вот так просят! Ну приятно, и всё!

И опять же — подарки...

— Ладно, — сказал он. — Так и быть. Раз уж вы ко мне со всем почтением... А ведь вы — со всем почтением?

— Да, да! — торопливо и радостно загалдели дети.

— Я, можно сказать, согласен. Только сначала почешите-ка мне за ухом. И спинку погладьте. И живот. Вот так, вот так. Я от этого добрым становлюсь. Ну просто таким добрым, таким добрым, что самому страшно! Мур-р...

— Дяденька Кот, дяденька Кот, а почему вы Бегемот? — это опять всё тот же самый мелкий дитёнок с заячьими ушами на макушке воспользовался его

добротой и пристаёт с дурацкими вопросами.— Потому что вы толстый, да? Или потому что вы раньше в Африке жили?

«Где я—и где Африка!»—без всяких эмоций подумал Кот Баюн, и даже не захотел обижаться на то, что его обозвали толстым. После всех почёсываний за ухом и поглаживаний живота он и вправду чувствовал себя почти таким же добрым, как сбежавший в неизвестном направлении новогодний дедушка.

— Дети мои,—сказал он ласково.—Да будет вам всем известно, что Бегемот—это не только большая чёрная толстокожая свинья, живущая в африканских болотах, но и (и это в первую очередь!) демон, большой, страшный и очень-очень злой! Я бы даже сказал: он почти такой же страшный, как Левиафан. Ну, или... хм... как я сам, когда рассержусь. Так понятно?

Дети отрицательно замотали головами:

— Нет...

— Не знаете, кто такой Левиафан?

— Не знаем...

— Темнота!—вздыхнул Кот.—Это такой ужасный морской зверь... такой... ну просто туши свет! Символ конца света, если по-простому.

И надо бы проще, да куда уж? Дети стояли, молчали, хлопали глазёнками виновато.

— Опять непонятно?

— Не-ет...

— Ну...

Баюн на секунду забылся, принял свой истинный апокалиптический вид. Дети замерли, перестали дышать.

— Нет, ну я не понял: это что за беспредел?—Кот опять сделался мягким и пушистым.—Кто-то обещал за ушком почесать! А за другим? Давайте, давайте! Нет, ну вы только гляньте, какой я добрый!.. Ладно, хватит уже на сегодня. Брысь все по домам. Там сидите. И ждите.

И добавил тихо, самому себе, задумчиво:

— А я пока к бабушке Ягвиге. Попробую разобратся, что к чему.

Глава 20

Тревога

Кот явился вдруг перед Бабой Ягой. В самой середине Избушки на куриных ножках.

— Фильдеперс, ты?—обрадовалась Ягвига Космовна.

— А то кто? Я, собственно, интересуюсь спросить: что за чертовщина у вас тут происходит?

— Не у «вас», а у «нас»,—сердито ответила старуха.—Причём у всех сразу. Форс-мажор у нас. Дед Мороз пропал. А до Нового года—считанные часы. Мы вот тут пытались было, только ничего не вышло...

— Новости, однако. Так это, значит, никакой не прикол?

— Ага, такой прикол, что смеяться замучаешься.

И старуха принялась рассказывать подробно про то, как её разбудили сегодня ни свет ни заря. И как они с Карлом Ивановичем летали по всему миру в поисках пропажи. Сперва на Змее Горыныче, а потом уже на Эоловой квадриге.

— Значит, так и не нашли?—озаботился Кот Баюн.

— Значит—нет.

— В серебряное блюдечко смотреть не пробовала?—А то я дурней тебя!—обиделась Баба Яга.—Пыталась. Только оно молчит, как партизан. В смысле, ничего не показывает.

— Дай я попробую.

— Возьми. Вон оно, на тумбочке стоит.

— Катись, катись, яблочко, да по серебряному блюдечку...—Кот осторожно тронул волшебный фрукт лапой.

Он качнулся, но катиться не стал.

— Странно. Что это с ним? Э, глянь-ка, да у твоего Наливного Яблочка дыра в боку, а из неё червяк торчит.

— Ой, беда, беда...—засуетилась Баба Яга.—Что делать-то?

— Ну, не знаю. Давай попробуем червяка отловить, а дырку заклеить чем-нибудь. Хоть хлебным мякишем. Полечим, так сказать...

Как ни странно, после такого лечения волшебная вещица ожила. Правда, не совсем. Видимость так и не появилась. Зато блюдечко вдруг заговорило человеческим голосом, как тарелка-репродуктор середины прошлого века:

— Тревога, тревога, тревога! Тьма, беспросветная Тьма наступает по всем фронтам. Это война!

— Ты ещё «Вставай страна огромная» спой,—сердито посоветовал Кот.—Что за чушь ты несёшь? Какая ещё война?

— И спую!—обиделась говорящая тарелка.—Над всем миром беда нависла, а вы тут... Эх...

И замолчала.

— Да что случилось-то, говори толком?—тихо запаниковала Баба Яга, понимая уже, что всё это—неспроста.

— Говорю же—беда! Дед Мороз не просто так пропал. Его место хочет занять Чернобог Карачун, в народе именуемый Кощеем Бессмертным. И подарки он такие в этот мир несёт—никому мало не покажется.

— А куда Семаргл-то смотрит?—нервно спросил Кот Баюн.—Это его, между прочим, работа—защищать Явный Мир. Так же как я, например, защищаю Сказку.

— Да нет Семаргла, нет его!—чуть не плача, выкрикнуло блюдечко.—И куда делся—никто не знает! Беда! Я вам говорю, говорю, а вы будто глухие!

— Как нет?

— А вот так. Я больше скажу. До смерти Кощея сейчас не доберёшься: Медведь спит, Волк ведёт себя

как шакал, а Огненного Сокола опоили какой-то гадостью. Он теперь своих не признаёт. А ещё—родник с живой водой запоганен. И солнечным символом завладели тёмные силы. Вот такой расклад. И что с этим счастьем делать—одному богу известно, только я не знаю, какому именно...

Говорящая тарелка замолчала, послышался хрип и скрежет. Запахло дымом. Яблочко вдруг почернело, скукожилось, рассыпалось в труху. Налетел порыв ветра, сдул пыль с блюдечка. И осталось на нём одно-единственное семечко.

— Прибери-ка его, Кузьмовна, чует моё сердце—оно нам ещё понадобится,—сказал Кот.

— Ага,—старуха послушно взяла семечко, завернула в чистый носовой платок, спрятала в карман.—Только что нам делать-то? Как бороться с этой напастью?

— Что делать, что делать!—Кот Баюн и сам занервничал.—Я думаю, самое время звать Её Саму.

— Софью Ивановну?

— Да. Вместе с дочками. И к ведьмаку всем надо. Срочно собираем чрезвычайный совет. Пусть-ка твой ворон немедленно оповестит Хозяйку Сказки. Где он, кстати?

— Сейчас позову,—пообещала Баба Яга, накинула зипун и вышла за дверь.

Глава 21

Чрезвычайный совет

Собрались на капище. Хозяйка Сказки Софья Ивановна. Её дочки: Вера, Надежда, Любовь. Стар-карачур Велесадар, совсем ещё молодой ведьмак, стройный бородатый красавец. Кот Баюн во всей своей красе: лохматый, огромный, усищи торчат, из зелёных глаз искры во все стороны. Ворон говорящий, Карлуша. Ну и Баба Яга тоже тут, конечно.

— Значит, так,—сказала Софья Ивановна.—Без помощи волшебного блюдечка Деда Мороза нам не найти. Так что тебе, Космовна, задача—вырастить новое Наливное Яблочко.

— Ох,—опешила Баба Яга.—Разве я сумею?

— Надо постараться. Сейчас ведьмак разожжёт священные костры и станет волховать. А когда закончит ритуал—на месте одного из костров закопаешь семечко от погибшего яблочка, польёшь живой водой... Кстати, о воде. Девочки, ваша задача—расчистить волшебный источник и набрать полных три бутылки.

Хозяйка Сказки хлопнула трижды в ладоши. И в руках у каждой из её дочерей образовалось по хрустальному сосуду с большой деревянной пробкой, на которой красовался нарисованный золотой краской солярный знак.

— Чёрт,—не выдержала, ругнулась женщина.—Испоганили руну Солнца. Придётся менять символику. Прости нас, Создатель, светоносный Ра,

за то, что не сберегли мы твой завет, отдали символ Света в руки Тьмы Тьмущей.

Софья Ивановна махнула рукой, свастики исчезли. Вместо этого на первом сосуде заалела пентаграмма—пятиконечная звезда, на двух других проступили буквы «Z» и «V»—знаки силы и уверенности в победе.

— Да будет так,—сказала Софья Ивановна.—Да хранят нас старые и новые боги!

И добавила:

— Ну всё, у каждого теперь есть задача, которую необходимо выполнить как можно быстрее. А я попробую замедлить ход времени. Нам нужно успеть до боя Курантов.

Обернулась птицей Гамаюн, тяжело взмахнула крыльями и исчезла в облаках.

Глава 22

Обо всём понемногу

Старик, высокий, сухопарый, седой, глаза—как два провала в бездну, на левом запястье большая родинка (или шрам?) в форме серпа. Молча возится с часами. Их у него много. Очень много. И он это своё богатство чинит, заводит, опять чинит и опять заводит... Что происходит в Явном Мире, его интересует постольку-поскольку.

Это Часовщик. Кто он такой? Очевидно, сам Кащей. Смотрит на белый свет, на подлунный солнечный мир и скучает. Возится со своими часиками. Играет с тысячелетиями. А что ему ещё делать в скучной монотонной вечности?

Да, прошу не путать Кащея с Кощеем, Сдыхликом Неумиручим, мелким пакостником, главная жизненная цель которого—вредить роду человеческому. (Хотя, если подумать, по земным масштабам не такой уж он и мелкий пакостник.)

А вот Кащей—сын самого Ка, или Ха, Великого Хаоса. Брат Бесконечной Тьмы, где Тьма—это отсутствие света, но—Множество и Смешение. Смешение Времени и Пространства. И Множество, числа которому нет, потому что не может быть в принципе.

Птица Гамаюн возникла будто из воздуха:

— Приветствую тебя, Владыка!

— Софьюшка, ты?—старик будто очнулся от забытья и даже улыбнулся.—За какой такой нуждой в мои палестины?

— За помощью. Придержи время. Помогите, если можешь.

— Да мочь-то я могу, а только для того, чтобы нарушить Ход Времени, нужна серьёзная причина.— Беда у нас...

— Ну хорошо,—сказал Часовщик, выслушав Хозяйку Сказки.—Ситуация и вправду чрезвычайная. Есть у меня в запасе несколько сотен минут.

Но это только до полуночи. До конца уходящего года. Дальше—сама понимаешь...

— Мы успеем, спасибо, Повелитель,—горячо поблагодарила Софья Ивановна и поклонилась старику низко, в пояс.

Николай Иванович битый час не может найти себе места. Михаил... Мишаня... Он обещал прийти сегодня к обеду. И вот до сих пор не пришёл.

Казалось бы: ну чего так уж волноваться-то? Он человек военный, мало ли? А на душе кошки скребут. Непокойно.

Старик походил из угла в угол, потом решил: «Пойду-ка я на улицу, там подожду».

Кряхтя, натянул тулуп, шапку. Вышел за калитку. Направо поглядел, налево. Ни души.

И вдруг услышал под лавочкой, на которую присел, какое-то шевеление. И жалобное поскуливание. Заглянул. Видит—щенок-подросток, весь облезлый, худой, в чём только душа держится.

— А ты как тут?—ахнул старик.—Что, выбросили? В такой мороз! Вот ведь... Ну иди сюда, иди, не бойся.

Вытянул животное из-под скамьи, понёс в дом.

Первым делом плеснул в Шарикову миску (правильно, что не выбросил, сохранил!) горохового супа.

— На-ко вот, поешь. Ох, да на тебе живого места нет. Помыть бы тебя да мазью какой намазать. Ладно, потерпи немного. Скоро сестричка патронажная придёт. Она добрая. Она непременно поможет... Ты чего не ешь-то? Невкусно? Да ты весь дрожишь! Ступай-ка, друг, ко мне за пазуху. Там тепло. Бедняжка. Ох, и кто же тебя так?

Ворча и причитая, старик затащил щенка на кровать, расстегнул свой стёганный жакет:

— Иди, иди, не бойся. Сейчас согреешься.

Пёсик занырнул головой под мышку, сжался весь, притих, постепенно переставая дрожать.

Старик тоже успокоился, осторожно, чтобы не разбудить зверёныша, прилёг, продолжая согревать щенка своим теплом.

И незаметно заснул.

Верочка, Любочка и Надюшка между тем так же, как их мать, превратились в птиц (Сирин, Финист и Алконост) и улетели.

Да, непростая им досталась задачка. Животворящий источник был завален камнями и упавшими стволами деревьев, засыпан нечистотами. Девчонки трудились упорно, разбирая завалы, вытаскивая тяжёлые булыжники, выгребая голыми руками мусор и грязь...

Тем временем у четырёх огромных костров, горящих на капище, колдовал Велесадар.

Он метался в центре площадки, окружённый пламенем со всех сторон, что-то шептал или

выкрикивал непонятные звуки. То опускался на колени, касался земли губами. То распрямлялся и вскидывал ладони к небесам.

Но вот из-за горизонта выкатилось огненное колесо. Размером примерно с луну. Бабе Яге даже в первую секунду показалось, что это и есть луна. Только какая-то сумасшедшая: сам диск—чёрный, а по окружности—будто солнечная корона, какой её на картинках рисуют.

Ещё это удивительное небесное явление отдалённо походило на огненный обруч, через который в цирке прыгают дрессированные львы и тигры. Только языки пламени не метались беспорядочно, а как бы тянулись вперёд. По ходу вращения колеса. Именно вперёд, а не наоборот, что было бы более логично: ведь огонь при движении естественным образом отклоняется назад. А тут... Странно, одним словом.

Само колесо вращалось по часовой стрелке, то есть посолонь. И катилось оно слева направо.

Очевидно, это было добрым знаком. Потому что Велесадар вскинул руки к небесам и прокричал: — Благодарю вас, великие боги!

Вернулись дочери Софьи Ивановны с живой водой.

Разгорячённый ведьмак, обнажённый по пояс, вышел из огненного круга, взял одну из бутылей, жадно отпил четыре глотка. Глаза его загорелись уверенностью и силой. У него будто выросли крылья. Он трижды, как вихрь, облетел первый из костров, выкрикивая что-то гортанное, нечленораздельное, похожее на завывание вьюги или грохот обвала в горах.

Наконец он остановился, плеснул живой воды в пылающий огонь, прошептал:

— Мать Сыра Земля, приди на помощь детям своим!

Костёр тут же исчез, будто провалился. Лишь чёрное кострище дымилось теперь на месте, где только что плясало пламя.

— Ты услышала меня, Великая Мать!—крикнул ведьмак.

И упал ниц.

Тут же он вскочил, начал кружение около второго костра. Обежав три круга, Велесадар опять плеснул живой воды в огонь и, повторяя:

— Великий Велес! Великий Велес! Великий Велес!—опустился на колени.

Пламя вдруг сделалось густо-красным, почти бурым, послышалось грозное утробное рычание разбуженного Медведя.

Колдун встал на ноги, вытянул руки ладонями к огню:

— Ты услышал меня, Хранитель Жизни!

Пламя костра рассыпалось на мириады искр, унеслось во тьму лесной чащи.

Проплясав у третьего костра и плеснув в него живой воды, Велесадар вскинул руки к зениту. Прокричал:

— К тебе взываю, грозный Перун-Громовержец!

Пламя сделалось нестерпимо белым, ослепительным, как вспышка молнии, грянул гром.

— Ты услышал меня, Бог-Воин! Слава тебе во веки веков!

Костёр превратился в огненный смерч, поднялся в небо и там исчез. Или превратился в звезду?

Проснулся Николай Иванович от яркого света и обжигающего жара. Даже глаза страшно было открывать. В голове пронеслось только: «Ох, горим, однако... Куда ж я теперь, а?»

Глаза он всё-таки открыл. И увидел перед собой Крылатого Огненного Пса. Огромного, в ореоле пламени и слепящего света. Именно таким Николай Иванович и представлял себе Семаргла, про которого ему Михаил недавно рассказывал.

— Жуть, — сказал старик почти без страха, а скорей с восхищением.

— Дед Коля, не бойся. Это я, Михаил.

— Мишаня? — ахнул старик. — Так, значит, ты и есть тот самый Охранник и Защитник? Или я всё ещё сплю?

— Я и есть, — не стал отнекиваться Семаргл. — Спасибо тебе, дедунь. Спас ведь ты меня. Вот так. Ни больше не меньше.

— Не понял.

— А тот щенок. Облезлый, паршивый. Забыл?

— Так это, что ли, ты был?

— Ага.

— Ну дела, однако. И кто ж с тобой такое содеял?

— Да есть тут один. Деятель. Ох, я ему и... В общем, извини, дедунь, мне пора. На разборки. Спасибо тебе ещё раз и низкий поклон. Ты ведь не только мне помог. Ты, может быть, всё человечество спас, избавил от большой беды.

— Ну да?! — удивился дед. — Вот это я молодец.

— Ещё какой! Ну, прощай, что ли. Или до встречи?

— До встречи, до встречи, — категорически закивал Николай Иванович. — Я буду ждать. Очень буду.

— Замётано!

Из четвёртого костра взлетел Огненный Пёс. И опустился на снег. Сразу под ногами у него образовалась проталина. А сам Великий Страж принял вид грозного воина: шлем, кольчуга, пылающий меч... Всё как положено.

Вернулась птица Гамаюн, превратилась в красивую стройную женщину, в Софью Ивановну.

— Владыка Времени согласился нам помочь. Теперь вся надежда на тебя, Семаргл. Тебе лететь и добывать Кощеву смерть. Но имей в виду: на острове Буяне сейчас такое творится...

И она пересказала всё по порядку: и про спящего Медведя, и про продавшегося вражьей силе Волка, и про Сокола, которого опоили ядом Карого Змия.

— Говорят, он своих не узнаёт, — вздохнула Хозяйка Сказки. — Беда, беда...

— Да неужто Рарог против меня пойдёт, против своего родного брата? — не поверил Семаргл. — Мы же с ним не просто братья. Нас испокон веку считают единым целым.

— Всё так... — не стала спорить Софья Ивановна. — Но только жизнь порой такие сюрпризы подносит...

Семаргл улетел. Вместе с Хозяйкой Сказки и её дочками. На остров Буян. Добывать смерть Кощеву.

И ворон, Карл Иванович, тоже вслед за всеми. На всякий случай. Он, как выяснилось, — родной брат Софьи Ивановны. Для Баба Яги это было новостью.

Ведьмак Велесадар после волхования сильно притомился, уснул. Сморило добра молодца. Прямо на земле. Упал в том месте, где снег от сильного жара стаял. И отключился.

Ягвиг Космовна сходила в дом стар-карачура, принесла овчинный тулуп, укрыла сердешного: пусть поспит. Лишь бы не простыл, не захворал, упаси Боже.

— Ну что, Фильдеперсушка, пора и нам за работу? Ты мне с ямкой не поможешь, а? У тебя, я знаю, это ловко получается.

— Так и быть, — снизошёл Кот Баюн.

Выкопали лунку на месте первого кострища, посадили в неё семечко от Наливного Яблочка, зарыли, вылили сверху всю живую воду из второй бутылки. И стали ждать.

— Филя, как ты думаешь, что там сейчас происходит? — не выдержала Баба Яга. — Наши победят? — Победят, — уверенно мявкнул Кот. — Но только это...

— Что? — забеспокоилась старуха. — Есть сомнения?

— Да не то чтобы... Чтой-то беспокойно на душе. Отправлюсь-ка я на помощь. Чую, без меня им не справиться.

— А я?

— Твоё дело — яблочко растить. Как мы без него Деда Мороза найдём?

— Ну да... — не стала спорить Ягвиг Космовна.

Кот телепортировался. А Баба Яга осталась дожидаться всходов. Ну и добрых вестей тоже. Потому как дурных вестей — шибко ж не хочется!

Вестям пока взяться было неоткуда. А вот почва вскоре зашевелилась, показался росток.

Глава 23

Битва. Рассказ Фильдеперса

Уж ты гой еси, люд честной, православный, что Небесную Правь — славит, Земною Явью — живёт, Глубинную Навь — чтит и трепещет! Исполать!

Да, были, были дела—ох, ни в сказке сказать, ни пером описать. Битва битв. Великое противостояние.

Стоят друг против друга два добрых молодца. Можно сказать—единое целое. Одно лицо, одна богатырская стать. Будто в зеркало сами на себя смотрят.

Одно различие: Семаргл—в красно-белом одеянии, меч в руке—огненный. За спиной у него мы все. Конечно же, ворон: без него какая битва? Сестра его, София-Мудрость. Дочери её Вера, Любовь и Надежда. Ну и я, скромный котик, ваш покорный слуга.

А Рарог—тот чёрно-коричневый с головы до пят, с обоюдоострым золотым палашом и взором, полным лютой ненависти. Да, вот таким он стал после того, как испил яда Карого Змия, ибо вселился в него в результате сего питья Карый Бес.

Ох, скажу я вам, нет в мире страшнее врага, чем обманутый друг!

За спиной у Чёрного Сокола—тьнь Кощя. Огромная, весь горизонт застит. Ну и мелких прихлебателей толпа—визжат, плюются, зубы скалят, радуются: вон как нас много против вас!

Говорит Семаргл Рарогу печальным голосом: — Опомнись, братишка! — Я тебе не брат! — злобно кричит в ответ Рарог. — И вообще—не родня! Ты—шелудивый пёс, а я... Я—Сокол!

— Эх куда тебя занесло!—скорбит Великий Страж. — А куда это меня, прощения просим, занесло? — Да чего ж ты на сторону Тёмных Сил перекинулся?

— Я?—вопит Сокол.—А ты ничего не попутал? Смотри: у меня—Знак Солнца!

И показывает брату своему повязку со свастикой на левом предплечье.

Горько стало Семарглу. Прикусил он нижнюю губу, прикрыл глаза, покачал головой удручённо. Потом молвил:

— Можно нарисовать солярный знак на заднице самого чёрта, но Солнце и после этого не престанет быть источником жизни, а чёрт—прихвостнем Тьмы Тьмущей.

Услышав такие речи, Рарог пришёл в бешенство: — Что, очень умный, да? А вот я тебе сейчас ума-то поубавлю!

И начался бой. Да такой жаркий, что снег на пять вёрст в округе потаял, будто и не зима вовсе.

Рарог золотым палашом машет, скачет, подпрыгивает, непотребными словами ругается, обидными обзывательствами обзывается, думает таким образом противника своего сломить, лишит моральных сил и мужества.

Семаргл твёрдо на земле стоит, Мать Сыра Земля ему сил прибавляет, храбрости придаёт. Но не хочет он брата ранить огненным мечом, не хочет ему увечь причинить.

А Рарог прыгает, скачет, сам себя заводит, зубы скалит, кричит-приговаривает:

— Скачу, скачу, головой верчу, на тебя рычу: р-р-р!

Страшно стало Семарглу: «А не сошёл ли с ума мой бедный братец?» И сам же себе отвечает: «Сошёл, однако. Ох, беда, беда...»

И говорит он Рарогу:

— Опомнись, братишка! Нельзя нам друг друга ненавидеть, друг против друга воевать. Если мы друг друга побьём—Тёмные Силы возрадуются, разгуляются, уничтожат Землю-Матушку!

— Я тебе не брат, не брат!—кричит Рарог.—Я—вольный Сокол, а ты—цепной Пёс! Запомни это, запомни и детям своим передай!

Пуще прежнего опечалился Великий Страж. От великой скорби опустилась его голова ниже плеч, слеза по щеке покатила.

Обрадовалась тень Кощеева. Завизжали, возликовали его верные прихвостни:

— Агу его, агу!

Но тут подлетел к Семарглу наш ворон, Карл Иванович, брызнул в лицо ему живой воды. Очнулся добрый молодец, встряхнулся, вздохнул полной грудью, потом выдохнул:

— Видят боги, не супротив тебя я иду, брат, но против того Беса, что в тебе застрял!

И опять ударились добры молодцы мечами. И продолжилась жестокая битва.

Скоро сказка сказывается, да нелегко победа даётся. Сражаются добры молодцы. Тень чёрная на горизонте всё обширнее, всё гуще. Прихлебатели Кощеевы всё громче визжат и плюются: шибко не хотят они, чтоб Луч Правды в руках у Семаргла оказался. Подзуживают Рарога:

— Бей, бей, не жалея! У тебя получится! Ты—лучший, ты воин Света, у тебя на рукаве—знак Солнца, свастика. Весь мир с тобой!

Совсем одурел Рарог от таких слов.

— Эй, ты, пёс паршивый,—кричит он брату своему.—Выродок, позор человечества! Ты, убогий, понятия не имеешь, что значит вольно летать по небу! А я вот сейчас поднимусь к вершине Мирowego Дуба, достану Янтарное яйцо, рубану по нему своим золотым палашом. И что ты мне сделаешь?

Он и вправду перекинулся в птицу и взмыл ввысь.

Тогда и Семаргл принял свой крылатый облик и устремился вдогонку.

Поднялся Крылатый Пёс выше Сокола. Раскинул свои огромные крылья так широко, что заслонил всё небесное пространство. Как ни метался, как ни пытался Рарог прорваться сквозь пламя, но не вышло у него ничего.

И стал Семаргл прижимать Чёрного Сокола к земле. Пока не рухнул тот камнем в прошлогоднюю траву.

Тут девчонки наши, Верунька, Любочка и Надушка, и повязали его пеньковыми верёвками.

На всякий случай. Дабы он ни нам, ни себе не навредил сгоряча.

Зло и нецензурно ругался сначала связанный пленник. Плевался, выл, скрежетал зубами и слал проклятия на наши головы. Это Бес, что в него вселился, никак не мог угомониться. Пришлось Софье Ивановне отшлёпать добра молодца по щекам, а потом прыснуть ему в лицо живой воды. Взвыл Карый Бес, заверещал. Наконец выскочил вон и кинулся бежать со скоростью звука, пока не исчез из виду. Только крикнул на прощанье:

— Ну погодите! Я вам это припомню!

— Запиши, чтоб не забыть,— посоветовала ему Софья Ивановна.— Бумажку дать, или у самого припасено на всякий случай?

Рарог сразу весь обмяк, носом захлюпал, глаза закрыл... да и уснул.

Но главная битва ещё не была окончена. Тень Кошца всё так же застыла горизонт. И уничтожить супостата мог только луч из того самого Третьего, Янтарного, яйца Курочки Рябы

А дальше было всё как в сказке. Сказку эту все с детства знают, так что не стану сильно повтяться.

Прежде всего нужно было опустить на землю Заповедный Сундук. Это мог сделать только Медведь. Но он спал в своей берлоге безмятежным сном.

И тут на помощь к нам пришёл сам Велес. Он вышел из-за ближайшего дерева. Седой старик с посохом. Поклонился нам приветливо, молвил: — Многая лет всем! Что, не можете разбудить Ведмедя?

— Не можем,— дружно вздохнули мы все.

— А дайте я попробую!

Он вошёл в берлогу. Оттуда послышалось уробное урчание. И через минуту на свет Божий выбрался огромный, как гора, зверь. Куда делся Велес—этого я, честно скажу, не понял. Может, он в Медведя вселился для пущей надёжности? Но это уже было не суть важно. Главное—проснулся-таки Хозяин.

Медведь подошёл к Дубу, осторожно потряхнул его. И упал на землю Сундук Серебряный. Крышка открылась. Выскочил из сундука Заяц. Рыжий, огромный, как антилопа. Морда ехидная. Развернулся, вдарил задними лапами Волка по морде и ускакал.

Волку бы его схватить сразу, а только зверь наш, гляжу, сам хуже зайца: дрожит, боится, что его Кошцеевы слуги кормить перестанут и намордник наденут.

Разгневался тут грозный Перун, шибанул с неба своей молнией, Волку аж весь хвост опалило. Почуял Серый, что жареным запахло. Кинулся ловить Косого. Поймал-таки.

Вопрошает его Великий Страж:

— Где утка?

А Заяц в ответ:

— Пёс её знает.

— Да не знаю я,— сердится Семаргл.— Знал бы—не спрашивал.

— Тогда в сундуке пошукай. Там вроде как двойное дно было.

Заглянули в сундук: а ведь точно, так и есть. Оторвали доски. Глядь—а там шкатулка из папьемаше в виде утки. Вся ярко размалёванная, красивая такая. Внутри яйцо.

Вынули, посмотрели: а яйцо-то фальшивое! Нет в нём Луча Правды.

— Видать, потому и утка!—догадался Семаргл.

И встал тут вопрос: а где же настоящее?

Хорошо, я в этих делах дока. Объяснил ситуацию:

— На дне оно. На морском, как и положено. В смысле—куда положили, там и лежит.

— И что теперь?

Это кто-то из наших девчонок спросил. А я ответил.

— Есть,—говорю,—у меня знакомый Водяной. Музыку любит—как мать родную! Он за песню душу отдаст, да ещё и приплатит. Вот я сейчас...

И стал я играть на гусях (они, волшебные, всегда при мне). Да так хорошо я заиграл, что и пяти минут не прошло—вынырнул из моря Водяной, говорит:

— Ох, потешил ты меня, пролил бальзам на больную душу. Теперь проси чего хошь.

Я и попросил.

— Добудь,—говорю,—мне со дна моря Янтарное яйцо Света.

— Эт можно,—закивал царь морской.— Чичас я мигом народ свой организую, они тебе в пять секунд всё отыщут.

И точно. Отыскали. Правда, пяти секунд им не хватило. Но, как бы там ни было, вскорости вынырнула из моря щука, а в зубах у неё... Правильно, то самое яйцо. Янтарное. В котором Луч Правды.

Тут уж Семаргл схватил яйцо, поднял его высоко над головой, крикнул богатырским покриком:

— Ну всё, силища поганая, пришёл тебе полный абзац!

Или что-то в этом роде. Дословно я не вспомню уже, прошу прощения. Не это важно. А важно то, что сверкнул нестерпимо яркий свет, закачалась тень Кошцеева, затрепыхалась, заохала да и растаяла в воздухе, будто её и не было.

А мелкие прихлебатели все тут же дружно завилы хвостами, заголосили:

— Простите нас, мы не виноваты, нас заставили. Обманули. Запугали. А так мы в глубине души хорошие и завсегда были на вашей стороне, только сказать стеснялись. И всё мечтали, и всё молились за победу вашу.

Вот так, ни больше ни меньше.

Плюнул в сердцах добрый молодец Семаргл, сказал им:

— Брысь с глаз моих! Видеть вас противно.

А сам пошёл к брату своему, Соколу.

Рарог между тем в себя стал приходить. Не быстро. Медленно. Ибо страшен яд Карого Змия. Но Софья Ивановна дала ему выпить живой воды, полегчало парню.

— Вы приглядите за братишкой! — попросил Огненный Пёс. — А мне пора. Нужно спешно разыскать те Кошечьи подарки, что успели просыпаться в наш мир: смертельные болезни, ненависть, ложь и злоба... Надо торопиться, пока это всё не проросло, не укоренилось. Ох, много же предстоит работы мне. И брату моему, Рарогу, как поправится.

Взмахнул крыльями и улетел.

Вот так закончилась Великая Битва.

А я, скромный Котик Баюн, всему этому был живым свидетелем, в чём готов поклясться, побойться и присягнуть на Алатырь-камне.

Глава 24

Наилась потеря

Но наша история на этом не закончилась.

Баба Яга сидела на чурочке, поджав ноги, уткнувшись лицом в ладони и повторяя, как молитву: «Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо...»

Время от времени она открывала глаза и глядела на медленно поднимающийся из тёплой земли росток.

И как-то незаметно для себя прикемарила. В этом нет ничего удивительно, если вспомнить все события этого дня. Словом, притомилась старушка.

Проснулась она от шума крыльев. Вернулся ворон, Карл Иванович. Каркнул вопросительно: — Как успехи?

— А? Что? — обалдела спросонок Ягвиги Космовна. — Какие успехи?

— Что у нас с яблочком, спрашиваю?

Баба Яга сразу всё вспомнила.

— Да вот...

В ярком свете луны зеленела яблонька. А на ней сияло и мерцало единственное яблоко.

Откуда-то взялся Кот Баюн с Серебряным Блюдечком.

— Ну что, испробуем технику? Давай сюда своё наливное-волшебное! Катись, катись, яблочко, да по серебряному блюдечку...

— Ловко у тебя получается.

— Не мешай.

Парнишка лет четырнадцати, в белой синтепоновой куртке, с большой деревянной лопатой в руках, сгребал снег посреди двора.

— Это ты снеговика сломал? Он тебе мешал, да?

— Больно надо... — устало огрызнулся мальчишка.

— Точно — не ты?

— Точно.

Ариэль внимательно взгляделся в лицо незнакомца, сказал удивлённо:

— Слышь, пацан, а где-то я тебя видел.

— Во сне, — опять не слишком дружелюбно отозвался юный труженик метлы и лопаты, не отвываясь от дела.

— А ведь точно, — наморщил лоб Ариэль. — Ты ещё потом в снеговика превратился...

Парень прервал работу, лицо его посветлело:

— Эх, классно мы в снежки играли, да?

— Так это был не сон? Или я чего-то не догоняю?

— Не парься, забудь, — отмахнулся мальчишка. — Лучше давай знакомиться. Меня, если что, Лёнкой зовут. А тебя?

— Ариэль. Можно Алька.

— Хочешь ко мне в гости? Я тут совсем рядом живу, вон в том подъезде. У дворника. Айда быстрей, пока его дома нет.

И они пошли.

— Прикольнo здесь у вас, — оглядев обстановку, одобрил Ариэль. — Надо же: ламповый телевизор, холодильник допотопный, диванчик со свалки. Я такое только в старом кино видел.

— А мне как-то по барабану весь этот интерьер, — отмахнулся Лёнька. — Главное — раскладушка есть, значит, есть куда уставший организм на ночь пристроить.

— Слушай, а дворник — он тебе кто?

— Никто. Просто старик.

— А чего ты тогда на него пашешь, снег гребёшь?

— Так велено было. С ним не поспоришь.

— С дворником? — презрительно хмыкнул Ариэль. — Ты послал бы его...

— При чём тут дворник? — Лёнька сделал серьёзное лицо. — Дворник — это так... мелкая сошка. А вот тот, кто над ним... В общем, его — не пошлешь.

— Я бы послал.

— Ага... — мальчик удручённо покачал головой. — Послал бы самого Кошечу Бессмертного? А сам не замучаешься потом обратную дорогу искать? — Кого-кого? — присвистнул Ариэль. — Ты что, травки обкурился? Или сказок обчитался?

Лёнька вдруг как-то весь ссутулился, сделался печальным.

— Хочешь знать правду?

— Ну.

— Я... Я тот самый снеговик, которого вы слепили...

— У тебя юмор, конечно... — не слишком уверенно хохотнул Ариэль.

— Ничего смешного, — Лёнька вздохнул тяжело и безнадежно. — Меня Кошечей оживил. Сначала велел написать письмо к Деду Морозу. А потом заставил работать на дворника.

— Ага,—развеселился Алька.—Оживил! Кощей! А я вот сейчас возьму и оживлю вон того кренделя.

— Нет!—завопил Лёнька.— Не делай этого. Дворник меня убьёт: он не велел мне к нему даже прикасаться.

— А ты и не прикасайся!

Продолжая смеяться, Ариэль подошёл к висящему на стене вверх ногами тряпичному деду-морозу, снял со стены, посадил на диван и взмахнул руками:

— Трахти-бедохти-чух!

И чуть не задохнулся от не понять откуда взявшегося дыма.

— Вижу!—радостно завопил Кот Баюн.— Нашёлся, нашёлся!

— Ну-ка дай я,—потеснила его от блюдечка Баба Яга.— Слава те Господи, нашлась потеря.

— Значит, так,—тоном, не терпящим возражений, заявил Кот.— Я туда, на разборки. А ты, Кузьмовна, собери тут всю свою честную компанию. Ну, Горыныча там, Кикимору... Лешего не забудь. И ждите. Вдруг ваша помощь потребуется? Понятно?

— Понятно,—немного обиженно отозвалась Яг-вига Космовна.

Ей тоже хотелось на разборки. Любопытно же, где старый х... хрыч всё это время ошивался. Однако спорить не стала.

Кот тут же исчез.

А Баба Яга, бурча что-то в адрес обнаглевших хвостатых четвероногих, раскрыла клетку с почтовыми голубями, достала оттуда три штуки, объяснила каждому его конкретную задачу и выпустила за дверь.

Дым рассеялся. И они увидели сидящего на диване в полуобморочной позе бледного, еле живого старика в костюме Деда Мороза.

Рядом с ним вдруг откуда-то возник огромный взъерошенный котяра.

— Эй, дедусь,—сказал Кот озабоченно.— Чего это с тобой?

— Худо мне,—простонал старик.— Ой худо. Помираю, однако...

— Я те помру!—возмутился Кот Баюн.— Ты нам вообще-то живой нужен. На фига ты нам мёртвый? А ну, молодёжь, мухой слетали за снегом! Будем дедушку реанимировать.

Несколько пригоршней снега возымели своё действие. Старика явно полегчало. Лицо из бледно-зелёного стало розовым, нос покраснел, губы зашевелились более уверенно:

— Нельзя тут долго находиться. Того и жди—Кощей нагрянет. Или прислужник его, дворник Петрович.

— Ладно,—сказал Кот.— Держитесь все за мой хвост, я нас сейчас отсюда телепортирую. Да посох, дедуна, посох не забудь: без него куда?

— Э,—опечалился Дед Мороз.— Посох мой больше никакой музыки не играет. Его Кощей в руках держал. Испорченная вещь. Порочная. Её в печку надо. Сжечь.

— Это плохо,—опечалился Кот Баюн, задумчиво почесал левой задней ногой за ухом.— Это сильно осложняет задачу. Да, но не делает её невыполнимой. Так что—вперёд, православная рать!

Змея Горыныча голубь дома не застал, потому как дракон отправился на помощь Огненному Псу.

«А что?—подумал девятиглавый.— Почему бы нет? Гуртом, как говорится, и батьку сподручнее бить. А тут столько работы—мама не горюй: пока всю заразу, что Карачун принёс, вытравишь, пока тотальную дезинфекцию проведёшь... Да с любой стороны посмотри: чем я не подмога? Тоже крылатый. И дыма, если надо, могу напустить, и огнём плюнуть. А ещё я вон какой головастый, что тоже немаловажно, если подумать...»

И улетел.

А голубь постучал в окно Змей-Горынычева замка, подождал-подождал да и подался восвояси ни с чем.

Возвращается, видит: Баба Яга с Кикиморой на скорую руку кутью готовят.

Леший в дорогу собирается, портянки у печки сушит.

Кот Баюн бабкиного кота Василия учит искры пускать. Вполне может ведь пригодиться в жизни: мастерство, как известно, лишним не бывает.

Дед Мороз на тахте полулежит, стонет. Худо ему.

А пацаны, Лёнька и Алькой, изучают обстановку: рассматривают картинки на стенах, статуэтки на комодке. В сундук тихонько, пока старуха не видит, заглянули.

— Ух ты! Сапоги-скороходы?

— Похоже на то. А это? Неужто скатерть-самобранка?

— Но я тогда не понял, к чему весь кипез с кутьёй. На фига самим возиться, когда можно скатёрку озадачить?

— Глупые вы ещё,—простонал Дед Мороз.— Для этого дела годится только ручная работа.

В горницу заглянула Баба Яга:

— Та-ак, а чего это вы тут в моих вещах копаетесь? Кто разрешил?

Мальчишки захлопнули крышку, отскочили от сундука.

— Мы случайно...

— Больше не будем...

— Тут судьба мира решается, а вы под ногами путаетесь. Смотрите у меня!

И пальцем погрозила для пущей убедительности.

— Идите сюда, отроки,—позвал Дед Мороз.— Не мельтешите там, вправду ведь мешаете. Лучше

посидите возле меня, а то мне тоскливо. Нemo-жется мне.

Отроки смиренно подошли, уселись по обе стороны от больного.

— Лёнъ,—робко спросил старик,—ты ведь то письмо под диктовку Кощея писал? Да?

— Да.

— А... в самом деле... ты согласился бы ко мне переехать жить?

— Я бы согласился... Только что толку? Я ж весной растаю.

— Не растаешь. Я договорюсь с кем надо. Знакомства-то у меня—о-го-го! Уважат, поди, старика. Мы с тобой в деревню бы поехали, там у меня домик. Садик, огородик, ручей за оградой... И школа есть. Далековато, правда, в соседнем селе. А? Как? Ты не против, чтоб в деревню?

— Деревня—это класс!—сказал Лёнъка.—Я об этом всю жизнь мечтал. А тебе точно разрешат меня при себе оставить?

— Сказал же—договорюсь.

— Дедусь, а я так и не понял: как ты в тряпичного-то превратился?

— Я и сам толком не понял, если честно. Получил я твоё письмо, где ты жалуешься на свою жизнь сиротскую. Просишь, чтоб я тебя к себе взял. А я ведь и сам из сирот. Меня старый Дед Мороз вот так же приютил в своё время.

— Дела,—искренне, в голос, удивились мальчишки.

— Ага. Так вот. Получил я твоё, Лёнъка, письмо с обратным адресом. И поспешил на помощь. Думал, до Нового года времени ещё достаточно, успею, управлюсь. Прибываю я по адресу-то. А там меня вместо тебя встречает какой-то мерзкий тип. Я подумал, что это и есть твой дальний родственник, который тебя всячески тиранит и не знает, как от тебя избавиться. Ну, в письме ж так было написано. Спрашиваю: где мальчик? А он мне: с пацанами в снежки заигрался. Сейчас-де придёт. Подожди, мол. И чаю предложил, чтоб не скучно сидеть. Выпил я того чаю. И как в темноту провалился. А когда очнулся, вижу: висю вверх ногами на стене, а сам я—кукла, ватой набитая. Что дальше было—вы и сами знаете.

— Знаем,—вздыхнул Лёнъка.

— Который час?—крикнула из кухни Баба Яга.

— Четверть десятого.

— Ну, у нас, кажись, всё готово. Должны успеть, если Леший по дороге не заснёт. Ау, рота, подъём!

— Да не сплю я...

— Ой,—спохватился Ариэль.—Меня ж дома потеряли. Сейчас у них паника начнётся: ах-ах, куда ребёнок пропал, ах-ах, не случилось ли чего...

— Так и быть,—лениво зевнул Кот Баюн.—От-транспортирую я тебя к родным пенатам. Дом—это святое.

Глава 25

Посох

Итак, старый жезл Деда Мороза, после того как он побывал в руках у Кощея-Карачуна, для добрых дел уже не годился. Более того—он мог таить в себе большую беду. Потому Баба Яга велела Лешему порубить негодную деревяшку и сжечь в печи, а золу собрать в жестяную баночку, завязать в тряпицу, отнести в жертву рубежному богу Чуру-Щуру и попросить у него новый посох. Для того и кутья вари-лась: угостить Хранителя Равновесия, задобрить, так сказать. А то неловко просто так, с пустыми руками, челом бить, просить о столь важном деле.

Идти вызвался Леший. Ну да, ему сподручнее всего шлындать по лесу в ночное время. Накрутил Дядь-Лёшка на ноги просохшие портянки, валенки натянул, взял шубу с вешалки, шапку-ушанку. Оделся. Шею шарфом (Баба Яга подарила, чтоб не замёрз) укутал. Дорога—неблизкая, на дворе—не лето.

А чтоб пешком не тащиться (ноги-то всяко-разно не молодые уже, а время—поджимает!), свистнул он громким посвистом, позвал Волка.

Хищник явился в ту же секунду. Красивый та-кой зверюга. Огромный, как медведь, шерсть сере-бром отликает. Взобрался Леший к нему на спину.

И поскакали. Впереди ворон Карл Иванович летит, дорогу показывает.

Долга ли, коротка ли была дорога, а только добрались они до большой заснеженной поляны, освещённой луной. Видят—на поляне какие-то люди в жутких масках да в ужасных нелепых нарядах толпятся, хороводы танцуют.

А снег между тем лежит нетронутый, сверкает в лунном свете. Будто только упал. Ни единого следа на нём не отпечаталось.

— Это,—говорит ворон,—духи предков весе-лятся. Сегодня у них тоже праздник. Нам необ-ходимо среди этого столпотворения отыскать самого багюшку Чура. Да вон он, однако. На нём самая страшная маска и самая несуразная одежда. А ростом он чуть не до вершины сосны.

— Отец родной!—кричит Леший.—Снизойди, отвлекись от веселия, сделай милость. А мы тебе и угощения припасли. Экологически чистый про-дукт. Рис с изюмом, как ты любишь.

— Кто вы такие?—спрашивает Чур-Щур.

А голос у него грозный и сердитый. Будто снеж-ная лавина в горах.

— Беда у нас,—опять кричит Леший.—Посох Деда Мороза запоганен. К нему Кощей прикасался, так уж получилось, ага. Мы его, посох этот, в печке сожгли, а золу тебе принесли. Вот она, в узелочке. Прими, не побрезгуй. Покорно простим выдать нам другой скипетр. Иначе пропадём ведь мы все.—А зачем этому поганцу Кощею посох понадобил-ся?—спросил Чур уже совершенно нормальным

голосом, уменьшился в размерах и сбросил с себя карнавальное одеяние.

Смотрит Леший: стоит перед ним благообразного вида старик, седой, бородатый, глаза строгие, но не злые. И даже улыбка на губах появилась. Леший развёл руками:

— Видать, захотелось поразвлечься, поцарствовать в Явном Мире. Я так думаю. А какое ещё может быть объяснение такому ферту, какой он тут выкинул?

И рассказал Леший старику всё, что сам знал. — Дела, — недовольно покачал головой Чур. — Значит, Чернобог решил нарушить Великое Равновесие? Ну, ему это просто так с рук не сойдёт. Ой, не сойдёт!

И заходил взад-вперёд нервно, под нос себе чего-то бормоча.

— Батюшка Чур, — не выдержал, взмолился Леший. — Время ж идёт. У нас его и так с комариный писк осталось. Того и гляди Куранты вдарят. Не тяни уже кота за это самое... за хобот.

— Ах да, — вспомнил Хранитель Равновесия. — Ну, давай сюда свою золу.

Леший протянул узелок. Старче развязал его, вынул банку-жестянку, высыпал золу на снег, швырнул туда же пригоршню лунного света, хлопнул в ладоши. И тут же в руке у него возник сверкающий посох с серебряной лунницей на вершине, с четырьмя хрустальными колокольчиками и звездой в центре.

— Держи. И удачи тебе. Удачи вам всем!

— Вот спасибо так спасибо! — возликовал Леший. — Ну, я поехал? Прощевай, что ли, благодетель!

— Доброй дороги.

— Ах ты ж, язви его! — спохватился Дядь-Лёшка. — А кутью-то, кутью! Чуть не забыл. На-ка, прими! Не зря ж Баба Яга с Кикиморой трудились в поте лица у печки.

Чур заулыбался:

— Благодарствуйте. Это мы с удовольствием. Сейчас духов обрадую. Они это дело шибко любят!

Леший тоже расплылся в улыбке:

— Ага... Пусть... порадуются...

Вкарабкался на Волка и пропал из виду.

Когда Дядь-Лёшка вернулся в Избушку, до полуночи оставалось минут сорок.

— Ну где тебя леший носит?! — накинулась на него Баба Яга.

— Кто носит?

— Ай, да не важно. Ты на часы смотрел?

— Откуда они у меня?

— Тьфу ты. Всё у тебя не слава Богу. Давай сюда посох. Эй, символ Нового года, вставай, Родина в опасности! Снегурка, буди деда.

— Да не сплю я, — заоправдывался Дед Мороз. — Я так... от слабости глаза прикрыл. А ты, внученька, откуда взялась?

— Не спит он, — сердито фыркнула старуха. — Девка битый час возле него круги нарезает, а он только сейчас заметил. Подымайся давай. Посох в зубы — и вперёд!

Дед Мороз с трудом оторвался от дивана, покачиваясь, сделал два шага вперёд, протянул руку за посохом и... упал.

— Ты чего это? — удивилась Баба Яга. — Пьяный, что ли? Когда ж ты успел?

— Мочи нету, — жалобно простонал старик. — До сих пор весь как ватный. Видать, высосал из меня проклятый Кощей всю силушку. Конец это мой. Простите, что не оправдал...

— Да погоди ты со своим концом, — отмахнулась старуха. — Софью Ивановну попросим, она со своими дочками тебя мигом исцелит. Проблема в другом: сейчас-то что делать? На ёлку кто вместо тебя пойдёт? Вася Пупкин? Дети, между прочим, заждались. — Ох, тошнѣхонько мне, — запричитала Кикимора. — Где ж мы теперь другого Деда Мороза возьмём? — Я знаю где, — уверенно сказал Кот Баюн.

Глава 26

Новый Дед Мороз

Вот интересно, что это было? Сон? Щенок этот, бедолага. А потом вдруг сам Семаргл, Огненный Крылатый Пёс...

Да, конечно, приснилось. И гадать нечего. Поблазнилось.

Стук в дверь. Кто там? Это патронажная сестра пришла. Девчушка. Совсем молоденькая. Ей лет двадцать, не больше. В руках — огромные, битком набитые пакеты.

— Здравствуйте, дедушка. Как самочувствие? Как спалось?

— Всё хорошо, внученька, всё хорошо. Спасибо за заботу.

— Сразу докладываю: цветочки на могилку Марьи Дмитриевне — отнесла, снег в оградке — почистила, оградку — поправила.

— Спасибо, родная, дай Бог тебе здоровья!

Девушка несёт свои тяжеленные пакеты на кухню.

— Будем чай пить. С тортиком.

— По какому такому радостному случаю у нас деликатес?

— Так Новый год же!

— Ах ты ж, я и забыл!

Чайник, сварливо чего-то бормоча себе под нос, закипает.

— Я вам новой заварочки принесла. Говорят — вкусная. Тонизирующая. Сейчас мы её испробуем!

— Новый год, значит? Вот я старый пенё! А ведь точно, мне ж мой Санька с утра пораньше называл, поздравлял. Я и забыл, надо же...

(Нет никакого сына Саньки. Погиб в Афгане. Даже внуков не оставил. Но об этом лучше не

думать. Во всяком случае—не сейчас... не сейчас...)

— Приехать не обещал?

— Он бы рад. А только служба больно важная, ответственная. Да. Отпуска никак не дают, хоть ты тресни!

Ну всё, можно садиться за стол. Тортик—красивый. Весь будто в белом пушистом снегу. А по снегу зайчики прыгают, волки бегут, лисицы. И медведь, конечно. А в самой середине—большая, зелёная, нарядная ёлка.

Чай действительно необычайно вкусный. И такое от него тепло по всему телу. Мягкое, радостное. И необыкновенная лёгкость вдруг откуда-то взялась. Даже летать захотелось. Или сплясать «камаринского» с присядкой и присвистыванием! Будто сто лет с плеч долой!

И глухота будто отступила. Какие-то далёкие-далёкие голоса стали слышаться.

Ах да, детские голоса. Кричат:

— Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!

Ёлочной хвоей почему-то вдруг запахло. И апельсинами.

Девчушка эта, которая из поликлиники, ласково смотрит на старика:

— Деда, пора. Дети заждались. Одевайся, и идём!

Она достаёт из большущего пакета красную шубу, шапку с белой пушистой оторочкой.

— Поторопливаться надо, дедунь. Время поджимает. посох не забудь.

Почему-то даже вопроса не возникло: куда, зачем? Будто так и надо.

— Да, да... Я сейчас... Я быстренько...

И вот он уже в полном облачении—высокий, статный. От былой старческой сутулости—ни следа. В теле столько сил, что тяжёлый мешок за плечами почти не ощущается. Будто и нет его.

А вот и двери. Огромные, двустворчатые, с позолотой. Даже оторопь берёт от такой красоты. — Снегурочка, внучка, ты где?

— Здесь я, дедушка. Шагай вперёд и ничего не бойся!

— А чего мне бояться-то?—смущённо бормочет старик.— Чай, не побьют!

А голоса за дверью всё громче и настойчивей: — Дедушка Мороз, иди к нам!

— Ну, с Богом, как говорится...

Дверь открывается.

Навстречу—радостные крики, праздничный блеск...

— Здравствуйте, дети! С Новым годом!

Глава 27

Ёлка

Они вошли в огромный зал, такой большой и высокий, что потолок казался звёздным небом.

В самом центре возвышалась огромная, празднично украшенная, живая, растущая прямо из земли ёлка. Шуршала мишура, позвякивали стеклянные игрушки на ветках. У подножия дерева, на белом ватном снегу, подложив ладошки под правую щёчку, спал младенец.

А вокруг резвились дети постарше. Все они были в масках и карнавальных костюмах.

— Дедушка Мороз!—радостно зашумели они.

— Какие славные ребята!—вполголоса, обращаясь к Снегурочке, сказал Николай Иванович.

Она ответила так же тихо:

— Это помолдевшие боги. Ровно двенадцать дней в году, от Зимнего Солнцеворота (дня рождения Нового Солнца) до Велесова Водокреса, они позволяют себе быть детьми.

— Надо же,—порадовался старик.—Как славно!

— Да,—согласилась Снегурочка.—А теперь, дедушка, пора тебе ударить оземь своим волшебным посохом.

— Хорошо, внученька, ударяю!

И тут же ёлка вспыхнула разноцветными огнями. Замелькали в воздухе змейки серпантина. Посыпались кружочки конфетти. Дети-боги запрыгали, заверещали от восторга.

Подбежала шустрая девчушка в смешной старушечьей маске:

— Дедушка, дедушка, а я умею фокусы показывать. Гляди!

Она поводила руками, делая вид, будто ткёт. И в воздухе повисло небольшое плотное полотно серого цвета.

— А я ещё не так умею,—запрыгал на одной ножке мальчик в костюме медведя.— Вот посмотрите!

Он нарисовал вокруг полотна ровный прямоугольник, и возникла резная, очень красивая рамка. Холст тут же врос в неё, на миг засветился, мигнул тихим матовым светом и опять погас.

— Ну вот,—удовлетворённо констатировала Снегурочка.— Теперь Солнцу будет на чём писать свои картины.

— Как это?—живо заинтересовался старик.

— Сначала мальчик Коляда будет рисовать зиму: сугробы, белые метели, ледяные узоры на окнах. После Весеннего Равноденствия кисть в руки возьмёт пылкий юноша Ярило. На холсте возникнут звонкие капли, первые проталины, первая трава, цветы, распускающиеся деревья... Ну и так далее. А начиная от дня Летнего Солнцеворота могучий и щедрый Дажьбог будет рисовать жаркое Лето во всей его красоте и прелести: и тёплые водоёмы для купания, и вылетающих из гнёзд птиц, и созревающие плоды... Наконец, в сентябре, после Осеннего Равноденствия, Солнце превратится в серебряного старца Хорса. И таким оно будет уже до нового дня рождения младенца Коляды.

Николай Иванович слушал и только головой качал:

— Ну и ну!

Потом улучил момент, спросил:

— А кто эти славные фокусники-детишки, сотворившие Холст?

— Девочка— сама Матушка Макошь. Мальчик— Великий Велес. Но нам нужно ещё добыть краски. И то, чем эти краски можно будет разводить.

Тем временем в зале происходило вот что. Откуда-то налетели крылатые прозрачные человечки, числом шесть. Они принялись ловить цветные огоньки на ёлке и кидать их друг в друга, как дети кидаются снежками. От этого сначала возникла радуга, а потом дуга сомкнулась и превратилась в идеально ровный шестцветный круг.

Круг начал медленно опускаться вниз. И чем ниже он опускался, тем явственнее уменьшался в размерах. Пока не стал размером с чайное блюдце. Краски радужного круга сияли так ярко, что хотелось прищуриться.

Из-под ёлки выползла огромная чёрная змея. Она поднялась на хвосте, покачалась, вдруг нырнула в середину круга и превратилась в круглое пятно цвета сажи. И тут же, на глазах, чёрная масса разделилась на шесть цветов, образовав внутри первой радуги— вторую, более тёмную, не светящуюся. — Что за чудо?— ахнул старик.

— Обыкновенная вещь,— охотно пояснила Снегурочка.— Две палитры: световая и отражающе-поглощающая. Без этого солнечным божествам невозможно нарисовать ни одной картины.

Подбежал ещё один мальчик, в костюме большой хищной птицы. В руках он держал прозрачный шарик с ёлки.

— Вот!— сказал он сурово и кратко.

— Это Перун,— шепнула Снегурочка.— Он принёс воду для разведения красок.

Шарик, хоть и выглядел невесомым, в действительности оказался весьма тяжёлым. В нём что-то не то булькало, не то рокотало.

Сверкнула молния. Шарик вырвался, закружился быстро-быстро. И стал вдруг прозрачным хрустальным стаканчиком, наполовину заполненным чистой водой. Радужное колесо превратилось в круглую коробку с акварельными красками. А вместо волшебного холста в резной рамке на бог весть откуда взявшуюся тумбочку опустился детский альбом для рисования.

— Сейчас я всё это красиво упакую и завяжу капроновой ленточкой,— пообещала Снегурочка.

И только она закончила расправлять пышный полупрозрачный бантик небесно-голубого цвета, как спящий под ёлкой карапуз проснулся и заплакал.

— Кто обидел наше маленькое солнышко?— сладко запела Снегурочка.— Кто обидел такого славного малыша? Сейчас Дедушка Мороз подарит Колядушке замечательную игрушечку. Дедушка Мороз, ты где?

Старик подошёл, присел на корточки, погладил юного солнечного бога по золотистой головке. Засюсюкал:

— Ой, а что у меня есть... Ну-ка погляди сюда!

И протянул малышу Снегурочкой упакованный подарок.

Младенчик перестал плакать, развернул упаковку и засмеялся. Будто бубенчики зазвенели.

— А теперь, дети, встаньте в круг,— велела Снегурочка.— Мы будем водить хоровод вокруг ёлки и петь праздничные песни.

Детишки весело и послушно взялись за руки, запели:

Гори, гори ясно,

Чтобы не погасло.

Поднимайся до Небес,

Озаряй ты всё окрест.

— Ну всё, Дедушка Мороз, нам пора,— сказала Снегурочка.— Сейчас сюда прилетит Оксиген— наш Главный Дракон о двенадцати головах. Мы сядем на него верхом, и он отнесёт нас домой. Пора бы уж и отдохнуть...

И действительно, раздался свист крыльев. И прямо с неба спустилась огромная сияющая золотисто-голубая летающая рептилия. Откашлялась, прочищая свои многочисленные горла. Потом всеми двенадцатью головами почти в унисон прохрипела: — Прошу занимать места согласно купленным билетам.

Дети дружно запрыгали, замахали руками: — До свиданья, Дедушка Мороз! До свидания, Снегурочка! Приходите к нам ещё!

— Непременно!— со слезами на глазах кричал им в ответ Николай Иванович.— Непременно!

Оксиген взмахнул крыльями и, несмотря на кажущуюся тяжеловесность, взлетел легко, как бумажный змей, подхваченный ветром.

Глава 28

Заключительный аккорд

Ровно за три минуты до того, как кукушке в часах полагалось высунуться и громко объявить о начале Нового года, в дверь постучали.

— Ну кто там ещё?— недовольно поинтересовалась Баба Яга.— Ладно уж, заходите.

Ввалился запыхавшийся Серпансион Эверестович, весь распалённый, пышущий жаром:

— С наступающим, что ли!

— Горыныч, друг!— обрадовался Дядь-Лёшка.

— Вот тебя нам как раз и не хватало,— сердито буркнула Баба Яга, однако губы её невольно расплылись в улыбке: она была рада, что вся их боевая компания таки собралась.— Леший, плесни там и ему уже. Вон кружка стоит. Ты пацану-то не забыл капнуть на донышко лимонаду? А то он сидит как неродной.

— Не забыл. Чего мне забывать? Склерозу вроде нет пока...

— Да побыстрей шевелись, а то щас полночь вдарит.

— Шевелюсь я...

— Серпантинчик, как же я счастлива тебя видеть, — радостно подскочила Кикимора. — Проходи, не стесняйся. Как успехи на поле боя?

— Нормально. Подробности потом, — пообещал Змей Горыныч. — Мне, считай, на сутки отпуск дали. — Ну что, за Новый год? — торжественно спросил Дед Мороз, поднимая бокал.

— Так точно, — по-военному откликнулся боевой дракон. — И за Победу!

В ответ ему рванулось радостное троекратное: — Ура! Ура! Ура!

Перепутанная кукушка высунулась из ходиков на две секунды раньше:

— Типа ку-ку...

Почти тут же из большого доисторического приёмника, стоящего на комод, ударили Куранты: «Бом! Бом! Бом!»

Новый год наступил.

Дед Мороз приободрился уже. А после выпитого бокала шампанского раскраснелся, повеселел окончательно:

— Мне бы повидать того... Ну, кто меня выручил. Очень хочется сказать спасибо человеку за то, что взвалил мою нелёгкую ношу на свои плечи, когда я занемог. И ещё... Есть у меня тайная мысль. Мечта, можно сказать: а не захочет ли он поселиться вместе с нами, в смысле — со мной и Лёнкой, в моей хибарке? Вот бы славно было. В компании — оно же веселей. И опять же, если что (не дай Бог, конечно!) — есть кому меня подменить. А? Лён, ты как на это смотришь?

— Я только «за!» — солидно кашлянул в кулак бывший снеговик. — Прикиньте, какой я богатый буду: сразу два деда! Рокфеллер отдыхает.

— Кузьмовна, а ты как думаешь? Согласится тот старичок... Николай Иванович... ко мне переселиться?

— Я бы на его месте согласилась, — сказала Баба Яга. — Он ведь один-единёшенек в мире. Ни друзей, ни родственников. Сын в Афганистане погиб. Жена умерла, уже лет пять тому... Даже пёс его любимый, Шарик, и тот... В общем, в том мире его ничто не держит.

— Это хорошо, — обрадовался Дед Мороз. — То есть грустно, конечно. Очень грустно. А хорошо в том смысле, что... Ну, вы меня поняли.

— Да поняли мы, поняли. Ладно, сейчас, типа, эсэмэску Снегурочке пошлю. Чтоб после бала — сразу ко мне.

Баба Яга вынула из висящей у окна клетки голубя, пошептала ему что-то на ухо, на всякий случай погрозила пальцем:

— Смотри у меня, не задерживайся нигде. Как молния чтоб!

И выпустила птичку за дверь.

— Ну всё. Ждём-с.

В Леянном дворце их встретила бабуля Зима, обрадовалась, усадила за стол, накормила, напоила.

— Пора мне, однако, — грустно вздохнул отдохнувший и насытившийся Николай Иванович. — До дому. Спасибо за праздник. Теперь я умру счастливым, будет что вспомнить в последний час.

— Дедуль, ты помирать-то повремени, — рассмеялась Снегурочка. Хорошо так рассмеялась, по-доброму. — Тебя вообще-то кое-кто в гости зовёт. А про дом свой ты забудь, сгорел он. Дотла. Там вроде как проводка замкнула.

— Ах ты... — опечалился старик. — И тортик сгорел? Я же его даже не попробовал впопыхах.

— Будет тебе тортик, — пообещала девушка. — Лучше прежнего.

— Это хорошо, — Николай Иванович опять вздохнул тяжко. — А жить-то мне, стало быть, больше негде... Вот тортика ещё поем — и сразу на кладбище!

— Дедуль, ты достал: кладбище, помирать! У тебя, считай, новая жизнь начинается. Говорю же — ждуть тебя. С нетерпением.

Они уселись в сани, помахали всем рукой. Два деда и один мальчик. Олени рванулись с места в галоп и вскоре пропали из виду.

Баба Яга, расчувствовавшись, смахнула с левого глаза слезинку:

— Пусть у них всё будет хорошо!

— Дай-то Бог! — счастливо улыбнулась Кикимора. И тут же спохватилась: — Пора и мне до дому. Мама с детисками, конечно, спят давно, ёлку-то мы ещё днём отпраздновали. А благоверный мой... Да тоже, поди, дрыхнет. Он с самого утра на рогах, так что, может, уже и уконтрапунил... Ну, пошла я, что ли...

— Иди уже.

— И мне пора, — зевнул Горыныч. — Спать хо-о-оца... А с утра меня опять труба позовёт. На подвиги. Так что общий привет!

Леший сказал:

— Я щас дровишек подброшу да тоже подамся. Отдыхай уже, Кузьмовна. Умаялась, поди?

— Что есть, то есть, — согласилась Ягвиг Космовна. — День выдался... сказать «трудный» — всё равно что ничего не сказать.

Эпилог

Змей-Горыныч честно и доблестно сражался на стороне Добра, помогая Огненному Псу и Соколу находить и обезвреживать так называемые «подарки», которые проклятый Кощей успел-таки забросить на Землю. Когда практически все

последствия нашествия злых сил были устранены, Семаргл торжественно поблагодарил Серпантиона Эверестовича и отпустил домой. Ох и соскучился же девятиглавый по своему замку!

А уж как обрадовались его возвращению друзья—Леший, Баба Яга и Кикимора! И закатили они пир. Всё как положено—с песнями, с плясками...

Кикимора, Цецилия наша Орхидея, по такому случаю собственноручно создала, как всегда, гениальный стих, а затем сама же прочла громко, с выражением:

Желаю здравствовать тебе
В любви, и в жизни, и в вине...
(Ой, простите, я хотела сказать—в борьбе!)
Пусть чарка пенится твоя—
Поёшь ты лучше соловья!

Серпантион Эверестович поплодировал, поблагодарил сердечно. А сам про себя подумал: «Ох,

не стать бы мне отпетым алкоголиком с такими поздравлениями...»

Ленька и Ариэль, несмотря на разделившее их расстояние, остались друзьями. Письма друг другу пишут. Причём не эсэмэски какие-нибудь (туда, где Ленька с дедом Сашей и дедом Колей обитают, Интернет ещё не дотянулся), а настоящие, бумажные.

«Лёнь, привет! У нас всё хорошо. А у вас? Приезжай в гости. Мама разрешила, чтобы ты у нас пожил все каникулы. До свидания. Твой друг Ариэль».

«Привет, Алька! У нас тоже всё хорошо. А на лето ты лучше сам приезжай к нам. Знаешь, как тут клёво! Засим пока. Лёнька, твой друг».

Кто-то к кому-то непременно приедет. И не важно—кто к кому. Главное, друг, с которым ты оказался вдруг в одной сказке,—он ведь всегда рядом с тобой. А иначе жизнь просто не имеет смысла...

Конец второй сказки

ДиН симметрия

Владислав Ходасевич

Улика



Играю в карты, пью вино,
С людьми живу—и лба не хмурю.
Ведь знаю: сердце всё равно
Летит в излюбленную бурю.

Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье.

Уж не вернуться нам назад,
Хотя в ненастье нашей ночи,
Быть может, с берега глядят
Одни нам ведомые очи.

А нет—беды не много в том!
Забуты мы—и то не плохо.
Ведь мы и гибнем, и поём
Не для девического вздоха.

Февраль, 1922 г.



Была туманной и безвестной,
Мерцала в лунной вышине,
Но воплощённой и телесной
Теперь являться стала мне.

И вот—среди беседы чинной
Я вдруг с растерянным лицом
Снимаю волос, тонкий, длинный,
Забутый на плече моём.

Тут гость из-за стакана чаю
Хитро косится на меня.
А я смотрю и понимаю,
Тихонько ложечкой звеня:

Блажен, кто завлечён мечтою
В безвыходный, дремучий сон
И там внезапно сам собою
В нездешнем счастье уличён.

Март, 1922 г.

Александр Евсюков

Неудобный герой

Главы из будущей книги

В ноябре 2021 года в Луганске от болезни сердца скончался Юрий Ковальчук. Журналист, публицист, прозаик, воин ополчения Донбасса. Ему было всего тридцать восемь лет. Спустя пять месяцев статьям Юрия посмертно была присуждена международная литературная премия «В поисках правды и справедливости», первое место в номинации «Молодая публицистика России». При этом во время голосования членам жюри о его смерти ещё не было известно, и за него голосовали как за живого.

Я тоже был там, на официальной церемонии в историческом особняке Дома Пашкова в самом центре Москвы, — получал лауреатский диплом за свою книгу, пожимал руки, слушал речи, хлопал выступающим. Но именно эта история моего сверстника, не дожившего нескольких месяцев не только до своей первой литературной премии, но и до освобождения родного Херсона, оказалась самой важной. Она не могла не уколоть в сердце. В тот же день я стал узнавать о нём, гуглить ссылки и находить его знакомых в соцсетях.

Юрий родился в Новой Каховке Херсонской области Украинской ССР. Совсем скоро в огромной стране началась перестройка, и вот уже ученик начальной школы Юра, как и десятки миллионов бывших советских граждан, вдруг очутился в «самостійной, вільной і незалежній» Украине. Молодой человек старался принять и посылно улучшить жизнь в молодом государстве, но по-настоящему ужиться с ним так и не получилось. Тем не менее в родном городе Юрий жил и работал вплоть до весны 2014-го, всем известной как «Русская весна». Об этом периоде он обычно рассказывал коротко: «Мне тридцать четыре года¹, до две тысячи четырнадцатого года жил в Новой Каховке Херсонской области. Окончил Херсонский государственный университет по специальности „Английская филология“. С две тысячи третьего года начал работать в журналистике в местных печатных изданиях, писал рассказы в журналы, в основном на социально-политическую и экономическую тематику. С две тысячи одиннадцатого начал работать на всеукраинском уровне, ушёл в Интернет, писал для издания „2000“ и интернет-изданий „Набат“, „GolosUA“ и „Альтернатива“. С марта две

тысячи четырнадцатого года и по сей день пишу для интернет-издания „ПолитНавигатор“. Эти все ресурсы были антинационалистическими».

А вот что добавил его бывший коллега Александр Гунько, оставшийся в Херсоне по другую сторону информационного фронта:

«Более всего Юрий прославился работой в газете „Новокаховская правда“. Писал хлёстко, в основном статьи против местной власти, проводил журналистские расследования, выявлял серьёзные нарушения в работе чиновников. Для поиска компромата в виде какого-то документа мог запросто поехать в Киев и даже в Москву. Ему принадлежит выражение: „Кто-то что-то построит, а мэр подкрадётся и перережет ленточку“.

Вскоре газета таки „достала“ власть предрержащих. Её учредителю и издателю, предпринимателю Василию Подрезу, стали угрожать. Затем подожгли автомобиль и разрушили магазин. <...> Подрез вынужден был свернуть свой бизнес и уехать за границу. <...>

„Я устал быть цепным псом, — сознавался тогда Ковальчук своему коллеге. — Мы всё лаем и лаем на эту власть, а толку?“»

Первые недели победившего Майдана Ковальчук «пропустил» по очень уважительной причине — лежал в больнице, а затем передвигался только на костылях. Однако и в таком состоянии он старался принять участие в местном антимайдане, хотя и вынужден был откровенно признать, что «все мероприятия в Херсоне и в Новой Каховке носили смехотворный характер».

«Меня тогда не трогали, я как раз попал в ДТП и сломал большую берцовую кость, — рассказывал Юрий, — лежал в больнице, делали операцию. Когда я выписался, то ужаснулся, насколько всё переменялось буквально за месяц. Совершенно другой мир, другие люди. Я пришёл на заседание местного исполкома и увидел, как мэру города какие-то бесноватые молодчики-националисты просто затыкают рот. Я не выдержал и громко спросил: „Владимир Иванович, а с каких это пор

1. Из интервью portalу «Луганский Информационный Центр» от апреля 2018 года.

„майдауны“ у нас повестку дня диктуют?“ Все ахнули, там такой крик потом стоял. И я понял, что если останусь, то долго на свободе мне не пробыть, да и работать я тут не смогу. В итоге принял решение поехать в Крым».

В Херсоне и Николаеве уже начались репрессии против несогласных. Но «оказавшись в Севастополе, я понял, что помощь никакая и не нужна, всё уже произошло: ходят счастливые люди, играют бравурные марши»... Именно поэтому, добавил Юрий, «я себя там не нашёл, не увидел, чем я там буду заниматься и зачем я вообще там нужен. Там уже всё закончилось благополучно для местных жителей». А затем «началась „АТО“ в Донбассе. В конце апреля я поехал в ДНР. В Донецке в тот момент происходили события скорее ритуального какого-то характера. Проходили митинги, люди активно боролись за место у микрофона на сцене возле обл администрации. Мне хватило буквально нескольких часов, чтобы понять: делать здесь мне нечего — надо ехать непосредственно в Славянск. Но попасть туда было довольно проблематично. Славянский гарнизон испытывал нехватку оружия. Да и в Краматорске не было возможности вооружить и экипировать всех желающих».

Кроме того, у Юрия на тот момент напрочь отсутствовал не только боевой, но и армейский опыт: «Ведь сам я в армии не служил: у меня была страшная, практически неизлечимая болезнь — мама работала в военкомате (улыбается)». И вот пришла директива: всех, не имеющих боевого опыта и не служивших в армии, отправить в комендантские части. Новоприбывший ополченец не захотел себе такой судьбы и поэтому перешёл на местное радио. «Мы отжали „укропскую“ студию, очень быстро охватили ареал в семьдесят километров и достаточно быстро наладили продуктивную работу. Но мне было мало такого участия, и при первой возможности я ушёл в мотопехоту. Правда, из „мото“ у нас была только раздолбанная „Газель“, но зато это была настоящая пехота. <...> Девиз наш был прост: „Слабоумие и отвага“. Теперь, оглядываясь назад и вспоминая наши действия, думаю, очень странно, что мы остались в живых. Вели себя, как будто все считали себя бессмертными, и как-то проносило, слава Богу. Мне досталось противотанковое ружьё аж тысяча девятьсот сорок второго года выпуска, точно как в фильме „Они сражались за Родину“. Удивительная вещь, очень интересно было с ним работать».

Подразделение, в котором воевал Ковальчук, именовалось Краматорским батальоном мотопехоты. Батальон, как и другие формирования ополченцев, подчинялся Игорю Стрелкову, но его непосредственным командиром был всем

тогда известный по колоритным фотографиям «казак Бабай». «Скажу сразу про Сашу Можаява — „Бабая“. Он мировой мужик, но ни я, ни мои соратники ни разу не видели его ни в одном бою. Было устойчивое впечатление, что он занимается исключительно административными вопросами, „отжимками“ и прочей важной, но не особо героической деятельностью»². А самому Ковальчуку в боях поучаствовать довелось. Далее процитирую его художественный текст — рассказ «Соль земли», изначально главу из неоконченной и пока неопубликованной повести:

«Это был конец июня 2014 года, и война уже шла полным ходом. Я плохо помню те дни. Поспать удавалось не более нескольких часов. Потом мы поднимались по тревоге и мчались куда-то на нашей безумной повозке — микроавтобусе „Газель“, боковая дверь которой держалась на проволоке, поэтому её приходилось держать руками, чтобы не выпасть на ходу. Возвращаясь в расположение, я наскоро, как будто сдавал норматив, ел и мылся, после чего сразу валился спать.

<...> Я выполз со своим ПТР на уровень дороги, прицелился и открыл огонь по позициям врага. Мой заряжающий куда-то пропал вместе с моим автоматом, и где-то на периферии сознания меня сильно беспокоила возможность потерять автомат, если парня убьют или что-то в этом роде. Пока я полз, обратил внимание, что кое-где на высоких стволах каких-то растений повязаны белые тряпицы — ориентиры для снайперов. Значит — территория была полностью пристреляна».

Дальше идёт бой, вернее, односторонний обстрел, бессмысленный и, увы, совершенно беспощадный:

«Солнце нещадно палило. Камни и трава рвали мне кожу, но я лишь сильнее вжимался в землю и лежал, уткнувшись лицом в сплетения трав и комки почвы. Вдыхал их запах и слушал противный треск разрывающихся мин. Шелест осколков был повсюду. Один впился в землю у меня между ног, сантиметров за двадцать до причинного места. Было не страшно умереть, но страшно остаться калякой. Каким-то бесполезным обрубок. <...> Как только он вскочил и метнулся в укрытие, по этому участку начали колотить, как мухобойкой. Теперь я видел нескольких бойцов — мы лежали, вжавшись всем телом в землю, и я чувствовал её на губах».

Совсем не новый ракурс, известный практически каждому, кто побывал под обстрелом, но Юрий нашёл в нём свои особенные художественные детали.

«В глаз давил камень, саднил изодранный живот. Кто-то рядом вскрикнул от боли — видимо, попал осколок. Проверить, что случилось с моим товарищем, не было никакой возможности. Вокруг всё свистело и громыхало; осколки и пули причёсывали густую растительность — наше единственное

2. «Немного о Стрелкове и о Краматорске» // сайт «Конт», 15 апреля 2015 года.

укрытие. <...> Земля была вокруг меня, и на мне, и даже у меня во рту. Я чувствовал её вкус, осознавал всю её прекрасную силу, дарующую тёплую жизнеутверждающую волю к жизни. Мне было ужасно обидно от мысли, что, вполне возможно, я больше никогда не смогу вот так нырнуть в объятия степного моря и чувствовать на губах это счастье— соль земли.

В тот раз Юрий (как и герой рассказа) отделался контузией. Но давление регулярной армии на мятежные города усиливалось с каждым днём. Наступала кульминация всего сражения, и для осаждённых выдвинулось два выхода: героическая гибель либо неожиданный прорыв. Командование выбрало второй вариант. Однако то, как он осуществлялся, Юрий воспринял с негодованием, а вспоминал с болью: «Наш Краматорский гарнизон относился к иерархии Игоря Стрелкова. И наш вывод, сдачу „укропам“ города и людей я воспринял как предательство, как сдачу интересов. Приведу лишь один момент: я в тот день стоял со своим отделением на блокпосту между Краматорском и Дружковкой. У меня была директива стрелять во всё, что крупнее легкового автомобиля, даже если этот транспорт идёт из города. И вот начала выходить колонна с ГСМ и с пехотой. Теоретически я должен был встретить её огнём. Но это же наши! У нас были рации, но нас никто ни о чём не предупредил. Потом мы узнали, что штаба уже нет, а мы всё ещё стоим на блокпостах. Хорошо, что мы ещё стояли на безопасной стороне, а были ребята, которые стояли на той стороне, где уже ДРГ противника просачиваться начали. Нас бросили, по сути. Очень это всё было не организовано».

На эмоциях и с немалой долей разочарования Юрий уехал тогда на «большую землю». Однако вскоре понял, что «Донбасс будет со мной всю оставшуюся жизнь. Много тогда среди наших повстречал земляков из Херсона, Николаева, Харькова. Донбасс уже стал своего рода ковчегом. Сюда ехали те, кто понимал, что с Украиной им не по пути. В октябре две тысячи четырнадцатого года я вернулся. В качестве военного корреспондента сотрудничал с Первым армейским корпусом. Только при мне в боях за Донецкий аэропорт погибли три наших военкора с позывными Вагид, Эллин, Ухо. Тогда ещё можно было ехать на передовую не только с камерой, но и с автоматом; с ребятами полноценно участвовать в „мероприятиях“ и что-то ещё при этом отснять...

Во второй половине апреля две тысячи пятнадцатого года эта вольница для прессы закончилась. Всё изменилось. Вывезли, как кур выпустили на пятачке побегать— красивого, бритого солдата отснять, взять у него интервью, поехать обратно... Такая работа меня не устраивала— хотелось участвовать непосредственно в событиях, быть на острие, как раньше».

Юрий участвовал в операциях батальона «Сомали», которым тогда руководил легендарный командир Гиви; в боях за аэропорт вновь был контужен и получил ранение, лечился в госпитале Донецка. В репортажах этого периода чувствуется, что автор даже после вспышки бессильного гнева стремится отбросить сомнения и убедить не только других, но и самого себя, что всё происходящее отнюдь не напрасно:

«Ополченцы не скрывают, что устали от вялотекущей и подлой войны, которая характеризуется неожиданными кровопролитными стычками. Наша сторона вынуждена соблюдать Минские договорённости в одностороннем порядке. Люди то томятся от бездействия, то вынуждены скрежетать зубами, глядя, как от вражеской артиллерии гибнут товарищи.

Нужно понимать: вопреки изнурительной жизни в состоянии „ни мира, ни войны“, республики получили передышку, а люди в ЛНР стали чувствовать себя значительно увереннее»³.

В 2017 году мать Юрия перестала отвечать на его телефонные звонки, последний раз им удалось пообщаться девятого марта. Он знал, что она сильно болела и уже три года теряла зрение. «Я пытался дозвониться до каких-то знакомых, ведь очень немногие продолжали со мной общение. Но никто ничего вразумительного не мог мне сказать. В какой-то момент я принял решение ехать туда, отлично осознавая, что меня ждёт и что может произойти. Однако это был единственный выход, мать есть мать». Тем более совершенно одинокая и физически беспомощная женщина. И он решил, несмотря на огромный риск своего предприятия, ведь и в Каховке, и в Новой Каховке уже появились огромные баннеры: «Они хотят войны в твоём городе». На них были размещены портреты Ковальчука и каховчанина Данила Корецкого, который также воевал за ДНР.

Поздней весной по «зелёнке» он скрытно пересёк границу, меньше чем за четверть часа преодолев неприступную «стену Яйценюка». «Сделал всё, что планировал. И по возвращении назад, тем же способом, в пункте пропуска Гоптовка между Харьковской и Белгородской областями сдался доблестным российским пограничникам. А они в течение пятнадцати минут без всякого оформления передали меня своим украинским коллегам. Те сплясали джигу: „Ого, какая радость!“ И поехал я осваивать херсонские казематы. Российские пограничники должны были отправить меня в специальный центр, оформить и так далее. Но у них заканчивалась смена, очень спешили. При этом примерно понимали, кто я. Всё объяснил им. Один

3. Ю. Ковальчук. «Подлая война: Репортаж с передовой на Донбассе» // сайт «Конт», 21 мая 2016 года.

ещё говорит: „Ой, ему ж там голову отрежут...“ Но они просто связались с украинскими коллегами и передали меня. А поскольку я был объявлен в розыск по Херсонской области, за мной буквально на следующее утро приехали херсонцы и забрали».

Его последняя перед пленом запись в соцсети «Фейсбук» была краткой: *«Жду молитв и заговоров отныне и до завтрашнего полудня. Там всё решится»*. Увы, ни заговоры, ни молитвы в тот раз не помогли справиться с преступной бюрократией.

«На украинской стороне меня приняли „с распротёртыми объятиями“, тем более я на „Миротворце“ с мая две тысячи четырнадцатого года, а в розыске — с две тысячи пятнадцатого, — рассказывал Юрий. — Колёса завертелись. Поехали сначала в Харьков, затем в Херсон, там я и пребывал всё время. Паранджа, то есть мешок на голову, руки за спиной забиты в наручники, и постоянно амбалы в балаклавах рядом. Содержали строго, постоянно закрытые окна.

Впервые физическое насилие ко мне применили через две недели после ареста, когда я отказался подписать соглашение на аудиоскопию — экспертизу записей моих телефонных звонков. Стоило это удовольствие восемь тысяч гривен, причём за мой счёт — я должен был оплачивать эту экспертизу. Я отказался и вообще отказался давать какие-нибудь показания без адвоката. А государственный адвокат явно за них играл, и я тогда много наделал ошибок, которые мог бы не допустить, если бы был предупреждён. <...> В итоге рёбра переломали и зубы выбили. Рёбра поломали в трёх местах по ощущениям, а так их никто не считал, рентген тоже никто не делал. Из всей медицинской помощи мне дали таблетку каптоприла, в Херсонском СИЗО был только этот препарат, и всем его давали. Ничего другого нет, ни обезболивающих — вообще ничего. После перелома рёбер двое суток пластом лежал, сокамерники помогали водички поднести, поесть. Боли сильные? Сознание потерял? Ничего страшного: дали нашатырь, закинули в „стакан“ и повезли.

— „Стакан“?

— У них такое развлечение было. На допросы возили в автозаке-„буханке“ (автомобиль УАЗ-452). Там два наглухо огороженных металлом места для перевозки заключённых, называется „стаканом“. Остановятся на солнышке, оставят тебя в „стакане“ и уйдут решать какие-то свои дела, бывает, что и пару часов сидишь. Ни вентиляции, ничего — душегубка, а это июль, Херсон, на улице под сорок. Кричи, головой бейся, сознание теряй, что хочешь делай. Душевные люди, что тут говорить.

— Добились чего хотели?

— Чего они от меня хотели, я не знаю, но в итоге я признался, что был в ополчении в Краматорске. Как получилось. Помимо пыток, я услышал первую информацию об обмене и начал его добиваться. Затем пришла информация, что я не успеваю попасть в этот обмен, украинская сторона меня не подтверждала как пленного. И у меня был выбор: либо восемь-пятнадцать лет с конфискацией, либо признать, что был ополченцем, и получить пять лет без конфискации. Разница существенная.

Документы, паспорт и прочее получили только половина обменных, я ничего не получил. Когда к нам в камеру приходила (*первый заместитель стикера украинского парламента, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина*) Геращенко, мы задавали вопрос о документах. Она в ответ сказала нам: мол, вы же не любите Украину, зачем вам её паспорта — я вам учебник истории могу подарить».

Тем временем в России и на Донбассе шла работа по освобождению Юрия. Его гражданская жена Александра Павлова через друзей организовала обращение одного из депутатов местного народного совета в Донецке к уполномоченному по правам человека ДНР Дарье Морозовой. Сама ситуация с его задержанием освещалась в СМИ. «Юрия Ковальчука отдали украинским пограничникам вопреки всем ведомственным инструкциям, в нарушение всех процедур. Ему в России даже отказали в праве на арест. Может, стоит исправить ошибку?» — спрашивал на страницах «Московского комсомольца» журналист Дмитрий Дурнев.

Однако на украинской стороне всё освещалось совсем иначе. Например, упомянутый в начале рассказа бывший коллега Юрия Олександр Гунько трактовал его слова и действия совершенно иезуитским образом, не говоря прямо, но очень прозрачно намекая на возможность предательства: «Что именно Ковальчук рассказал следователям, не сообщается. Возможно, за ценную информацию ему и скостили срок».

Вернувшись на свободу, придя в себя и постаравшись отъесться на потерянные в тюрьме двадцать килограмм, Юрий вернулся в журналистику, всё больше, однако, дрейфуя в сторону литературы. На фоне относительного затишья на фронте ему хотелось максимально честно и полно осмыслить произошедшее лично с ним, с Донбассом, Украиной, а заодно и с ментально близкими нам Балканами (именно в эти годы он написал немало ярких и глубоких статей для портала «Балканист»).

В своей статье «Донбасс стал чужим Украине не только по языку, но и по вере» Ковальчук пришёл к такому фатальному выводу:

«Разрыв был неизбежен: народ Донбасса вполне спокойно мог бы отнестись и к антироссийской

риторике, и к попыткам запретить русский язык — люди просто упорно игнорировали бы эти глупости, как игнорировали попытки украинизации образования, предпринимавшиеся на протяжении двух с половиной десятилетий. В школах и госучреждениях всё так же звучала бы русская речь, а украинским бы пользовались только в делопроизводстве и публичных выступлениях.

Донбасс готов был многое спустить киевским безумцам, кроме атак на Православие, попыток подменить традиционную веру искусственным конструктом, слепленным политиками и раскольниками, нападений на верующих и священнослужителей, захватов храмов и т. д. <...>

Религиозные различия были камнем преткновения ещё в довоенный период. Сейчас между Донбассом и Украиной разверзлась настоящая пропасть, преодолеть которую будет непросто, и с каждым днём точек соприкосновения становится

всё меньше; недавние соотечественники разнятся языком, верой, цивилизационным выбором».

Думаю, он необыкновенно остро это чувствовал — человек, сделавший сознательный выбор своего языка, своей веры, своей цивилизации. Человек, который никогда не был и не стремился быть ни удобным, ни покладистым. Однако своему выбору он не изменял и говорил внешне спокойно, но с предельной выстраданной убеждённостию: «Случись всё по новой, пошёл бы опять. Постарался бы сделать больше, лучше. На Украине, за исключением нескольких регионов Юго-Востока, будущего никакого. У Донбасса при всех проблемах оно есть. А в народную милицию я не сильно гожусь: со времени перелома ноги у меня имплант металлический. Бегать не могу. Воевать охота — служить нет. Наверное, как и многим. Но если начнётся что-то масштабное, пойду в ближайший военкомат...»

На земле или уже на небе.

Источники:

Ополченец и бывший военнопленный Юрий Ковальчук: «Буду строить новую жизнь» // «Луганский Информационный Центр», апрель 2018.

Олександр Гунько. Талантливый журналист Херсонщины прославился как боевик лднр и получил срок — 5 лет // «Новая Каховка Сити», 3 декабря 2017.

Донбасс стал ковчегом для тех, кто выбрал русский путь // портал «РИТМ Евразии», 26 мая 2019.

Ю. Ковальчук. Немного о Стрелкове и о Краматорске // сайт «Конт», 15 апреля 2015.

Ю. Ковальчук. Подлая война: Репортаж с передовой на Донбассе // сайт «Конт», 21 мая 2016.

Юрий Ковальчук. Соль земли // «Алтай» №2, 2022.

Д. Дурнев. Российские пограничники фактически сдали журналиста лнр в сизо Украины. Странная судьба Юрия Ковальчука // МК.RU, 30 ноября 2017.

«Роман-газета» №7, 2022. С. 68–69.

Варвара Заборцева

«Подобно большеглазому ребёнку...»

О стихах Павла Сидельникова

Редкая возможность — пройти творческий путь вместе. Вместе делить первые удачи и первые разочарования. Мне выпал такой шанс: мы делаем первые шаги в литературе с воронежским поэтом Павлом Сидельниковым. Обоим около двадцати. Один вырос на бескрайних просторах Сибири, другая — среди лесов под Архангельском. Мы впитали разные рифмы, идём разными дорогами, но чувствую нечто родное в стихах Паши, отзываюсь на лёгкость строки:

Вот так смотри: чужого не дано,
а что своё — то в рамку и на полку.
И я смотрю и робко, и чудно,
подобно большеглазому ребёнку.

И взгляд далёк, он требует тепла,
родного дела, как стихотворенье
о том, что жизнь со мною не была,
хоть и она закончилась рождением.

Лирический герой искренне признается, что ещё «жизнь со мною не была» и «кухонька пока невелика», но «взгляд далёк, он требует тепла, родного дела». Наивное и такое понятное стремление — постичь мир и найти своё место в нём. Это желание вне возраста, но особенно в юности так хочется смотреть на жизнь «и робко, и чудно, подобно большеглазому ребёнку».

Паше чуть больше двадцати, но в первых стихах уже виден его литературный кругозор: слышны голоса поэтов Серебряного века, «шестидесятников» и, главное, старших современников. Читанность автора вовсе не «пыльная»: Паша — будто учится плавать — отталкивается от прочитанных строк и пробует строить свои, спотыкаясь, иногда идя на ощупь, но продолжает идти.

Помню:
мы курили поздно ночью,
и читали Блока наизусть,
и стояли — порванные в клочья,
сохраняя слово.
Ну и пусть.

В этом небольшом поэтическом наброске переданы и мимолётность мгновения, и отрывочность, присущая любым воспоминаниям. Стихи напоминают фотокарточку, сделанную мимоходом. Видишь этих ребят: темнота ночи, сигаретный дым и стихи, стихи наперебой, с азартом. И пусть они сегодня молодые, «порванные в клочья», в их повседневной жизни живёт поэтическое слово. Именно так, в простых разговорах у подъезда или на кухне, живёт и сохраняется поэзия.

Вдруг оказавшись не у дел,
услышишь — чайник подоспел.

Но ведь до этого не слышал
воды кипенье: *пыши-пыши-пыши*,
как дни недели.

Скрипит коническая крыша,
где Бог сидит — превыше крыш,

где мы сидели.

Кухонные размышления о вечном, которые уместились в несколько минут, пока закипает чайник. Уже через мгновение жизнь пойдёт своим чередом, но именно в этот миг перед долгожданным свистком всё привычное замерло, уступив место полёту мысли.

Голубика выросла в саду.
Ягодку сорву — за ней найду
ягодку другую, чуть помельче.
За оградой копошится ельник.
Ягодку сорву, ещё одну —
и в корзинку мамину взгляну.

Эти строки напоминают детский рисунок. Написано предельно просто, но тем самым поэт оставляет огромный простор для личных воспоминаний читателя, нарочно отказывается от деталей, чтобы у каждого была своя корзинка и своя ягодная поляна. А главное: растёт ли голубика в саду? Она растёт в лесу, а значит, это событие, действительно событие, становится настоящим чудом. Простым чудом — как сама поэзия.

В. С.

Хоть наша кухня пока невелика,
но на плечах моих—огромный великан.

О милая моя, как выдержать его—
опасное для нашей жизни существо?

И ручки мои не хуже, чем твои,—
с них как-то зёрнышки клевали воробы.

И птичье «чик-чирик»—спасение одно.
Так помоги найти мне верное зерно!

А то вся жизнь пройдёт, пройдёт она сейчас,
и вот *она* уйдёт—незаменимых нас...

Рядом с образом матери возникает и другой женский образ. Говоря о первой любви, нежном и искреннем чувстве, автор позволяет себе проявить максимальную мягкость: появляются «зёрнышки», «рученьки», трепетное обращение «милая моя», которое в этом поэтическом мире не кажется нарочитым. Можно с лёгкостью поверить, что лирический герой чувствует именно так—«уменьшительно-ласкательно». Парные строки, бодрые и шустрые, будто передают дыхание этого юноши, биение его сердца. Главные строки—последние. В них будто случайно понята быстротечность жизни, будто ненарочная мысль о конечности любых, даже самых сильных чувств.

Природа снега—и лететь, и таять.
Бумажным самолётиком лететь
на белый свет, где прорубь ледяная
уснула, словно северный медведь.

И выпал снег. Ребёнок краснощёкий
сидит и смотрит в снежное окно:
белым-бело. И чёрные сороки
следят за ним. Становится темно.

Приходит ночь. И выпадет наутро
последний снег, тяжёлый снегопад.
И самолёт летит—проходит чудом.
Ребёнок будет очень долго спать.

Строки залиты белым: «снег», «снежное окно», «белым-бело», «самолёт». На этом белоснежном полотне возникают цветные пятна: «ребёнок краснощёкий», «чёрные сороки», вслед за которыми «становится темно» и «приходит ночь». Стихотворение напоминает акварельный набросок, лёгкий и почти прозрачный. При этом через простоту фраз, некий параллелизм («и выпал снег»—«приходит ночь», «ребёнок смотрит»—«сороки следят») звучит уже не быстротечность, конечность жизни, а её цикличность. Сюжет трудно назвать «историей», речь не о конкретном моменте и не о конкретном ребёнке. Действия условны и даже символичны, будто происходят в своей, особой реальности, поэтому и мотив сна в финале вовсе не случаен.

Образы, как и сам Паша, будто ещё привыкают к строке. Когда автор состоялся, нашёл себя и своё слово, ранние сочинения воспринимаются совсем иначе. Я рада читать их сейчас, когда свежесть юношеских стихов ощущается максимально полно. И даже когда имя поэта Павла Сидельникова займёт своё место в русской поэзии, для меня он останется тем Пашей, который когда-то смотрел на мир «и робко, и чудно, подобно большеглазому ребёнку».

Я живу в прекрасном селе

Сочинения учеников Жеблахтинской средней школы

Сочинения конкурса «Астафьевская весна»

И как же мы любили в детстве косточки глотать. Те косточки, которые матушка моя приставляла в русскую печь в чугунок. Мы, дети, целый день были в какой-то необъяснимой радости — ждали вечера, когда мама моя брала в руки ухват и потихонечку, ухватив чугунок, тащила его из загнетки. А на столе уже стояло деревянное корытце с сечкой и большая чашка под кости. Поставив чугунок на стол, мама осторожно снимала крышку с него. Мы соскакивали с мест и старались заглянуть в посудину с вкуснятиной. И какой же это был запах! Непередаваемый, густой и сытный.

Теперь такой запах от русской печки разносится и в моём доме к празднику Рождества Христова либо Пасхи. На столе моём та же чугуночка с косточками, корытце и мамина сечка. Мои внуки в ожидании косточек наблюдают, как их бабушка ловко вытягивает куски горячего мяса с косточками из чугунка и сечёт мясо в корытце. Какая ловкая сечка, как легко режет мясо, а потом и лук. А косточки из большой чашки моментально разлетаются в тарелки детей. Почмокивают, пожёвывают, стучат об ложки ребята, чтобы выбить мозг из косточек. Пожалуй, и собачке нечего будет погрызть.

А завтра настоящий холодец, трясущийся, светлый, будет стоять на праздничном столе, который всю жизнь объединяет всех моих родных и близких.

Ульчугачева Н. Н., директор школы

Мы приехали в Россию летом. Было тепло, только много комаров. Осенью с братьями пошли в школу. Погода была хорошая. Мы каждый день играли на улице. А потом началась зима. Это была моя первая зима, когда я увидел столько много снега. Мы с друзьями строили крепости, лепили снеговиков и катались с горки. Такая удивительная зима в России. Это и есть моя первая затесь — зима в России.

Редингер Иан, 3 класс

Васютке было тринадцать лет. Он был сыном рыбака, вырос рядом с тайгой и очень любил

туда ходить. Однажды он заблудился, но выжил благодаря знаниям о правилах поведения в тайге.

Когда он вошёл в лес, стал делать засечки на деревьях, но в погоне за глухарём он потерял засечки и не смог выбраться из тайги. Но выбрался всё же благодаря засечкам. Через некоторое время он подошёл к озеру, в котором было полно рыбы. Когда Вася вернулся домой, он рассказал об этом рыбакам. Это озеро потом назвали Васюткиным, по имени мальчика. Это была награда за смелость, находчивость и выносливость мальчика. Я хочу быть похожим на этого мальчика. Засечки буду делать, чтобы не заблудиться.

Тонкошуров Ваня, 3 класс

Зима в России отличается от зимы в Германии. Наша семья уже несколько лет живёт в России. Зимой в нашей деревне очень красиво. Снег валит большими хлопьями и сразу укрывает всё вокруг. На деревьях и крышах домов образуются шапки. Мы сразу выбегаем на улицу играть в снежки и даже не плачем, если снежок попадёт в лицо или за шиворот. Весёлое время года — зима. Мне очень нравится. А теперь наступила весна, и стало очень грустно. Везде лужи, и совсем неудобно ходить. Я буду снова ждать зиму. В России она по-настоящему снежная и морозная.

Нойманн Марсель, 3 класс

Я долго болел, и когда мне дали справку, я побежал в школу к своим друзьям. На перемене учительница сказала переодеться на физкультуру, а у меня ничего нет, потому, что я думал, что понедельник, а оказался вторник. Но мои друзья помогли моей беде. Марсель дал футболку, а Ваня шорты. Когда меня мама увидела в коридоре школы, сразу всё поняла. И только сказала: «Молодцы! У вас самый дружный класс!» Это и есть моя первая затесь. Друг в беде может выручить!

Шафранов Саша, 3 класс

Я живу в прекрасном селе Жеблахты. Оно расположено вдоль речки Ои. С другой стороны село окружают сосновый бор, горы, поэтому у нас всегда чистый воздух. Летом в бору растут разные грибы и ягоды, в лесу много красивых полянок. В селе есть Дом культуры, школа, детский сад,

библиотека и сельсовет. Мне и моим друзьям нравится учиться в школе. Каждый день узнаёшь много интересного и познавательного. В Доме культуры нам показывают мультики, устраивают дискотеки и концерты, даже один раз приезжал цирк. А как здорово летом прийти на пляж, он называется Тальяниха, покупаться, полежать на горячем песке.

В селе есть святое место—это памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. Из нашего села ушло на войну много мужчин, и не вернулись к своим семьям сто десять человек. Мы помним их имена и гордимся ими.

Я очень люблю мою малую родину—село Жеблахты. На протяжении моей маленькой жизни это первая затесь—любить то место, где ты родился. Когда я вырасту, останусь жить в Жеблахтах. Заведу семью, построю свой дом, и у меня будет своё дело.

Тарасова Саша, 4 класс

Однажды папа предложил построить баню. Мы всей семьёй обсудили и согласились с папиным предложением. Сначала мы выкопали котлован под фундамент. Потом вместе с отцом мы намесили бетон и стали заливать его в котлован. Так получился фундамент под баню. Затем мы купили брус и доски и начали строить баню. Каждый день вместе с папой мы выкладывали слой за слоем стены бани. У нас получилось одиннадцать слоёв бруса. Потом сделали пол, поставили печку с камнями, чтобы греться, и сделали поло́к, чтобы париться. Завершением строительства бани стала крыша. Тут я уже не мог помочь, потому что не хватало силы держать шифер. На помощь приехали дедушка Андрей, дядя Саша и дядя Юра. Когда мы построили баню, было так радостно. Папа затопил баню, и мы всей семьёй перемылись в новой бане. А потом, счастливые и радостные, пили чай с пирогами.

Сидельников Паша, 5 класс

У нас в огороде черёмуховый рай. Так буйно весной цветёт черёмуха! И когда весной выходишь в огород, как будто окунаешься в белое душистое молоко. Я так сильно чувствую запах черёмухи, что у меня даже чуть кружится голова. Из-за этого я так люблю весну и жду, когда начнёт цвести любимая черёмуха. Вместе с мамой иногда мы сидим под кустом черёмухи и наслаждаемся весенней красотой природы.

Кириенко Злата, 5 класс

Однажды с мамой мы пошли на речку, и я увидела маленького котёнка. Я предложила маме взять бездомного малыша. Он был такой грустный. Мы принесли его домой и назвали Бусей, потому что у Буси на спине было много разных оттенков цвета: чёрный, серый, рыженький и коричневый. Кошечка быстро привыкла ко мне. Каждый вечер она

ждала меня у кровати, и мы вместе с ней засыпали. Вскоре Буся стала ласковой и милой. Она поправилась и стала просто красивой. Я её очень люблю.

Кириенко Злата, 5 класс

Цирк—это здорово, это весело, это зажигательно. Однажды мы поехали с моей сестрой и одноклассницей в цирк. Там было много животных: тигр и обезьяна, маленький медвежонок, и были домашние животные—это собака и козы, а ещё овцы. Они показывали страшные и интересные трюки. А какой был клоун! Он был бесподобный, он так смешил всех и заставлял всех детей участвовать в играх. Мы играли в жмурки, в мяч. Отдых наш был отличный.

Кириенко Злата, 5 класс

Весной мы начинаем делать парники. В Германии такие не делают, а в России мы научились и стали сажать арбузы в парниках. Теперь каждый день у нас было задание—поливать арбузы и полоть. Арбузы растут тихо и стараются спрятаться в листьях. Нам интересно подсматривать за арбузами, но они не любят, когда их тревожат. Листики могут пожелтеть, и плеть высохнет. К концу лета арбузы выросли. Особенно красивый был один арбуз, он был большой и длинный. Мы еле донесли его до дома. Мама разрешила его, и из него потёк сок, а у нас потекли слюнки от такой вкуснятины. Сестрёнка закричала: «Скучно». Корочки от арбуза быстро наполнили чашку.

Я буду фермером и буду выращивать арбузы, огромные, вкусные. Мы будем есть их каждый день.

Редингер Браин, 5 класс

Когда я была маленькой, папа подарил мне на день рождения кота Барсика. Я взяла его на руки, обняла и налила ему молока. Барсик поплакал и пошёл спать, а когда проснулся, то мы пошли с ним на улицу. Я люблю гладить его по животу. Он начинает потихоньку кусать меня и не отпускает мою руку. Барсик любит ласку. Когда я ему завязала бантик на шее, он лёг на пол и стал играть с этим бантиком.

Быкова Наташа, 5 класс

Я выхожу из моего дома, и солнце светит мне в лицо. Иду в лес, вижу наш сарай. Подхожу ближе, и меня замечают наши козы. Они радостно начинают кричать. Наверное, голодные. Тогда я быстро отламываю большую ветку от берёзы и перекидываю её козам. Козочки дружно подбежали и стали быстро есть берёзовые ветки. Отец меня спрашивает: «Будешь пасти коз?» Я соглашаюсь и зову моих братьев. Мы открываем ворота, и козы весело выбегают на волю. Мы гоним их туда, где много травы. Ко мне подбегает самая маленькая козочка Бинэ. Мы её выкормили из бутылочки.

Вот почему она не боится людей. Я отламываю веточку от берёзы и даю ей поесть. Я рассказал эту историю, потому что люблю животных.

Редингер Данни Энрико, 5 класс

Школа глазами детей

Самое примечательное, что в нынешних сочинениях «Школа глазами детей» искреннее признание в любви к школе звучит без напыщенности, по-детски наивно. Мой ученик живёт в ней счастливо. И слава Богу, что у каждого есть друг или подруга, что кто-то идёт в школу за знаниями, а кто-то — встретиться с другом, подругой. Ведь именно в школе зарождается первая любовь, потому и считают школу «начальной школой любви».

В мою первую учительскую осень шестьдесят восьмого года дети задали меня букетиками из осенних листьев. Это были лучшие букеты в моей жизни. Вспоминая ту осень, с любовью дарю вам, дорогие коллеги, тот осенний букет. И с удовольствием вспоминаю моих родных учителей, которые учили меня и которым бы я подарила сегодня солнечные листики осени за ваш великий труд.

А школе мне так хочется выдать «охранную грамоту», как неприкосновенному институту, чтобы учителю никто не мешал наполнять глаза ученика созидательным смыслом. Тогда они напишут добрые сочинения-воспоминания о школе.

Ульчугачева Нина Николаевна

Сегодня первое сентября, и у меня был первый день в школе. Проснулась я раньше обычного. Мама разбудила словами: «Вставай, в школу пора». К этому дню мы давно готовились. Купили тетради, ручки, карандаши. Всё это сложили в рюкзак. Он у меня розового цвета с картинкой зайчика. Была солнечная погода. Мама надела мне белую блузку, чёрную юбочку и жилетку. Заплела две косички, на голове были два пышных банта. Взяли букет цветов и пошли в школу. У школы было много учеников, родителей, учителей. Мы подошли к своей учительнице, которая потом станет моим классным руководителем. Я подарила ей цветы. Первый раз в школе всё казалось непривычным и необычным. Первый день в школе я запомню надолго.

Кайкова Даша, 2 класс

Я помню, как однажды зимой мы всей семьёй ездили на Саяно-Шушенское водохранилище, на подлёдную рыбалку на окуней. Мне было тогда шесть лет. Папа пробурил мне во льду лунку и наладил мне удочку. И я самостоятельно рыбачила. Рыбку я не поймала, но это меня не очень огорчило, так как там всё равно было интересно. Там было весело. Мы жарили шашлыки и фотографировались на

ледяных глыбах. Я получила незабываемые эмоции. Повторить бы ещё раз!

Струкова Василиса, 2 класс

Я помню, как я купался на карьере. Там была тёплая вода. Ещё мы жарили на костре шашлыки и сосиски. Потом мы поехали в Абакан и покупали вещи для первого класса. Когда я поехал к отцу в гости, я увидел, как утки плавают на Енисее.

Лукин Гоша, 2 класс

Я помню, как я пошла в первый класс. Помню, как мальчик поднял меня, посадил на плечи и я звонила в колокольчик. Помню, как мне было лень учить уроки, но я учила через силу. Помню, как мне было лень учиться читать, но в первом классе я научилась читать хорошо. Потом я перешла во второй класс, и там у меня появилась новая учительница.

Потылицына Анжела, 2 класс

Помню, как летом мы ходили на школьную площадку. Нас разделили на две команды. Наша команда называлась «Улыбка», а у старших — «Бухта». Мы каждый день занимались интересными делами: лепили, рисовали, учили песни. Однажды мы ходили поздравлять бабушку с юбилеем. Было жарко, нам хотелось спрятаться в тенёк. А когда пришли, бабушки не оказалось дома.

Редингер Иан, 3 класс

Помню, как я пошёл в школу. Я думал, мне будет сложно, и очень переживал, а оказалось всё просто.

Шафранов Саша, 3 класс

Когда я был маленький, то ходил в детский сад. Там веселился, играл игрушками. Когда исполнилось мне семь лет, я пошёл в школу. В школе был большой праздник. Все нарядные и счастливые, с новыми рюкзаками и с цветами, стояли на линейке. Сначала я был стеснительный и скромный. Но потом я узнал, какие у меня хорошие одноклассники и мой учитель, Нина Николаевна Кананкова. Я перестал бояться и стал больше им доверять.

Бочегуров Максим, 3 класс

Я помню, как пришёл в школу первый раз. Мне было очень страшно без мамы. После линейки мы пошли в класс и познакомились с другими ребятами. Мы играли и учились с ними целый год. Наш класс стал дружный, и все хорошо учились.

Тонкошуров Ваня, 3 класс

В нашей школе есть летняя площадка. Мы с друзьями ходим туда. Веселимся, играем в разные игры, учим новые игры. Проходят соревнования,

мне нравится, когда все болеют за своего игрока, сразу прилив силы и энергии. С самого утра у нас зарядка, бежим два круга по стадиону, а потом завтрак. Потом общий сбор, рассказывают, чем будем заниматься целый день. Ходим в Дом культуры смотреть фильмы или играть, рисовать мелом. Больше всего мне запомнился День России. Каждому ребёнку нарисовали флаг России на лице. Мы взяли флаги, шары и пошли по улицам нашего села. Всем было весело, кто встречался в пути. Мы поздравляли людей с праздником. Жалко, что площадка такая короткая.

Нойманн Марсель, 3 класс

На летних каникулах у нас в школе работает лагерь «Жарки». Мы с братом ходим туда. Каждое утро у нас зарядка: пробежишь два круга, а потом ещё упражнения надо делать. И сразу так кушать хочется. Мы сами накрываем на столы и убираем посуду. Повара стараются готовить нам разные блюда. После завтрака мы с воспитателями ходим на прогулки, на речку, на площадку, рисуем, ставим рекорды. Ходим в клуб смотреть мультфильмы и участвуем в праздниках. Нам всё нравится. Отдыхаем целый месяц. Жалко, что лето быстро пролетает.

Нойманн Мелисса, 3 класс

Я помню, как получил первое место по шахматам. Раньше я учился играть в шахматы и не ожидал, что смогу так быстро у всех выиграть. Это было в третьем классе, когда Сергей Геннадьевич объявил о шахматном турнире. Сначала я играл со слабыми игроками, а потом я выиграл у всех, кто со мной играл, и я получил первое место по шахматам.

Потылицын Вова, 4 класс

Накануне первого сентября я так волновалась, что могу проспать, и думала, получится ли у меня хорошо учиться. Утром я оделась в новую школьную форму, на волосы закрепила большой белый бант. Мне хотелось летать. Я была очень счастлива.

Был хороший солнечный день. Во дворе школы было много школьников и родителей, играла музыка. У меня от волнения заколотилось сердце, но мама держала меня за руку, и я стала успокаиваться.

Вместе с Натальей Геннадьевной, под торжественную мелодию, мы вышли на крыльцо школы и построились в ряд к остальным школьникам. Мне запомнилось, как мы давали клятву у дуба, первоклассники и старшекласники стояли вместе, держась за руки, как будто старшекласники передавали нам знания.

А потом прозвенел первый в моей жизни школьный звонок. Свой первый день в школе я буду помнить всегда. Это была радость, восторг, волнение, переживания и даже немного страх.

Тарасова Саша, 4 класс

Помню, как с учителями и ребятами мы ходили в поход на осенних каникулах. Общий сбор был в школе. Сначала мы прошли улицу Сосновую, перешли через трассу с большой осторожностью. Наталья Фёдоровна и Нина Николаевна махали нам красными флажками. И вот мы пришли на место, где решили отдохнуть. Мы собирали хворост, а мальчишки с Натальей Фёдоровной разводили костёр. На костре мы жарили сало, сосиски, а ещё пекли картошку. Когда все наелись, то стали играть в прятки, в догонялки, в пятнашки. Было очень весело. К вечеру мы собрали мусор, затушили костёр и, довольные, отправились домой. Я ходила в поход первый раз, и мне очень понравилось. Поход—это здорово, это все вместе.

Штукарина Кира, 4 класс

Помню, как я пошла в первый класс. Я с большим удовольствием пошла в школу. Мои родители купили мне сарафан, белую блузку и два больших банта. Мама заплела мне два хвостика и завязала пышные банты. Я взяла букет цветов, и мы всей семьёй пошли на линейку. Школа у нас небольшая, но красивая. К первому сентября её украсили разноцветными шарами. Возле школы собрались ученики и родители. Все празднично одеты. Мою учительницу зовут Наталья Геннадьевна Пичугина. Она сразу мне понравилась, и я подарила ей цветы. Она вручила мне гелиевый шарик, который я запустила в конце линейки в небо. Я считаю, что каждый человек должен учиться. Я буду хорошо учиться, и я уверена, что у меня получится.

Кайкова Ксения, 4 класс

Катя Гришко

Девушки-куклы

Откуда берутся стандарты красоты

В наше время многие придерживаются определённого стандарта красоты. Раньше, хоть и были представления об идеальной внешности, но люди всё равно старались подчеркнуть свои достоинства и показать индивидуальность с помощью интересных дизайнерских решений. Комбинировали одежду и создавали уникальные образы, чтобы выделиться из толпы и завоевать внимание окружающих своим креативом. Сейчас же все стараются придерживаться моды, выбирать одинаковый стиль одежды, делать похожий макияж. Большинство девушек наносят слишком много макияжа и просто перестают быть похожими на себя, скрывают свою настоящую внешность. Так откуда же приходят эти стандарты? Сейчас молодёжь очень много времени проводит в социальных сетях. Одна из самых популярных — «тик ток». В этом приложении собраны короткие видео длиной примерно в 30 секунд. Чтобы перейти от одного видео к другому, нужно провести вверх пальцем по экрану. Множество таких видео называется «лента». Я листала её 15 минут, из всего просмотренного мне попало примерно 2 видео с модных показов, где модели ходят по подиуму показывая свои наряды во всей красе. Попалось несколько обучающих видео. В них показывалось как сделать красивую причёску, или как из старой футболки сделать трендовую вещь. Также я посмотрела примерно 3 видеоролика, где девочки демонстрировали возможные сочетания в одежде. Все вещи, показанные в видео были очень похожи. Широкие штаны и кофта, кепка, кроссовки и сумка через плечо. В такой одежде не понятно, какая у девушки фигура, она становится похожа на бесформенный мешок и совершенно не привлекает внимание. Вообще я считаю, что такой стиль придумали для замкнутых и неуверенных в себе людей, которые боятся показать свой истинный облик, скрывая его под широкой бесформенной одеждой. Но почему тогда большая часть подростков предпочитает такую одежду? Видимо они всё-таки не уверены в себе и поэтому носят одежду, которая скрывает их фигуру. Возможно люди придерживаются моды потому что боятся показать свою индивидуальность, не хотят выделяться из толпы и лишиться раз привлечь внимание.

Я зашла в социальную сеть «Ютуб» и ввела в строке поиска «как красиво выглядеть?» Почти во всех видео молодые девушки рассказывали и показывали на себе, как сделать красивый макияж. Получается, что всё внимание окружающих сосредоточено на лице, раз ему уделяют больше внимания, чем одежде. Я, наверное, соглашусь с этим потому что если у девушки красивое лицо, одежда уходит на второй план. Ведь её можно поменять, а вот внешность одна, уникальная и неповторимая. Но сейчас и это можно оспорить. Многие женщины пытаются полностью поменять своё тело. Делают пластические операции, меняются до неузнаваемости, чтобы соответствовать так называемому идеалу красоты, например, увеличивают губы. Да, соглашусь, пухлые губы — это красиво, но только, когда они натуральные. Я считаю, что это очень странно выглядит, и делает из милой девушки какой-то манекен из магазина. И это не только моё мнение, как показывает практика большинство людей просто не видят смысла в пластических операциях и даже считают это страшным и некрасивым. Тогда зачем всё это? Зачем делать из себя куклу, тратить бешеные деньги на пластические операции, уйму времени на макияж, если окружающим это не нравится? Я могу сделать вывод, что девушки просто хотят похвастаться друг перед другом. Потому что пластические операции — дешёвое удовольствие, получается с их помощью женщины показывают свой бюджет друг другу. О красоте в итоге речь и не идёт. Женщины с помощью внешнего вида хотят показать размер своего (а то и чужого) кошелька. Важно, чтобы одежда была дорогой, и уже не важно подходит она тебе или нет. А на лице должны быть отчётливо видны следы дорогостоящих операций, хотя порой они только портят внешность и убивают естественность и индивидуальность. Так состоятельным людям приказывает их статус.

Зачастую люди подчиняются мнению подозрительных интернет-авторитетов, боятся выпасть из тренда. Я считаю, что внешний вид должен выражать уникальность человека, подчёркивать его неповторимую красоту. Доверяйте себе, прислушивайтесь к близким людям и критически оценивайте мнение интернет-авторитетов.

стр.
98

Авдеев Александр Иванович
Пестрецово (Ярославский район), 1966 г. р.

Родился в Ярославле. С 19 лет посещал занятия литературного объединения при Ярославском моторном заводе, публиковался в газетах «Заводская жизнь» и «Юность» (первая публикация—1987). В 1993 году поступил в Литературный институт. В 2001 году окончил Ярославское духовное училище, в 2004-м—Костромскую духовную семинарию. Был пономарём в храме Похвалы Пресвятой Богородицы, в 2009 году рукоположен в сан диакона (служил в храме Сретения Господня в Ярославле), в 2011-м—в сан пресвитера. В настоящее время отец Александр является настоятелем прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Пестрецово в Ярославском сельском благочинии. Стихи публиковались в «Литературной России», в сборниках. По первому сборнику «Невидимая птица» в 2004 году Александр Авдеев был принят в члены Союза российских писателей. В 2011 году вышла в свет вторая книга стихов «Долгожданный день».

стр.
110

Белозёров Андрей Борисович
Бендеры (Приднестровье), 1966 г. р.

Родился в городе Бендеры Молдавской ССР. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Проза неоднократно публиковалась в периодических изданиях: «Дружба народов», «Кодры. Молдова литературная», «Литературная Россия», «Роман-газета», «Новый Журнал» (Нью-Йорк) и др. Лауреат Международной литературной премии имени Марка Алданова (2016). Шорт-лист Международной литературной премии имени Марка Алданова (2018). Автор книги прозы о войне 1992 года в Приднестровье «Третья сила» (Chişinău: Litera, 2020).

стр.
32

Бильченко Евгения Витальевна
Санкт-Петербург, 1980 г. р.

Поэт, прозаик, доктор культурологии, кандидат педагогических наук. Автор 26 поэтических сборников и 220 научных трудов. Лауреат международных премий мира имени Николая Гоголя и Григория Сковороды. Член Международного союза поэтов Санкт-Петербурга. В Киеве работала профессором кафедры культурологии Национального педагогического университета и ведущим научным сотрудником Института культурологии. В 2021 году

переехала в Санкт-Петербург из-за преследований украинских националистов и «в силу личного цивилизационного выбора». В России сейчас—блоггер, переводчик, копирайтер, свободный учёный.

стр.
35

Боровский Илья Сергеевич
Уфа, 1986 г. р.

Тележурналист. Член Союза журналистов России. С 12 лет пишет стихи и прозу. Является автором и исполнителем собственных песен. Публиковался с поэтическими подборками в отечественных и зарубежных литературных изданиях. Лауреат и дипломант российских и республиканских литературных конкурсов и фестивалей.

стр.
47

Васильев Геннадий Михайлович
Красноярск, 1959 г. р.

Родился в Томске в 1959 году. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на катэке, в Шарыпово. Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. Работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», «Комок», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторадио», участвовал во всевозможных медиапроектах. Журналист, литератор, бард. Публиковался в журналах «День и ночь», «Байкал», «Енисей», в коллективных сборниках и антологиях. Автор книг стихов «Посвящение друзьям» (1996), «Весенняя песня скворца» (2014), «Аква-рели» (2019), прозы «Свидетели долго не живут» (2005), «Одноклассники точка» (2018), «Времена жизни» (2019), «Частная коллекция» (стихи, рассказы, пьесы, 2022). Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году. Член Союза российских писателей.

стр.
144

Герман Надежда Николаевна
Шушенское, 1953 г. р.

Родилась в 1953 году в посёлке Новая Еруда Красноярского края. Среднюю школу окончила в посёлке Шушенское. Начала печататься, будучи ещё ученицей седьмого класса. За время учёбы в школе были опубликованы несколько стихотворений и фантастический рассказ. Работала рулевым мотористом на теплоходе, экскурсоводом, библиотекарем, телеграфистом. Член Союза писателей Хакасии. Произведения опубликованы в газетах и журналах «Абакан», «Абакан литературный», «День и ночь»,

в коллективных сборниках литературного объединения «Стрежень», а также отдельными изданиями.

стр.
183

Евсюков Александр Владимирович
Москва, 1982 г. р.

Родился в городе Щёкино Тульской области. Окончил Литинститут (семинар М. П. Лобанова) в 2007 году. Работал охранником, грузчиком, археологом, журналистом, администратором, менеджером по продажам, литературным редактором и т. д. Прозаик, критик. Публиковался также и со стихами в журналах «Дружба народов», «Наш современник», «Октябрь», «День и ночь», «Ното Legens», «Вайнах» (Грозный), «Бельские просторы», «Звезда Востока» (Ташкент), «Роман-газета», «Нева», «Зинзивер», «Нижний Новгород», «Подъём» (Воронеж), «Волга—XXI век», «Гостинный Двор», многих альманахах (в том числе «Образ», «Теггароетика», «Литературные знакомства»), сборниках, интернет-журналах «Кольцо А» и «Пролог». В 2017 году в издательстве «Русский Гулливер» вышла первая книга рассказов «Контур легенды». Проза переведена на итальянский, армянский, болгарский и польский языки. Лауреат конкурсов малой прозы имени Андрея Платонова (2011), «Согласование времён» (2012). Победитель российско-итальянской премии «Радуга» (2016) и Российско-болгарского литературного конкурса (2017). Победитель (3-е место) премии «В поисках Правды и Справедливости» (2017). Лауреат международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2018), международных фестивалей-конкурсов «Русский Гофман», «Образ Крыма», премии журнала «Зинзивер» в области критики. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (2020).

стр.
188

Заборцева Варвара Ильинична
1999 г. р.

Родилась и выросла в посёлке Пинега Архангельской области. Студентка Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина (факультет теории и истории искусств). Публиковалась в журналах «Юность», «Формаслов», «Наш современник», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Огни Кузбасса», газете «Литературная Россия». Лауреат премии журнала «Сибирские огни» в номинации «Новые имена». Участник XX и XXI форумов молодых писателей России и стран СНГ, участник фестиваля молодых писателей России, Казахстана и Киргизии, участник Всероссийского совещания молодых литераторов СПР (2021, 2022).

стр.
74

Киляков Василий Васильевич
Электросталь, 1960 г. р.

Родился в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе в городе Электросталь, служил в армии. Окончил Литературный институт имени Горького. Печатался

в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Молодая гвардия» и других изданиях. Лауреат литературной премии имени Б. Полевого и Всероссийской литературной премии «Традиция». Член Союза писателей России.

стр.
139

Конопкин Александр
Саров, 1971 г. р.

Родился в городе Арзамас-16 (сейчас—Саров). Окончил МИФИ, работает программистом. Публиковался в «Литературной газете», журналах «Невский альманах», «Белая скала», «Балтика», «Нижний Новгород». Победитель международного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна, международного конкурса «Русский Гофман». Автор книги стихов «Не оглядываясь, иди» (2018).

стр.
42

Кузнечихин Сергей Данилович
Красноярск, 1946 г. р.

Родился в посёлке Космынино Костромской области, в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт (1969). Работал инженером в Свирске Иркутской области и в Красноярске, а затем—сторожем (с 1989). Печатается как поэт с 1977 года. Автор книг стихов «Жёсткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность» и др. Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация. Повести и рассказы», «Омудлёвая бочка» и др. Многочисленные публикации в журналах, альманахах, антологиях России, ближнего и дальнего зарубежья. Член СП СССР (1991). Награждён медалью «За трудовое отличие» (1981).

стр.
65

Кускова Надежда Леонидовна
Мышкин (Ярославская область)

Член Союза журналистов России. Публиковалась в журналах «Север», «Урал», «Парус», «Русский путь на рубеже веков», в журнале ярославских писателей «Причал», в «Московском железнодорожнике», в коллективных сборниках. Автор трёх книг прозы: «На косогоре у Ломихи», «Афродита земная», «Потерянный жетон».

стр.
103

Кырова Татьяна Михайловна
Красноярск, 1962 г. р.

Родилась в деревне Пухово Курганской области. Окончила Миасский геологоразведочный техникум. Финалист и лауреат ряда сетевых литературных конкурсов. Автор двух сборников прозы.

стр.
37

Литинская Елена
Нью-Йорк (США)

Родилась в Москве. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. В 1979 году эмигрировала в США. В Нью-Йорке получила степень магистра по информатике и библиотечному

делу. Проработала 30 лет в Бруклинской публичной библиотеке. Вернулась к поэзии в конце 80-х. Издала пять книг стихов и прозы: «Монолог последнего снега» (1992), «В поисках себя» (2002), «На канале» (2008), «Сквозь временную отдалённость» (2011), «От Спиридоновки до Шипсхед-Бей» (2013). Стихи, рассказы, очерки и статьи публиковались в периодических изданиях, сборниках и альманахах США, Европы, России и Канады. Член редколлегии сетевого литературного журнала «Гостиная», президент Бруклинского клуба русских поэтов, а также вице-президент объединения русских литераторов.

стр.
52

Лищенко Иветта Валериевна
Зеленогорск

Родилась в Красноярске-45 (ныне Зеленогорск), в семье физика. Сочинять начала в детстве. В студенческие годы, в Томске, печаталась в местных газетах. По окончании Томского политехнического института, получив специальность инженера-математика, была направлена по распределению в Красноярск, в лабораторию охраны здоровья населения Красноярского края, а в 90-е годы вернулась в Зеленогорск, где продолжила работу инженером-программистом. В настоящее время работает инженером в АО «Производственное объединение „Электрохимический завод“». Имеет публикации стихов в российской печати, в коллективных альманахах и сборниках «Созвучие», «Новый Енисейский литератор», «На енисейской волне» и др.

стр.
19

Лухтин Николай Алексеевич
Красноярск, 1935–2010

Родился в городе Болотном Новосибирской области. В 1937 году с родителями переехал в село Никольское Красноярского края. Работал в колхозе подпаском, пастухом. В 1951 году поступил учиться в ремесленное училище №2, работал рулевым на судах Енисейского речного пароходства. С 1955 по 1958 год служил в армии, затем работал на заводе «Красмаш». В 1969 году поступил в Красноярский машиностроительный техникум, потом учился в Сибирском технологическом институте, работал на заводе холодильников «Бирюса». Писал стихи с детства, начал печататься с 1974 года, когда на заводе «Красмаш» было организовано литобъединение «Ритм» под руководством писателя Виктора Ермакова. В 2002 году был принят в Союз писателей России. Автор книг «Жаркий», «Большой костёр», «Родник», «Двенадцатая вершина».

стр.
96

София Максимычева
Ярославль, 1964 г. р.

Родилась и живёт в Ярославле. В детстве опубликовала рассказ в журнале «Юный натуралист». Училась в техническом вузе. Работала на радио, в государственных и медицинских учреждениях. Печаталась в журналах: «День и ночь», «Нижний

Новгород», «Эмигрантская лира», «Дальний Восток», «Казань», «Журнал поэтов», «Южная звезда», «Приокские зори», «Бельские просторы», «Ренессанс» Киев, «Менестрель», «Новый Свет» Торонто, «Крещатик», «Дон» и др. Дипломант литературного конкурса им. М. М. Пришвина «Хранители Природы». Шорт-лист Всероссийского литературного конкурса к 200-летию И. С. Тургенева «Родине поклонитесь». Финалист международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира 2018 года» и многих других. Автор трёх поэтических книг — «Зелёная шаль», «Эхолот», «Дурочка».

стр.
57

Мищенко Алесь Викторович
Санкт-Петербург

Научный работник и писатель. Окончил физфак мгу. Кандидат физико-математических наук, доцент. Автор художественных и научных книг («Посадил дед репку... Сказка о счастье», «Апгрейд в сверхлюди», «Цивилизация после людей»), журналистских статей и художественных эссе (некоторые из его текстов были опубликованы в электронном СМИ «Regnum», в литературном журнале «Урал» и отобраны в лонг- и шорт-листы различных литературных конкурсов, в том числе конкурсов «Яблочный Спас» и «Ступень к Парнасу»). Публикуется в Интернете как литературный критик.

стр.
39

Мошников Олег Эдуардович
Петрозаводск, 1964 г. р.

Родился 1 ноября 1964 года в городе Петрозаводске. В 1988 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. Служил заместителем командира военно-строительной роты, в государственной противопожарной службе мвд и мчс России по Республике Карелия. Подполковник внутренней службы в отставке. Работает заведующим филиалом Национального музея Республики Карелия «Музей первого российского курорта Марциальные Воды». Автор пяти сборников стихов и трёх книг прозы. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Республики Карелия.

стр.
21

Новикова-Строганова
Алла Анатольевна
Москва, 1960 г. р.

Родилась в городе Бугульма в Татарстане. В 1981 году с отличием окончила факультет русского языка и литературы Орловского государственного педагогического института. Работала учителем в средней школе, преподавателем кафедры русской литературы огу. В 1993 году в Московском государственном педагогическом университете защитила кандидатскую диссертацию, десять лет спустя в Московском государственном областном университете — докторскую диссертацию. Профессор. Член Союза писателей России.

стр.
123

Орлов Виталий
(Виталий Германович Рысев)
Москва

Родился в Екатеринбурге. Окончил исторический факультет Восточно-европейского национального университета. Публикации: «Новый Берег» №77/2022 (повесть «Полудница»), «Нева» №4/2019 (повесть «Евразия. Нищеброд»), «Зинзивер» №5/2021 (рассказ «Интерстеллар»). Преподавал историю в средних и высших учебных заведениях. Священник рпц. Живёт в Москве.

стр.
101

Панфилова Марина Владимировна
Красноярск, 1962 г. р.

Родилась в Томске, выросла в Томске-7 (ныне Северск). Окончила Томский государственный университет, по профессии журналист. С 1984 года живёт в Железногорске Красноярского края. С детства пишет стихи. Публиковалась в ряде поэтических сборников и альманахов в Железногорске, Томске, Красноярске. Трижды участвовала в «Антологии поэзии закрытых городов Росатома» (1999, 2011, 2019). Автор четырёх персональных сборников: «Язычица и грешница» (2000), «По следу Жар-птицы» (2008), «Мамино окошко» (2012), «Я слышу музыку небес» (2017). Неоднократный призёр конкурса одного стихотворения, организованного альманахом «Новый Енисейский литератор». Член Союза писателей России.

стр.
60

Пырьх Виталий Петрович
Красноярск, 1944 г. р.

Родился в Запорожье. Окончил Запорожский металлургический техникум. После окончания работал отжигальщиком термических печей на заводе «Запорожсталь». Служил в Советской армии. С отличием окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал корреспондентом, заведующим отделом промышленности и собственным корреспондентом республиканских и центральных газет. С 1987 года живёт в Красноярске, где работал корреспондентом газеты «Трибуна». Автор более двух тысяч газетных публикаций различных жанров, двух десятков статей в толстых журналах, а также нескольких книг публицистики, изданных в Москве и Сыктывкаре, шестнадцати поэтических сборников и трёх книг документальной прозы.

стр.
13

Ромашков Юрий Валерьевич
Красноярск, 1988 г. р.

Родился в Красноярске. Затем переехал в деревню Старая Кузурба Ужурского района. В конце 1990-х новый переезд — на этот раз Шарыповский район, деревня Александровка. В 2009 году окончил исторический факультет Енисейского педагогического

колледжа. После службы в рядах Вооружённых сил РФ поступил на исторический факультет Красноярского педагогического университета имени В. П. Астафьева, который окончил в 2014 году. С 2011 года и по сей день работает научным сотрудником фондов Енисейского краеведческого музея имени А. И. Кытманова. Историко-литературные этюды Юрия Ромашкова, которые периодически печатаются в местных газетах, стали заметным явлением в культурной жизни Енисейска. В 2014 году вышел первый сборник стихов «Стихи из-под шкафа». Лауреат премии Фонда Астафьева (2019).

стр.
127

Чхартишвили Павел
Москва, 1948 г. р.

Окончил Московский техникум автоматики и телемеханики и исторический факультет мгу имени М. В. Ломоносова. Работал механиком-прибористом, техником-конструктором, статистиком, учителем. 40 лет работал в Госархиве РФ, почётный работник этого архива. Свыше 30 публикаций: по истории, экономике, литературе, в том числе в журнале «День и ночь» (№5/2010). Премия и диплом литературного журнала «Байкал». Член Российского союза профессиональных литераторов.

стр.
3

Шойгу Сергей Кужугетович
1955 г. р.

Военный и государственный деятель, генерал армии, Герой Российской Федерации, министр обороны РФ, президент Русского географического общества. Возглавлял МЧС РФ с 1991-го по 2012 год. Родился в городке Чадан Тувинской автономной области. Выпускник Красноярского политехнического института по специальности «инженер-строитель». После окончания вуза работал в строительной отрасли в течение 15 лет — принимал участие в строительстве крупнейших предприятий в Сибири. С 1991 года становится во главе Российского корпуса спасателей. С 1994-го по 2012 год — министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В должности министра по чрезвычайным ситуациям руководил многими спасательными и гуманитарными операциями МЧС России. С 2012 года по настоящее время является министром обороны Российской Федерации.

стр.
8

Ягодинцева Нина Александровна
Челябинск, 1962 г. р.

Родилась в Магнитогорске. Выпускница Литературного института имени А. М. Горького, член Союза писателей России с 1994 года. Кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинской государственной академии культуры

и искусств. Автор поэтических книг, цикла учебников «Поэтика», монографий, электронной книги литературной критики, переводов с азербайджанского и башкирского языков, а также более 500 публикаций в литературной и научной периодике. Стихи автора включены во многие сборники и антологии. Лауреат всероссийских литературных премий имени П. П. Бажова (2001, за книгу «На высоте метели»), имени К. Нефедьева (2002, за рукопись книги «Течение донных трав»), имени Д. Мамина-Сибиряка (2008, за книгу «Поэтика: принципы безопасности творческого развития»),

Сибирско-Уральской литературной премии в номинации «Поэзия» (2011, за рукопись книги «Листая пламя»), Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга-2007» (за монографию «Русская поэтическая культура: сохранение целостности личности»), литературной премии Уральского федерального округа (2012, за электронную книгу литературной критики «Жажда речи», в соавторстве с А. П. Расторгуевым). Член жюри Всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова, председатель жюри Южно-Уральской литературной премии.

.....

Приносим извинения за ошибку

В третьем номере «ДиН» за 2022 год подборку стихов Сергея Дьякова «На кудыкиной горе» по ошибке сопровождает биографическая справка его однофамильца. Подлинная биография нашего автора Сергея Дьякова такова:

Дьяков Сергей Алексеевич
Бердск, 1952 г. р.

Родился в городе Бердске Новосибирской области. По окончании школы поступил на художественно-графическое отделение Новосибирского педучилища. После службы в армии работал в конструкторском бюро Бердского радиозавода, дизайнером торговой рекламы, художником-оформителем на различных предприятиях города. Публиковался на литературном портале «Белый мамонт», в журналах «Сибирские огни», «Новосибирск» и др.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Н. Наговицын

РЕДАКТОРЫ

Марина Наумова-Саввиных

Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель:

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издатель:

Краевое государственное автономное учреждение «Организационно-методический Медиацентр»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев
Красноярск

Наталья Ахпашева
Абакан

Юрий Беликов
Пермь

Михаил Бондарев
Калуга

Елена Бувечич
Черкассы

Лидия Довыденко
Калининград

Вера Зубарева
Филадельфия

Александр Кердан
Екатеринбург

Сергей Кузнецихин
Красноярск

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Орлов
Москва

Олеся Рудягина
Кишинёв

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Лидия Сычёва
Москва

Андрей Тимофеев
Москва

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использована картина Анны Михайлиной.

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22; Медиацентр
т. +7 950 991 4349

Наш сайт: krasdin.org

Подписано к печати: 10.10.2022

Дата выхода в свет: 30.10.2022

Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт» г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340 эл. почта: 2007tex@mail.ru

16+



Виктор Долгов | Апрель | 2016



Виктор Долгов | Октябрь. Воскресенка | 2021

